

НАШ СОВРЕМЕНИК

Журнал писателей России



№ 1 2022

ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ

(к 100-летию со дня рождения поэта)



ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

— *Что происходит на свете? — А просто зима.*

— *Просто зима, полагаете вы? — Полагаю.*

*Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.*

— *Что же за всем этим будет? — А будет январь.*

— *Будет январь, вы считаете? — Да, я считаю.*

*Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.*

— *Чем же все это окончится? — Будет апрель.*

— *Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.*

*Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.*

— *Что же из этого следует? — Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.*

— *Вы полагаете, все это будет носиться?*

— *Я полагаю, что все это следует шить.*

— *Следует шить, ибо сколько зиме ни кружить,
недолговечны её кабала и опала.*

— *Так разрешите же в честь новогоднего бала
руку на танец, сударыня, вам предложить!*

— *Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!*

— *Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и — раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три!..*

Поздравляем наших дорогих читателей с Новым годом!



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Проза

Альберт ЛИХАНОВ

Прошедшее время. Повесть..... 3

Андрей УБОГИЙ
Красная зона. Роман..... 60

Михаил ТАРКОВСКИЙ
Кинешма. Главы из книги 140

Николай КРУПИН
Беги, дед, беги! Рассказы 155

Поэзия

Мушни ЛАСУРИА.
Поэма об отце. Отрывки
С предисловием С. Куняева 43

Нина ЯГОДИНЦЕВА
В медвежьей нежности
снегопада 135

Александр НЕСТРУГИН
Равнинное 153

Очерк и публицистика

Андрей ЗЕЛИНСКИЙ
Украина как евразийская
проблема 178

Андрей БЫКОВ
Инфляция как феномен
экономики 189

Владимир КИПРИЯНОВ
Эпизод гибридной войны 205

Владимир ЧАРСКИЙ
Случайная встреча 214

Память

Станислав КУНЯЕВ
Детство, спасённое любовью. 41

Критика

Анна НУЖДИНА
Посмотрите на Воронеж 229

Слушать и слышать – важнее, чем
говорить.
Интервью Юрия Татаренко
с Ниной Ягодинцевой 236

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора, зав. отделом
публицистики* —
(495) 625-01-81

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

А. Н. Тимофеев —
*редактор отдела
критики* —
(495) 625-30-47
ns-kritika@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Книжный развал

Капитолина КОКШЕНЁВА
Искусство помнить.
Философ Астафьев
и наша современность..... 241

Людмила ВОРОБЬЁВА
Единая земля Победы 247

Елена КРЮКОВА
Сотворение мифа 250

Валентина СЕМЁНОВА
“Возвращение” Александра
Казинцева 252

Среди русских художников

Марина ПЕТРОВА
“Единственный глаз на макушке,
который постоянно устремлён
в небо, где живёт Бог” 262

В конце номера

Памяти скульптора 268

Сергей КУНЯЕВ
“Круглый стол”, посвящённый
Юрию Кузнецову 269

Анастасия КОБОЗЕВА
Молодой “Наш современник” 273

Лев КОТЮКОВ
Бабочка во тьме 276

Олег ДОРОГАНЬ
Афористические раздумья
Ивана Переверзина 277

Иван ПЕРЕВЕРЗИН
Афоризмы 283

Творческие итоги 2021 года 288

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675. При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП “ПараТайп”.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 28.12.2021. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №0000-2022. Тираж 3300 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.
Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

ПОВЕСТЬ

*Посвящается
тыловым детям
войны.*

1

“Коридорная? Система?” — удивятся иные читатели, услышав такое соединение двух слов. Что это такое?

Ну, есть система связи, есть электрические системы — ведь прежде чем попасть в лампочку, ток высокого напряжения, летящий между городами и электростанциями, должен снизить свою мощность и стать таким, каким его употребляют. Но коридорная система? И не только — даже не столько — я, а специалисты-инженеры и уж, конечно же, историки строительных наук подтвердят, что такое понятие и такой термин существует, а сейчас применяется только лишь при строительстве общежитий.

В общежитии — комнат много, и все они выходят в коридор. На всех жильцов один большой умывальник, один или два туалета, одна кухня, не очень-то рассчитанная на приготовление больших обедов. Но в комнатах живет много людей.

Вот это и есть общежитие.

А в старые, чаще всего в дореволюционные, времена большие дома с коридорной системой строили и для, например, больших семей. Там люди тоже

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии РСФСР, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака (Варшава), В. Гюго (Париж), “Сакура” (Токио). В январе 2020 года ему вручена Премия имени Владимира Высоцкого “Своя колея”. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Был Председателем Российского детского фонда, президентом Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Жил в Москве.

пользовались общим туалетом и чем-то вроде кухни, но в каждой комнате жила только одна семья. До той же всё революции такие дома назывались доходными, принадлежали, например, богатею, который за свои деньги строил такой дом, чтобы каждый месяц получать от каждой комнаты деньги. Жильё приносило доход.

А когда всё стало общим, комнаты в таких домах, да и сами дома стали государственными, казенными, и жить там остались или прежние жильцы, или люди, въехавшие вместо них.

Вот в такой дом и привела меня судьба еще совсем небольшим человечкой. Нет, я там не жил. Мои родители обретались в небольшом деревянном домике на берегу городского оврага, а в эту “коридорную систему” их пригласили друзья, которые там жили.

И вместе с родителями, ясное дело, пригласили меня.

2

А всё, что мы видим в раннем детстве, запоминается особенно хорошо и подробно.

Так что я, войдя в высокую, не по тем временам, дверь, оказался вместе с родителями на железной, глухо отзывавшейся лестнице. Она была узорчатой, эта лестница, черной по бокам и блестящей посередине ступенек. Меня этот блеск и удивил, и немножечко порадовал враз. Было понятно без всяких слов, что железное тело старой-престарой лестницы истоптано и отполировано башмаками людей, которые по ней ходят. И эта холодно блестящая середина ступенек, во-первых, указывает людям путь, ими же натёртый, а во-вторых, немножечко укоряет их — ведь и лестницы, если по ним ходят толпы, истираются и, наверное, даже ломаются...

На этом мои думы о лестнице тогда закончились, потому что мы поднялись по ней наверх, и уже другое, всё остальное, отвлекло от неё внимание, привлекая его уже к иному.

А прямо впритык к лестнице, наверху, стояло некое сооружение мало-приятного коричневого цвета — там располагался, как я пойму позже, туалет общего пользования и простейшей конструкции: дыра, ведущая во тьму, и две деревянные досочки для ног, без слов объясняющие, чему и как следует быть.

Перед туалетом располагалось помещение, которое можно было сразу признать кухней: на столиках возле стен, шипящие и молчащие, стояли примусы и керогазы, приборы скромной предвоенной цивилизации, которые помогали взрослым готовить пищу себе и своим несмышлёным чадам.

Столов, на которых стояли эти приборы, было штук семь, не очень больших, и без объяснения — чьих-то личных территорий, одни из которых были чисты, опрятны, протёрты, обтянуты клеёнкой, а другие носили следы неряшливости и неопрятности.

Из этой кухни общего пользования две двери вели, похоже, в жилые комнаты, а главная, двустворчатая и настежь распахнутая, шла в непривычно широкий коридор, освещённый скудно, одной или двумя лампочками небольшой яркости, и похожий на палубу небольшого корабля или какой-то громадной лодки. А по бокам этого сумрачного пространства снова, впритык к стенам, теснились столики, пониже и повыше, похожие на редкие зубья в мрачной пасти, а в стенах, едва видимые, обозначались высокие двери.

Потом я узнаю, что это и есть коридорная система. Она упиралась в ещё одну широкую дверь с застеклённым верхом, и оттуда отдалённо как-то просвечивал уличный свет, а повернув налево, можно было войти в продолжение коридора, сжатое со всех сторон и содержащее ещё самое малое три двери.

За всеми этими дверями, понятное дело, жили люди. Семьи. И все такие помещения являли собой довольно большие, но комнаты, а уж получив их, кто-то из жильцов разделял пространство фанерными переборками, а кто и не делал этого и тогда жил внутри большого, чаще всего малоуютного, пространства, что ли...

Чаще всего вдоль стенок там стояли кровати — кровати, много кроватей. А ещё платяные шкафы и шкафчики, тумбочки, обеденные столы и столики для занятий школьников, висели тряпичные абажуры, модные тогда и сделанные иногда хозяйками из цветных тканей и обыкновенной проволоки...

В общем, вот я уже и описал одну из первых таких комнат, в которую я вошёл ещё до войны.

Году этак в одна тысяча девятьсот сороковом...

К родителевым друзьям — дяде Грише и тёте Лине, у которых была ещё дочка Ларка. Чуть помладше меня.

3

Причина, по которой мы пришли, давно, конечно, забыта, да и разве возможно её запомнить, ведь тогда принято было ходить не только на дни рождения и праздники, а просто — в гости.

В гости ходили просто так, развлечений-то не хватало! Если новый фильм в кинотеатре, которых было маловато, так шёл он месяца два, а то и три, и было принято смотреть их по несколько раз, чтобы лучше, может быть, запомнить. И про фильмы эти долго и подробно говорили взрослые, собравшись просто в гости, и всех-то они артистов знали по фамилиям. И где, кто, в каком кино снимался.

Взрослым такие разговоры были интересны, они даже как будто соревновались в подробностях каждого кинофильма, но особенно жизни их героев, кто, по слухам, на ком был женат, а кто развёлся, а кто ещё как-то в чём-то отличился, чем был награждён, и что о ком как будто бы что-то сказал.

Папа мой и дядя Гриша сначала слушали оживлённые рассуждения, даже пробовали поучаствовать в беседах о кино, потом подсаживались поближе друг к другу и заводили какой-то свой мужской разговор, а потом и вовсе поднимались на ноги и объясняли, что уходят покурить, на что женщины даже не обращали внимания.

Покурить дядя Гриша всегда приглашал моего папу в одно и то же место — где кончалась лестница, коричневым лоском поблескивал огромный туалет и сияла — или же укоризненно молчала неубранными столиками общая кухня.

Чаще всего я выходил за мужчинами на эту площадку — тут было больше света из окон, да и вообще какого-то пространства.

Взрослые, облокотившись о перила, покуривали, говорили речи, непонятные пока мне, а я ластился к отцу, и он меня не прогонял, гладил по голове, и получалось, что я хоть и не курю, но без меня это взрослое курение на кухне, соединённой с железной лестницей, не обходится.

Иногда из комнаты приходила Ларка, но отчего-то у нас с ней разговор никак не шёл дальше того, что я утверждал, будто она никакая не Ларка, нечего, мол, тут красоваться, а простая Лариска, и всё тут, а она, соглашаясь, что хоть, мол, она и Лариска, но ведь когда они вырастут, к ней станут обращаться по имени-отчеству — Лариса Григорьевна. А это звучит строго. Да и вообще, я хоть её постарше, но ещё мал судить о женской красоте!

Ха! Мал! Да ведь она сама-то малее меня, пусть и на один год, но малее же! Что-то у нас с Ларкой-Лариской не клеилось. Тоже мне, Лариса Григорьевна!

Зато на кухне завязывались знакомства!

Не успевали папа с дядей Гришей выкурить по полпапироски, как в кухню кто-нибудь обязательно заходил. То заглядывали незнакомые нам женщины, то лестница начинала глухо и, конечно, с железной интонацией звучать под тяжёлыми мужскими шагами, и в перешейке между туалетом и кухней появлялся взрослый мужчина. Он обязательно подходил “поздоровкаться” с дядей Гришей, ну и, понятное дело, познакомиться с отцом. Или эти взрослые сами говорили немного про себя: мол, работаю в стройконторе, на заводе, который делает школьные принадлежности, или вообще

на железнодорожной станции, или, когда новый знакомый уходил к себе, дядя Гриша, понизив голос, если на кухне был ещё кто-то, кроме меня и Ларки, или голоса не понижая, — говорил громко:

— Этот Леонид хороший прораб, но вот беда, простывает на стройках. Часто болеет.

Или, например, говорил:

— А этот Аркадий преподаёт марксизм в пединституте, но как-то закрыто себя ведёт, много не болтает и учит иностранные языки. — Дядя Гриша делал ударение на букве Ы в слове “языки”. — Выучил уже немецкий, теперь выучивает аглицкий.

Я ещё и понять не был в состоянии, что, называя английский аглицким, по очень-очень старинному обычаю, дядя Гриша как-то немножко — а может, и множко, — иронизирует перед отцом. Они-то никаких языков не учили.

Но я тогда ничего этого не мог понимать, даже не был в состоянии оценить, что это значит и почему какой-то тут дядечка учит иноземные языки.

Я просто запоминал, как зовут этих дяденек: Леонид, Аркадий, подходил потом шофёр Владимир. Подходили попозже и их жёны — с кухонными делами, и дядя Гриша уточнял отцу, кто тут кому приходится женой, кто чей муж, и тут моя головка всё путала, как путаются взрослые люди всегда и во всех детских соображалках.

4

Потом я стал знакомиться с детьми.

Это заставляло поджиматься, отлепляться от отца, становиться самостоятельной фигурой.

Сначала ко мне подвели толстоватого Артура. Оказалось, что он сын того дяденьки, который учил иностранные языки. Ну, подвели и подвели — он протянул мне зачем-то руку — в ту пору так детский народ ещё не знакомился, — ну и мне отец велел протянуть руку. Но ничего не произошло. Ничего во мне не вздрогнуло, как и в нём. Только я вдруг спросил, и для себя-то неожиданно:

— А почему Артур?

И тут его отец расхохотался. Только что он жал руку моему отцу и назывался совсем обыкновенным именем — Аркадий Васильевич, а тут почти напугал меня, да и папу, наверное, удивлённо воскликнув:

— Ты счастливый человек! Тебе ещё только предстоит узнать, что такое янки при дворе короля Артура!

— Ну какой же он король? — искренне спросил я.

— Не король, не король! — продолжал смеяться весёлый Аркадий Васильевич. — И никогда им не будет! Но зовут его Артур! Это мы его так называли! Его бестолковые родители!

Вообще, этого смешливого дяденьку, отца Артура, я видел в дальнейшей жизни всего раз пять, не больше, проникая в коридорную систему этого странного дома, и всякий раз он, узнав меня, приветливо спрашивал:

— Ну, не прочитал эту книгу? “Янки при дворе короля Артура”?

И я мотал головой, пока классе в пятом не наткнулся в городской библиотеке на растрёпанную книгу с таким названием американского писателя Марка Твена, быстро проглотил её — в смысле, прочитал, — и потом отыскивал сочинения этого писателя до тех пор, пока не сделал в нашей главной детской библиотеке доклад “Любимые романы о старой Англии”, получив за него не только грамотку с печатью, но и почти новую книжку Марка Твена про Тома Сойера и Гекльберри Финна, приняв которую несказанно удивился, никак не ожидая увидеть Марка Твена пахнущим типографской краской и свежим клеем: ведь только что прошла война.

После взятия такой высоты я стал прямо-таки искать встреч с Аркадием Васильевичем. Чтобы, больше не срамясь, доложить, каким я стал глубоким знатоком Марка Твена.

Но Аркадия-то Васильевича я уже никак не мог увидеть. Он уехал куда-то учиться на целый год или даже три года, и знающие люди не могли даже

и предположить, где так долго учатся и чему. А Артур молчал, и мать его Людмила Степановна, которую тётя Лина звала Милой, тоже молчала из каких-то таинственных соображений. А объяснять мои странные — да и случайные — познания Артуру у меня не было желания. Да и он-то, казалось, сторонился меня.

Однако тут я забегаю вперёд... “Янки при дворе короля Артура” я прочитал уже в конце войны. А руку Артуру пожал над лестницей ещё перед войной!

Сколько воды, сколько крови, сколько бед пролилось и прокатилось над всеми нами и над каждым из нас!

И над коридорной системой, в которую мы лишь изредка заглядывали.

5

Из всего, что было перед войной, я запомнил ещё Новый, 1941 год. А речь именно и конкретно — про последний день декабря 1940 года, в полночь превращавшийся в 1 января 1941-го.

Мама и папа, поговорив о чём-то взрослом между собой и в разговор этот меня не вмешивая, совсем для меня неожиданно заявили, что Новый год они вдвоём, без меня, решили отметить в том самом известном мне доме, где двери выходят в широкий полутёмный коридор. А я останусь дома, с бабушкой, вовремя лягу спать и когда проснусь утром, все мы опять встретимся, но уже в наступившем новом году.

Я даже не сумел ещё толком разобраться, что это такое сказали мне мои родители, но нутро моё малое, что ли, тут же учуяло опасность. И ещё до того, как сказанное оценила моя душа, взвыло всеми мыслимыми регистрами остальное существо.

Мне даже показалось, что выли мои руки, ноги, живот и, конечно, голова — ну, как может выть существо без участия головы!

Может, уж думаю из нынешнего своего взрослого бытия, что нутро и есть никому не понятная интуиция, проще говоря — чутьё, которое всё знает наперёд! Но знает и чуёт каким-то потаенным знанием, и я подумал — может, оно раньше всех — раньше мамы и отца, раньше партии и правительства во главе со Сталиным, раньше всего и всякого — знало: это последний, может быть, Новый год я могу встретить с отцом, дальше — война, обрыв, тьма, и сквозь неё ничего разглядеть невозможно!

А в Новый год все должны быть вместе, пусть и в гостях каких-то, а не дома — но в такой праздник люди не-по-дели-мы! И нас нельзя! Ни за что нельзя поделить — я дома, хоть и с бабушкой, — а они! Где-то в чужом месте!

Без меня!

Моя душа скорбела горестно и искренне, отчаянно и беспомощно, может, даже прощальную интонацию услышали родители, которые терпеливо слушали мою слезную арию. И были они словно замороженные: мой папа, совсем ещё молодой, да и большевик к тому же, и мамочка, медицинский лаборант, а значит, человек естественных наук, почти всегда знающий, где проходит черта, за которой начинается нездоровье.

Она первая и сказала взрослыми словами:

— Будет тебе так заходиться! Пойдешь с нами.

Моё уставшее, нагруженное предчувствием нутро будто разом отключилось от всяких горестных состояний. Ему требовалось доброе понимание, а может, сочувствие. Я глубоко вздохнул и, не требуя дальнейших подтверждений, стал собираться на Новый год в чужой дом.

Моя мамочка откуда-то знала, что на кухонной площадке, учитывая тесноту комнат, выходящих в коридор, будет установлена высокая ёлка, и для неё не хватает игрушек. Она сбегала в магазин и елочных игрушек купила. Несколько из них она повесила на нашу собственную маленькую ёлочку — её устроили прямо на столе, и я водил пальцем по сияющим поверхностям золотых шаров, по серебряным бусам — потому что сказочная гладкость рождала во мне предчувствие чего-то необыкновенного, волшебного и ни

с чем не сравнимого. Особенно нравились мне ярко-красные пульки на ниточках с проволочными приспособлениями внутри. Пульки, очень даже не маленькие, сравнимые — если бы я что-то знал об этом в то время — с малюсенькими снарядами, висели на ветках, склоняя их своим весом. И были удивительным образом тяжеловесны и странным образом убедительны. Печально, пожалуй, слышится — но тяжело убедительными.

Что-то подобное сказал и дядя Гриша, когда мы вечером под Новый год пришли в тот, известный уже, дом, поднялись по железной лестнице и увидели ёлку с редкими игрушками в пространстве между кухонными столиками, на которую мамочка стала развешивать принесённые нами игрушки, среди которых оказалось штук пять красно-золотистых пуль. И вот дядя Гриша, вышедший нас встретить, глянул на них, потрогал рукой, о чём-то подумал и сказал, обращаясь к отцу:

— Для какой, думаешь, это системы?

Отец, похоже, и сам был озабочен такими сравнениями. И ответил не раздумывая:

— Зенитные патроны. Крупнокалиберный пулемет Дегтярёва — Шпагина.

— Что вы говорите! — возмутилась моя мамочка, обнимаясь с тётёй Линой. — Это просто ёлочные игрушки! И хватит придумывать лишнее!

6

Новый год в коридоре оказался самым шумным и многолюдным в моей детской памяти.

Оказалось, что все столы и столики из кухни можно переместить в этот широкий коридор, к ним вдобавок вытащить столы позначительнее, почти из всех комнат, где жили люди, а к ним прибавить множество стульев разной конфигурации — от породистых венских до угловатых самодельных, табуреток, топчанов и всего иного, на чём можно сидеть — пусть без удобств, но надёжно, уверенно и спокойно.

Поверх столов женщины раскатали скатерти не первой новизны, а кое-кто и простыни, а мужчины ввернули в электрические патроны, торчавшие вдоль стен, лампочки поярче, и коридор не то чтобы засиял, но просветлел, может, даже заулыбался людям, молчаливо укоряя их: а разве, дескать, нельзя, чтобы я был освещён так всегда!

Потом, вспоминая праздник, мне мамочка пояснила, что, конечно, нельзя и что лампочки, освещавшие общий тот коридор, сменили на маленькие и тусклые уже утром, потому что хоть и немного, но за электричество надо платить и все жильцы этого коридора дружно порешили вернуться в привычный сумрак, нежели тратить деньги. И так-то у всех небольшие.

Но в тот вечер!

Стол, протянувшийся вдоль всего коридора, от начала и до конца, блистал разнообразной посудой — от барских откуда-то фаянсовых блюд, даже блюдищ, до малюсеньких кофейных блюдецек с такими же чашечками, в которые потом нальют вино, с вилками и ножами обочь тарелок разных пород и фасонов, а чашки, супницы, мисочки и даже приличных размеров таз, полный салата, сияли, сверкали и, кажется, слегка шевелились, поскрипывая и постанывая в предвкушении праздника, готовые отдать своё содержимое щедрым устроителям такого парада.

Застолье собиралось долго. Возле стола энергично передвигались многочисленные женщины, большинства которых я не знал, как и не знали мои родители, и тетя Лина активно представляла их здешним старожилкам.

Мама, поворачиваясь ко мне время от времени, охала и ахала, тихо причитая:

— Ой, как бы запомнить! Как запомнить!

И я сочувствовал ей, даже не пробуя запомнить имена и фамилии здешних хозяев и, кстати, их гостей, потому что таких, как мы, приглашённых, было ещё несколько: всё это вместе взятое называлось “складчина”.

Впрочем, непонятное такое слово после его пояснения стало очень даже понятным. Оказывается, те, кто собирался на коридорный праздник, дали деньги, все поровну, и вот на эти деньги застолье и приготовилось: купили овощи, мясо, кур, колбасу и всё-всё-всё, что требуется для праздничного стола. Только на шампанское не хватило, как скажет позже папа, но все дружно обошлись и без шампанского, а беленьким и красненьким.

Где-то к половине одиннадцатого застолье окончательно утряслось — все стулья и табуретки оказались заняты, кроме нескольких, тех, что поближе к входу возле лестницы и, таким образом, к ёлке.

Вся наша семья была пристроена у двери, ведущей в комнату дяди Гриши и тётки Лины вместе с их дочкой. И они, наши друзья, сели справа и слева от нас, как бы окружая и помогая нам свободно чувствовать себя в коридорной системе.

Напротив нас сидела семья Андреевых, как мы узнали сразу же. Черноглазая тётка Зина, бледный, лысоватый, улыбочивый Леонид Петрович, попросту — дядя Лёня, и их сын Лёвка.

Когда его представляли, мой папа вроде как пошутил, уточняя:

— Значит, Лев! Царь зверей!

Но мальчик моего возраста, совсем не теряясь и, похоже, не в первый раз, бойко откликнулся:

— Нет! Просто Лёвка!

И пояснил моему слишком разборчивому папе:

— Ну какой я лев!

Все рассмеялись. Вообще-то рассмеялись сначала мы, все, кто участвовал в разговоре, но скоро папин вопрос и Лёвкин ответ пошли по цепочке вдоль длинного стола, и там раздавался смех, и Лёвке хлопали издалека, а он вставал и всем аплодисментам шутиво кланялся.

Так что Лёвка стал именинником на подступающем новогоднем празднике. За несколько буквально минут.

Впрочем, ведь наш город был восточнее Москвы, и если там, в столице, по радио рассказывали ещё разные шутки — а репродуктор вывели в коридор и включили на полную катушку, — у нас-то праздник наступал на час раньше. И взрослые, пошумливая, переговариваясь, споря и восклицая, стали наполнять свои сосуды.

В это мгновение в проёме двери, ведущей на кухню, появились трое, и все как по команде стихли.

Мужчина был высок и строен, довольно молод, но одет в синюю военную форму.

Мы-то ведь с раннего детства знали, что военные в зелёной форме — это армия: и пехота, и артиллерия, и танкисты. В чёрной форме — моряки. А вот в синей...

Я толком не знал, кто носит синюю форму, а взрослые, видать, знали все, и я посмотрел на своего папу вопросительным взглядом.

Он понял меня и ответил мне шёпотом на ухо:

— Энкавэдэ!

Я смутно догадывался, что это какие-то внутренние дела, милиционеры, например, а высокий человек громко сказал всем, ни к кому персонально не обращаясь: “С наступающим вас, дорогие соседи!” — и сел на табуретку. И возле него, с обеих сторон, устроились его жена с толстой косой, уложенной на голове будто царская корона, и его сын Владька, про которого я уже кое-что слышал.

И все будто выдохнули воздух, набранный в себя. Чей-то женский голос крикнул:

— Спасибо!

Кто-то, из мужчин, добавил:

— И вам того же!

А Ларкина бабушка Лиза, полупарализованная какой-то жестокой болезнью, с рукой, висящей плетью, запоздало и вовсе не тихо проговорила:

— Вашими молитвами.

Её услышали все.

И вдруг раздался тоненький звук колокольчика. Вначале мне показалось, что звук этот просто слышится.

Я повернулся к середине стола и увидел, что чем-то очень похожим машет в воздухе Аркадий Васильевич. Постепенно все утомонились.

А он громким, уверенным голосом проговорил:

— Дорогие соседи! Дорогие друзья! Через несколько минут к нам придёт Новый год! На час раньше, чем в Москву.

Все притихли — как-то настороженно, тревожно.

— Что он принесёт нам? Мы думаем об этом каждый по-своему и верим, что всё будет хорошо. Но мир в тревоге. Немцы стали хозяевами всей Европы! И нам надо... надо собраться с силами. Сплотиться, сжаться, объединиться — не просто так... — Он обвёл рукой стол. — А соединиться духом вокруг одной идеи, одной цели, одного человека.

Тут он помолчал мгновение и проговорил:

— Да здравствует СССР! Да здравствует товарищ Сталин! С Новым, одна тысяча девятьсот сорок первым годом!

У меня в железной кружке ждал своей минуты сладкий морс, а взрослые чокались своими напитками. И все кричали наперебой:

— Ура!

— С Новым годом!

А я услышал, как бабушка Лиза с недвижной рукой опять сказала как-то невпопад:

— Помоги им, Господи!

Я ещё подумал про себя: о ком она? Кому — им? Всем остальным, что ли, кроме неё?

Но стол бушевал, кричал, светился, и час, который отделял нас от столицы, пронёсся одним мгновением, а потом мы услышали голос Москвы, который прозвучал из чёрного и круглого репродуктора. И услышав, умолкли: там кремлёвские часы — по имени куранты — отбивали двенадцать тяжёлых ударов.

Тут уж совершенно все вскочили, даже бабушка Лиза тяжело поднялась, и все опять кричали “ура”, и мне очень нравились эти минуты всеобщей радости, и я сам кричал, как и Лёвка Андреев напротив меня, и мы переглядывались и оралли, стараясь в общем хоре своими писклявыми голосками переорать друг дружку, понимая при этом, что это просто такая забава, и перекричать мы, может, и могли бы друг дружку, если бы голоса не тонули в этом многоголосом взрослом крике.

Я кричал и вглядывался в лица взрослых, с которыми познакомился и которых видел впервой, и мне казалось, что все они очень красивые. У некоторых женщин блестели глаза и катились слёзы по щекам, мужчины все подряд улыбались, дети ликовали, равняясь на взрослых и становясь похожими на них.

Мне казалось, что лица, незнакомые раньше, приближаются ко мне и становятся какими-то родственными — будто тут не соседи собралась, да ещё и из чужого мне дома, а просто родня, которая давно не виделась и вот наконец-то собралась, да ещё и в самый что ни на есть счастливый день.

Крик — мне казалось! — длился долго, и я, ещё не пожав рук и ни разу ни о чём с ним не поговорив, уже знал Владьку Деньгина, сына того самого энкавэдэшника в синей форме. И с какой-то удивительной симпатией относился к его матери, которую звали, оказывается, Ольга Петровна, — смущённой, не очень-то нарядно одетой женщине, которую удивительным образом украшала корона из светлых кос. И женщина эта как будто вся светилась!

Я уже знал откуда-то, ещё не поговорив, Дольку, которому ещё достанется в этой жизни, потому что Долька — это сокращённое имя Адольфа — слово, которое уже надвигалось на всех нас, и только в конце войны, подрастая, он сменит его, вернее, сменят взрослые, повинные в том, что задолго

до войны, в 1933 году, нарекли его таким, можно сказать, страшным... прозвищем.

В общем, меня захватила вся эта небывалая для тогдашнего дня обстановка: сияющий — хотя, конечно, весьма условно, — коридор, стол, переполненный едой, — кто бы знал, что в последний раз перед великой скорбью, — безмятежные, радостные, разгорячённые лица людей, которые в сей миг не хотят помнить и знать ничего, кроме радости и веселья, захлестнувших их.

И этот до самого дна человеческого искренний праздник закрепился в моём сознании на всю жизнь!

Шли годы, я выросстал, как все мои сверстники, взрослея, как полагается каждому человеку, а эта картинка — то ли невыцветающая фотография, то ли пышущее всеми красками полотно, — хранится в моём сознании и по сей час. И я верю, что хранилась во многих душах, пока они были в нашем мире. Но почти все они уже удалились.

Вместе с ними и память того вечера.

Об одном молю судьбу: позволь, пусть и одному мне, не забыть историю коридорной системы, чтобы рассказать о ней новым людям новых времён, не могущим помнить прошедшего.

Так я встретил Новый, 1941 год. Вместе с моими родителями. И новыми знакомцами.

8

Зима для небольших детей всегда в радость. Если снег пушистый и мягкий, можно вытянуть язык, закрыть глаза и ждать, когда на него приземлится снежинка. А если долго не прилетает, то можно и прямо сугроб лизнуть, и вовсе не страшно, а радостно, когда тебя кто-нибудь в этот миг подтолкнёт и ты всем лицом окунёшься в снежный холод. Потом, когда утрёшься, лицо запыляет, даже загорит странным огнём, и уж без смеха тут не обойтись!

А ещё ведь — ледяные катушки, по которым можно скользить в обыкновенных, но лучше подшитых валенках, санки, снежки, если чуть истеплело, и теперь горят руки от слепленных тобой белых шариков и визжит — от них же — прохаживая девчонка, если ты этим шариком попал ей в спину.

Ларке в тот день я снежком заехать не решился, — все-таки дочка родителей друзей, — да она и без того смеялась во весь рот, пытаясь поймать им снежинку. А вот тётя Лина, которая с ней пришла, на меня даже не взглянула, а торопливо вошла в нашу дверь.

Какая-то надобность заставила меня тихонько войти к себе домой, на цыпочках, сняв в прихожей валенки, и меня остановил её хриплый плач.

— Арестовали! Арестовали! И Ларке не могу ничего сказать.

— Но почему, почему? — спрашивал мамин голос.

— Да по калачу, — ответил сдержанно и как-то неуверенно отец.

Надо заметить, что я-то обретался в летах, когда слова слышимы и даже запоминаемы, но не всегда понимаемы.

Я появился на цыпочках перед взрослыми, чтобы что-то спросить, но они так напугались отчего-то моего невинного явления, что мамочка даже воскликнула:

— Как же ты напугал нас!

А что бояться меня, не понял я, спросил что-то, уж не помню и что.

Вечером мамочка, уложив меня спать и подоткнув одеяло, несколько раз повторила, натужно улыбаясь:

— Никогда не подкрадывайся, сынок! Не подкрадывайся ни к кому! Понимаешь?

Ничего, конечно, я не понимал, и слов таких не понимал — арестовали! арестовали! — но тётя Лина перестала к нам приходить, хотя они с мамой дружили ещё со школы. Мамочка говорила отцу об этом при мне, но он почему-то отвечал, что надо подождать, пусть пройдёт немного времени, и всё выяснится, и Лина сама к нам зайдёт, чтобы рассказать подробности.

Мама охала и ахала, но отца слушала, а потом к нам зашла ненадолго тётя Зина Андреева, мама Лёвки, который сидел в Новый год напротив меня и не желал называть себя Львом.

Единственное, что я услышал и понял, — были слова тётки Зины, будто её прислала Лина. Сама идти не хочет по какой-то такой непонятной причине. Но отправила её.

И тут взрослые засобирались в магазин, а меня оставили ненадолго дома. Такое уже бывало и раньше, так что я не удивился.

Из магазина мама вернулась одна, с пустой авоськой, повесила её на крючок и посмотрела сквозь меня. Обычно всегда спрашивала меня — что да как, интересовалась всякой мелочью, даже заглядывала в мой горшок, а тут молча села и так присидела, пока не появился отец.

Едва он вошёл, первое, что сказала ему:

— Гриша уехал в командировку.

Отец кивнул, не удивившись, ответил:

— Я знаю.

И на этом про дядю Гришу они забыли. А я вот почему-то не забывал. Зачем-то, без всяких причин и поводов, дядя Гриша вдруг возникал передо мной ни с того ни с сего.

Он был худощавый, жилистый, невысокого роста — самый маленький во всей их коридорной системе, но бодрый. Говорил чётко, понятно всем, даже мне, но не болтал, а как объяснял сам же — высказывался. Ну вот и всё. Уехал в командировку, так ведь это же по работе, так полагается. Никак я не мог взять в свой малой толк, отчего же при упоминании этой командировки мамочка как-то понижает голос.

Несколько раз опять приходила тётя Зина, и у мамы был всегда уже готов для неё небольшой свёрток с едой, которую мы не ели, например, твёрдой колбасой и таким же твёрдым сыром, и она их просто отдавала Зинаиде, разговаривая совсем о чём-то другом, и Лёвкина мама забирала этот не такой уж большой свёрток. Но однажды между ними проскочило словцо, не очень мне понятное, но в то же время и очень простое: “Передача”.

Кажется, это тётя Зина сказала о какой-то передаче, но мама насторожилась, сделала паузу и тут же кивнула:

— Конечно, раз человек заболел, ему надо передачку отправить. В больницу не очень-то нынче пускают.

Так и проскочило это случайно произнесённое словцо, и я, как хотела мама, не клонул на него. Да и откуда я, начинавший жить малец, мог знать, что у некоторых русских слов бывает несколько совсем разных пониманий.

9

Между тем никакую тайну не скроешь.

Однажды всё та же тётя Зина пришла к нам не одна, а со своим сыном Лёвкой, и, приняв мамин свёрточек, они позвали меня к себе, мама согласилась, услышав, что тётя Зина проводит меня обратно до самой калитки, и мы отправились к Лёвке, болтая о всякой мелочи, не оставшейся в памяти.

Комната, где они жили, была поменьше, чем у дяди Гриши с тётей Линой, и крайне просто обставлена. Широкая родительская кровать за ширмой и узенькая койка для Лёвки, а между ними, у окна, обеденный стол.

Я запомнил, что вся остальная часть пола была завалена детскими принадлежностями — кубиками, машинками, в большинстве своём поломанными и неновыми, медвежатами с оторванными лапами и безголовыми клоунами. Не было ничего, сделанного из стекла, а остальное валялось свободно и непринуждённо.

Впустив нас в комнату, тётя Зина заворчала на Левку, дескать, опять он не убрал, но ведь и она тут хозяйка, так что ворчанье сменилось быстрыми шагами, и пол в две минуты очистился, а тётя Зина провела по нему влажной тряпкой. Стулья были припёрты к столу, так что мы присели на край Лёвкиной кровати и о чём-то там болтали, заводили не заводящиеся машинки, тщетно пускали их по полу, они порой включались и непременно

въезжали в тети-Зинины тапочки, а она всякий раз вскрикивала, хотя это ведь не больно, и все вместе мы смеялись.

И вот тут-то всё мне стало известно. Потому что Лёвка, перебивавший в голове, чем ещё передо мной можно похвастаться, сказал громко и с гордостью:

— А у нас дядю Гришу арестовали!

Я увидел, как остановилась и сразу согнула плечи тётя Зина. Потом скинулась и крикнула Лёвке:

— Прикуси язык!

Я знал, что прикусывать язык очень больно, и по-прежнему не знал, что значит — арестовали. Поэтому спросил вслух об этом.

Лёвка опять отличился:

— В тюрьму посадили!

— Да нет! — воскликнула тётя Зина. — Его просто... Просто попросили задержаться. С ним беседуют.

И вдруг воскликнула, сверкая чёрными глазами:

— Он под следствием! И его отпустят! Он не виноват! Придрались к человеку!

От таких взрослых выражений дети тогда прижимали уши, умолкали, прятались по углам. И я притаился, ничего-то толком не понимая... Только чувствуя.

Я почувствовал, что мне бы надо поскорее домой. И сказал об этом тётя Зине. Она зорко посмотрела на меня, но ничего не сказала. Быстро оделась, и мы пошли по снежным улицам.

Ведь стояла зима!

Но перед тем, как выйти из дома с его коридорной системой, мы столкнулись с тётей Линой. Мы выходили из коридора, а она вошла в него. И увидев меня, сказала, не удивившись:

— Вот и Коля!

Я поздоровался с ней дрогнувшим голосом. А она спросила:

— Чего же ты к нам не зашёл?

Вот уж ударила она меня! Ведь Холодовы-то были наши давние друзья, не то что Андреевы! И если я не зашёл к ним, когда узнал, что с дядей Гришей что-то случилось, то я — предатель?

Я топтался. Потом неуверенно брякнул:

— Могу зайти...

Но голос тётя Лины дрогнул. Похоже, она пожалела, что как будто укорила меня.

— Нет, нет... — заторопилась она. — Всё правильно, всё хорошо, передавай привет маме! Скоро встретимся!

И добавила смело:

— Все вместе!

10

Но мы так и не встретились до самого начала войны.

Снова, снова и снова вспоминаю я этот день — и всегда буду помнить, пока жив: мы сидим под цветущей вишней, а в цветах копошатся шмели, жужжат монотонно и терпеливо, собирая сладкий сок, и солнце стоит прямо над головой, и я лежу на толстом, стёганом одеяле, а рядом мамочка, папа и дядя Миша, ещё один его приятель, и взрослые пьют пиво из очень тоненьких стеклянных стаканчиков, предназначенных для чего-то другого, но тут пиво кончается, и мужчины встают, берут бидончик и уходят на угол, к магазинчику, где торгуют разливным пивом из бочки. Но тут же возвращаются, идут быстрым шагом, будто куда-то опаздывают, подходят к нам уже почти бегом, и папа говорит:

— Война началась!

Тишина и покой сразу кончились, хотя и шмели гудели по-прежнему, и молчаливо цвели вишни, не принимая к сведению того, что там стряслось с людьми.

Папа переоделся и ушёл на работу, а вернулся поздно и сказал, что записался добровольцем. Ведь он был партийным, как всегда объясняла мама.

А дня через два, к вечеру, к нам пришли неожиданные гости: дядя Гриша и тётя Лина.

Увидев приятеля, отец молча поднялся, молча подошёл к нему и молча обнял. Дядя Гриша, отступив и глядя папе прямо в глаза, неожиданно сказал:

— Я ведь артиллерист, как ты знаешь. Комбат стодвадцатидвухмиллиметровых гаубиц образца тысяча девятьсот тридцать восьмого года. С опытом финской кампании. Таких мало. Могу пригодиться. Вот и отпустили.

Они присели на стулья, и тётя Лина заплакала, сказав:

— Из огня да в полымя!

Но дядя Гриша обнял её за плечи и даже не сказал, а пробормотал:

— Это просто разумное решение. И я не осужден. Только под следствием, а оно ничего не нашло. На войне от меня пользы будет больше.

Они с отцом ушли на войну в разные дни, и дядю Гришу отправили первым — но не на запад, а почему-то на восток. Тётя Лина потом скажет, что ему поручили принимать в тылу артиллерийские орудия. А отец, по армейскому званию рядовой, был послан в военные лагеря, для переобучения.

И вот тогда мы с мамой, оставшись одни, пришли в гости к тёте Лине. Они обе плакали. Одна бабушка Лиза с рукой, которая не работала, смотрела на них сухими глазами и повторяла:

— Всё, что было, прошло. Готовьтесь к новому.

Будто каркала, хотя и произносила эти слова совсем негромко, себе под нос, но настойчиво и уверенно, словно какая-то предсказательница.

Только мы с Ларкой сидели, ничего ещё толком не понимая. Да и посадили нас зачем-то рядом, как двух желтоклювых птенцов. Мол, хлопайте глазами да помалкивайте: детям ещё рано такое понимать.

Эх, матушки, наши лапушки! Знали бы, что я спросил Ларку, когда мы вышли из-за стола и отправились погулять в коридор, где раздавались детские голоса.

— Значит, — спросил я, — дядю Гришу брали по политической?

— Ну да, — ответила она и выдохнула, как выдыхают откупоренные бутылки с морсом.

II

Первый раз я видел коридорную систему после объявления войны. Ничегошеньки в ней не изменилось. Хотя нет! В дальнем от входа углу, повыше лампочки, тускло мерцающей, на каком-то огромном гвозде повисла детская ванночка — не такая уж и маленькая — из поблескивающего металла, которым покрывают крыши новых домов, оцинковки, как я позже узнал.

Просто она тускловата блестяла, и пространство широкого коридора от этого чуточку убавилось.

В коридоре возник Лёвка в каких-то коростах на лице: то ли заболел, то ли с кем-то подрался, но его бодрый голос означал его абсолютное здоровье и жажду действий.

— Ну чё? — обрадованно воскликнул он, совершенно не принимая во внимание, что началась война и дядя Гриша уже уехал принимать тяжёлые орудия.

— А через плечо! — откликнулся хриловатый голос мало мне известного Дольки. Была тогда у пацанов вот этакая словесная переключка, мало, надо сказать, цензурная, но не самая дерзкая. Как мне тогда казалось.

— У тебя-то отца не берут, — придирался лохматый Долька.

— Дак у него ТБЦ, — оправдался Лёвка.

— А что это такое? — спросила Ларка.

— Он болел туберкулёзом, — почти крикнул Лёвка. — С ним не берут.

— Болел! — не унимался Долька. — А не болей!

— Болел — не болел! — злился Лёвка. — Это дело врачей, а не твое, фриц!

— Что-о-о! — заорал Долька и кинулся с кулаками на Лёвку, да попал ему, похоже, в коросту, и тот взвыл, может, и не столько от боли, сколько от обиды, и проорал:

— Да хуже, чем фриц! Ты же не Долька, а Адольф! Как и Гитлер!
И закривлялся:

— Здравствуйте, фюрер! Адольф Фрицевич!

И тут началась свирепая драка. Долька был постарше Лёвки, ну, может, на год, но в предшкольные времена год — это не просто много, а о-очень много, даже если говорить только о росте и мускулатуре, - и Долька лупил бедного Лёвку почём зря. Тогда говорили: метелил.

Но Лёвка оказался живучим и упёртым.

— Гитлер! — кричал он. — В нашем коридоре! Живёт Адольф!

На крики выскочили из своих комнат дядя Лёня Андреев и Нюра, Долькина мать, так её звали все взрослые в коридоре. Вышли зачем-то и Аркадий Васильевич со своей женой Милой, а из-за них высовывался Артур.

Но Долька с Лёвкой не утихали, сражаясь друг с другом. Хорошо, что никто из них не упал, — другой непременно бы воспользовался случаем и пнул ногой, а это было бы уже за пределом простой потасовки.

Дядя Лёня схватил Лёвку за шею, а перед Долькой выставил ладонь. Нюра хлыбестнула Дольку влажной тряпкой, которую, как орудие главного калибра, вытащила откуда-то из-за спины, и он скрылся.

— Ну и ну! — воскликнул Аркадий Васильевич, который, как я понял ещё в Новый год, был здесь если и не за главного, то за самого уважаемого. — Ну и ну! — повторил он. — Военные действия в собственном коридоре! — И проговорил совершенно непонятное: — Разброд в собственных рядах — это первый шаг к поражению. Хоть на фронте! Хоть дома!

И сердито скрылся за своей дверью. Вместе с женой и сыном.

Потом Лёвка подробно рассказал мне, что полное имя Дольки — Адольф — он не у постороннего какого-нибудь узнал. А у самого Дольки.

Тот горевал, тосковал, говорил, что имя придумали родители, которые в Бога верить отказались, как того требовали с большевиков. Даже если это были самые простецкие большевики — у Дольки-то отец работал шофёром на автобусе. Так бы назвали его просто Ванькой или Санькой, да и дело с концом, но ведь выискали же Адольфа!

И если бы Долька сам не начал, сам не стал кричать, что Лёвкиного отца в армию не берут несправедливо, никогда бы он не стал ссориться с Долькой. Даже драться.

Детская эта драка в общем коридоре стала предметом обсуждения и взрослой публики. Моя мамочка сказала тёте Нюре, что знает семью, где парень постарше Дольки тоже назван Адольфом, но все его кличут Адькой, а это может быть производным от Владьки, к примеру. Но Нюра не спросила, а сказала тоскливо:

— Да ведь в свидетельстве-то осталось?

Мама кивнула и сумела добавить лишь одно утешение:

— Ну кто их смотрит, эти свидетельства?

— Надо его переименовать! — твердо сказала тетя Нюра.

Говорила мамочка с Нюрой при мне, прямо в коридоре, теперь Долькиной тайны не существовало, и хотя он-то вообще ни в чём не был повинен, расплачиваться приходилось ему.

С одной стороны, это вызывало к нему сочувствие, а с другой — что же поделаешь: написано пером, а не вырубил и топором.

Под легкомысленным именем Долька скрывался всем ненавистный фюрер.

12

Тот сорок первый год, так счастливо начавшийся в общем коридоре, становился всё непонятнее: страна голосом знаменитого диктора Левитана объявляла нам о всё новых отступлениях.

И, может быть, всякий раз даже для взрослых, не говоря про нас, ребятню, уверенные, но и печальные слова этого неведомого человека из Москвы каким-то непонятным образом больно касались нашей жизни.

Вторым, после дяди Гриши, взяли на фронт Долькиного отца, дядю Володю, потому что, как сказала тётя Нюра, он был шофёр, а требовалось много множество шоферов, чтобы оказать сопротивление врагу. Они ведь и машинами рулят, и даже самоходными орудиями, если потребуется.

Ушёл он, как говорила тётя Нюра, заглянув к каждому соседу и со всеми попрощавшись за руку. Ясное дело, это было без нас, мы ведь живём в другом месте.

Так что дядя Володя, как и дядя Гриша, ушёл из дома пешком, с вещевым мешком за спиной, без всяких проводов.

Не попрощавшись ни с кем, исчез и самый образованный из всех соседей — Аркадий Васильевич, отец Артура. Как сказал нам потом Арик, просто за ним пришла легковая эмка, и отец сказал, что едет на аэродром. Потом сообщит, где он. Довольно скоро пришла телеграмма, что он в Москве и зачислен в штат Комиссариата иностранных дел.

Услышав такие слова, коридор как будто сник, удивляясь и не понимая, что это значит. Но втайне эти слова глубоко уважали. Это же известно: чем непонятнее, тем уважаемее.

А вот уход того высокого и худого дяденьки в синей военной форме, отца Владьки Деньгина, я нечаянно застал. Мы зачем-то пришли к тёте Лине, Ларке и их обезрученной бабушке Лизе и только налили чай, как в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошёл он. Только не в синей гимнастёрке, а в зелёной, но с теми же ромбиками в петлицах.

Он улыбался лишь чутьочку, лицо было спокойно, и тётя Лина назвала его Ильей Сергеевичем, отирая стул тряпкой — чтобы он сел.

Но он не сел, а чутьочку наклонил голову и сказал:

— Не беспокойтесь, я зашёл попрощаться. Вечером эшелон на Москву.

И тут глаза его опустились, как-то заблестели, и он добавил:

— Берегите друг друга. Всем нашим коридором! И семью мою не забудьте, дорогая Лина Павловна! Мою Ольгу и моего Владьку!

Он сказал это каким-то безнадежным голосом, как-то очень нетвёрдо, даже неуверенно, но уверенно шагнул вперёд, к тёте Лине, неожиданно наклонился и поцеловал ей руку.

Моей маме он руку просто пожал, и Ларке, и мне, и бабушке Лизе. И бабушка молча перекрестила его здоровой рукой. Он вышел. Было слышно, как он стучит в другие двери. Потом в другие. Ко всем заходит и со всеми прощается.

Потом мы с Лёвкой обсуждали, почему синяя форма сменилась у него на зелёную, и туберкулёзный дядя Лёня пояснил нам, что Илью, похоже, перевели из органов в действующую армию, вот и всё.

Добавил, вздохнув:

— Под пули.

— А чего? — спросил Лёвка отца. — Пули в органы не попадают?

— Ещё как! — усмехнулся его бледный отец, но мы не очень-то поняли это взрослое объяснение.

Итак, Илья Сергеевич ушёл на войну последним из мужчин коридорной системы. Его спокойное лицо мне запомнилось надолго хотя бы потому, что он пожал мне руку по-взрослому, не улыбаясь, да и какие могли тогда быть улыбки, когда человек прощается, уходя на войну!

И всё-таки лицо его выражало что-то особенное. Спокойствие казалось совсем не успокаивающим, наоборот. Какой-то безнадежностью, даже отчаянием тихо бледнело оно.

Все, кто был в своих комнатах, вышли на кухню, к чугунной лестнице, ведущей вниз. Илья Сергеевич появился на пороге своего жилья, а за ним его молчаливая жена, тётя Оля, Ольга Петровна. И Владька.

Владька неожиданно подскочил и повис на шее отца. Молча. Долго не отрывался от его щеки, пока тот не ссадил на пол своего сына, самого из нас высокого и, вроде, взрослого. Обнял Ольгу Петровну. Спокойно и сильно.

Потом резко повернулся и подошёл к краю лестницы. Сделал шаг вперёд, приспустился на одну ступеньку, вскинул голову и приложил руку к фуражке со звёздочкой.

Это длилось мгновение, может, секунду, может, две. Но я запомнил это лицо и эту честь, которую отдавал Владыкин отец всем нам, остававшимся в коридоре: женщинам и детям. И единственному мужчине — дяде Лёне Андрееву.

Отчего я так отчётливо помню эту сценку и уход на войну человека, про которого ничего не знал, да и видел-то его пару раз?

Столько лет, даже десятилетий прошло и столько разных бед, как чёрные тучи, пронеслось над моей собственной семьёй, а вот Илью Сергеевича помню. Будто сидит в моей голове фотография горького цвета — именно вкусом обозначена она почему-то, как будто все заранее известно про этого человека мне, совсем малому мальчишке. И вот этот последний шаг на железную лестницу, ведущую не на улицу, а в войну, я могу если и не понять, то почувствовать. Даже вкус горечи ощутить. Хотя ничего этого мне совсем не было положено.

Но война входила во всех по-всякому. Не зря же говорится, что собаки заранее чувствуют землетрясения и воют, страшась и тем самым предупреждая людей.

Почему же человек, пусть и маленький, — а может быть, именно потому, что маленький, — не способен если не воем, так словами выразить тревогу? Не может предчувствовать беду всей своей небольшой душой?

Я почувствовал. И испугался.

Удивительно, но этот страх заставил меня пореже ходить в знакомый дом, к коридору которого я уже чуточку привык.

Скажу даже и точнее: я стал бояться этого коридора. Как будто был перед ним виноват.

13

Я встречал на улице Лёвку Андреева, и мохнатоголового Дольку, и Ларку. Ни разу не видел только Артура, будто он куда-то пропал. И Владыку. Лёвка всегда звал к себе, остальные были более или менее приветливы, как просто знакомые люди. Кто кивал, кто поднимал руку в приветствии, а Лёвка звал, да мамочка моя иногда ходила проведать тётю Лину, но я всегда находил причину отговориться. Чтобы не ступать на железную лестницу общего коридора, которая теперь меня почему-то пугала.

В ноябре судьба одарила нас сразу бедой и радостью.

На фронте ранили отца, и его отправили санитарным поездом на Урал, но поезд этот шёл через наш город. И он попросил, чтобы его “списали” в здешний госпиталь. А в госпитале работала мамочка.

Вот так: и беда, и радость.

Через пять месяцев после начала войны отец вернулся! Ну да, в госпиталь! А потом ему снова надо было ехать на фронт, второй раз идти на войну!

Как это можно представить себе из наших нынешних времен и как это совершалось тогда, наверное, можем знать только мы, ребята той поры.

Что зависело тогда от нас? Что могло зависеть? Да ничего! Страна страдала вся, поголовно, и пусть раненый, да ещё не сильный, солдат, когда и руки, и ноги целы, хотя, понятное дело, после поправки в госпитале снова должен сесть в воинский эшелон! И это считалось удачей! И даже чудом.

Особенно когда всё так близко...

Отца ранили под Москвой, рассказывал он мне, когда я сидел на его госпитальной койке, вместе с мамой, — а она была тут своя, в белом халате, ведь она работала здесь лаборанткой в лаборатории, — и вот когда отец рассказал мне про Москву и про атаку, где его ранило, мама осторожно перебила его. И произнесла:

— А Илья Сергеевич — помнишь, из коридора?

— Конечно, — ответил отец.

— В общем, семья получила известие, что он пропал без вести.

Отца как-то передёрнуло, будто мороз по коже прошел, и он проговорил медленно:

— Там такая мясорубка... Но он всё-таки офицер, солдаты должны бы что-то знать...

Меня это мамино известие тоже будто чем-то изнутри ошпарило. А я ведь это знал, чувствовал, что будет какая-то беда... Про отца — не чувствовал, а про Илью Сергеевича — откуда-то знал...

И я сказал об этом отцу именно такими словами.

— Знать ты не мог, — ответил отец. — Но чувствовать... Пусть бы наши чувства, — тяжело проговорил он, — почаще нас обманывали...

— Но ведь такие извещения, — проговорила мама, — ещё не значат, что он погиб. Пропал без вести... Мало ли что?

— Ему бы лучше уж погибнуть, — ответил папа. — Ведь Илья — энкавэдэшник.

И покачал головой, когда я заметил, что ведь на войну тот уходил в зелёной гимнастерке.

14

Владьку же увидел в начале декабря первого военного года, и вовсе не на улице, а в нашем овраге.

Он был всё-таки года на два нас, остальных, постарше и умел такое, что нам могло только привидеться во сне.

В суровую зиму овраг наш становился, к удивлению, очень живым местом. Он ведь порос репьем, а репейные зернышки, как известно, клюют птицы всяких пород — и синицы, и снегири, и всякие овсянки и щеглы, и вот находились люди, которые охотились на них. Не для того, чтобы зажарить и съесть, а чтобы просто продать на рынке людям, которые и в войну готовы были купить птицу, чтобы была живая душа рядом.

И вот я издалека увидел пацана, который “рыбачит” птиц. Если кто не знает, как это делалось, можно объяснить. Конечно, лучше всего птица идёт в западенки, так попросту зовут деревянную клетку, но можно ещё к удилице приделать петельку из почти невидимой лески, которую употребляют рыбаки при ловле рыбы. И вот эту петельку, очень осторожно подобравшись к синице, которая, например, клюет репейник, надобно поднести, завести её на оловку и легко потянуть. Птица в петле!

Однако это просто только на словах. На самом же деле надо умело подкрасться, тихо, еле шевелясь, поползти к кусту, где сидят птицы, умело, не спугнув, протянуть удилице и ловко накинуть петлю! Морока, конечно, которая требует дикого терпения, ловкости и необыкновенной удачи.

Я видел парня сверху, с обрыва над оврагом, ведать не ведал, что это Владька, и был поражён, когда охотник у меня на глазах поймал синицу, вынул её из петли и посадил в клетку. Когда удачливый птицелов приблизился, я ахнул. Владька! Знакомая личность!

— И где ты такому научился? — спросил я почти восторженно, разглядев лицо удальца.

— Терпение и труд всё перетрут! — ответил он пословицей. Был, видать, рад, что не только поймал синицу, но ещё и что тому нашелся свидетель.

— А ты заходи ко мне, — неожиданно сказал Владька, — когда у нас будешь. У меня их штук десять. И снегири есть!

Про его отца мы не сказали ни слова, и я через недельку-другую отправился прямо в комнату Владьки.

Я постучал, дверь открылась, и мне приветливо кивала Ольга Петровна, Владькина мать.

— А Владика нет! — сказала она. — Наверное, опять охотится.

И когда я уже стал разворачиваться, предложила:

— А ты зайди, подожди. Он надолго не исчезает. Вот птиц его посмотри.

Я вошёл, разделся и с опаской приблизился к огромной проволочной клетке, которая стояла на тумбочке у окна, чтобы, наверное, светлее жилось птицам.

Щебетание в комнате стояло непрерывное. Штук десять разномастных птичек свистели, пели, щёлкали на разные голоса, пили из глубокого блюдечка, клевали семечки подсолнечника, прыгали, скакали и были, казалось, в самом благоприятном расположении духа.

— И как же вы живете, — спросил я и по-взрослому, и наивно сразу. — Они же и ночью поют.

— Ночью они спят, — ответила Владькина мама, — а если надо, чтобы замолчали, надо накинуть на клетку вот это.

И она накинула какую-то большую и черную тряпицу, вроде плотной шали. Как по команде, клетка умолкла.

— Вот так, — сказала Ольга Петровна, — я делаю, когда Владика надо учить уроки. Но ему это не нравится.

Она вздохнула и оглядела меня сверху донизу.

— А ты в каком классе?

— Ни в каком, — ответил я. — Пойду только на будущий год. Но я умею читать, писать и считать.

— Это правильно, — вздохнула Ольга Петровна. — А то Владик в третий перешел, уже совсем взрослый. А мне надо работать, и ему не с кем учить уроки. Он отстаёт.

— Что вы! — не понял я. — Вон он как птиц-то ловит!

Владьку я тогда не дождался, но, встретив однажды на улице, был им как-то бессловесно одобрен, он улыбался, говорил, чтоб я ещё заходил, и сказал, чтобы лучше к вечеру, когда мама его уже возвращается с работы, чтобы чайку пошлычкать.

Есть такое у нас народное словцо, оно, пожалуй, скорее старушечье и дети его не очень употребляют, но когда надо изъяснить добродушие, тогда — пожалуйста.

Владька изъяснил.

15

Детское и взрослое необъяснимо переплетались друг с другом, конечно же, помогая соединиться между собой, научая малых понимать взрослое, а взрослых озираться на детский мир, не только спасая его от голода и болезни, но и сливаясь в общем, совершенно одинаковом для малых и старых — горе, испытаниях, падавших на всех без разбору их возрастов, их житейских знаний и опыта...

Жизнь показывала более чем уверенно: и взрослые, закалённые, опытные люди враз становятся беззащитными детьми, получая удар судьбы в самое сердце. А небольшие ростом, да и душой, дети способны каким-то тайным чувством и опытом вдруг стать, пусть ненадолго, может, на спасительный миг, разумными, твёрдыми, совершенно взрослыми, способными помочь рядом страдающим взрослым.

Вот и Владька.

С ним прямо целая история случилась. Вернее-то, не с ним, а со мной, потому что во всём, что произошло, оказался замешан я.

Сначала про моего папу. В сорок третьем его ранило снова, и хотя так не бывает, он снова оказался в санитарном поезде, который опять шёл на Урал, и по дороге был наш город, куда его снова передали на лечение в здешний госпиталь. И снова в госпиталь, где работала мама. Только теперь его койка оказалась в большой палате, бывшем зале. И зал этот всегда был переполнен ранеными. Заходить туда оказывалось страшновато, потому что одни тут кричали от боли, другие смеялись, рассказывая шуточные истории, третьи молчали или просили позвать сестру, хотя сестры и так перебегали там от одной койки к другой.

Отец улыбался. И мама улыбалась ему. И я улыбался, им обоим, когда приходил в эту огромную палату.

В те же дни мама захватила меня с собой в воскресенье на рынок. Она обучала меня ходить туда с бидончиком, чтобы научиться покупать молоко, но прежде чем купить его у деревенских женщин, требовалось проверить,

не скисло ли оно и хороший ли у него вкус, и мама обучала меня, чтобы я снял крышку с бидончика и попросил налить в неё немного молока — для пробы. На один глоток.

Продавщицы выполняли просьбу безотказно, и если тебе что-то не нравилось, не имели права высказываться, а уж тем более — ругаться.

Я ходил с мамой не первый раз на такие испытания моей самостоятельности, и в то воскресенье всё обошлось. А когда с рынка уходили, я увидел у выхода Владьку.

В ногах у него стояла клетка с птицами.

Я мамочку дёрнул, она тихонько ахнула, но мы к нему подошли, а мама, растерявшись, спросила:

— Почём птичка?

Владька ни чуточки не растерялся, цену назвал. По-моему, тридцать, были такие красные деньжищи. Но по тогдашним ценам — тридцатка за снегиря — не много и не мало.

— Ты чего это, Владик? — спросила мама.

— Да ничего, — ответил он совершенно спокойно. — Маме помогаю. Хоть чуточку. Мы же за отца ничего не получаем.

Он на меня даже не глянул: разговаривал только с мамой.

— Если бы пришла похоронка, помощь бы давали. Но он пропал без вести. Так что не полагается. Ответа из части не приходит, хотя он и офицер. А мама библиотекарь в школе. И я ничего не умею. Кроме этого.

Довольно подробно всё объяснил Владька, не то растолковывая нам, не то оправдывая себя.

— Извини, Владик, — проговорила моя мамочка. — У меня сейчас денег нет. Брали только на молоко.

Домой шли молча. Правда, мамочка сказала пару раз:

— Это надо же! Надо же!

Она и отцу повторяла своё причитание, как только рассказала ему о встрече мальчика с птицами, очень даже знакомого.

Папа плохо слышал, ведь его контузила авиационная бомба, которая грохнула рядом с укрытием, и, если бы не мощная церковная стена, за которой прятались солдаты, не осталось бы там в живых никого.

Может, потому папа часто лежал, уставившись в белый потолок палаты, и хотя рядом сидел я, да и мама приходила, — думал о чём-то вытянувшись, чем-то встревоженный, будто ищет он ответа, а его и нет, этого ответа. Не бывает.

Когда мама, повышая голос, рассказала отцу про Владьку, тот закрыл глаза и недолго так полежал. Потом сказал непонятное:

— До Благовещенья не долежу. — Полежал опять как-то встревожено. Потом повеселел, будто до чего-то догадался, и проговорил маме: — А почему его надо ждать? Благовещенья?

Я потом спросил у мамы, что такое Благовещенье, и она сказала, мол, церковный праздник. Бывает перед Пасхой. И я кивнул, потому что на Пасху бывают куличи. Если не бывает войны.

Отец лежал в госпитале ещё довольно долго. Время от времени он спрашивал меня про Владьку, но я того не видел, а идти к нему домой почему-то не хотелось. После выписки из госпиталя отцу полагалось ещё десять дней до отправки на фронт, и его выписали домой. После уроков я бежал домой, и, кроме бабушки, меня встречал отец — в своей довоенной штатской одежде — брюках, валенках на босу ногу, иногда в старом пиджачишке с довоенным стажем и в такой же неновой фланелевой рубаше, которую иногда, когда он был на фронте, надевал я.

И вот на третий день примерно он спросил меня, сколько же птиц в большой клетке у Владьки. Я рассказал, что когда был в их доме первый раз, там чирикало, по словам Ольги Петровны, десять. Но он же продолжал их ловить!

— Тогда, — сказал отец, — пойди сейчас к Владьке, только говори с ним без его мамы, и скажи ему тихонько, что я, твой отец, нашел покупателя сразу на тридцать птиц. Однако есть условие: выпустит их всех в одном месте

и сразу. Как на Благовещенье. И пусть он принесёт к нашему оврагу ту большую клетку, про которую рассказывал.

Всё получилось как в сказке. Только с одним Владька не согласился — не понёс свою огромную клетку. Ольги Петровны не было дома, поэтому Владька уверенной рукой как-то мастерски, не доставляя птицам неприятных мгновений, пересадил их в две не такие уж большие западни, и мы двинулись к оврагу.

— Кто же это, кто? — допрашивал меня Владька, но я повторял давно разученное.

— Это мой отец нашёл покупателя. Но покупает не он, не отец. Отец сказал только про Благовещенье, это праздник перед Пасхой.

— Может, кто из церкви? — предполагал Владька. — А он точно придёт?

Я не знал искренне и честно ответов на его вопросы, и когда подошли к нашему дому на краю оврага, мне пришлось сбегать за отцом. Он вышел и громко сказал, почти крикнул Владьке:

— Сколько денег за всех?

Владька назвал.

— По сколько за душу?

Владька ответил. Отец громко посчитал. Получилось почти тысяча, но не тысяча. Чуть меньше. И отец деловито, будто выполняя чье-то поручение, убрал из своей руки в карман несколько бумажек. Остальные передал Владьке, сказал строго:

— Пересчитай.

Тот сосчитал, кивнул головой, сунул в карман, а отец ему велел:

— Открывай с Богом!

— Как открывай! — воскликнул Владька. — А где получатель?

— Он мне поручил. Доверил. Деньги у тебя? Открывай!

И Владька открыл.

Навеки осталась во мне эта картинка!

Зима сдаётся весне, но снегу полно. День клонится к концу, но ещё светло. Небо серое, но какое-то доброе, потеплевшее.

И в тишине — треск крыльев, распрямляющихся на свободе! Чирикание освободившихся и отлетевших. А ещё молчание тех, кто не вылетел. Краткое молчание, завершающееся радостным возгласом свободы.

Некоторые птицы даже далеко не отлетали. То ли хотели сказать что-то напоследок, чирикнуть — не то чтобы благодарно, а удивлённо. То ли просто не знали, что им теперь делать, на свободе-то, которая требует трудов, а не только радостного чириканья!

Это длилось минуту! Две! От силы три — и стало пусто. Наш добрый, древний мудрый овраг спрятал среди оголённых ветвей своих деревьев и кустов стайку птиц, которым предстояло встретиться весну.

До срока! Раньше поры! Но Благовещение грянуло свободой этих птиц — желтопузеньких синиц, красногрудых снегирей, разукрашенных щеглов, сереньких овсянок и кого ещё там...

Благая весть! Какие слова и какая надежда!

И Владька спросил отца:

— Так это вы?

Отец нахмурился, даже чуточку рассердился.

Потом поднял палец, указывая в небо, и проговорил, помотавши контуженной головой:

— Это Он!

Да, да, отец поставил внятное ударение на букве О!

16

Но вернусь назад, в начало сорок второго года. Когда отец уехал из госпиталя на фронт после первого ранения, опять вернулось к нам в дом тягостное ожидание неизвестно чего.

Однажды к нам — не зашла, а прибежала тётя Лина и рассказала маме, что объявлено уплотнение.

— Пришла, — рассказывала она, — целая комиссия из гражданских и военных. Настучала сапогами и объявила, что ко мне поделят военных, представляешь! Морских офицеров! Из военно-медицинской академии. И не спросясь, ставят перегородку в нашей комнате. Из фанеры!

Она чуть не плакала и, конечно, злилась, что ей силком, хотя муж офицер, воюет в артиллерии, ставят квартирантов.

Мама охала и ахала, наверное, как и я, представляя себе, каким таким образом в нашу комнатёнку поделят двух чужих мужчин, пусть и морских офицеров.

— Да ещё они и врачи! — воскликнула тетя Лина.

— Понятно! — кивала мама, всё-таки она работала лаборанткой в госпитале. — Морские врачи! Только им бы надо на военных кораблях ночевать, а не в вашей комнате!

— Какие корабли на нашей речке?

Ларка была с матерью, внимательно вникала во всё, что та говорит, но молчала, видать, думала. И придумала такой вопрос, что настала тишина.

— А как же мы будем раздеваться? И одеваться!

— Конечно! — после паузы воскликнула её мать. — Полкомнатки, где будем мы, они делают проходными!

Настала раздумчивая пауза.

— И стенку-то фанерную, — добавила Лина, — колотят не мужики, а две бабёнки.

Опять помолчали.

— Видать, деревенские! Но умелые. Колотят споро!

Ещё через неделю мама сказала, что её зовёт тётя Лина, но одна она не пойдёт, и предложила мне пойти вместе.

Отчего бы и нет?! Там были пацаны ведь — и тот же Владька, тогда ещё с большой птичьей клеткой, и Лёвка, который не Лев, и Долька, за которым скрывается Адольф, и Артур, человек из книги Марка Твена.

Мы пошли, но до ребят я так и не добрался. Зато всё остальное меня поразило.

Поперёк когда-то большой комнаты стоял фанерный забор, из простой фанеры, и посреди его была дыра, то есть проход, неуверенно затянутый занавеской на резинке. В проходной части уместилась узкая кровать бабушки Лизы. Другая кровать упиралась в окно. И рядом с этой, приоконной, размещалась третья.

Между бабушкой и тётей Линой шёл спор, старушка считала, что ей нужно спать на ближней к выходу кровати, но тётя Лина настаивала, чтобы она была поближе к Ларке, у окна, там удобнее, ведь бабушка, кроме всего, ещё и инвалидка.

Непривычно для этого тихого семейства вдруг громко хлопнула дверь, и на пороге объявились два человека в чёрных шинелях и в таких же ушанках. Там, где полагалось быть тёплым шарфам, белели светлые шарфики, да ещё и золотистые пуговицы победно сверкали на чёрном-то фоне шинелей.

Громко же, не сдерживая голосов, оба не сказали, а крикнули: “Здравия желаю!” — и перешагнули порожек, протягивая перед собой свёртки.

Тетя Лина заулыбалась, кинулась вперёд, приветливо глядела и бабушка Лиза, только мама моя смотрела испуганно, пока к ней не подошёл первый, гладколикый, будто на его лицо натянута прозрачная резина, блондин, и не представился:

— Капитан-лейтенант Метельский! Евгений Николаевич!

Протянул руку, вроде чтобы пожать мамину, но, когда она дала свою, поцеловал её. Мама же моя даже содрогнулась от такого обхождения. И покраснела. А я не знал, что и подумать! Целуют руку моей маме! Капитан-лейтенант!

И второй, тоже капитан-лейтенант, по фамилии был Хвостов!

Смутные чувства овладели мной. Вроде красивые военные дядьки, в чёрной морской форме, на груди какие-то непонятные значки. Но почему

руку-то мамину целуют? Кто разрешил? Отца бы сюда! Что бы он об этом сказал! Моя же мама — папина жена, зачем посторонним мужчинам руку ей целовать! И почему капитан да ещё и лейтенант?

Я так и сказал, когда и мне они руку пожали:

— А почему сразу! И капитан, и лейтенант! А не отдельно? — ведь я уже кое-что знал в таких делах.

— Правильно говоришь! — хлопнул меня легонечко по плечу Метельский. — Но это в армии отдельно! И капитан! И лейтенант! А мы флот, понимаешь? На флоте всё по-другому! Верно, товарищ капитан-лейтенант? — спросил он Хвостова, которого звали Эдуард Сидорович. Какое забавное смешение имен! Но я уже потом это подумую.

Я смотрел на мамочку и удивлялся. Она как покраснела, когда ей руку целовали, так и ходила розовая. Похоже, ей понравилось, что руку поцеловали. А я, разглядывая её, негодовал. Я как бы вместо отца оценивал происходящее. Я за него обижался. Он же на фронте, а в тылу его жене целуют руку, подают свёрток с колбасой, с рыбой, с сыром, которых по карточкам не выдают, и все довольны друг другом, даже мама...

Нет, то, что она порозовела, у меня вызывало возмущение. Малолетнее, может, но всё же!..

И мамочка моя будто услышала меня. Когда стол за перегородкой был уже накрыт, сияя забытыми яствами, она вдруг хлопнула себя по голове и, покраснев на всю катушку, воскликнула:

— Ой! Простите! Суп! Кастрюля! Я же поставила суп на плитку, а выключить забыла! Надо бежать! А то всё сгорит!

И под лопотание, под восклицательные знаки тёти Лины и двух голосистых капитан-лейтенантов, уже наливших из белой бутылки по рюмкам — по пяти рюмкам, как успел просчитать я, — мы с мамочкой, не оборачиваясь, ринулись сначала во всезнающий коридор, потом по гудящей лестнице, на заснеженную улицу и так бежали до угла, пока гостеприимный дом не скрылся за поворотом, и вдруг...

Вдруг мамочка остановилась и с минуту стояла, передыхая.

— Бежим же! — воскликнул я, но мамочка махнула рукой.

— Да нет никакой плитки! И кастрюли нет. Это я так! Нарочно! Иначе не уйдёшь!

И твёрдо добавила:

— А уйти было надо! Идём!

И мы пошли домой. И хотя я теперь-то ясно соглашался, что уйти было действительно нужно, и что мама краснела-то оттого, что вся её душа противилась предстоящему застолью, запах всегда прекрасной колбаски имел всё-таки свою особую, все принципы разрушающую, власть.

Я от неё отмахнулся. И рассмеялся!

— Ты чего? — спросила мама.

— Да я всё понял, — ответил я, хмыкая.

И тут она остановила меня, подняла мне голову за подбородок и внимательно поглядела мне в глаза. А потом сказала:

— Нет, ты не всё ещё понял. Тебе ещё рано это понимать...

17

А потом в коридоре подряд произошли два события.

У Лёвки Андреева родились сразу два брата-близнеца, а Долькиному отцу оторвало на фронте ногу. Он лежал в московском госпитале, отправлять его на восток не стали.

Я тогда ещё подумал: вот пропал без вести Илья Сергеевич, Владькин отец, и ничего в коридоре не случилось. Или вот дяде Володе оторвало ногу — тоже тишина. А родились на свет Божий два пацанёнка Андреевых, так шум и гам от начала чугунной лестницы до последней паутинки в углу.

Братцы у Лёвки оказались голосистыми — это раз. Хотя, может быть, это двери, ведущие в комнату, оказались тоньше, что ли, других? При мне однажды та самая ничья оцинкованная ванночка для стирки вдруг пригодилась при

купании младенцев, и дядя Лёня, тайный туберкулёзник, решил снять её с гвоздя, вбитого в стенку коридора, и то ли взялся неудобно, то ли ещё что, но ванночка сорвалась и загремела по сундукам и столикам, как гремит, может быть, пулемётная очередь.

Близнецов в ней стали купать каждодневно, пару раз и я был удостоен чести зайти во время такой церемонии. Мальчики были совсем крохотные, даже и сидеть ещё не умели, так что купали их по очереди, как два полешка, и орал они от всей души, но ни взрослых, ни Лёвку это нисколько не смущало. Только я ёжился да ждал, когда меня отпустят. Я ведь вовсе не рвался присутствовать при купании, просто меня пригласили, раз я шёл мимо андреевской двери, а есть приглашения, от которых нельзя отказываться, если ты дружелюбно относящаяся личность.

Во время купания малышей семья, состоящая из дяди Лёни, тети Зины и Лёвки, не в первый раз, похоже, принялась при мне громко, перебивая друг друга, обсуждать, какие имена дать двум ребятам, которые наверняка будут похожи друг на друга.

— Может, Кирилл и Мефодий, — начал вкрадчиво всегда тихий дядя Лёня, и нам, в ту неверующую пору, еще в голову не приходило, что это святые имена, да ещё и людей, давших русским их азбуку, и Лёвка спросил отца не без ехидцы:

— А как будем звать их ласково? Кирик и Мефик?

Тётя Зина хихикнула, заметила:

— Были бы парень да девка, что лучше, чем Олег да Ольга! Никто не забудет!

— Тогда быгодились Пётр и Феврония, — проговорил дядя Лёня, опять выбрав из каких-то дальних далей.

Тот младенец, которого купали, орал во всю мочь, а тётя Зина смеялась ему в ответ и нежно целовала его и в носик, и в попку, а я, уже насмотревшись, норовил протиснуться поближе к двери, пока та же тётя Зина не поняла меня и не сказала, отпуская:

— Привет маме!

Я же не каждый день приходил в этот коридор, и поэтому новости достигали меня как-то концентрированно, когда, например, встречал на улице то Лёвку, то Владьку, то Дольку.

Понятно, что именно Лёвка, повстречав меня, сообщил, что тайные вооружения похитили детскую ванночку, смиренно серебрящуюся в углу, и общее собрание решило закрыть дверь в подъезд. Так что теперь у них на улице провели звонок, и там висит список, сколько раз кому звонить, чтобы дверь открылась. Это раз. Но, главное, все наперегонки размышляют, кто ходит по ночам и ворует ванночки, ведь главное-то заключалось в том, что могли украсть картошку, которая стояла под кухонными столами, даже примусы, да и вообще-то керосин для них имелся при каждом производственном столике, и его можно было пожечь.

Коридор, когда я зашёл, как-то сжался. На общей, у лестницы, площадке столиков стало меньше, пожалуй, только у Деньгиных остался. А дверь, которая вела в сам коридор, на ночь тоже закрывалась, и у каждой семьи был свой ключ.

На стенах коридора появились гвозди и крючки, впрочем, никаких авосек с продуктами на них не висело — даже лук хранился теперь в комнатах, наполняя их запахами, не вполне приятственными.

Владька с матерью оказались передовым подразделением, которое первым встречало прохожих, где слегка напоминал о своём присутствии двухэтажный туалет и где звонил во весь голос уличный звонок.

Удивительно, но уплотнили морскими офицерами почему-то только тётю Лину, у Андреевых теперь числись трое детей, у Долькиной семьи комната была мала, а на самую большую комнату Аркадия Васильевича Бутакова, хотя он служил в Москве и находился, как повторяли, в служебной командировке, никто не покусался.

Бутаковы с таинственным Артуром и вечно командированным отцом не обсуждались. Но кое-что обсуждалось, и очень даже невесело.

Однажды я сам услышал, как Долькина мать, не очень-то и снижая голос, произнесла примерно такую мысль:

— Почему-то одним снаряды ноги обрывает, а другие в это время мирно размножаются!

— Нюр, Нюр! — сказала ей тётя Лина. — Окетись! Народ гибнет! Рожать надо! И Зинка молодец!

— А почему, — почти крикнула тётя Нюра, — одним можно, другим нельзя!

Ох, не понравилась мне эта перепалка!

Показалось мне, ещё малому созданию, что тётя Нюра позавидовала Андреевым-то!

Но чего тут завидовать!

18

Да и вообще, в Долькиной семье билась какая-то тоска. Хотя ведь война для них, можно сказать, закончилась.

Где-то в далёком госпитале лежит дядя Володя, пусть без ноги, но ведь живой же, живой, и вот стоит ему окончательно поправиться, он вернётся домой. И уже сейчас, ещё до его возвращения, понятно, что он придёт, приедет, — да даже если его и принесут сюда на носилках, — и они же всё-таки обнимутся — тётя Нюра, Долька и его отец. И всё! Задолго до конца войны, для них всё — или почти всё горькое — закончится!

А мой отец? Он три раза уходил на войну. А дядя Гриша, Ларкин отец? Где он и как? Да, он хоть присылает военные треугольники без марок, но Ларка говорит, что папка ни о чём не пишет: “Здравствуйте! Я жив! Как живёте вы? Пишите мне чаще!” И все!

И Ларка, и тётя Лина одинаковыми словами жаловались нам, что их дядя Гриша пишет очень строго, даже сухо и ни о чём не рассказывает.

— Значит, не может! — утешала их моя мамочка. И пожимала плечами. Ведь наш папа тоже писал короткие и сухие предложения.

Зато, оказалось, шофёр по специальности дядя Володя, Долькин отец, присылает длинные письма. Любит в них пошутить, например, написал тётя Нюре, что ему снится один и тот же сон, как они, когда он приедет, обязательно пойдут на танцы, и успокаивал жену, да и сына, мол, ну что вы печалитесь, мне сделают протез, а сколько одноногих мужиков во всём мире умеют танцевать! Чем он хуже.

Мохнатый Долька от такого письма — а точнее, от таких писем — каким-то образом теплел, становился, мне казалось, добрее. Было понятно, что они с тётей Нюрой готовятся к возвращению отца с одной ногой. Долька даже меня спрашивал, захожего гостя:

— Как он будет по нашей лестнице подниматься?

Но, оказалось, Долька с матерью готовились встретить отца и ещё одной тайной.

Однажды ко мне прискакал Лёвка Андреев, просто так, по-пацановски, и вдруг, среди прочей болтовни, сообщил:

— А Долька-то! Имя сменил!

— Во даёт! — выдохнул я, но сразу понял: они готовятся встретить безногого отца из госпиталя. Ну, на самом деле! Как это может быть, чтобы Адольф — хотя этот Адольф ни в чём не виноват! — встретил тяжелораненого отца с фронта.

Конечно же, я спросил Лёвку, какое же новое имя выбрал Долька вместе с тётей Нюрой, и Левка забуксовал. Никак не мог вспомнить это новое имя.

— Но зовут-то, как всегда, Долька!

Что-то не сходились концы с концами у Лёвки, сразу понятно, почему он Львом быть не рискует. И мы пошли с ним на улицу. Как-то незаметно я провёл его до его дома, и тут нам навстречу выходит Долька.

Улыбается мне, улыбается и Лёвке, а тот спрашивает:

— Я позабыл твою новую кликуху.

— Не кликуху, — ответил Долька, не обидевшись. — А имя. Долиан!

— А такое имя бывает? — удивился я.

И Долька ответил:

— Ну если и не бывает, то теперь есть!

И полез во внутренний карман, вытащил бумажку, трепетавшую на ветру, и дал мне прочитать.

Там было написано: “Долиан Владимирович Воробьёв”.

Я ещё подумал тогда про себя, что даже фамилии Долькиной не знал. Какой-то молнией меня пробило: как же он жил раньше — Адольф Владимирович Воробьёв?

Ну, и главное мне тоже довелось увидеть. Снова по какой-то причине я зашёл в знаменитый коридор и сразу почувал лёгкое возбуждение.

Из дверей то и дело выглядывали все соседки подряд — и Ольга Петровна, и тётя Лина, и дядя Лёня с тётей Зиной Андреевой! И даже Людмила Степановна Бутакова с сыном Артуром, которого я не встречал целую вечность.

Я даже и спросить ни о чём не успел, когда Лёвка просто тремя словами обстановку разъяснил.

— Воробьёвы за отцом поехали! Сейчас придут! Подожди!

И я дождался.

Сначала дверь сильно хлопнула, и на чугунной лестнице нарисовался Долька. Потом как-то боком вошёл человек в солдатской шинели без погон и в шапке-ушанке. Он продвигался медленно и опирался на два костыля. Но ноги-то у него были обе. Он с трудом, не раз передыхая, двигался, не поднимая головы, но в какой-то миг остановился, сдёрнул с себя ушанку и поглядел наверх.

Это был дядя Володя! Такой же, каким я запомнил его в Новый, сорок первый год, только... Только, мне казалось, что тогда он был чёрным, как цыган, не зря же и Долька мохнатый под отца. Впрочем, дядя Володя и сейчас был мохнатым, но только белым! Почти снежным.

Но он крикнул своим голосом: “Привет!” — и все его голос узнали. И все закричали: “Ура!”

Весь этот коридор, вся коридорная система выстроилась в тот миг возвращения дяди Володи Воробьёва наверху, вдоль перил, которые защищали кухонную площадку от лестницы, все смотрели вниз и все кричали: “Ура!”

А дядя Володя, осторожно опираясь на костыли, сначала поднимал их на ступеньку, потом, опираясь на них, переставлял одну ногу, а вторую волочил.

Нетрудно было понять, что другая-то нога у него не своя, а протезная.

Сзади дяди Володи хлопотала тётя Нюра, но ей только это и оставалось — хлопотать, передвигаясь по каждой ступеньке то вправо, то влево, и ещё, наверное, она страховала мужа, если он вдруг не удержится на костылях и начнёт падать назад.

Но он не упал, он двигался, опустив голову и как-то трудно удерживая равновесие, а чтобы не выглядеть совсем беспомощным, громко, чтобы всем было слышно, считал:

— Пять... десять... двадцать...

Когда он одолел лестницу и вскинул покрасневшее, влажное лицо, ступенек насчиталось тридцать, он, чему-то радуясь, воскликнул:

— Люди! Чуть не всю жизнь здесь прожил! А не знал, что ступенек у нас тридцать!

Он сделал ещё шага три, и тут его окружили со всех сторон. И женщины его обнимали — Ольга Петровна, тётя Лина, Зина, Людмила Степановна, говорили радостные слова, Владыкина мать вытирала слёзы, а тётя Лина даже кланялась.

Настала очередь ребятни. И тут дядя Володя стал серьёзным.

За два года мы все подросли, стали если и не взрослее, то всё-таки немножко другими. И дядя Володя затеял игру:

— Давайте, — сказал он, по-прежнему улыбаясь, — я поузнаю, кто из вас кто.

Поглядел первым на Владыку и сразу признал его:

— Деньгин!

И, пожав ему руку, спросил Владьку:

— А как Илья Сергеевич?

Тишина будто ударила всех на какой-то миг. И Владька молчал, ещё не перестав улыбаться. И тут послышался голос Ольги Петровны:

— Пропал без вести!

Шофёр по специальности, дядя Володя неожиданно наклонил голову и так же неожиданно сказал:

— Простите!

Только вот было неясно, за кого и почему он извинялся.

Дальше он узнал Ларку, а тётю Лину спросил о дяде Грише.

— Воюет, — сдержанно ответила она.

Про Аркадия Васильевича сказала сама его жена, тётя Мила:

— Аркадий в специальной командировке. Где и что — не знаю.

И тут настала моя очередь, я был последним из ребят.

Почему-то дядя Володя про меня знал, точнее, знал, что моего отца дважды ранило и он был в нашем госпитале, а потом уходил и опять уходил на войну.

И он сказал вдруг при всех, на той переполненной людьми лестнице:

— Кто-то бережёт твоего отца. Дай-то Бог!

А дальше навстречу дяде Володе выступили Лёвкины родители. Дядя Лёня обнял раненого и сказал ему при всех, довольно громко:

— А мы, Володя, родили двойню. Прости!

И дядя Володя вдруг радостно крикнул:

— Да за что же прощать! — И, отыскав глазами свою жену Нюру, спросил её: — Нюра, может, и мы ещё попробуем?!

И тут все засмеялись — и стар и млад.

И в этом шуме как-то негромко прозвучал голос Дольки, обращённый, как я потом сообразил, не только к отцу.

Он сказал:

— Пап! Я сменил имя! Меня теперь зовут Долиан. Тот же Долька.

Похоже, дядя Володя ничего не знал об этом. Он даже остановился от неожиданности.

Долька мог бы сказать это раньше, ведь он вместе с матерью встречал отца на вокзале. Или позже, когда они останутся только семьей. Но, видно, это известие, вместе с матерью, конечно, они решили объявить отцу в этот самый необыкновенный момент.

Дядя Володя опять остановился. Он умолк перед тем, как утвердить, наверное, это решение семьи, и возникла короткая пауза. И в этой тишине раздался забытый мной голос. И это был призрачный для нас Артур, сокращенно Арик.

— Вообще-то, — сказал Арик, — это имя звучит как Дориан. А Дориан Грэй — это герой прекрасного романа!

— Вот тебе и вынесли приговор, — сказал серьёзно дядя Володя, прижимая Дольку. — Теперь ты ещё и герой! Этого нам только не хватало!

19

А потом пробил час таинственного Арьки. Его мать тётя Мила прошлась по всем жильцам и объявила, что мужа Аркадия перевели в НКВД. Кто-то из взрослых понял, что это такое, остальные сделали вид, будто знают, но тётя Мила всем помогла, объясняя: это был народный комиссариат иностранных дел. Мы, ребятня, даже такого не понимали — очень уж далеко от нас обреталось некое казённое учреждение, которое занималось делами иностранными и, как позже пояснил нам Артур, сплошь секретными.

Что касается секретности, то мы все хорошо помнили картинки, наклеенные на заборах и стенах домов: тетенька с суровым выражением лица прижала палец ко рту, а подпись внизу объясняла: “Болтун находка для врага”.

Ха-ха, конечно! О чём таком секретном могли болтать мы, в ту пору совершенно не разговаривавшие с посторонними дети? Да и какие посторонние

могли быть возле нас? Мамы и бабушки насквозь родные и ни о чём попусту не болтающие — до того ли им? Учителя в школе? Но это же особенные люди — они поставлены были учить нас всему хорошему. Я был совершенно уверен, особенно в младших классах, что подойди, например, к школе какой-нибудь незнакомый дядька или вовсе не известная тётка и спроси — ребята, мол, я ищу завод номер такой-то, на работу хочу устроиться — как её бы скрутили всей школой, даже самые маленькие малыши, или побежали бы за учительницами, чтобы они помогли, или, бросив уроки, стали бы идти за такой личностью, пока не подспеют милиционеры. Впрочем, за всю войну я не слышал ни одного сообщения, даже непроверенного слуха, что на такой-то улице или в таком-то месте задержали в нашем городе фашистского шпиона, свободно говорившего по-русски. Или не говорившего.

Так вот народный комиссариат иностранных дел казался совершенно таинственным и от нас далёким и потому совершенно не интересным.

Аркадий Васильевич за своей женой и сыном всё не приезжал, но регулярно приезжали какие-то строгие люди, даже однажды я поражённо наблюдал двух молодых ещё мужчин, но в шляпах — а в шляпах у нас в войну никто не ходил, — так вот эти в шляпах приехали к тётке Миле на газогенераторке и долго переносили в кузов чемоданы и коробки из квартиры Бутаковых.

Вещи увезли, и комната оказалась пустой, и вот как раз в этот момент нас с мамочкой занесло в дружественный коридор.

Сначала, чтобы быть вежливыми, мы заглянули к Андреевым, и мама повосхищалась двумя пупсиками, которые, подрастая, верещали, как и принято радоваться любой живой твари. И тётя Зина, не переставая оживлённо обсуждать с мамой здоровье малышей, успела отвесить подзатыльник Лёвке, разинувшему рот, но сидевшему за столом, и подать ему команду: “Не отвлекайся!”

Тут же она оправдала себя в наших глазах, выкликнув:

— Плохо учится! Двойки да тройки!

Тут же, мимолетно глянув на Лёвку, воскликнула сердито:

— Да ещё на малышей валит! Они ему, видите ли, мешают! Я те помешаю!

Потом мы заглянули в комнатку тётки Лины, всегда говорливой, но тогда молчаливой. Она сидела на табуретке между двух венских стульев, на которых висели белые кителя морских офицеров, и подшивала к ним белые же ленточки, объяснив, что это свежие воротнички, пришиваемые каждый раз перед выходом, а её квартиранты готовятся к какому-то торжественному случаю.

Тут же тётя Лина сообщила, что дядя Гриша исправно пишет и ему присвоили звание майора, а теперь ведь у офицеров погоны — видите, мол, какие красивые у моряков-то теперь мундиры, вот и у Гриши там где-то тоже. Но он ведь артиллерист, а там все не такие нарядные в сравнении с моряками, да и кто ему там, на передовой, свежий воротничок подошьёт!

Тетя Лина всплакнула, мамочка ей помогла, и мы отправились попрощаться к Бутаковым.

Так вот, когда мама постучала и, наверное, раньше времени потянула дверь на себя, из комнаты раздался женский визг. И я торопливо сунул голову вперёд. То, что я увидел, было не очень понятно. Перед нами, совсем близко, стояла вроде бы тётя Мила. В юбке, в тапках, в тёплой кофте. Но голова её была совсем голая. Просто лысая.

Она верещала, не переставая, потом кинулась куда-то за одинокий буфет и тут же вышла, поправляя кудрявую причёску. Во даёт! На голове была её отличная, даже с локонами пушистая причёска.

Я хлопал глазами, ничего не понимая, а разговаривать о непонятном происшествии было, конечно, неловко. Мама даже вроде поперхнулась и закашлялась. Потом с трудом пояснила, что мы зашли попрощаться и что она желает Бутаковым добра и удач, ведь тётя Мила уезжает в самую что ни на есть столицу — золотую Москву.

Тётя Мила, пришедшая уже в себя, махала руками, говорила, что им уже дали квартиру и на днях дадут пропуск в Москву — туда ведь в войну

кого хочешь не пускали, — но квартира очень маленькая, хотя в самом центре, а у Аркадия должность не высокая, но с перспективой, и Артуру, который учит с детства английский язык, придется добавить ещё и французский. А она, тётя Мила, будет работать в педагогическом институте и преподавать исторический материализм. Вот так, одной длинной фразой без перерыва она рассказала всю свою ближайшую жизнь и, будто споткнувшись, умолкла.

Эти два последних слова я тогда, конечно, не понял и не запомнил, сумев восстановить это уже только теперь, но и тогда мне удалось сообразить, что тётя Мила никакая не тётя и уж тем более не тётка, а может — чего не бывает! — какая-то такая учёная. Учёнее, может быть, чем даже наши тутешние учителя.

Артура, когда мы пришли, не было. Он, наверное, доучивал английский язык или начинал осваивать французский у каких-то особенных преподавателей — так нам говорила раньше тётя Мила, так что я с Артуром, или попросту Ариком, не попрощался и больше никогда в жизни не виделся.

Бывает и так.

Большая комната Бутаковых долго не пустовала, её заняла худая и молчаливая женщина с двумя старушками, которая вела образ жизни такой изолированный, что даже еду они готовили не на кухне и не в коридоре, а прямо в комнате, а новая хозяйка стучала в своей комнате на пишущей машинке. Утром она уносила на работу пачки, видимо, испечатанной бумаги, а служила она стенографисткой в каком-то важном учреждении. Каким — мы не знали.

А про Аркадия Васильевича, лысую, как оказалось, тётю Милу и Арика до нас доходили редкие известия. Довольно необычные для нашей жизни.

Старшего Бутакова сразу после войны отправили на работу в Париж, где он служил в посольстве. К тому времени он хорошо знал французский язык, ну и Арик учился, подражая отцу, во все лопатки.

Однажды прямо из Парижа на имя тёти Лины пришла коробка конфет в виде красивенького сундучка с тем, чтобы все, кто помнит уехавших соседей, попробовали их. Но нам, младшему поколению, вспомнить старинных друзей не удалось: в конфетах содержался ликер, это такой, кто не знает, пьянящий напиток. И нам французское-то угощение обломилось. Взрослые полакомились.

Больше всего досталось дяде Володе. Долька рассказывал, как мается отец, приспособившаяся к протезу. Ногу ему оторвало выше колена, и культя кровила, передвигался он с трудом, даже плакал от боли.

Я не видел, конечно, как он плакал. Но всей душой соглашался, чтобы именно ему доверили съесть все конфеты с ликером.

Ведь Долька сказал однажды, что отец, сжевав конфету, проговорил, прослезившись:

— Вот каким оказался мой единственный трофей!

20

Ну вот, войны кончаются, рано или поздно.

Кончилась и та, самая страшная для нас, её тыловых ребятишек. Но войны заканчиваются для всех по-разному.

Мой отец вернулся в сорок шестом, из Маньчжурии. С зелёным вещмешком и чемоданчиком из фанеры, покрашенной в серый цвет. Когда настанет срок, я поеду с этим чемоданом, набитым учебниками и двумя парами трусов и маек, поступать в университет на Урале, и счастье улыбнётся мне, потому что со мной был чемоданчик из фанеры, прошедший целую войну. Он как бы стал моим воспитателем, моим доброжелательным дядькой, который следил за моим поведением, а главное, требовал жить разумно.

Я этого не понимал, относился к нему как к вещи и только спустя много лет понял, что он привёз мне с войны память о ней — как великий и драгоценный дар незабвения самых малых малостей той поры.

А ещё ведь отец приёз трофей, самые настоящие — да, да! Впрочем, я верю отцовским словам, что коробочку с тремя круглыми — мы увидели

такое в первый раз! — кусочками мыла, пахнущими жасмином, он купил в Маньчжурии на рынке. Мама это мыло спрятала в общее бельё, хранившееся в её старом комодe, и бельё из комода издавало этот чудесный волшебный запах, который ведь даровала война...

А закончилась она, повторю, для всех по-разному. Хотя праздновали её конец одинаково.

Незнакомые люди обнимались на улице, даже целовались, и охотнее всех целовали старух и стариков, которых вдруг необычно много оказалось в городе.

Просто жили, выживая, кто где, а тут кинулись на улицу, чтобы соединиться радостью с другими людьми.

Конечно, я не мог не заскочить в знакомый коридор! Дядя Володя стоял на одной ноге, со второй штаниной, видать, подшитой, и опирался на костыли, и в белой-белой рубахе, таких белых я, мне кажется, больше не видел. Может, накрахмаленной, что ли?

Был он навеселе и пел, а когда я вошёл, загремел:

*Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!*

— Да чё ты, Володя, — крикнула ему тогда тётя Лина, тоже навеселе, — уже война кончилась, давай чего порадоустнее!

Но он допел ту песню, похожую на тяжёлую поступь какой-то громадной силы, и я подумал в тот миг своим незрелым ещё умом, что он прав, и это, именно это надо сегодня петь всем народом!

В коридор вываливали нарядно одетые его обитатели — и Андреевы вместе со всем своим выводком, и Владька с матерью, и тогда ещё не уехавшая тетя Мила с Артуром, мелькнувшим, по обычаю, у неё за спиной и тут же пропавшим.

А я торопился. Я и не очень бы толково смог объяснить, спроси меня, чего я сюда забежал в день Победы — у меня и своя школа, и мама с бабушкой, поди-ка, потеряли меня.

Я покричал со всеми, меня погладили по голове чьи-то руки, и все лица в тот день мне потом вспоминались какими-то размытыми, расслабленными, будто влажными, конечно, от слёз, и даже как будто безвольными, усталыми.

И я думал: устали от войны.

Все от войны устали.

Но война, оказывается, не кончилась.

Войны не кончаются по мановению волшебной палочки.

21

И тут с войны возвращается дядя Гриша.

Все поражались, увидев его. Он был в хорошей офицерской форме из тёмно-зелёного материала, с майорскими погонами. А грудь его сияла от наград. Да и каких!

Мы, ребята военного времени, неплохо разбирались в военных наградах, и нельзя было не восхититься двумя орденами Боевого Красного Знамени! Двамя, это же не шутка! И ещё орден Александра Невского — его генералам давали. А на правой стороне гимнастерки сияла “Звёздочка”, орден Красной Звезды, и орден Великой Отечественной войны второй степени. Ещё и медали! “За отвагу” и “За боевую доблесть”.

Впрочем, дядя Гриша, когда мы их с тётей Линой увидели с мамочкой в нашей комнатке за праздничным обедом, не был радостным и праздничным. Тётя Лина как будто одна за двоих сияла и ликовала, а майор помалкивал, отговаривался, сообщил, что ничего особенного он не совершил. Просто командовал тяжёлой артиллерией, а стодвадцатидвухмиллиметровая гаубица

образца 1938 года стреляет издали и разрушает огневые точки, всяко-разные укрепленные позиции, здания и сооружения, где засел враг, и вот полк, куда входит его подразделение, громил врага издали, по наводке, и очень умело попадал прямо в цель. Потом приходили рапорты артиллерийской разведки. Приезжали генералы и полковники и цепляли ордена. Иногда обходилось и без генералов.

И ещё дядя Гриша пил, почти не заедая! А уж как старалась тётя Лина! Я её никогда такой не видел. И ничего не понимал.

Теперь-то понимаю: даже самый острый детский ум, самый привередливый, не сразу разглядит бедствие за мелкими и недоказанными подробностями.

Итак, мой отец был в Маньчжурии, одна война — с Германией, закончилась, а с Японией продолжалась, а дядя Гриша вернулся, и что-то с тётей Линой у них не клеилось. Ларка молчала, как рыба, да и что она могла тогда сказать, я просто не знаю, да и не знал. И оставалось подозревать что-то совершенно невероятное: капитан-лейтенантов.

Они отчалили в Ленинград за полгода до конца войны — тихо, без лишнего шума, и хотя фанерная перегородка осталась, Ларка перебралась вместе с железной кроватью в ту часть, где жили морские хирурги. А мать её, тётя Лина, располагалась на широкой кровати для двоих. Эта кровать меня всегда восхищала своей странной для меня парадностью. На ней высилась пирамида из подушек, конечно, довоенных, но совершенно послевоенным образом обихожённых — пухлых, белых до больничной стерильности и прикрытых чуть ли не кружевной накидкой.

Чистота и красота!

И вдруг к нам прибегает тётя Лина в слезах и, не стесняясь меня и моей неразумности, просто кричит мамочке, что дядя Гриша ушёл к другой, а её вызывают в загс на развод по его заявлению.

Помню одну подробность: мама ей ничего не отвечает, не говорит, не утешает, а сидит, опустив голову и не глядя на свою довоенную подружку.

А потом, при мне, подняв голову и совершенно не замечая меня, спрашивает:

— А ты чего ждала?

Пауза была совершенно малюсенькая. Но была. И тетя Лина крикнула в ответ:

— Я думала! Ты мне подруга!

Мамочка тут встала и сказала:

— Подруга, но не подручная!

Ничегошеньки-то я не просёк. Тетя Лина выскочила, грохнув нашей дверью, и мы её не видели до приезда с войны моего отца.

22

Это только потом, медленно взрослея, человек научается каким-то неписанным знаниям. Ну, например, понимает вдруг, что другой человек, который был тебе знаком и даже чем-то с тобой связан, вдруг отворачивает в сторону, когда оказывается на одной с тобой стороне дороги, а то и вовсе поворачивает назад и даже бежит, чтобы на углу исчезнуть из твоих глаз, — не побежишь же ты вслед?

Когда же ты неопытен, всё подобное кажется случаем, совпадением, но уж никак не злым, осознанным каким-то поступком.

А именно так вдруг стала вести себя Ларка, дочка тётки Лины и дяди Гриши, когда-то закадычных друзей моих родителей.

То вдруг, увидев тебя, назад побежит, то в сторону — ну, бежишь, значит, чего-то забыла.

И вдруг к нам явился дядя Гриша! Да и не один, а с улыбчивой тётенькой не очень-то и моложе его!

Был он каким-то неестественно радостным — обнимался со всеми нами, меня даже поднял вровень с собой, удивился, как я вырос и потяжелел, а перед мамой встал на колени и целовал её руки.

Ну и, конечно, главная подробность! Он был при своих сияющих орденах. И в командирской гимнастёрке тёмно-зелёного цвета.

Отца, хочу повторить, ещё не было, он воевал в Маньчжурии, поэтому приход дяди Гриши с неизвестной женщиной, а не с тётей Линой как-то мамочку мою коробил, она говорила с гостями какими-то отрывочными фразами. Из всех сил хотела быть вежливой, и хоть это всё-таки получалось, но с большим трудом.

И тогда дядя Гриша сказал ей, да и мне, потому что как будто специально ко мне повернулся, подчёркивая, что всё это он объясняет и мне.

А он сказал моей мамочке:

— Хочу тебе объяснить и написать твоему мужу, моему другу: Мария — моя новая жена. А с Линой мы разошлись!

Мамочка моя сначала заплакала, потом улыбнулась, затем встала со стула и подошла к Марии, чтобы обнять её. И как же схватила её эта Мария, теперь тётя Маша! А мне хотелось спросить про Ларку, про тётю Лину — они-то где теперь?

Дядя Гриша попросил мамочку три стакана, достал из галифе бутылку водки, и они выпили её одним приемом.

И все замолчали. Совсем не помогла им эта водка, да и закусить, кроме квашеной капусты, было нечем — ведь дядя Гриша привёл свою новую жену без всякого предупреждения.

— Я пришёл к тебе, — сказал дядя Гриша моей маме, — потому что ты не можешь не знать нашего дела, а теперь знаешь и выход. Напишешь ему сама. У меня рука не поднимается.

От силы пробыли они у нас один час. Но прямо — и мне понятно — ни о чём как следует-то не поговорили.

Я потом думал, что, может, моё присутствие помешало. А ещё попозже я решил, что никому-то я не помешал. Взрослые всё знали, я догадывался, но и того, что было сказано в те считанные минуты, на самом-то деле хватило, чтобы всем всё понять.

А новая жена дяди Гриши по имени Мария — теперь, выходит, тётя Маша, — когда они уходили, повернулась к моей мамочке, поклонилась ей и сказала:

— Простите меня!

— За что? — прошептала ей мама. — Вас-то за что?

А та повторяла:

— Простите! Простите!

23

А жизнь в коридоре удивлённо взорвалась. У Андреевых родилась вторая двойня!

Ко мне прибежал Лёвка и со слезами объявил:

— У нас ещё двойня! Что мне-то делать?

И правда, я не мог сообразить, как Лёвке хоть бы уроки готовить, когда у него четверо братьев — родились-то опять мальчишки.

Бедный дядя Володя, сказал мне Лёвка, даже пошутил, что Лёню с Зиной надо награждать орденами, потому что они восполнили, да ещё и с гаком, потери коридорной системы в Великой Отечественной войне. Илья пропал без вести, Аркадия вызвали в Москву, а у него враги оторвали ногу. Но Андреевы народили четверых — в будущем! — солдат.

То ли смеясь и радуясь, то ли печальясь и горюя, бедный шофёр выпил на радостях и упал в коридоре, потому что так всё и не мог освоить свой неверный протез. Лёвке с Долькой пришлось его поднимать и вести в свою комнату.

Но Лёвке-то и правда доставалось. Дядя Лёня, несмотря на инвалидность, где-то подрабатывал, а тётя Зина выбивалась из сил, воспитывая четвёрку малышей. И Лёвка ей требовался чуть ли как не ежеминутная подмога.

Однажды я зашёл к ним по-приятельски, пока я был там минут десять, тётя Зина два раза велела подать ей свежие трусишки для старшей двойни —

они даже писались враз, — вот такие это были во всём дружные пацанята, — поднести пару пелёнок для младшего народа, так же дружно оравшего в случае обмокания, послала с полным горшком в туалет, а горшок тот ополоснуть, поставить на электроплитку в коридоре кастрюльку, в которую налить столько-то воды и приготовить манную крупу для каши. И всё это Лёвка — а не Лев! — выполнял действительно без всякого рычания, покладисто и смиренно, но когда вышел со мной, чтобы проводить до чугунной лестницы, чуть не взвыл:

— Закончу ли я четвёртый класс?!

— Четвёртый? — удивился я. — А не седьмой?

— До седьмого я не доучусь, пожалуй, — грустно ответил Лёвка и спустился со мной вниз, на улицу. И там меня просто поразил. Полез в штаны, достал откуда-то из-под ремня завернутые в тряпицу тонкую бумажку и табак, свернул сигарку и закурил.

Перед этим мы с ним сошли по ступенькам на тротуар и завернули за угол.

И всё бы ничего, да Лёвка-то заканчивал только третий класс, рановато всё же. Даже среди оторванных пацанят этот возраст считался сопливым и не подходящим пока для курева и выпивки. Лёвка слегка опережал ход общепризнанных событий. Хуже того, Лёвка, не признающий себя Львом, не любил читать, а сказать вернее, не умел делать это свободно, как, в общем-то, тогда полагалось уважающему себя человеку. Но зато считал он отменно. Запросто, и в голове, а не на бумаге, складывал и вычитал, умножал и делил.

А тогда, в тот день и в тот миг, докуривая свою самокрутку, Лёвка деловито поделился со мной:

— Надо не забыть рот прополоскать. А то мать узнает, опять затрещину вломит.

И вдруг посмотрел на меня пристально:

— А тебе, паренёк, — проговорил серьёзно, — желаю прорваться. Ты-то прорвёшься, вот бы и мне...

Он исчез за высокой дверью, где начиналась чудесная чугунная лестница, глухо отзывавшаяся на торопливые шаги тутошних жильцов, и хотя мы не раз ещё увидимся с Лёвкой, поболтаем, подрастая, даже почти по-взрослому потреплемся, но та его уместная фраза осталась самой серьёзной в наших с ним отношениях.

Ещё совершенно детских.

24

Отец мой вернулся осенью сорок шестого года, как раз ко дню моего рождения, и первое, что мы сделали после объятий, так это пошли в баню.

В городе нашем славном функционировали три главные бани — центральная, южная и северная, и их, конечно же, не хватало, потому что в редком доме существовали собственные ванные комнаты или хотя бы душ. Таких счастливых домов было, полагаю, штук десять-двадцать, не больше, и их почему-то называли обкомовскими. Видать, там жили большие начальники. А весь остальной люд, особенно мальи́й, старый́й и женский — взрослые-то мужики час-тенко мылись на своих заводах, — круглую неделю, с шести утра, стояли в длиннющих банных очередях. И бани наши — тоже ведь заслуженные работники по мойке, чистке и парке всех без разбору чина граждан. Городские бани, стареющие и уходящие, надо бы давно уж назвать самыми перезаслуженными именами, потому как у этих-то истинно чернорабочих заведений не было ни единого повода возвыситься над другими — да, да, производствами, — потому что они пыхтели, выдавая горячую воду, пар, и хоть продавали при этом маленькие, как в автобусе, билетки, а доходу никакого принести своему хозяину не могли. Да и хозяин-то был у них тогда — город, а какая городу выгода может быть от того, что он граждан своих умыл?..

Умыл, попарил, веники дал — вот это за денежки, ведь на любителя, — и идите дальше, дорогие человеки, жить и трудиться.

Папа сперва хотел переодеться в штатское, но мамочка отговорила его, и хотя он изо всех сил допытывался, мол, какая разница, весело смеялась и говорила: “Сам увидишь”.

Конечно, мы обнимались, ели, а взрослые скромно выпивали, пока наконец не стало темнеть, и мама погнала нас мыться.

Банька наша была неказиста, покрытая когда-то белой краской, к победе она посерела, как будто старуха какая-то ещё больше постарела. А внутри её, до войны ещё, покрасили в тёмно-зелёный цвет, похожий на цвет грязной солдатской шинели. Я как-то подумал, может, работнички, заведовавшие покраской, перепугали что-то всерьёз. Шинель-то уж лучше бы одеть сверху, а изнутри всё окрасить белым цветом, всё же баня, и тут люди меняют ношенные поддёвки свежими, побелее, — но дальше этого соображения я не ушёл, так и оставив вопрос открытым для себя.

И вот мы с папой подходим к нашей Центральной бане. Боже! Очередь вытянулась из входной двери на улицу, даже две очереди — мужская, покороче, и женская, подлиннее.

Папа был в пилотке и гимнастёрке с медалью “За отвагу”, “Звёздочкой”, как называли орден Красной Звезды, ну и ещё с двумя медалями — “За победу над Германией” и “За победу над Японией”.

Он спросил крайнего, кто последний, узнал, когда брать билеты и долго ли стоять. А спрашивал он у старика с авоськой в руке, где лежало, наверное, свежее бельё, и тот, седой, с нестриженной бородёнкой, к отцу обернулся и внимательно вглядывался в него.

Потом сказал:

— Как сын мой! Но он под Сталинградом упокоился!

Однако не заплакал, не стал говорить об этом дальше, но приказал — моему отцу.

— А ты иди!

Папа смотрел на него, не понимая.

— Иди, иди вперёд! Без очереди! Какая тебе очередь! Германию победил, Японию победил, а теперь ещё в баню постои часа два!

Очередь давно уже повернулась к нам, смотрела на отца весело, любопытно. И все головами кивали — и мужики в мужской очереди, и женщины в женской.

Какая-то тётенька даже принялась объяснять подробности, дескать, фронтовики моются без очереди, их там, у двери в раздевалку, может быть несколько, придется подождать, но народ их всегда пропускает. Такая у этой городской невзрачной баньки благородная привычка.

Отец глянул на меня, усмехнулся:

— Ну, пойдём!

И мы начали протискиваться вдоль очереди, говорливой, курящей, какой-то озабоченной и неприветливой. Но вдруг расступаящейся перед папой в гимнастёрке и с медалями.

И так мы дошли до кассы, где билеты следовало купить, а потом и к двери в мужскую раздевалку, где женщина, берущая билеты и пускающая мыться только после того, когда освобождалось место в раздевалке, помахала отцу через головы остальных граждан и крикнула:

— Солдат! Без очереди!

Мы вошли в раздевалку и вошли в мойку, где молча мылось человек пятьдесят, если не больше. Рядами стояли бетонные лавки, откуда-то сверху спускались столбы с привинченными к ним трубами, а из труб неслась вода — холодная, уличной температуры, как выражаются некоторые, и кипяток.

В мойке люди двигались голыми, и ни медали, ни погоны мужиков друг от друга не отличали. И стояла тишина.

Нет, конечно, бухали о бетон железные бадейки, иногда люди перекидывались короткими выражениями, даже вспыхивал смех, но он быстро угасал, и приходило в голову взрослое ещё тогда для меня словечко — сосредоточенность.

Да и надо ли болтать в голом виде, под шум воды, вылетающей в шайки, когда задача у каждого простая. Намылиться пару раз, окатиться водой,

да и побежать по делам. Только некоторые шли в парилку. Эти — да, сидели там долго, и дверь в парилку хлопала как-то по-особенному выразительно, с причавкиванием, будто бы со вкусом.

Но я в парилку с отцом не пошёл. Я и раньше заскакивал туда, да тотчас выбегал обратно, уж очень там жаркий висел пар, обжигающий, не для пацанов.

Отец ушёл в парилку, а я смотрел на окружавших меня голых мужиков, стариков, парней и нескольких мальчишек, но думал про папку.

По руке у него шёл белый шов, и даже явственно виднелись стежки от хирургической, может быть, иголки. Это первое ранение. От второго — следы таились внутри, в его ушах, наверное, голове, потому что контузию не бывает видно. Люди после неё плохо слышат, плохо видят и говорят, а если удаётся вылечиться, ранение такое никак не увидишь.

А ещё я думал про отца совсем по-новому. Вот мне стукнет скоро одиннадцать лет. Год назад кончилась война. Отцу поздней осенью тридцать семь лет. А когда я родился, ему было двадцать шесть. Но ещё до моего рождения он служил в армии. Два года. Значит, шесть лет его войны и два года в армии — всего восемь. Из его этих предстоящих тридцати семи. Да надо ещё восемнадцать лет вычесть, когда человек взрослым не считается. Что остаётся? Всего одиннадцать лет!

Столько, сколько мне сейчас!

И ещё я знал, что отец окончил только четыре класса. Он не любил разговоры об этом, но пояснил однажды вслух — маме, конечно, но при мне, — что он хотел скорее работать и выучился на помощника машиниста, который управляет паровозом. Но потом ушёл на завод, стал слесарем. Высшего разряда.

И тут уж никуда не уйдёшь — отец умел всё делать. И по дому. И по железу.

Оглянулся я от его оклика, вздёрнулся, засмеялся, загоня в себя своё ненужное умение складывать и вычитать, и мысли эти откинул.

Возвращаясь из арифметики моего отца, я снова увидел много-много почти одинаковых мужских тел, нешумно трущих себя, укутывающих себя мыльной пеной, обливающих себя сосредоточенно, как будто выполняя какие-то обязательства. Или желания.

Желание быть чистым?

А почему бы и нет?

25

А потом мы пошли в гости к дяде Грише.

Не туда, где он жил до войны, не в коридорную систему к тёте Лине и дочери их Ларке, а в синим цветом покрашенный деревянный домик.

И главное, для чего нас пригласили — даже я это сразу же понял, — была новая дяди Гришина жена Мария с большим животом. Да и старый папин друг объяснил, не мешкая: он начал новую жизнь и не хочет оглядываться назад.

И они с моим папой “рванули”, по их выражению, по фронтовой. Уж что-что, а к концу войны всякий мальчишка большой страны знал, что такой фронтовые сто граммов у мужиков. И не только фронтовиков, между прочим.

Чутьку закусив, мужчины вышли покурить на улицу, а мамочка с Марией остались в крохотной комнатке накрывать стол. Мне ничего не оставалось, как выйти на улицу, но мужчины моим появлением оказались недовольны, это со взрослыми случается, когда они не хотят, чтобы их дети узнали что-нибудь лишнее.

Для кого только лишнее? И почему взрослые думают, что их дети вроде заводных игрушек: надо — завёл, поглядел, порадовался, не надо — выключил и закинул в угол.

Кивнув, я двинулся к кустам чёрной смородины, ягодки которой поблескивали в листе, а на прощание услышал, как дядя Гриша, даже чутьчку повысив голос, ответил на какой-то вопрос отцу:

— Нет, нет! Я ни за что не вернусь.

И отец сказал ему:

— Не зарекайся!

Дети, конечно, не обязаны всё понимать. Но знать они могут! Конечно, понимание — это сумма знаний, как в арифметике, только знания не цифрами измеряются, а может быть, чувствами. Душой, может быть! Да и событиями, которые наплывают одно за другим, всякие суммы сводя к нулю...

Одним словом, месяца три спустя мамочка сообщила отцу, что ребёнок, которого ждали дядя Гриша и его Мария, умер при родах. Но мать жива.

Тётя Мария, наверное, не могла ещё ходить, и дядя Гриша пришёл к нам один. Гимнастёрку с орденами он снял, ходил в пиджаке, но брюки на нём были всё те же, тёмно-зелёные офицерские галифе, в которых удобно носить бутылки.

Он её и достал, бухнул на стол, и я понял, что дядя Гриша уже нетрезвый. Пока мама собирала огурцы да сало с хлебом, он, оставшись с отцом, спросил его:

— Откуда ты всё знал?

— Что знал? — удивился папа.

— Ну ты же сказал — не зарекайся! А я зарёкся!

Я сидел на стуле в углу комнаты, и, похоже, взрослые не замечали меня, а может, просто не принимали меня во внимание.

— Ты очень спешил, — сказал отец, нахмурился. — Ты хотел разрубить свой узел. А затянул его еще туже.

Они потом крепко выпили, и отец ушёл провожать дядю Гришу, а я спросил мамочку:

— И что теперь будет?

Она ответила мне как взрослому:

— Вот дядя Гриша сидел! Воевал! Орденов заработал великое множество. Считай, герой. А тут вот взял и сломался.

— Надвое? — спросил я.

— Натрое, — ответила мамочка задумчиво. — На арест, на войну и ещё... на кое-что!

И вдруг куда-то заторопилась, зашпешила, заругалась на меня:

— А ты-то! Ты-то что? Зачем это тебе? Ты еще мал.

— Но ведь и Ларка мала, — вдруг сказал я устало. — И ребёночек, который умер. А тётя Мария? Что с ней будет?

Вот говорят, конечно, очень задним числом, что дети в войну быстрее становились взрослыми. И сами-то эти дети давно постарели, превратятся в стариков и старух. Ну что ж, они ведь имеют право говорить и думать о себе в прошедшем времени.

Какой пацан сумеет произнести теперь такой приговор взрослым, вернувшимся не с прогулки, а с войны — страдавшим, полусломанным, дорогим?..

Да от правды не скроешься.

Ещё, наверное, полгода спустя к нам домой прискакала Ларка. Меня на улице обходила, дорогу перебежала, говорить не хотела, а тут — вдруг нате, пожалуйста.

И ничего не говорит. С ноги на ногу переминается. Топчется. Чуть не подпрыгивает, а мамочка моя её по головке гладит, отчего-то жалеет. Только зря, оказывается.

Потому что Ларка не за жалостью пришла, а с радостным для неё же сообщением.

Намолчавшись и даже предварительно напившись водицы, она сказала не мне, а маме:

— Папа вернулся.

Мама даже на табуретку плюхнулась. Перекрестилась:

— Слава Богу, простил!

Но кто простит тётю Марию, противился мой разум. Как теперь ей жить?

Нет на этот вопрос ответа. Не бывает.

Известно только, что тётя Мария насовсем уехала из города. Чтобы не мог её видеть дядя Гриша, даже случайно, на какой-нибудь автобусной остановке.

А может, и потому, чтобы не вспоминать никогда об умершей при родах её невинной дочке.

26

Вот как будто и всё.

Но войны, если они начинаются неожиданно и враз, с первыми залпами пушек и разрывами бомб, заканчиваются медленно. Как будто нехотя. Неторопливо, снова и снова обжигая задержавшимися сообщениями о найденных в окопах рассекреченных бумагах, с опозданием опознанных свидетельствах.

И тогда, скоро после Победы, узнавание и справедливость приходили не торопясь. А причины не походили друг на друга.

Одна такая зацепила и коридор.

Уже вернулся в свою старую семью дядя Гриша, уже почти наладилось довоенное бытие, уже окрепли голоса четверых братишек Андреевых, уже дядя Володя привык к своему протезу и ходил на нём, поскрипывая, но уверенно, уже давно коридор доел детские конфетки с ликером из Франции от бывших соседей.

И, наверное, уже утешилась вдова Ильи Сергеевича Ольга Петровна, как и утешился сын их Владька, как вдруг жизнь коридора взорвалась.

Одни говорили, что это произошло вечером, другие — что всё началось ранним утром, но по чугунной лестнице поднялась высокая фигура — опять в солдатской шинели без погон, с поднятым воротником.

Впрочем, этого-то никто и не видел. Зато все услышали сдавленный короткий крик — не крик, а женский вопль, будто тяжелый выдох:

— А-а-ах!

Женский вопль трудно закрепить за личностью: нельзя понять, кто именно кричит, особенно поначалу.

Но кричала Ольга Петровна! А открячав криком сдавленным что-то, выдохнув, умолкла.

На такой стон соседи не высказывают на площадку, мало ли какая боль ударила.

Но тут зачем-то вышли.

Ольга Петровна почему-то стояла на коленях, а её пытался поднять худющий дядька — кожа да кости!

И этот дядька оказался Ильей Сергеевичем! Бывшим энкавэдэшником, потом пропавшим без вести!

Он оброс многодневной щетиной, был почти неузнаваем и наклонялся к жене, другой рукой обнимая Владьку, выросшего ведь за годы войны, длинного — в отца, и если не догнавшего его ростом окончательно, то почти догнавшего.

Соседи не знали, как себя вести. Даже орденосный дядя Гриша. И уж конечно, дядя Володя, бедный водитель, не способный больше водить автобусы.

Илья Сергеевич поднял жену, прижал её к себе.

А потом, как рассказал мне Лёвка, просто отрапортовал совсем по-военному. Чтоб, наверное, сразу все знали его правду. И уже сами думали, что с такой правдой делать.

— Меня ранили. Я попал в плен. Работал у них на заводе. На военном. После победы меня осудили. И я был в нашем лагере. Теперь освобождён.

Лёвка сказал мне, что взрослые коридорной системы повели себя по-разному. Дядя Гриша шагнул навстречу дяде Илье, протянул руку и сказал:

— Раз выжил, надо жить.

А дядя Володя, хоть и простой шофёр, наоборот, молча отвернулся и закрипел казённой ногой.

Ну а дядя Леонид Андреев, Лёвкин батяня, обнял Илью Сергеевича. Тот стоял, не шевелясь.

Так сказал мне Лёвка. А я пересказал родителям.

Мы были все вместе, обедали, хлебали тощий послевоенный супец, и папа сразу отложил ложку. Опустил голову.

— Что скажешь? — спросила его мама.

— А что тут сказать? — ответил отец. — Ранение, наверное, подтверждено. А тех, кто попадал в плен, признавали предателями. Не позавидуешь. Хотя и живым остался...

А Илья Сергеевич вёл себя интересно.

Лёвка говорил, что видел его в первое утро согбенным, почти горбатым стариком. Но, посидев дома денёк-другой, вышел к соседям уже совершенно прямой, как до войны, в тот последний Новый год. И всем смотрел прямо в лицо, голову не опуская и не отводя глаза.

Вот и мне он, встретив меня на чугунной лестнице, поглядел в глаза, неожиданно протянул руку и вдруг сказал совершенно неожиданное:

— Знаешь, а я тебя там вспоминал!

Я дрогнул всем своим невеликим телом, всей душой: там, у немцев, в тылу — и я?!

И неожиданно для себя я протянул руку и потрогал его шинель. Я думал, что он в плену её носил, и, наверное, хотел что-то ощутить, понять, почувствовать, как чует какая-нибудь животина, и сделал это молча. А он понял меня с полужеста и взял мою ладонь в свою.

— Нет! — ответил он на мой бессловесный вопрос. — Те тряпки я сразу сжёг.

Он пошёл вниз по лестнице, а я стоял ошарашенный и своим жестом, и его кратким ответом.

Жили они очень бедно. Бродили разговоры, что Илья Сергеевич не может устроиться на работу, и он ходил разгружать уголь на станции. Потом его взяли на завод, потому что он оказался каким-то умелым работником, и все предполагали, что он обучился этому в плену.

Моя мамочка несколько раз относила Ольге Петровне авоськи с мукой и подсолнечным маслом, а Владька как-то спросил меня, не захочет ли мой отец снова купить у него птиц, которых он наловит для него.

Я отпу это, конечно, сказал, но от птиц он отказался, а с мамочкой зашушукался, и она снова отнесла Деньгиным немного продуктов.

И ещё мы, конечно, обсудили мою встречу на лестнице. Я спросил отца, правда ли, что Илья Сергеевич в плену, в самом что ни на есть германском аду, вспомнил меня и остальных ребят?

Он ответил довольно странно:

— Когда человеку худо, какая только чертовщина не привидится!

А потом прибавил тихо:

— И какая не привидится благодать!

— Так я... чертовщина? — вылетел из меня вопрос.

Папа усмехнулся приветливо:

— Да ты-то — благодать! Надежда в беде — добрые лица! Чьи? Конечно, детей!

Семья бывшего энкавэдэшника бедствовала года два, хотя жили тяжело все в первые-то годы после войны. Но на нём висела как бы вывеска: “Военнопленный”. Хоть и в прошлом.

А потом грянуло чудо.

Этого не увидел никто, кроме Владьки и Ольги Петровны. И не потому, что в коридоре никого не было, а потому, что эта сцена произошла за закрытой дверью.

Так что придумывать ничего не надо.

По лестнице застучали сапоги. Много сапог. Они простучали прямо в комнату Деньгиных. Все стихло.

Молва, слух, предположения — сразу облетели коридорную систему, и двери их как бы сами собой притворились плотнее в ожидании худшего — ведь такая толпа военных никогда не приходила с конфетками.

Через полчаса, минут через сорок, сапоги загремели вновь, и любопытные подружки тётя Лина и тётя Зина Андреева высунулись на площадку.

Военные были высокого чина — два полковника, майор и капитан. Шли они бодро, весело, слегка порозовев, и, увидев встревоженных женщин, один из них, наверное, самый главный, громко проговорил:

— Не бойтесь! И встречайте героя!

Пока эта весть передавалась от комнаты в комнату и пока к лестнице собиралась толпа, дверь растворилась, и вышел Илья Сергеевич.

Все ахнули. Он был до блеска выбрит — и совсем не стар. А одет в новый китель с блестящими пуговицами. И с подполковничьими погонами на плечах — две звёздочки, одна рядом с другой.

— Но ты же, — воскликнул первым изумлённый дядя Володя, — был в плену!

— В плену!

— Работал на немцев!

— Оказалось, на нас!

Дядя Вова свистнул, а Лёвка сказал мне, что взрослые удивились так сильно, что вышло, будто свистнули враз и его отец, и дядя Гриша, и будь тут дипломат Бутаков, он бы тоже свистнул от удивления.

— Придумаешь тоже! — сказал я ему в ответ на его рассказ.

— Да и я бы свистнул, — повеселел Лёвка, — если бы вовремя сообразил. И ты бы свистнул.

— Ну так давай, — ответил я.

И мы оба свистнули, восхищаясь дядей Ильёй, дядей Гришей, дядей Володицей на протезе, который скрипел на весь коридор и на всю нашу жизнь, моим отцом, которого рядом не было, и даже дипломатом Бутаковым, который оказался в Париже.

И уж, конечно, всеми нашими мамами.

Всеми, кто жил — и не жил — в этом коридоре!

Вместо эпилога

На этом надо бы поставить точку.

Получилась бы почти сказка со счастливым концом.

Но жизнь не похожа на сказку, и только изредка она возносит нас к радости, обещая сделать её вечной. А никогда не делает.

И та потаённая жизнь Ильи Сергеевича оказалась не сказкой, а правдой.

Дня через два после того, как ему вернули погоны, в своей комнате — а дома были и Ольга Петровна, и Владька, — он вдруг выкрикнул, не так уж и громко, всего одну букву “а” — и упал.

Будто сражённый пулей.

Так сказал на поминках в коридоре дядя Гриша, надевший по этому случаю свою офицерскую гимнастёрку с орденами и медалями.

Что ж, пожалуй, он один имел право тихо сказать такие слова.

И ещё он сказал, что трудно даже вообразить, как их сосед перенёс выпавшее на его долю: и плен, и работа на вражеском заводе, и тайное противление врагу, и недоверие родины, и новое заключение, и даже счастливый конец, — когда в жизни его кто-то разобрался и его признал.

— Всё он вынес, — сказал дядя Гриша, — но вынести своей собственной победы не смог!

Отец, мамочка и я были на тех похоронах и поминках.

И много-много-много лет ещё заходили к старинным друзьям из старого коридора.

Следом за Ильёй Сергеевичем умер дядя Лёня Андреев: туберкулёз у него обострился после войны, его заключили в тубдиспансер, откуда он уже не вышел, и пятеро его сыновей, во главе с Лёвкой, тихо и бесследно растворились в жизни.

Ушел и одноногий дядя Володя, шофёр без машины, а следом уехал из города Долька, бывший Адольф. Говорили, будто он поступил в военное училище.

Бутаков стал послом, но не в Париже, а в чернокожем Конго, и больше не посылал конфет с ликером.

Тётя Лина с дядей Гришей уехали за подросткой Ларкой в Москву, и мы ещё не раз и не два встречались с ними там.

Ушли и они, как и мои родители.

Однажды я приехал в город своего детства, чтобы поклониться дорогим могилкам, а возвращаясь с кладбища, решил прогуляться по старым улицам.

Зачем-то двинулся по улице, где жили знакомцы моего детства. Увидел и старый дом, окна которого были темны. На всякий случай я поднялся к большой двери и без надежды потянул её на себя.

Удивительно, но дверь нехотя открылась, и я вошёл.

Были сумерки, и я вошёл по тёмной, едва видной чугунной лестнице наверх. Двигался я осторожно, почти крадучись, потому шаги мои не отдавались эхом, да и мусор, наверное, скрадывал их.

Там, где когда-то была общая кухня, кто-то оставил огрызок свечки, прилепленный к столу, и коробок спичек.

Будто меня ждали, даже приглашали: войди.

Я зажг свечку и двинулся по знакомому коридору, сразу вздрогнув: возле стен ничего не было, ни столиков, ни корзин, например, с картошкой. Коридор был чист, но не прибран. А двери в некоторые комнаты распахнуты.

Я вошёл в самую ближнюю комнату, где жила семья дяди Гриши и Ларки. Раньше её разделяла перегородка, а за ней располагалась кровать с никелированными шариками на штырях и горой подушек. Ни подушек, ни шаров не было, а кровать стояла, похожая на объединённый рыбий остов с переломанными слабыми косточками.

Одно окно оказалось без стёкол, и на пол под ним намело треугольничек уличной пыли, и я вздрогнул. Мне вдруг показалось, я тут не один.

Я стал двигаться быстрее, заглянул в комнату Андреевых — там шелестела газета, расстеленная на полу, покачивались провода, от которых отрезали люстру.

И снова я оказался в коридоре.

В коридорной системе, как говорили раньше.

И я поклонился голым стенам, осиротевшим без присутствия хоть чьей-то жизни.

И даже сказал вслух:

— Прости! И прощай!

Мне показалось, что это меня, здесь бывшего только в гостях и только ненадолго, попрощаться просят его бывшие жильцы.

Потом старый дом снесли.

И я, приезжая в мой старый город, обхожу стороной эту улицу.

И ещё чуточку...

Помните, в русском языке, как, впрочем, и во всех других, есть понятие — времена?

Будущее, настоящее и прошедшее.

И дело в том, что все эти времена существуют воедино.

Ни одного не бывает без другого.

Такое единство и есть жизнь.

Всех, кто был, есть и будет.

25 декабря 2021 года ушёл из жизни член Общественного совета журнала “Наш современник” Альберт Анатольевич ЛИХАНОВ.

Приносим соболезнования его родным и близким.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ДЕТСТВО, СПАСЁННОЕ ЛЮБОВЬЮ

Моими близкими друзьями в 60-е годы были Вадим Кожин, Юрий Кузнецов, Пётр Палиевский, Василий Белов, Александр Проханов, Валентин Распутин... Но как жаль, что с Альбертом Лихановым я подружился гораздо позже – в годы самоубийственной для нас перестройки. Но сейчас, когда его нет среди нас, я ощущаю его уход как потерю для России одного из самых необходимых для Родины сыновей, умевших не только писать изумительные по глубине повести и рассказы, но и бороться за судьбы всех обездоленных детей нашей Родины. В течение почти сорока лет созданный им в 1987 году Российский детский фонд спас от ужасов сиротства, от стихий и бездомности, от физической и духовной наркомании многие тысячи детей России. Мы, русские писатели-патриоты, умели писать замечательные книги, умели побеждать наших врагов в публичных дискуссиях, умели спастись от забвения и поругания пушкинские, некрасовские, шолоховские традиции. Но Альберт Лиханов в это же время делал нечто большее: он спасал от вырождения и от растрепанности целые поколения детей. Ради этой высшей цели он демонстративно опирался на многое «советское», что еще присутствовало в нашей политической, хозяйственной и душевной жизни. Вот что писал он в самые, может быть, горькие минуты своего подвижнического бытия: «Каждый человек, каждая отдельная взятая совесть не просто могут быть, а должны быть растворены, как окна доброго жилища, к чужой, особенно детской, беде. Растворены, обращены должны мы быть к бедам чужим и наша совесть, незримая миру энергия, должна быть направлена к этим бедам, чтобы выстроить незримый, но реальный мир взаимной помощи, без которой как без чувства совести и действительного сострадания к чужой беде все мы – просто тварный мир, ничуть не отделимый от мира животного... Самое ошибочное упование ныне на власть предрежащих состоит в том, что деньги решают всё. Вульгарная, индивидуалистическая нерусская мысль! И она приведет к краху, однако предупреждение об этом Детского фонда, сказанное не раз, открыто, публично, громко, не услышано, как не услышано предупреждение, что Россию ждёт беда, если будут в массовом порядке прихлопнуты школы в дальних деревнях. Ведь очевидно, что жизнь там умрет окончательно. Любовь – единственное спасение,

которое, будучи оснащено ресурсами и возвышено самопожертвованием и всеобщей совестью, спасет и защитит страждущее детство».

Именно об этом были написаны его изумительные по искренности и таланту повести и рассказы, которые он в течение тридцати лет печатал в журнале «Наш современник» и в своих книгах.

О трагедии детства он писал не просто, как талантливый прозаик, но и как государственник, пекущийся о судьбе своего народа. Не стесняясь бросал от имени обездоленного детства прямые обвинения в лицо российским современникам. Вот что писал Лиханов в 1997 году в страшную ельцинскую эпоху: «Какие бы аргументы ни приводились в пользу социальных издержек новой России – а убедительных-то нет! – 100 тысяч сирот каждый год, почти четыре миллиона беспризорников, дети-беженцы и жертвы военных столкновений внутри мирной когда-то страны – этот обвал, эта тяжесть – моральная, материальная – обязательно скажутся на всем ходе российского развития, российской истории, которая еще даже и не зрима нам, но беды которой вполне предсказуемы».

А незадолго до нынешней страшной эпидемии, как человек дела, он сказал мне: «Приближается 200-летний юбилей Некрасова, издававшего журнал «Современник», и мы с Юрием Васильевичем Бондаревым решили, что «Нашему современнику» нужно иметь свою литературную премию имени Некрасова. Я приготовил образец диплома будущей премии». И он протянул мне этот образец, вложенный в библиографическую редкость – в один из пожелтевших от времени номеров некрасовского «Современника» за 1863 год. Не зря же великий Некрасов, так благословивший одного из выдающихся своих литературных соратников, писал:

*Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни.*

Но это сказано не только о Добролюбове, о Чернышевском, это сказано о выдающемся русском писателе и покровителе нашего детства Альберте Лиханове.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ЭПОС МУШНИ ЛАСУРИА

“Поэма об отце” Мушни Ласуриа – по моему мнению, одно из значительнейших явлений современной мировой литературы.

Это утверждение может вызвать череду недоумений. Да знает ли автор рецензии современную мировую литературу в той степени, чтобы утверждать нечто подобное? Да можно ли говорить такое о произведении, едва-едва известном в русском переводе на фоне общего нечтения нынешнего серьёзной литературы, особенно поэзии?

И всё же я убеждён в сказанном. В том состоянии, в котором находится современная словесность при забвении самого понятия национальный эпос, поэма Ласуриа является, словно комета, прожигаящая небесную тьму.

Почти полвека назад Вадим Кожин писал в журнале “Дружба народов”:

“В лирике М. Ласуриа живёт тысячелетняя история Абхазии – живёт не в навязчивых реминисценциях и перечислениях, а как внутренняя сила, как глубинное течение, которое вырывается наружу, лишь когда это необходимо. И тогда в стихах возникают образы нартов и обломки Великой абхазской стены, нашествие Чингисхана и трагедия махаджиров. Столь же органически входят в стихи М. Ласуриа широчайшие, всемирные темы – образы Прометея и Дон Кихота, притча о блудном сыне и гомеровский эпос”.

История Абхазии в поэме сконцентрирована в образе отца, который связывает множество поколений – и не только в своём жизненном деянии, но и в слове.

*У очагов ночами небылицы
Рассказывают старики у нас...
Но дух твой, что с годами не угас,
В живой стремится речи воплотиться.*

*И были здесь великие предтечи,
Шагу и Сейдык, чудотворцы речи,
Звучавшей, словно колокола глас.*

*У нас в роду учителя, певцы,
Священники — люд припадал к их рясам...
Герои войн, поэты, кузнецы,
Наездники, что спорили с Аббасом,
Как птица, пролетев во все концы.*

Судьба отца поэта сопряжена с тысячелетней судьбой Абхазии, всего народа, с его мужественной и трагической историей. Миф органически переплетён в поэме Ласуриа с реальностью и сам становится историческим бытием.

В памяти поэта сохранено предание, переданное отцом, об урагане, унесшем сестру, — и этот ураган стал знаком и пророчеством дальнейшей драматической судьбы всего рода... Посреди всех стихийных и исторических бурь встаёт величественная фигура отца, усмирившего жажду кровной мести соседей, пережившего смерть жены и омывшего её тело в годину лихой эпидемии, шедшего с одной камчой на дуло наставленного на него ружья... Лихие години — одна за другой — проходят перед глазами поэта: сопротивление коллективизации; 1937-й, кровавым плугом прошедшийся по семье; Великая Отечественная, с которой не вернулись отцовские братья; смертельная стычка с мегрелами в 1949-м; и, наконец, грузино-абхазская война...

Образ и пример отца — и в истории, и в современности, — путеводная звезда для поэта.

*И, вместе с урожаем созревая,
В душе рождалась песня урожая...
Ты был тогда поэтом,
Мой отец!..*

*Отец, томясь, ты вопрошал всё снова:
“Когда же прекратится этот гнёт?!
Не всё ж молчать!”
Ты верил в силу Слова,
Знал, что оно неправедных сметёт.*

*Как ты мечтал, привыкнув к злополучьям,
О Слове вольном, смелом и могучем!..*

*Подчас твоё звучало слово жёстко,
Был строг, неллицемерен твой глагол...*

*Тебя спасала сила красноречья,
Суровый нрав, и — в самой гуще бед —
К живущим состраданье человечье,
Твоей отваги лучезарный след...*

*Была твоей святыней речь родная.
Ты прожил, языков других не зная,
Но как ты знал Отечества язык!*

*В нём прошлое сливалось с настоящим,
Он Божьим даром был, в душе горящим,
Он был всегда в устах твоих велик.*

*И прошлое — опора и основа,
И нынешнее — как венцы стропил.
Ты силой своего живого слова
Сумел соединить их и скрепил.*

Мушни Ласуриа скрепляет в своём эпосе прошлое и нынешнее, следуя примеру своего отца, для которого слово и деяние нераздельны и единосущны.

Перед глазами читателя предстаёт в своём трагическом величии Абхазия — в её истории и географии. Родина поэта Кутол — колыбель великих абхазских сказителей и песнетворцев, полноводный Дгамш, Мушката, Дурипш, места народных сходов Мыкуашта и Лышхната, реки Лапша и Кумарча, Чачал — все эти имена обретают под пером поэта полнокровное бытие, становятся близкими и родными тому, кто войдёт в эпос Ласуриа с ясным умом и чистым сердцем.

Поэт не стыдится слёз, пролитых над судьбой отца, единосушной с судьбой отчизны (“От боли за тебя моя строка и от народной горести тяжка. . .”) И эти слёзы становятся благотворной живой водой, окропляющей события давних лет, имена великих сказителей, от слова которых ведёт свою творческую родословную Мушни Ласуриа.

*В тебе, Кастей, клокочет дух Гомера,
Седая мудрость так тебе к лицу!
Без этих песен мирозданье серо...
Как не воспеть твою апхиарцу!*

*Ты, Маадан, начни свой стих глубинный,
Знай: ждут тебя на берегах Кубины!
Тебя связали с нартами флюиды,
И ведал ты их распри и обиды.*

*Старинными тревогами объят,
Я и тебя слушаюсь, Синат!
Из уст твоих, раздавшись, будет живо
Сказанье о печалях махаджира.*

И горькая печаль охватывает самого поэта при упоминании об утрачиваемой памяти. Здесь, в этих строках, явно слышится лермонтовский отзвук строчек, сложенных при виде развалин старых храмов в горах Кавказа.

*Воздвиглись храмы... Но их стены немы,
И где о древних мастерах поэмы?
Былого созиданья стёрся след
И отголосков тех событий нет.
.....
А время беспощадное течёт!
Апостол скрыт во тьме и звездочёт,
И спрятаны от внуков мглой сырою
Народные поэты и герои.*

И поэма Мушни Ласуриа воскрешает имена и деяния народных поэтов и героев, вырывает их из “мглы сырой”.

Чем ещё поразителен образ отца? Удивительным сплавом христианской набожности и бережного, любовного отношения к вере предков-язычников. “Молился. Без молитвенного слова не обходилась речь твоя. . .” Он, православный христианин, голыми руками пытавшийся остановить грабёж церковей в 1922 году, приносил жертву богам языческого пантеона, чтя древний народный обычай. И в этом непринуждённом органическом сплаве являлась опять же вся духовная история страны, воплощённая в его образе.

. . . К эпическим поэмам тончайший и проникновенный лирик Мушни Ласуриа должен был прийти и пришёл, чему во многом способствовала его работа над переводом “Евгения Онегина”, “Витязя в тигровой шкуре” Руставели. Неоченимы его переводы на абхазский язык Нового завета и Псалмов.

Перевод на русский язык “Поэмы об отце”, осуществлённый Михаилом Синельниковым, сохранил многие абхазские выражения и словосочетания, не подлежащие переводу, но органически вошедшие в русский текст. Возникает ощущение, что переводчик трудно и благотворно, пласт за пластом одолевал целые смысловые глыбы лежащего перед ним текста. И сейчас мы имеем перед собой русское переложение замечательного современного эпоса. Эпоса, посвящённого тысячелетней и современной Абхазии.

*Вновь торжествует юность, как когда-то...
Всё покорила красота весны.
И этой красотой сейчас объята
Отчизна нартов, древняя Апсны....*

МУШНИ ЛАСУРИА



ПОЭМА ОБ ОТЦЕ

(отрывки)

*Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва...*

А. С. Пушкин

Не думал новой начинать поэмы.
Нет, пусть другие о мечтах своих,
Возвышенные выбирая темы,
Поведают и в душу вложат стих.

Ну, а меня чарует предков древо,
И пусть кому-то кажется оно
Не заслужившим слова и напева,
Но, как святыня, мне в удел дано.

Что ж, на Востоке принято от века
Знать от корней до веток, до вершин
Всё древо — родословье человека,
И вопрошать, знакомясь: “Чей ты сын?”

Нет, в звёздные не устремлялся дали
И не рубился в битвах мой герой.

ЛАСУРИА Мушни Таевич родился в 1938 году, известный абхазский поэт, учившийся в России. Автор нескольких сборников, переведённых на русский язык в 1960–1980 годы.

Художники его не рисовали,
И ордена, и звонкие медали
Одежды не украсили простой.

Он не был в сонме чтимых.
В эту лигу
Допущен не был — жизнь была строга,
Но крепко он в руках держал мотыгу,
И не угасло пламя очага.

Конечно, с детства скудость мне знакома,
Но стала мне опорой семья.
Благословляю основанья дома,
В котором начиналась жизнь моя!

Здесь места нет бахвальству, славословью,
Но ранних дней мне внятн властный зов,
И повесть начинаю я с любовью
К тому, что ввысь стремится из низов...

* * *

— Отец мой,
Я с работою твоею
Сравнить хочу свой мускулистый стих!
Порой казалось, что моя труднее,
И отдыхаю только в снах своих.

Забуть ли, как мотыжили мы поле!
А я был мал — предание старо...
Но избежал я этой тяжкой доли,
Учиться стал и взялся за перо.

Прости, отец, тебя покинул я!
Ты сам хотел, чтобы я вышел в люди.
Угрюмо снизошёл к моей причуде,
Смирился...
И судьба сбылась моя.

Я помню: поучая, ты твердил:
“Поверь, что знанья — нужная поклажа.
Меня не подведи, о, мой Галаджа!¹
Трудись же, не растрчивая пыл!”

Ты и потом держал в руке мотыгу.
Был труд не слишком прибыльным, о, нет!
А ведь немного платят и за книгу,
Не богатеет от стихов поэт.

Отец мой, о твоём присловье строгом
Народ родной доселе не забыл!
Твой нрав казался бычьим острым рогом.
Врагов мирил ты, предкам верен был!

У очагов ночами небылицы
Рассказывают старики у нас...
Но дух твой, что с годами не угас,
В живой стремился речи воплотиться.

¹ Детское ласкательное прозвище.

И были здесь великие предтечи,
Шагу и Сейдык¹, чудотворцы речи,
Звучавшей, словно колокола глас.

* * *

У нас в роду учителя, певцы,
Священники — люд припадал к их рясам...
Герои войн, поэты, кузнецы,
Наездники, что спорили с Абасом²,
Как птица, пролетев во все концы.

Каменотёсы, плотники, портные,
И столяры, и мастера иные,
Любой изготавливающие скарб —
Изысканные украшения, сбрую,
И крылья мельниц, и колёса арб.

А эти жёлоб для вина тесали,
Те строили мосты... Кто скотовод,
А кто охотник... Все ремёсла знали,
И хлебосольством славился народ.

Бывали среди них и златоусты,
Не празднословны и душой не пусты.

Все славили фамилию, село
И возносили совесть, словно знамя,
Что лучших осеняло и вело,
Душой народа были временами.

Ты был им равен, вместе с ними жил
И не последним, а средь первых был.

.....

* * *

Сородичи мои в родном Кутоле
Всё по своей всегда вершили воле,
Преобладали на земле своей,
Здесь пили за здоровье сыновей
И говорили: “Будь сильнее братьев!
Живи, семейной чести не утратив,
Будь доблестен и не сойди с пути,
Достойным, нужным для страны расти!”

.....

* * *

Год страшный восемнадцатый!
Жестоко
“Испанка” покосила и Апсны.
Всем чудилась неотвратимость рока,
И погибал народ родной страны.

¹ Басариа Шагу, Цвинариа Сейдык (XX век) — ораторы, своеобразные мыслители из села Кутол.

² Абас Когониа (XX век) — известный абхазский наездник, отец выдающегося абхазского поэта Иуа Когониа (1904-1928).

К покойникам страшилась и родня
Приблизиться, злосчастие кляня.

Ты первую жену, души опору,
Отец, утратил в гибельную пору.

Ты сам свою покойницу обмыл
И, овдовев, стал одинок, уныл...
Рискуя жизнью, в это время всё же
Ты обмывал покойников не раз,
По милости, должно быть, выжив Божьей...
Отец, тебя Господь, конечно, спас!

И в эти дни невысказанной печали
Твою отвагу все в краю видали.

* * *

И видел я, как на ружейный ствол
Ты, не робея, неуклонно шёл,
И целившийся ослабел душой,
Поняв, что можешь отхлестать камчой¹.

Лишь мужество спасало в лихолетье.
Пусть враг с ружьём, но, гневом клокоча,
Смельчак, на лиходея шёл ты с плетью,
И выручала крепкая камча.

Как ужаснулся я, десятилетний!
Но был ты всех отважней, беззаветней.
Не дрогнул под ружейным дулом в тот
Богатый потрясениями год,
Когда ошеломила нас утрата —
Весть прилетела, что убили брата...

Ну, тут весь род разгневанный встаёт!

Все горевали о безвинно павшем.
А в эту пору за рекою Дгамшем
Мегрелы-поселенцы завелись —
Захват, грабёж, засилье, хоть крестись!
И в силу кем-то отданных приказов
Здесь огрузинить силились абхазов.

За старшими бегу и вижу я,
Как на пригорке вся родня моя
С чужими в бой вступила рукопашный.
Кровь пролилась и обагрила пашню...

Не обошлось словесной перепалкой.
Кто с топором, кто с тяткою, кто с палкой,
Дерутся... Даже выстрелы звучат...
Чужих колотят, топчут всех подряд.

Наказаны мегрелы-забияки,
Не ждавшие, что так ответят им.
Досталось и сородичам моим,
Но ведь иного не бывает в драке.

¹ Камча (акамчы) — кнут, плеть.

Ну, кто тут правым был, кто виноватым!
Собрался мстить Ласуриевский род,
Рыдать готовый над убитым братом.
И не отступит,

с поля не уйдёт...

Толпа с толпой сходилась вновь и снова...
Не позабыть, хоть видел так давно
Тот страшный сон побоища, столь злого,
Что кажется поставленным в кино.

Отец мой!
Братьев предводитель смелый,
Твой крепок дух, рука твоя тверда.
Побитые разогнаны мегрелы
И разбрелись угрюмо кто куда...

Как позже оказалось, нет убитых,
И жив наш брат с сестрою... Бог хранит их!

А дело в том, что местные мегрелы
Задумали, развязно-оголтелы,
Его сестру похитить — вот дела!
Но девушка согласия не дала.
Брат, кинувшись, остановил злодея,
И драка началась, и всё лютее.

Напали тут на одного мегрелы,
И в этой схватке брат, прямой и смелый,
Родной семье отстаивая честь,
Отбил сестру, —
Не стоит к нашим лезть!

Но разнеслась молва:
— Убили брата,
Наш брат сражён, ужасная утрата!

И юный, и доживший до седин,
Все родичи тут встали, как один.

Так буря разразилась,
И мегрелы
Кричат, что мы, абхазы, озверелы,
Что мы житья соседям не даём.
Конечно, настояли на своём,
Ведь времена для нас дурными были...

Вас за решётку бросили, отец,
И завели дела.
Кляня, губили.
Всё против вас!
Казалось, вам конец.

Толпа послушных собралась в Кутоле,
И правившие, на подъём легки,
Охаивали нас, лишённых воли,
Навешивали злобно ярлыки.

По-своему отчёты переделав,
Бунтарским наш абхазский род зовут.
По-братски, мол, не встретили мегрелов...
Для нас готовят свой неправый суд.

Начальники бесчувственны к досаде
И равнодушны к пылу и мольбе...

Оставшись, ты пожертвовал для фронта
Осёдланного белого коня...
Шли долго вести из-за горизонта,
Но чёрного пришлось дожидаться дня.

Сын-лётчик... не вернулся он из боя...
Потрясены жестокою судьбою,
Тебе сказать об этом не смогли.
И лишь другому сообщили сыну,
Который был в горах, от нас вдали.

В отчаянье спустился он в долину.

Вошёл в свой двор. Убитый горем, слёг...
Так вышло, что его убило горе —
Двух братьев мы оплакивали вскоре!
Осталась в сердце горечь...
Видит Бог!

Я женского не позабуду воя
И траура семейного печаль.
Тогда из братьев нас осталось двое,
Лишь я и младший...

Всё ещё живое!

И мне отца невыразимо жаль.

.....

* * *

37-й... Абхазия в крови
(Пишу об этом по твоим рассказам).
От этих дел заходит ум за разум —
Нет, не постигнешь, сколько ни живи!

Большой начальник прибыл, груб и лих,
Высокомерный и громкоголосый,
И в первый день арестовал троих —
На них уже имеются доносы!

Отец, взят на заметку был и ты.
Для палача ты — знатная добыча.
В твои глаза всё время пальцы тыча,
Он донимал словами клеветы:

— Колхозу вы сопротивлялись яро.
Потом свою окраску вы внесли...
Назвали вот бригаду “Аешара”¹
И лучшего придумать не смогли!

Колхоз — не ваша собственность! Колхоз
Совсем не в честь Ласуриа возрос! —
В глаза совавший пальцы, угрожал он.
Был, кажется, готов пронзить кинжалом.

Ты встал, спокоен, мужеством хорош:

¹ Аешара — братство (абх.).

— Гость, не по чести ты себя ведёшь!
Прочь руки убери, дай молвить слово!
Вы сами нам твердили и не раз,
Что все народы — братья. Нет дурного,
Коль их сплочённость укрепляет нас!
И мы, готовясь к новому укладу,
Назвали “Братством” первую бригаду.

Быков и арбы “Братству” передав,
Мы трудимся...

И разве я не прав!
Клевещет недруг наш, и так обидно —
Не видится того, что очевидно!

Отец, ты был в тот страшный миг отважен.
Сломила твёрдость слова твоего
Коварство обвиненья, ложь его,
И обвинитель был обескуражен.

Сорвал ты маски,
Истину явил.
Судьбой в тот день помилован ты был,
А на душе по-прежнему тревога,
Так было время тягостно и строго!

.....

* * *

Всегда народ, негодованьем полный,
Ты ободрял и за собою вёл,
Был кораблём, одолевавшим волны,
И отступал коварный произвол.

Быть честным ты учил меня, подростка.
Подчас твоё звучало слово жёстко,
Был строг, нелицемерен твой глагол...

Отец! Как часто думал я об этом!
Не сдаться, не согнуться тяжело...
Но верность я хранил твоим заветам —
Вот что меня хранило и спасло!

Меня и в детстве не сломил никто бы!
Дух непокорства проникал и в стих...
А сколько лжи и зависти, и злобы
Пришлось мне встретить на путях своих!

Как мне мешали с самого начала!
Свою я правду гнул
И лгать не мог,
И правда жгла, и правда защищала,
И миловал, и помогал мне Бог!

Необходимо быть бойцом мужчине,
Иль мелочь он,
И грош ему цена...
Раненьями, отец, горжусь доньне!
Трудна твоя дорога, но верна.

.....

* * *

Ты был крещён, отец мой!
В беге дней
Крестился, проходя вблизи церквей.

Однажды нас, детей, привёз к Илору¹,
К святыне приобщил ещё в ту пору.

“Благослови, Господь!” —
Ты говорил
И за едой, и за работой в поле,
В грозу, в дороге, близ родных могил —
Не только на всеобщем богомолье.
Проснувшись на заре и перед сном,
На сходе и вступая в чей-то дом...

Молился!
Без молитвенного слова
Не обходилась речь твоя.
Был смел,
Чтил благочестье славного былого,
Чьего-то богохульства не терпел.

* * *

В году двадцать втором, столь незабвенном,
Прихлынула орда к церковным стенам,
И выносили золото мешками,
А ты пытался голыми руками
Вооружённый удержать грабёж!
Но, нет, воров с дороги не собьёшь.

“Да проклянёт вас, нехристи,
Всевышний!..” —
Ты восклицал
В тот чёрный день давнишний.

* * *

Христианин, ты всё же чтил обычай,
Ходил с молением в кузницу, как в храм...
А сердце, печень, оковалок бычий
Священной жертвой были небесам.

Молился, к небу воздевая руки.
Потом с присловьем кубок поднимал,
И реяли молитвы общей звуки...
Всё помню я с тех пор, когда был мал.

“Аминь!” — прозрев неведомые дали,
Мы, дети, за тобою повторяли.

Я помню эти кубки и кувшины,
Молельни воздух, этот воздух винный...
Тогда нам яства все наперерыв
Дарили, никого не обделив.

¹ Илор — особо почитаемый храм в восточной Абхазии.

Молва о Джаджу, Шаши возглашала,
Мзанныхву и Мраныхву, Ажвейпшаа¹.

.....

* * *

Ты в буре жизни, в смерче урагана
Был, как отец твой, слаб и одинок.
Ты близких растерял, лишился рано
Всех, кто тебе служить опорой мог.

Ты был на грани гибели не раз,
Но выстоял, но выжил, не угас.

Тебя спасали сила красноречья,
Суровый нрав и — в самой гуще бед —
К живущим состраданье человечесье,
Твоей отваги лучезарный свет.

.....

* * *

Была твоей святыней речь родная.
Ты прожил, языков других не зная,
Но как ты знал Отечества язык!

В нём прошлое сливалось с настоящим,
Он Божьим даром был, в душе горящим,
Он был всегда в устах твоих велик.

И прошлое — опора и основа,
И нынешнее — как венцы стропил.
Ты силой своего живого слова
Сумел соединить их и скрепил.

Ты жил, обычай дедовский любя!
Враждебна суете земной и праху,
Сияющей вершиною Ерцаху²
Являлась Апсуара для тебя.

.....

* * *

Отец, я помню: ты ложился рано.
На ветках птицы распевали рьяно,
А ты, дневной заботой угнетён,
Спешил скорее погрузиться в сон.

В глубокий сон валился ты устало,
Меж тем как муза надо мной витала.

То Байрон, Пушкин, то слова Баграта...
Горением душа была объята,
И чудилось, что на закате дня
Благословляют гении меня.

¹ Боги абхазского языческого пантеона.

² Ерцаху — одна из высочайших горных вершин Абхазии, воспетая в поэзии.

И чуял ты, что к сельскому труду
Я не вернусь, что навсегда уйду.
.....

* * *

Не в пятьдесят ли третьем — жгучий зной,
Когда я шёл на пахоту с волами?
Весь жар июля набегал волной,
И голову мою сверлило пламя.

А мы с тобою заняты пропашкой,
И нет конца работе нашей тяжкой...
Нагрелось солнце, словно диск стальной.

А слухи шли, что предстоит затмение,
Текла молва, судили вкривь и вкось,
И перемены ждал я в нетерпенье
И думал: “Вот оно и началось!”

Застигнутые посредине поля,
Мы видим, что густеющая тень
Подходит к солнцу, и — за долей доля —
Оно темнеет...

Ночь сменила день!

Как сузилось могучее светило,
Энергию и силу потеряв!
Истаяло, ушло, лишилось прав...
И всю планету грозно тень покрыла.

И я прошу отца:
“Остановись!
Дай поглядеть!”
А он в ответ: “Очнись, сынок!
Ну, что ты!
Ступай себе, поглядывая ввысь,
Но всё-таки не прерывай работы!”

Но тут просвет, и оживился мрак!
Я постепенно убавляю шаг...

— Тяни быков, работай ради Бога!
Держись, сынок, осталось так немного!

— Дай наглядеться! — говорю в ответ.
Такое видеть редко доведётся...

Отец не слышит, всё ему неймётся.
Сейчас ему до солнца дела нет.
А ведь дела у солнца нынче плохи,
И в небе от него остались крохи.
От солнца, озарявшего весь мир, —
Лишь дынный ломтик... Жалок он и сир.

И вся природа вздрогнула во мраке.
Повсюду и мычание, и рёв,
Разброд овец, смятение коров,
И насмерть перепуганы собаки.

Тут молвил ты: “Спаси и сохрани!”
... Но отдых невозможен в эти дни.

Держу в руках верёвку, глядя ввысь,
И снова ярко небеса зажглись.
В них солнца светозарный лик явился...

День этот не померк и не забылся!..
.....

* * *

О, старцы, уходите вы не спешите,
Сасрыквы¹ дух, прошу вас, воскресите,
Настройте апхиарцу и ачарпын²,
На свадьбе, долгожители, спляшите
Заветный пляс предгорий и долин!

...Ответьте, отчего когда-то в Лыхны
Злой выстрел прогремел и почему
Весь край отцовский, негодую, вспыхнул,
В огне преобразился и в дыму!³

В тебе, Кастей⁴, клокочет дух Гомера,
Седая мудрость так тебе к лицу!
Без этих песен мирозданье серо...
Как не воспеть твою апхиарцу!

Ты, Маадан⁵, начни свой стих глубинный,
Знай: ждут тебя на берегах Кубины!⁶
Тебя связали с нартами флюиды,
И ведал ты их распри и обиды.

Старинными тревогами объят,
Я и тебя заслушаюсь, Синат!⁷
Из уст твоих раздавшись, будет живо
Сказанье о печалях махаджира.

Уходят наши старцы год за годом,
И целый мир сгорает с их уходом!..

Уж старика не встретить в Ачандаре
С георгьевской медалью на груди,
И Тыкуа⁸ не увижу я в Атаре —
Сказителей эпоха позади!..

Вот и отца я голос не услышу,
И в памяти звучит он тише, тише,
И всё ж не иссякает до сих пор,
Покуда вечный мрак её не стёр.

¹ Сасрыква — главный герой абхазского эпоса “Нарты”.

² Национальные музыкальные инструменты.

³ Речь идёт о Лыхненском восстании 1866 года.

⁴ Кастей Арстаа — великий сказитель, исполнитель героических песен.

⁵ Маадан Саканиа — известный сказитель.

⁶ Кубина — Кубань (абх.).

⁷ Синат Джения — прославленный сказитель и певец.

⁸ Тыкуа Куцниа — известный сказитель и оратор.

Абхазы-старцы — летопись живая,
Сокровищница Совести они...
Коль ты — поэт, воспой их, прославляя,
Ушедших добрым словом помяни!..

Живите долго и гостей встречайте,
Храните дух и ритуал Апсны,
И в стремена, как в юности, вступайте,
В черкески, как всегда, облачены!

Вы уходите, прошу вас, не спешите
И радуйте премудрым словом нас,
Касаясь струн серебряных, гремите,
Перед презренной смертью киньтесь в пляс!..
.....

* * *

Я опасаясь в дебри углубиться.
Поведанное — только эпизод,
И всё же тема, что в душе живёт,
Достойной мнится кисти живописца.

То, что в поэму вылилось нежданно, —
Всего лишь буква, слово, краткий стих...
Заслуживает драмы и романа
Глубокое преданье дней твоих!..

А то, что мной с волнением говорится, —
Лишь манускрипта ветхого частица.
И всё же запись верная моя
Выводит на тропинку бытия.

Сравню рассказ с расколотым кувшином.
Коль ты скрепишь и склеишь черепки,
Он снова вдруг окажется единым,
И станут годы дальние близки...

Не об одном тебе моя поэма!
Она о сути отплавших дней,
Чтоб это время не осталось немо...
Ты — всё же стержень повести моей!

Я слово произнёс не наобум —
Из глубины душевной исходило,
Пропущено оно через горнило
Суровых испытаний, долгих дум.
.....

* * *

Из небылиц неверных и капризных
За призраком вдруг выплывает призраком...
Что из столетий я смогу извлечь,
В умолкнувшую
Вслушиваясь речь!

Воздвиглись храмы... Но их стены немые,
И где о древних мастерах поэмы?

Былого созиданья стёрся след,
И отголосков тех событий нет.

На рубежах Абхазии в печали
Великие умельцы исчезали.
Забытые (и вспомнятся едва ли!)
В какой судостроители дали?
А ведь спускали в море корабли!

Сказанья есть...
И всё же тьма густа...
Где авторы?
Осталась немота.

Великие бывали златоусты.
Где имена?
Тут родословья пусты...

А время беспощадное течёт!
Апостол скрыт во тьме и звездочёт,
И спрятаны от внуков мглой сырою
Народные поэты и герои.

И много их, неведомых бойцов,
Уже забытых, но в конце концов
Их жертвенности вечен свет горячий...
Как выстояла бы страна иначе!

Тут речь не о свершениях царей,
Не о владыках, канувших в тумане...
Я о народе говорю скорей —
Страдании его
И ликованье...

.....

*Сухум—Москва
2020*

Перевод Михаила Синельникова

АНДРЕЙ УБОГИЙ



КРАСНАЯ ЗОНА

РОМАН

*Страшнее всех враг,
которого не существует.*
У Б о

1

Кровь ударила из глубины раны с такой силой, что алый фонтан достал до операционной лампы, забрызгал её — и всё погрузилось в красные сумерки.

— Зар-раза! — прохрипел Руднев, пытаясь рукою с салфеткой прижать повреждённый сосуд.

Кровь забрызгала и очки хирурга: всё для него расплывалось в багровом тумане.

— Протри очки! — крикнул Руднев сестре.

Ещё и трубка отсоса, как назло, забилась, и, пока сестра протирала тупфером очки Руднева и прочищала отсос, ему пришлось отчерпывать кровь свободной ладонью. Он сейчас оперировал ножевое ранение подвздошной артерии: лапаротомная рана была глубока, живот полон крови, и повреждение никак не удавалось разглядеть. Это злило Руднева больше всего: то, что смерть пряталась где-то под хлопавшей кровью, и до неё ещё нужно было добраться. Казалось, что там, в глубине раны, затаился его личный враг, издававшийся и над хирургом, и над бесчувственным раненым. Рассудком-то

УБОГИЙ Андрей Юрьевич родился в 1963 году в городе Железногорске, в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Живёт и работает в Калуге. С 1986 года и по сей день — практикующий хирург-уролог. Прозаик, эссеист, драматург. Автор одиннадцати книг прозы. Имеет многочисленные публикации в российских журналах и альманахах. Лауреат нескольких литературных премий. Роман А. Убогого “Доктор” переведён на итальянский язык.

он понимал, что никакого врага там не было и не могло быть — просто-напросто жизнь человека стремительно вытекала через повреждённый сосуд — но сердце Руднева знало, что враг существует, и незримость его есть всего лишь одна из коварных уловок.

Отсос напряжённо гудел, осушая рану; из-под плотно прижатой салфетки кровь больше не поступала; и после красных зловещих сумерек в операционной снова всё было видно ясно и чётко. Держа правой рукой зажим наготове, Руднев стал медленно сдвигать вбок пальцы левой руки, уже занемевшие от напряжения. И даже прыгнувшая навстречу струя не успела ему помешать защёлкнуть зажим на центральном конце повреждённой артерии, а через короткое время положить “бульдог” на периферию. Теперь можно было и отдышаться, и размять затёкшую кисть, и поинтересоваться у анестезиолога:

— Ну, как он?

— Было плохо, сейчас получше, — отозвался словоохотливый Серебряков. — Ты, Михальч, с кровотечением справился?

— Вроде справился...

— Вовремя, а то я уж не знал, как ему давление поднимать. Лью, понимаешь, в две вены, а оно всё по нулям! А чего ты, родимый, остановился? Давай, шей — пока мужик без ноги не останется...

Пятинулёвая тончайшая нить почти невидима, а когда она прилипает к окровавленным тканям, её и подавно не разглядеть. Руднев ориентировался в основном на остро сверкающий серпик иглы. Он то погружал его иглодержателем в стенку артерии, то ловил, доставая из тканей, этот игольчатый блеск — и, стежок за стежком, концы повреждённой артерии соединялись. Один ассистент осторожно натягивал нить, другой сушил рану тупфером: пока всё шло, как нужно. Руднев испытывал прямо-таки наслаждение, наблюдая, как смыкаются повреждённые ткани и как рана, недавно полная крови и сгустков, становится всё аккуратнее. Да, поле боя, в который уж раз, оставалось за ним: хирург был даже немного разочарован тем, что так быстро справился с кровотечением — и незримый противник опять отступил, так и не показавшись ему на глаза. “Да и существует ли он вообще? — думал Руднев, которому оставалось положить всего два-три стежка. — Или смерть — это просто ничто, пустота? Но тогда с чем я воюю?”

Скоро он запустил кровоток, сняв сначала дистальный, а следом центральный зажим. Сосудистый шов не кровил, и Руднев хотел уходить: лапаротомную рану его ассистенты прекрасно зашили б и сами. Но, как только он сделал шаг от стола и сдёрнул окровавленную перчатку с левой руки — в лампу снова ударил фонтан алой крови! Всё вновь погрузилось в багровые сумерки, а Рудневым вдруг овладела такая слабость, что он не мог даже пошевелиться. Руки не слушались, ноги как ватные: казалось, что из него самого стремительно вытекает кровь. Он хотел крикнуть помощникам: “Ребята, да что ж вы застыли — работайте!” — но голос тоже пропал, и Руднев мог только мычать от бессидия и от стыда. Затем стон превратился в тоскующий вой... Который и разбудил пожилого хирурга.

2

Какое-то время кошмар его не отпускал. Хотя вокруг вместо блеска и кафеля операционной темнели привычные контуры мебели да бледно серел прямоугольник окна, сердце Руднева билось отчаянно, и дышал он так часто, словно только что финишировал после забега. И он до сих пор не был уверен, что через секунду-другую не вернётся в операционную, где из раны по-прежнему бьёт фонтан крови. Правая рука шарила по одеялу, отыскивая хоть какой-нибудь инструмент, а левая пыталась нащупать салфетку, которой можно затампонировать рану.

Лишь через пару минут сознание полностью возвратилось к нему, и он поверил в реальность того, что его окружало: постели, ночного окна, потолка, на котором бледная тень люстры длинней самой люстры. Слава Богу, он не стоял над окровавленной раной и не был обязан скорей ушивать повреждённый сосуд.

Отдышавшись, он сел и нашарил будильник. Засветившийся циферблат показал начало шестого: хорошее время, уже можно вставать. Босым стопам пол показался холоден, а скрип половиц был Рудневу так неприятен, словно это скрипело само его тело. “Старый стал...” — вздохнул он и подошёл к окну неуверенными спросонья шагами.

Понемногу светало. Над гаражами, деревьями чахлого сквера и рядом ближайших домов небо чуть розовело, и отчётливо различался купол храма и шпиль колокольни вдаль, за домами. Руднев машинально перекрестился и тут же подумал: “Разве я верующий?” И ответил себе самому: “Конечно, верующий — хоть и в церкви почти не бываю...” В хирургическом мире, где прошла его жизнь, без веры в высшие силы нельзя. Такая работа: как ни будь опытен и осторожен — ни один хирург не обходится без осложнений и даже смертей, в которых, хотя бы отчасти и косвенно, он виноват. А раз нет безгрешных, то нет и настолько самонадеянных, что верят только в себя, в свой собственный ум и удачу. Каждый хирург — если, конечно, он не бездушный чурбан и не полный кретин — ожидает поддержки и помощи свыше.

Утро шло своим чередом. Справив нужду и умывшись, Руднев стал делать зарядку. Начиная с дыхательных упражнений — стоя перед окном и любясь восходом, — Руднев чувствовал, что их в комнате словно двое: он сам — и его постаревшее тело. Всю жизнь между ними шёл нескончаемый спор, уже надоевший обоим. Тело просило: “Оставь ты меня в покое! Ты же видишь: я уж не то, каким было когда-то, я плохо гнусь, мои суставы скрипят и болят, о спине, сорванной множество раз, вообще лучше не говорить — так зачем же ты мучишь себя и меня? А инсульт — ты забыл об инсульте? Пусть ты тогда быстро восстановился, но всё равно ведь пришлось уйти из больницы. Ты хочешь, чтоб это случилось повторно и чтобы ты, как собака, снова не мог ничего говорить, хотя всё понимал?”

“Да помню я, помню, — успокаивал Руднев себя самого, от наклонов и махов переходя к приседаниям. — Ты же видишь, как я осторожен, и уже не приседаю на одной ноге, как когда-то. Мы легонечко, по-стариковски: вот и колени почти не болят, если не присаживаться глубоко...” Он знал, что в начале любой тренировки с телом и нужно обращаться вот так осторожно и вкрадчиво. Ведь его, простодушное, можно легко обмануть, навязать ему свою волю, но только после того, как оно разогрется и разохотится, и тогда уж само будет требовать новых нагрузок. Тело, как женщина. Она тоже, бывает, сначала стесняется, мнётся, но стоит её разогреть, так потом не удержишь...

Он лёг навзничь и начал ритмично сгибаться, поднимая колени к груди: у них, бегунов, это упражнение называлось “складной нож”. Лопатки и пятки стучали об пол, дыхание становилось всё чаще, и разогретое тело казалось уже не таким старым. “Вот видишь, — говорил ему мысленно Руднев, — а ты не хотело делать зарядку! Ты слушай меня: я плохому не научу...”

“Так я тебе и поверило, — отвечало привычною болью в спине его напряжённое, взмокшее тело. — А кто меня мучил всю жизнь? Кто не давал мне ни сна, ни покоя, кто заставлял меня пробегать все эти тысячи километров на тренировках, а потом умирать, финишируя на стадионах?”

“Ладно-ладно, не ной, — возражал ему Руднев. — Тебе вообще-то грех жаловаться. Ты знаешь, каков средний срок жизни хирурга? Всего пятьдесят пять лет. А ты живёшь вместе со мной уже без малого пятьдесят восемь — и ещё, между прочим, на что-то способно...”

Оставалось как следует проработать мышцы спины. Отчего-то и самому Рудневу, и его разогретому телу эти упражнения нравились больше всего. Повернувшись ничком — доски пола под ним уже были влажными — Руднев стал поднимать то плечи и голову, то дрожащие от напряжения ноги. Ягодицы и длинные мышцы спины сокращались и расслаблялись, и в этих движениях звенело что-то такое, что заставляло Руднева вспомнить былые победные финиши.

Да, по утрам вспоминалось спортивное прошлое: времена, когда молодой Руднев не лежал, как сейчас, ничком на полу, а финишировал на стадионе. Но и тогда отношения с собственным телом у него сложно складывались. Он то подчинялся ему, то командовал им, заставляя тело терпеть и страдать, но всегда ощущал, что центр его личности находится где-то вне тела, не вполне совпадая с той жилистой и мускулистой оболочкой, которая в эти секунды — ну, скажем, бежит по виражу, стараясь не выпустить к бровке соперников.

Острее всего разделение с собственным телом он пережил давней морозной зимой во время финиша в литовском Каунасе. Там проводилось первенство медицинских вузов страны, и Руднев до сих пор с гордостью вспоминал финальный забег на полторы тысячи метров. Бежали в манеже, по двухсотметровому круту, и пятикурсник Иван Руднев поначалу даже и не надеялся оказаться в тройке призёров. Куда там! В стартовом протоколе заявлено аж два мастера спорта. И оба, кстати, литовцы: уж у себя-то дома они порвут всех...

После выстрела, запустившего их забег, Иван думал только о том, как не упасть в тесной, ожесточённо толкающейся толпе, в окружении чужих спин, затылков, острых локтей и сухой дробы шиповок по жёсткой резине дорожки. Но вот, после стартовой сутолоки, бегуны растянулись в цепочку. Иван видел, что впереди него бегут те самые два фаворита-литовца в жёлто-зелёных майках, в победе которых никто здесь не сомневался. Бежалось пока что легко. Та усталость, что часто накрывает средневика уже в самом начале дистанции, сегодня щадила Ивана, и он, как приклеенный, держался за лидерами, которые с каждой прямою и виражом ускоряли и так-то высокий темп бега. “Давайте-давайте, — с каким-то весёлым злорадством думал Иван. — Ещё поглядим, у кого больше прыти!” Он с удивлением чувствовал, что воспринимает себя, шаг в шаг бегущего за долговязыми лидерами, как что-то почти постороннее и чуть ли не хладнокровно наблюдающее за интригой забега. Скоро этот наблюдатель отметил, что позади уже почти половина дистанции, и что их тройка — он и литовцы — метров на двадцать оторвалась от остальных. “Значит, — сообразил Иван, — мы трое и разыграем медали...”

Усталость рухнула на него неожиданно. Свет померк, воздух стал словно пустым — его не хватало натужно свистящей груди, — а ноги сделались так медлительны и непослушны, будто бежали в воде. “Терпеть, терпеть!” — приказывал Иван себе самому. Он понимал, что настал самый важный момент: когда он сражается уже не с соперниками (они растворились в горячем тумане), а со своим собственным телом, которое с каждым мгновением делалось больше и больше, вытесняя из мира всё остальное, кроме себя самого. Больше не было ни виража, ни чёрной дорожки с белой разметкой, ни двух жёлто-зелёных спин впереди, ни зрителей, ни красных флагов в гулком пространстве манежа; было только страдавшее тело Ивана, которое умоляло его о пощаде. Но он, чьё сознание всё ещё находилось где-то вне тела, понимал, что нельзя потакать своей слабости. Поэтому он и приказывал сам себе, в такт тяжёлым шагам: “Потерпи, потерпи, потерпи...”

Очнувшись ему помогли крики зрителей. Поскольку близился финиш, вдоль всей дорожки выстроились болельщики — большинство местные, — и они азартно кричали, размахивая красными флажками. Даже из глубины усталости Иван слышал их крики; и было отрадно вспомнить, что в мире, кроме его страдавшего тела, есть ещё эти болельщики, их крики, руки, флажки — и есть две спины впереди, которые, как ни странно, почти не отделились за время, пока Иван находился в полуобмороке усталости. Он понимал, что зрители подбадривают своих, и уже не сомневаются в их победе. “Рано радуетесь!” — подумал Иван в тот момент, когда гонг судьи зазвенел, обозначая последний круг мучительного забега. Оставалась прямая, вираж и ещё прямая. “Вперёд!” — приказал Иван сам себе, и его тело, которое снова стало послушным, быстрее застучало шиповками по резине дорожки.

Дальнейшее происходило, словно во сне. Сначала один, а затем и другой долговязый соперник — лица их были бледны, рты перекошены — сдвинулись влево и медленно переместились за спину Ивана. В выраж он успел войти первым, подумав: “Здесь не обгонят — осталась прямая...”

Так тяжело — но и так легко! — как на той последней прямой, ему никогда ещё не было. Он обгонял не только соперников, но и себя самого, своё тело, которое всё ещё мучилось на дорожке, в то время как сам Иван словно со стороны наблюдал за его содроганиями. Он тонул в вязкой удушливой мгле — и одновременно всплывал к белым финишным клеткам, где его ждали судьбы, чьи секундомеры Иван вот-вот должен был остановить. Казалось, что он уже умер — и всё происходит с ним после собственной смерти. Он отделился от тела настолько, что чуть не закричал самому же себе: “Молодец!” — в тот момент, когда первым стал падать грудью на финиш...

4

Но всё это осталось в прошлом и оживало только в воспоминаниях. Впрочем, и в них была своя сила, которая помогала жить дальше. “По крайней мере, есть о чём вспомнить”, — думал Руднев, заканчивая зарядку и отправляясь в душ.

После душа он завтракал. Аскетический быт пожилого врача допускал всего четыре разновидности завтрака, чередовавшиеся с той неизбежностью, с какой сменяют друг друга четыре времени года. Варианты такие: хлеб с сыром и мёдом, сырая гречка, залитая накануне водой и по вкусу неотличимая от варёной, сметана с творогом и наконец — запаренная кипятком овсянка с изюмом.

Сегодня на очереди была овсянка. Две горсти хлопьев Руднев смешал с горстью изюма и подлил в миску дымящегося кипятка из только что заставившего чайника. Одновременно он заварил и чай — чёрный, цейлонский — в большой синей чашке, вмещавшей четыреста граммов. Пока овсянка и чай настаивались под перевёрнутыми блюдцами, Руднев оделся, размышляя о том, как разумно он упростил свой быт после развода с женой. Оказалось, что бытовые заботы не так и страшны и занимают не так много времени, как это принято думать. “Быт — это всё бабы выдумали, — ухмылялся Руднев, — чтобы набить себе цену...” Главное, не давать ему, быту, воли — примерно вот так же, как и спортсмен не даёт воли телу, а сам командует им.

А уж с этой всей современной техникой — пылесосами, микроволновками да стиральными машинами — домашнее хозяйство превращается просто-напросто в развлечение. Разве трудно ему раз в неделю десять минут погудеть пылесосом или затолкать ворох белья в барабан стиральной машины и нажать кнопку, чтобы через пару часов достать почти сухие футболки, трусы и рубашки? Эту игру как-то даже смешно называть работой — по сравнению с тем, чем Руднев занимался в больнице.

Вот и кулинария, которую он взялся осваивать на старости лет, оказалась ничуть не сложна, а скорей интересна, конечно, если не быть утончённым гурманом и не делать из еды культа. Но Руднев, к счастью, всю жизнь обладал отменным аппетитом и получал наслаждение от любой, самой простецкой еды. Он даже недоумевал: зачем тратить столько сил, времени, денег и изводить столько продуктов на сооружение вычурно-сложных блюд, когда они всё равно уступают по вкусу и пользе блюдам самым простым? Ну, что может сравниться, к примеру, с селёдкой, посыпанной резаным луком и политой подсолнечным маслом? Или с рассыпчатой отварной картошкой, рядом с которой лежит горка квашеной, остро хрустящей капусты? А варёный горох или чечевица? Да и просто-напросто пахучий ломоть свежего чёрного хлеба, на который лёг тонкий пласт сала? “Нет уж, увольте меня, — думал Руднев, — от этих всех трюфелей-профитролей; я буду верен еде бедняков. Она и вкусней, и дешевле, и проще, и здоровее: а ищут изысканных вкусов пусть те, кто не понимает настоящих радостей жизни...”

Кое-какие кулинарные усовершенствования он, впрочем, допустил и в свою аскетическую кухню. Так, вкус овсянки казался ему слишком пресным и скучным, поэтому он придумал посыпать её сверху тёртым сыром, как делают итальянцы со своими спагетти. Тогда вкус унылой овсянки менялся: это было похоже на то, думал Руднев, как если невзрачную и простоватую девушку одеть в соблазнительно-смелое платье и окружить её облаком дорогого парфюма.

Тем временем сыр на горячей овсянке подтаял, и чай заварился. Сегодня Руднев решил позавтракать, стоя у подоконника: хотелось полюбоваться восходом. Тем более что он где-то читал — чего он только не прочитал за свою жизнь! — что настоящие шотландцы овсянку едят стоя: из уважения к национальному блюду. “Что ж они свой знаменитый виски пьют сидя? — подумал Руднев, ставя тёплую миску на подоконник. — Видно, овсянка им всё же важнее...”

Восточный край неба был уже не таким нежно-розовым, как недавно, а почти алым. Несколько дымчатых облачных перьев парили над трубами промзоны. “Дождусь, пока взойдёт солнце, — решил Руднев, отпив глоток терпкого чая и проглотив пару ложек овсянки. — Всё равно спешить некуда: сегодня выходной”. Он волновался перед появлением солнца, почти как когда-то в юности, ожидая девушку на свидание. Хотелось, чтобы она пришла как можно скорее, но вместе с тем мало что было прекрасней самих минут ожидания.

Тем более что солнце не могло не появиться. Над изломанным контуром дальних домов и чернеющих труб небесный пожар разгорался всё ярче. “Давай же, давай!” — торопил Руднев светило. Вот так же, случалось, он торопил рожениц — давно, ещё в том зауральском посёлке, где ему приходилось подменять запойного акушера. Тогда Рудневу тоже казалось, что его, доктора, внутреннее напряжение помогает младенцу скорее явиться на свет.

Похоже, что солнце услышало мысленный этот призыв. На горизонте сверкнула слепящая красная искра, и Руднев нетерпеливо привстал на мыски — отчего искра солнца сразу стала крупнее. Затем он присел — и алая искра исчезла за горизонтом. Улыбаясь, как малый ребёнок, Руднев повторил эти движения несколько раз, восхищённый простым доказательством своей несомненной связи с утренним солнцем.

Но секунд через десять он уж не мог так играть со светилом: над горизонтом вырос алый холм, от которого разливалось сияние, озарившее всё, что было вокруг: и контуры крыш, и вертикали заводских труб, и сияющий крест колокольни. Даже на миску с овсянкой легли розоватые блики, и Руднев подумал: “Наверное, и моё лицо стало розовым, как у младенца...” Он щурился на вырастающий солнечный диск, который уже оторвался от горизонта и всплыл в опустевшее небо, ощущая себя таким молодым и счастливым, каким ему давно не случалось бывать. Надежда на что-то хорошее, что должно непременно случиться, наполнила его душу...

5

“А тебе самому не смешно? — думал Руднев, моя посуда. — Чего тебе ждаться — что хорошего может случиться с тобой впереди? Смирись с тем, что твоя жизнь прожита — и, кстати, не так уж и плохо. Ты сделал тысячи операций: надо ещё поискать человека, который работал бы столько...”

“А толку-то? — отвечал Рудневу внутренний пессимист, всегда живший в нём. — Ты разве не знаешь, что все, кого мы лечим и оперируем, в конце концов умирают? И потом: сам-то ты что получил от прожитой жизни? Вот разве инсульт — да пенсию, на которую сможет прожить только кошка...”

“Как, то есть, что получил? — возмущался Руднев. — А сама жизнь — разве этого мало? Неужели ты жил и работал лишь для награды, чтобы кто-то похлопал тебя по плечу и сказал: “Молодец, хорошо потрудились — вот тебе, Ваня, за это конфета!” Признайся: ведь ты бы работал хирургом, если бы даже тебе ничего не платили — потому что нет ничего важнее и интереснее, чем оперировать...”

“Так-то оно вроде так, — продолжал недовольно ворчать пессимист. — Но вот есть же у многих благопристойная старость? Есть та семейная жизнь — с женой, детьми, внуками, — которая им согревает последние годы...”

“Ну, не всем же везёт, — вздыхал Руднев. — Кому-то судьба доживать одиноко, в логове старого волка...”

Сон про волка нередко и снился ему — особенно после инсульта, в те беспокойные ночи, когда резко менялась погода. Руднев видел, как угол леса, куда он забился, обносят флажками. Грязный шнур провисал меж кустами и чахлыми ёлками, серый мартовский снег усыпан хвоей и ветками, а на шнуре болтались красные тряпки. Не то, чтобы он, старый волк, боялся этих флажков, но они ему были противны, будили в душе нехорошие воспоминания, и не хотелось без крайней нужды выбегать на их красный и отвратительно пахнущий ряд. Но лай собак и крики загонщиков приближались — и волк, затаившийся под корневым буреломным выворотнем, поднимался на старые, иссечённые настом лапы (болели колени) и вперевалку трусил по ноздреватому снегу навстречу болтавшимся на шнуре красным тряпкам. Просыпался же Руднев обычно тогда, когда волк грузно прыгал — и раскаты выстрела, прозвучавшего за деревьями, превращались в назойливый стрёкот будильника...

Впрочем, так одиноко он жил не всегда. Когда-то была у него и семья — жена, дочь Марина и даже собака, — но всё чаще казалось, что это было не с ним: чтобы вспомнить семейное прошлое, Рудневу приходилось сделать над собой усилие. Его жена, миловидная блондинка, в молодости напоминала тех белокурых принцесс или фей — в кружевных платицах, розовых бантиках и с голубыми глазами, — которых рисуют в иллюстрациях к детским сказкам. Жена родила Рудневу дочь, чудесную резвую девочку, на которую, когда он изредка гулял с ней, неизменно оборачивались и умилялись прохожие.

“И вот куда это всё подевалось? — недоумевал Руднев. — Я не успел оглянуться, как белокурая фея состарилась, превратилась в сварливую и несносную бабу, а дочка из ангела стала рослой красавицей, на полголовы выше меня — такую уже не подхватишь на руки, как бывало, — и вышла замуж за важного немца, который увёз её в Кёльн...”

Там, в Германии, появилась и внучка Кристина, которую Руднев видел только на фотографиях. Съездить в гости всё как-то не получалось — мешало то одно, то другое, — а вот жена побывала там несколько раз. И после этих поездок в семейных скандалах появились новые темы: он, Руднев, был виноват уж не только в своём эгоизме и грубости, но и в том, что немецкие их свояки живут много богаче.

— Представляешь, — говорила жена, округляя глаза, теперь совершенно бесцветные и как будто слепые, — там у каждого члена семьи по машине!

— Ну и что? — пожимал Руднев плечами. — Я вот и без машины прекрасно живу.

— Потому что ты думаешь только о девках! И о своей хирургии! — заводила жена неизменную песню, которую Руднев выслушивал уже много лет. — А на жену тебе, как всегда, наплевать! Вот почему у всех муж как муж, а у меня — чёрт знает что?

В итоге всё кончилось тем, к чему шло давно: разводом, разменом квартиры и отъездом жены за границу. “Вот и прекрасно: будет там нянчить внучку да разъезжать на машине, — думал Руднев. — А я хоть на старости лет отдохну от бесконечных попрёков и оскорблений...”

Первые месяцы после развода Руднев жил с таким чувством освобождения и облегчения, какое испытывает больной, которому вскрыли мучительный и давно созревший нарыв. Улыбка почти не сходила с его лица, словно он каждый день выигрывал большой куш в лотерею и сам не верил такой несказанной удаче. “Каждый день без жены, — думал он, наслаждаясь покоем и одиночеством, — это счастье...”

Но внешне жизнь Руднева после развода переменилась не так уж и сильно. Он по-прежнему проводил дни в больнице, — а дежурить стал даже чаще, чем раньше, — всё так же порой выпивал в ординаторской рюмку-другую с коллегами после рабочего дня и всё так же по вечерам бегал кроссы, знакомясь с дорогами, тропами и пустырями окраины, где теперь жил.

Вот, правда, инсульт, что случился два года назад, сильно его подкосил. Начинаясь тот день, как обычно, разве что непривычно ломило затылок, и по спине время от времени пробегала дрожь неприятных мурашек. Но Руднев и не думал отменять операцию — потакать слабостям собственного организма было не в его правилах, — тем более, что пациент очень просил, чтобы его оперировал именно он.

Таких трудных резекций желудка в его практике давно не случалось: Руднев провозился три с половиной часа. Весь верхний этаж живота оказался так замурован спайками, что приходилось рассекать ткани почти наугад, каждый миг ожидая, что из раны вот-вот выпрыгнет струя крови или что инструмент провалится в орган или проток, повреждать который нельзя. От напряжения у хирурга ныл не только затылок, но разболелась и вся голова, а пот заливал глаза так, словно он не стоял, склонясь над больным, а бежал под палящим солнцем. Но худо-бедно удалось выделить и желудок, и начальный отдел двенадцатиперстной кишки. Накладывать анастомозы Руднев умел и любил, тем более что за этим этапом работы уже маячил конец операции. Ему оставалось всего два-три шва, но свет лампы в глазах Руднева неожиданно стал потухать, а пальцы словно распухли и сделались непослушными, так что он никак не мог ухватить ими тонкую лигатуру. “Что за чертовщина?” — раздражённо подумал хирург и уже хотел крикнуть, чтобы наладить свет, как вдруг рана раздвинулась и превратилась в красную пропасть, в которую Руднев стал стремительно падать...

Очнулся он в реанимации. Было странно и непривычно видеть над собой стойку капельницы со стеклянным флаконом и чувствовать, что его руки прихвачены к раме кровати тряпичными лентами. Но ещё больше он изумился, когда к нему подошла молодая грудастая медсестра, одним махом откинула простыню с обнажённого Руднева и бесцеремонно взяла его член рукой в синей перчатке. Уж этого Руднев никак не мог вынести и захрипел:

— Ты что делаешь?

— Быстро вы, доктор, заговорили, — улыбнулась сестра. — А мне приказали вам катетер поставить.

— Какой ещё, на хрен, к-катетер? — чуть заикавшийся Руднев аж выгнулся от возмущения. — Дай утку, я сам отолью! Знаю я ваши катетеры: п-потом всю жизнь будешь сеать — и плакать...

Рядом громко захохотали. Скосив глаза, Руднев увидел доктора Серебрякова: тот вытирал заслезившиеся от смеха глаза.

— Ай да Михальч! — всё не мог он успокоиться. — Стоило за хер подёргать — так он и очнулся... Вот это я понимаю — мужик!

Руднев и сам был готов засмеяться от радости, что опять говорит. Только вот голова ещё сильно болела, а в глазах всё двоилось и расплывалось.

— Ну как ты, дружище? — наклонился над ним Серебряков и оттянул Рудневу веки, рассматривая зрачки.

— К-кажется, — Руднев всё ещё заикался, — что меня п-по голове бревном огрели...

— А это ты, когда падал в операционной, о край стола головой треснул-ся, — охотно объяснил Серебряков. — Так что у тебя и инсульт, и сотрясение разом.

— А как та операция? — вспомнил Руднев. — Я там в животе ничего не порвал?

— Не волнуйся, ребята зашили...

Лечили его, как родного, и сеанс тромболизиса провели как раз вовремя. Уже дней через пять он не чувствовал никаких очевидных последствий инсульта — не считая того, что он стал много задумчивее, чем прежде.

Да и было о чём призадуматься: после того, что случилось, оставаться в большой хирургии было нельзя. Инсульт мог повториться, и последствия могли оказаться куда тяжелее как для него самого, так и для пациентов.

Выход оставался только один: поликлиника. И если после развода с женой Руднев себя ощущал счастливым и помолодевшим, то после разлуки с больницей затосковал. Шутка ли: тридцать три года провести в палатах, перевязочных и операционных больницы “скорой помощи” — на медицинской, можно сказать, передовой, в самой гуще кровавых боёв — и вдруг очутиться в глубоком тылу. Сам вид поликлинического коридора с тихо гундящими и будто нахохлившимися старушками, которые оживлялись только тогда, когда кто-то пытался проникнуть к врачу без очереди, а старухи возмущались, кричали и чуть ли не били наглеца костылями, — само это зрелище жалкой и мелочной человеческой немощи вызывало уныние. “Это, Ваня, тебе не прежние хирургические коридоры, — с тоской вздыхал Руднев, — Помнишь, как там день и ночь гремели каталки и стучали каблучки медсестёр? Там была жизнь — хоть и рядом со смертью, — а здесь, в поликлинике, и не жизнь, и не смерть, а какие-то вялые сумерки...”

Но что делать? Работать хоть где-нибудь необходимо, и он понемногу привык к бестолковой, на взгляд хирурга, какой-то сонной и суетной одновременно атмосфере окраинной городской поликлиники. “В конце концов, я продолжаю семейное дело, — думал Руднев, отсиживая приём за приёмом и бесконечно ощупывая старушечьи хрустящие от артроза коленки. — Ведь моя матушка — царство ей небесное! — всю жизнь проработала в поликлинике участковым врачом-педиатром. Вот каково было ей: одной, без мужа, растить такого оболтуса, как я, и при этом с утра и до ночи то бегать по вызовам, то осматривать на приёме хныкавших деток и успокаивать их перепуганных и бестолковых мамаш? Это куда тяжелее, чем мне со старушками. Старушку прибрал Бог — да и ладно: родственники только облегчённо вздохнут. А с младенцем не дай Бог ошибиться и что-то сделать не так: и совесть замучает, и по судам затаскают. Нет, моя мать была святой женщиной; стыдно, что я только сейчас это понял...”

Вспоминая время от времени мать, он теперь с куда большим уважением относился к измученным участковым врачам. Этих, как правило, пожилых женщин он почти безошибочно узнавал даже среди прохожих на улице: по тяжёлой походке, по сумкам, набитым медицинскими картами и тонометрами — и главное — по привычно измученным и озабоченным выражениям лиц. “Я-то думал, что главные труженики — это орлы-хирурги, — сочувственно провожал Руднев глазами очередную из таких заморенных тёток, выходящую из дверей поликлиники. — Но главные труженицы всё же они, вот эти рабочие и незаметные ослики медицины...”

7

Так что к поликлинике он мало-помалу привык — как привык и к холостяцкой квартире, похожей то ли на келью монаха, то ли на воинскую казарму: ничего лишнего, всё голо и просто, и на всём отпечатался трудный характер мужчины, жившего словно наперекор самому же себе. Помнится, ещё бабка ему говорила: “Какой-то ты, Вань, поперечный — всё норовишь делать по-своему! Тяжко, хлопчик, тебе будет в жизни...”

И теперь, почти прожив эту самую жизнь, он вполне соглашался со своей мудрой бабкой: приходилось ему ещё как тяжело. Причём не столько из-за внешних условий или капризов судьбы — в целом жизнь Руднева протекала обычно и даже благополучно, — а из-за постоянной потребности преодолеть себя самого. Он всегда чувствовал, что обрести и сохранить себя можно, лишь не жалея себя; и это парадоксальное правило прочно вошло в его душу. Так было и в детстве, когда он пускался в рискованные авантюры, грозившие не только синяками и ссадинами или порванными штанами, но и кое-чем посерьёзнее; так было и в годы спортивной юности, когда он так изнурял себя на тренировках, что даже их строгий тренер ему говорил: “Руднев, ты что, хочешь загнать себя насмерть? Полегче, Ваня, полегче...”

Так было и позже, когда он работал хирургом и дежурил столь часто, что и ему самому, и коллегам казалось: он в больнице живёт, то надолго склонившись над столом в операционной, то спускаясь в приёмное отделение, то на пару часов ложась на диван в ординаторской, чтобы вскоре встать и снова идти оперировать.

Только инсульт, переход в поликлинику и размеренно-одинокая жизнь немного смягчили его беспощадное отношение к самому себе. То ли сил у него стало меньше, то ли он осознал, что та жизнь, какую он мог и хотел прожить, — жизнь спортсмена, хирурга, мужчины — уже в основном позади, и задача осталась одна: не испортить финала.

Но вот странное дело: как только он сам, постаревший, уже почти был готов оставить свои тело и душу в покое и встретить старость в ином, прирешённом с собой состоянии, в окружающем Руднева мире стало явно что-то меняться. Или просто он сам, получивший больше свободного времени, чаще садился к компьютеру, полюбил читать новости, думать о них, и то, что происходило в мире, стало больше интересовать и тревожить его?

О коронавирусе он впервые узнал в январе, вскоре после того, как китайские медики объявили о вспышке новой болезни. Эта новость какое-то время не выбивалась из общего ряда — мало ли есть на свете болезней, да ещё у китайцев, во всех смыслах слова далёких от нас? — но уже очень скоро едва ли не каждая из новостных сводок начиналась со слова “коронавирус”. В марте китайскую эпидемию возвысили в ранг пандемии: её волны накрыли сначала Италию, а потом и остальную Европу.

Вот о старушке-Европе Руднев волновался уже куда больше, чем о далёком и чуждом Китае. Ведь в Германии жили его дочь и внучка; да и о бывшей жене он порой вспоминал с беспокойством: пожилые, судя по многочисленным сообщениям, болели куда тяжелее.

Пандемия ширилась, как лавина, не замечая ни границ государств, ни усилий задержать её распространение. Особенно жутко было читать итальянские новости: о том, как ночами разъезжали армейские грузовики, набитые трупами, как в больницах не хватало мест и дыхательных аппаратов и как родственникам не позволяли ни навестить умирающих, ни попрощаться с погибшими. Руднев жадно, с тревогой и любопытством просматривал эти сводки — и ему всё чаще приходило на ум сравнение с чумными эпидемиями Средневековья. Он теперь читал вперемежку то самые свежие новости о распространении коронавируса, то искал сведения о флорентийской или венецианской чуме далёкого XIV века.

То, что он освежал в памяти или узнавал вновь, вызывало в нём множество разных, порою противоречивых мыслей и чувств. Картины чумных городов, заваленных смердящими трупами, оживали в его воображении; чад серных жаровен словно проникал в его ноздри, а до ушей доносился и бред умирающих, и стенанья живых, и скрип деревянных колёс труповозок. Читать об этом Рудневу было и жутковато — и, как врачу, интересно. Он представлял себе ужас, растерянность и недоумение, которые охватывали людей, столкнувшихся с “чёрной смертью”. Одно дело — враг, которого ты можешь видеть, можешь сразиться с ним или, на худой конец, убежать; а вот как быть с врагом, который невидим, которого как бы вовсе и нет, но который настигает и поражает всех беспощадно и неудержимо, и превращает в кладбища целые города? “Где тот, кто нас убивает? — цепenea от ужаса, думали люди. — В воде, пище, воздухе? Или смерть гнездится внутри нас самих? Но тогда от неё вообще нет спасения — ибо для нас не существует страшнее врага, чем мы сами...”

Руднев с гордостью, словно в этом была и его собственная заслуга, читал и о том, как пылливый ум наблюдательных лекарей Средневековья уже тогда распознал инфекционный характер чумы, и те меры, что принимались против “чёрной смерти”, скажем, в Венеции — их одобрили бы и современные доктора. Изолировать заболевших, окуривать их жилища серой, поглубже закапывать трупы, пересылая их известью, и носить маски с длинными клювами, выполнявшими роль респираторов, очищающих заражённый воздух, — всё делалось, как по учебнику инфекционных болезней. “Им бы

ещё, — сочувственно думал Руднев о средневековых коллегах, — наши антибиотики и антисептики... А без них — представляю, сколько в те эпидемии полегло докторов...” Врачей ему было жалче всего: и по чувству профессиональной солидарности с ними, и потому, что врачам было некуда деться. Хочешь не хочешь, а иди к умирающим, чтобы они поделились с тобой своей смертью.

8

По мере того, как волна пандемии приближалась к России и к городу, где жил Руднев, им всё сильнее овладевало предчувствие неизбежных и скорых перемен в его собственной жизни. Он воспринимал это как неожиданный ветер, поначалу еле заметный, но всё более ощутимый. Неизвестно, какие новости и перемены ветер должен принести, но в том, что жизнь Руднева уже не останется прежней, сомневаться было нельзя.

А о новой китайской инфекции доктор размышлял теперь так неотступно, словно вирус, пока поразивший одну лишь столицу и ещё не пришедший в провинцию, уже поселился в его голове и заставлял мозг думать в единственном направлении. “Что же это за штука такая — коронавирус? — думал Руднев и днём, посреди бытовых мелких дел, и ночью во время бессонницы. — И почему он настолько по-разному действует на разных людей?” Сколько можно было судить по той информации, что заполонила всемирную Сеть, кто-то вовсе не замечал, что он инфицирован, кто-то отделивался лёгким недомоганием, а кто-то, подхватив тот же самый коронавирус, погибал в муках удушья. Таких инфекций и впрямь прежде не наблюдалось, когда и клинические проявления, и исход всей болезни зависели не столько от вируса как такового, сколько от человека, который им поражён. Можно подумать, что вирус — это наш собственный выбор: болеть — или нет, умереть — или жить?

Вирус — он что? Всего лишь клубок из белковых молекул, облепивший фрагмент нуклеиновой кислоты. Пока он находится вне наших клеток, его даже нельзя считать вполне живым существом. Из четырёх главных признаков живого — способности к росту, движению, размножению и обмену веществ — у вируса нет ни одного! И только когда он проникает внутрь наших клеток, когда мы принимаем его за своего и начинаем сами, за счёт своих сил, ресурсов и собственной жизни воспроизводить эту смесь нуклеиновой кислоты и белка — вот тогда он становится жив, агрессивен и уже представляет угрозу для того, кто его приютил... Но ведь это же значит, что вируса, можно сказать, и не существует до тех самых пор, пока человек не признает его существующим. Вирус — как флешка с чужой информацией, которую мы, по доверчивости или недосмотру, подключили к собственной информационной системе. Недаром программные сбои компьютеров тоже называются вирусами. И недаром так много людей во всём мире, несмотря на тысячи смертей, сомневаются в существовании коронавируса. И нельзя ведь сказать, что все эти коронадиссиденты так уж глупы или недоверчивы, что их не убеждают очевидные факты. Просто, может быть, они понимают, что зло — вроде этого злобного вируса — не существует само по себе, а способно лишь паразитировать на чьей-либо жизни?..

Но существует он или нет, шуму коронавирусу наделал большого. Вот уже и мимо рудневских окон стали всё чаще проезжать “скорые”, иногда включая сирены с мигалками, когда, как он понимал, их бригады спешили доставить очередного задыхавшегося больного в реанимацию. К тому же инфекционная больница располагалась неподалёку от нового жилья Руднева, поэтому вой и мигание “скорых” сделали неотвязным и чуть ли не круглосуточным фоном всей его жизни. И всякий раз, как под окнами бегло мигал красный свет или слышалось подвывание сирены, чудилось, что его будто кто-то окликает из темноты. Этот зов темноты, конечно, тревожил, но в ответ поднималась такая волна возбуждения и желания что-нибудь делать, что Руднев был чуть ли не рад той угрозе, которая заставляла его ощутить прилив жизненных сил. “Выходит, не так уж я стар и бессилён, раз

вся эта история с пандемией может настолько меня волновать”, — думал он.

Это чем-то напоминало деревенское детство, когда его уже поздним вечером с улицы свистом звали приятели: “Вань, айда по садам!” Он подбежал к окну, всматриваясь в темноту и сознавая, что если он не откликнется и не выйдет на зов, на него ляжет пятно позора. Дело даже не в том, что друзья обвинили бы его в трусости — небось, сами-то они могли сколько угодно и без угрызания совести отказываться от рискованных затей, — сколько в том, что Иван не умел простить малодушия самому себе.

Вот и сейчас темнота, по которой время от времени проносились красные огни “скорых” и слышалось подвывание сирен, — она словно его окликала: “Вань, айда по садам!” Правда, таких красных яблочек, как в те августовские ночи, ему уже не добыть и не рушиться сквозь крону яблони с таким треском, когда разъярённый хозяин в одних сапогах и семейных трусах, матерясь на чём свет стоит, обшаривал дерево лучом фонаря. И как он тогда увернулся от жилистой цепкой руки — да ещё и сумел проскочить мимо будки цепной, разъярённо хрипевшей собаки? Вот тогда-то он, видно, и обнаружил способности к бегу: почти не касаясь земли, Иван летел сквозь кромешную ночь, ощущая, как яблоки трутся одно о другое за пазухой.

Зато он стал настоящим героем, когда раздавал приятелям такие огромные, красные, сочные яблоки, каких не видел ни до, ни после. Иван кусал их сладчайшую жёлтую мякоть, сознавая, что в эту тревожную ночь он впервые стал человеком, способным преодолеть самого себя. Да, он преодолел себя и тогда, когда выбирался в ночное окно, отозвавшись на посвист друзей, и тогда, когда перелезал через ограду, а потом карабкался по шершавым сукам старой яблони, и когда прыгал вниз, чуть ли не на лысую голову исходящего злобой хозяина, и когда, наконец, бежал с такой скоростью, что ему в самом деле казалось: он вот-вот вырвется из своей задыхавшейся, тесной, оставшейся позади оболочки и продолжит бесплотный полёт сквозь звенящую от напряжения ночь...

9

Решение идти добровольцем в красную зону Руднев даже не принимал, а оно так естественно вызрело в нём, что он оказался перед уже состоявшимся внутренним выбором, как перед свершившимся фактом. Оставалось лишь успокоить собственный разум, предложив ему более-менее резонные аргументы, чтобы не выглядеть перед собой уж совсем идиотом.

“Ну, что я буду торчать в поликлинике, которую вообще могут скоро закрыть? — вёл он привычный внутренний диалог. — А в изоляции, дома — я просто свихнусь от безделья...”

“Ладно-ладно, не нагнетай, — возражал он себе самому, глядя на город, горящий огнями в живой, как бы тоже взволнованной, тьме. — Вот тебе книги, вот интернет, из которого ты не вылезешь часами. Да твой домашний арест может быть просто раем! И потом, кто тебе мешает время от времени выбираться из дома, чтобы побегать где-нибудь на окраине? Кто тебя будет ловить — кому ты вообще нужен?”

“Это верно, — соглашался Руднев. — Правду сказать, я не очень-то нужен и себе самому. И это ещё один плюс: ведь я ничего не теряю, если даже и подхвачу этот самый коронавирус. Ну, помучаюсь — даже, может, помру — эка невидаль! Жизнь я прожил, и прожил очень даже неплохо, а впереди меня ждёт мало хорошего ...”

Он видел, что в дни пандемии всё человечество разделилось на две неравные части: медики — и остальные. И если последние должны были только прятаться по своим жилищам, не показывая носа наружу, да непрерывно бояться за себя и близких, то медикам приходилось, хочешь не хочешь, идти в красную зону: навстречу, быть может, собственной смерти. “Так что же я буду отсиживаться в своей норе, — думал Руднев, — пока наши ребята там зашиваются? (Под словами “наши ребята” он понимал как-то сразу всех медиков мира.) Нет уж, фигушки: уж если война — надо вместе со всеми своими идти на войну...”

До этого времени войны щадили его. От призыва в Афган Ивана спас институт — тогда медиков в армию не забирали, а возможность стать военным хирургом, в этот раз на Донбассе, у него отобрал инсульт. Не случись его, Руднев вполне мог бы отправиться добровольцем в горячую точку, где он, возможно, пригодился бы больше, чем на гражданке. Хотя, с другой стороны, и его тридцать три года работы в “скорпомощной” больнице тоже были войной, и крови он видел не меньше, чем мог бы увидеть в окопах.

“Да, в эти дни надо быть там, где воюют свои, — думал Руднев. — А иначе я получаюсь каким-то пассивным пособником вируса...” Его не смущало то, что о солидарности и о “своих” рассуждает пожилой доктор-пенсционер, который напоминал сам себе одинокого старого волка, окружённого линией красных флажков.

Красная зона и представлялась ему чем-то вроде тех самых загонных флажков. Это было нечто запретное, то, куда вход был заказан огромному большинству людей — и одно приближение к чему наполняло многих паническим ужасом, — но оттуда, из красной зоны, на Руднева веяло ветром жестокой, пусть даже смертельно опасной свободы. “Может, свободы-то я и ищу? — размышлял он. — Свободы от старости, от одиночества, а в конце концов — свободы от жизни и от себя самого...”

В решении Руднева был и ещё один, глубоко личный мотив. Он сознавал, что боится той вероятной мучительной смерти, которой ему угрожала зловещая красная зона. А уж этого он не мог терпеть совершенно: когда Руднев чувствовал, что в нём зарождается страх — в душе тут же вскипала ответная яростная волна.

Ещё в подростковые годы эти накатывающие ярости нередко заставляли его пускаться в ход кулаки. Если соперник был равных с ним сил, он обычно после двух-трёх ударов пускался бежать, не желая больше связываться с “этим придурком”, как порой называли Ивана. Если же соперник оказывался сильнее и старше, — а Руднев нередко кидался и на таких, — то он старался быстрее сбить с ног этого задиристого пацана, пока драка не принимала уж слишком кровавый и беспощадный характер. А Иван, лёжа щекой на шершавом асфальте или пыльной земле, порою испытывал странную гордость: ведь главное, что он сам не струсил, не показал слабину, а это много важнее, чем одержать в драке победу.

Потом в его жизнь вошёл спорт, и сраженья с самим собой переместились с улиц, дворов, подворотен в спортзалы и на стадионы. Но общий характер борьбы оставался всё тем же: важнее всего — и сложнее всего — победить не соперников, а себя самого.

10

Но если собственное решение идти в красную зону Руднев принял без особых сомнений и колебаний, то оставались внешние, юридические и медицинские препятствия его нахождению в зоне инфекционной опасности.

Во-первых, он уже пенсионер. А с момента, когда в городе объявили режим всеобщей самоизоляции, пенсионеров предписывалось не то, чтобы не принимать на работу в рискованные места, но разгонять по домам и больничным листам оттуда, где они работали прежде. Правда, пенсионер Руднев ещё молодой (стаж хирурга шёл год за полтора): полных лет ему всего-то пятьдесят семь. Так что до возрастного лимита, обрекавшего на безвыездное сидение дома, ему ещё надо дожить.

Другое препятствие серьёзное: инсульт, что он перенёс два года назад. Кто взял бы ответственность подписывать ему допуск к работе, чтобы потом нести цветы Рудневу, героически павшему при исполнении долга, на гражданскую или церковную панихиду?

“Как же мне их убедить?” — думал он, собираясь наведаться в отдел кадров родной больницы — той, где он проработал почти всю жизнь и в которой неделю назад развернули инфекционное отделение. Он шагал по опустевшим улицам города — прохожих почти не встречалось, а те, кто всё же решился высунуть нос из квартир, так сутулились и торопились, словно их

поливал дождь, — он шагал, репетируя предстоящий ему разговор. “Что вас смущает? — говорил он воображаемой кадровичке. — Мне всего пятьдесят семь лет — до старости ещё далеко. Здоровье? А что здоровье? Дайте мне кого-нибудь из молодёжи, и мы с ним пробежим или проплывём: кто будет быстрее — тот и здоровее...”

Тут он, конечно, хватил лишку: от былых спортивных возможностей в нём осталось не так уж и много. Но для своих лет он был вынослив и крепок: зарядки и кроссы помогали ему сохраниться. “Так что, милая барышня, в моём здоровье даже не сомневайтесь”, — продолжал он мысленно убеждать кадровичку, которая в его воображении, чем ближе он подходил к больнице, тем делалась привлекательней.

Но всё оказалось гораздо серьёзней и проще, и Рудневу не пришлось разыгрывать роль молодящегося бодрячка. Уже на подходе к больнице его обогнали две “скорые”, одна из которых катила с мигалкой и жалобно вскрикивавшей сиреной. А в больничном дворе, за полосатыми красно-белыми лентами и чёрно-жёлтыми паучьими знаками “биологическая опасность” он увидел целый затор из автомобилей, каталок с больными и людей в белых защитных комбинезонах. Эти “скафандры” Руднев впервые видел не на экране, а наяву, и даже замедлил шаг, чтобы получше их рассмотреть сквозь прутья ограды.

Он видел, что там, в больничном дворе, иной мир, разительно отличающийся от пустынного, сонно-оцепенелого мира городских улиц. “Какие-то инопланетяне,” — думал Руднев о людях в белых комбинезонах, у которых не было видно ни лиц, ни фигур и которые с чуть комической и неуклюжей поспешностью вытаскивали из “скоропомощных” “УАЗов” носилки с больными, разворачивали их в столпотворении людей и машин и завозили в двери приёмного отделения — двери, столь знакомые Рудневу по его прежней жизни.

Мир, куда он входил, был привычен до боли, до мелочей, до обшарпанных лавок и урн возле входа в больницу — и, вместе с тем, он казался диковинным и пока непонятным. Чудилось, что он смотрит фильм-катастрофу; и, сказать откровенно, снят этот фильм бездарно, неряшливо и недостоверно. Всё как-то уж слишком обыденно: лужи, грязь на колёсах машин, скрип каталок и ругань шофёров, серые лица больных на носилках... Этой обыденности недоставало ни громких звуков, ни ярких красок, ни пафосных жестов, — словом, недоставало театральных эффектов трагедии. Но уж Руднев-то знал, что такая унылая серость и заурядность происходящего как раз и является признаком настоящей беды.

В корпусе администрации царила неразбериха. По коридорам сновали люди с выражениями лиц решительными и растерянными одновременно. Странно, что Руднев не встретил знакомых, хотя он ушёл из больницы не так уж давно. “Видимо, все, кого я знаю, — догадался он, — уже воюют там, в красной зоне, а здесь остались одни писаря...”

В отделе кадров он тоже не знал никого. Четыре молодые женщины непрерывно разговаривали по телефонам, одновременно шаря свободными пальцами по клавиатуре компьютеров и напряжённо глядя в экраны. Если бы Руднев не заговорил, его бы и не заметили: до того все были заняты.

— Девушки! — сказал он так громко, что ближняя девушка вздрогнула и обернулась. — Вам доктора не нужны?

— Ой, ещё как! — девушка просияла, мгновенно из озабоченно-хмурой сделавшись симпатичной. — У нас ужас, что делается! Не можем дежурства закрыть, врачи с ног валяются...

— Ну, а какие специалисты вам больше нужны? Я, например, хирург.

— Нам всё равно: был бы доктор с дипломом.

— Так что, я могу писать заявление?

— Конечно, пишите! Завтра сможете выйти на смену?

— Пожалуй, смогу. — Руднев был даже разочарован той простотой и скоростью, с какой решался вопрос о его трудоустройстве.

— Замечательно! Я начмеду скажу — он поставит вас в график...

Ни медкнижки, ни справки от невролога и терапевта никто у него даже не спросил; и это был ещё один явный признак того, что дела начинались

серьёзные. Правда, ему пришлось съездить в два места — в неврологический диспансер и в психиатрическую больницу, — потому что без справок оттуда даже в дни пандемии никто медиков на работу не принимал. И ещё он зашёл в свою поликлинику, чтобы написать заявление на месячный отпуск.

На этом формальности были улажены, и ничто больше не отделяло Руднева от красной зоны.

II

“Ну и рожа...” — подумал он, увидев в зеркале своё старое, волчье лицо. Впрочем, сейчас ему было не до того, чтобы подробно разглядывать своё отражение. В том же зеркальном овале поочерёдно возникали и пропадали другие, молодые и свежие лица, — в основном, женские, — и в этом живом мелькании лиц ему, старику, было явно не место. Руднев, чтобы не мешать, отошёл — ему уважительно уступили кушетку — и, уже сидя, стал наблюдать, как медицинская молодёжь, заступая на смену, облачается в средства защиты.

Людей в раздевалке набилось полным-полно; и все они были так радостно оживлены, словно им предстояло не шесть часов напряжённой работы, а шесть часов развлечения. “Что значит молодость!” — вздохнул Руднев. Он теперь мог позволить себе роль стороннего наблюдателя, прежде ему почти недоступную. Вот как он раньше, к примеру, смотрел на женщин? Они для него были объектом либо хирургического, либо эротического интереса; рядом с любой он легко представлял и себя самого в роли спасителя-доктора или героя-любownika. А раздеть женщину мысленно или реально ему, доктору, не составляло труда. Десятки лет перед ним, по одному его слову, с торопливой готовностью раздевались сотни женщин. Стоило лишь посмотреть на иную — как её руки сами тянулись к пуговкам блузки, а потом привычно заводились за спину, нашаривая застёжки бюстгальтера. Рудневу, впрочем, нравилась и мысленная игра в раздевание, в которую так любят играть мужчины. И та, что стояла или сидела перед ним, часто вовсе не подозревала (или, напротив, прекрасно осознавала и чувствовала?), что платье не защищает её от упорного взгляда врача, уже пожилого, но с очень живыми и молодыми глазами.

С годами Рудневу всё более нравилось предаваться воображаемым связям, чем снова и снова, как при беге по бесконечному стадионному кругу, погружаться в суету и мороку реальных так называемых “отношений”. Всё равно, думал Руднев, оглядывая очередную красавицу, не будет ничего лучше вот этих первоначальных минут любования с представлением о том, как вот эта, к примеру, худая брюнетка, оставшись в чём мать родила, станет словно полней, чем казалась в одежде; а вот эта блондинка с фигурой, почти идеальной на вид, сбросив платье, расцветёт той телесной избыточной пышностью, которую так любили изображать старые фламандские мастера.

Но сейчас, сидя в раздевалке санпропускника, Руднев любовался процессом прямо противоположным: полтора десятка молодых, оживлённо болтающих женщин не раздевались, а одевались перед ним. Вот только что большинство были в шортах или лосинах, цветастых футболках — той откровенной летней одежде, в которой уместнее было бы вышагивать по курортному променаду. Но женщины разворачивали белые комбинезоны, вдевали ноги и руки в их просторные штанины и рукава, скрываясь в шуршании этих странных одежд. А когда капюшон надвигался на голову, стопы погружались в бахилы, а руки вставлялись в перчатки, тогда и подавно медсёстры скрывались внутри шелестящего облака, превращавшего всех, только что таких разных, в почти одинаковых. Затем и последнее, что оставалось, — лицо — закрывали очки с респиратором, и вокруг Руднева расхаживали уже не молодые фигуристые красотки, а плавно шуршали какие-то почти бесплотные белые ангелы. “Можно подумать, — озирался он, отчего-то волнуясь, — что я уж вознёсся на небеса...”

— Как вы, Иван Михайлович? Не заскучали? — послышался знакомый, заботливый голос.

Его окликала Галина, старшая медсестра оперблока, с которой Руднев много лет проработал вместе. Весёлую и добродушную эту толстуху, в дни пандемии назначенную старшей сестрой инфекционного отделения, все называли здесь “мама Галя”, и она принялась опекать и напутствовать доктора, впервые входящего в красную зону.

12

Когда Галина улыбочивой двадцатилетнею девушкой впервые пришла в эту больницу и стала операционной сестрой, молодым был и доктор Руднев. И как было ей не влюбиться в него, стоя с ним рядом и ночи, и дни, видя его то в поту, то в крови — и замечая, как он год от года оперирует лучше и лучше?

Вне операционной они виделись редко, — а вне больницы, так и вообще не встречались, — зато под сияющим диском хирургической лампы провели рядом целую жизнь. Галина стала для хирурга вот именно, что боевою подругой — ни с кем он так не любил мыться на операции, как с этой спокойною, доброй и полной хохлушкой, хотя за многие годы работы меж ними так и не случилось близости, кроме той, что всегда возникает между долго и слаженно работающими людьми, которые понимают друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда.

Вот глазами-то в основном они и общались. Что ещё, кроме взгляда над маской, да ещё рук, в начале работы влажных от антисептика, а в конце операции красных от крови, замечает сестра у азартно работающего хирурга? Галине ничего больше и не было нужно, кроме быстрого взгляда Ивана Михайловича — она обращалась к нему только так, — потому что по выражению глаз она безошибочно определяла, что нужно доктору именно в эту минуту. И вот удивительно: хоть лицо и тело Руднева, конечно, старели — ещё бы не постареть за тридцать с лишним лет изнурительной и напряжённой работы! — но время нисколько не тронуло ни его глаз, ни рук. Напротив, глаза и руки любимого доктора казались Галине с каждым годом моложе. Особенно когда Руднев годам к пятидесяти стал на операциях пользоваться очками, и жизнь его глаз, увеличенных стёклами, стала куда выразительней.

А руки? Галина по долгому опыту знала, что руки хирургов почти не стареют, а просто становятся с каждым прожитым годом либо умнее, быстрее, уверенней и осторожнее (да, именно так: уверенней — и осторожнее), либо глупее и нерешительнее, то есть меняются с возрастом так, как меняются и сами люди. А поскольку сестра в операционной и смотрит в основном на руки доктора, именно с ними, руками хирургов, Галина и вела мысленные беседы. Она то подбадривала их: “Давайте же, милые!” — то укоряла: “Эх вы, растяпы!” А на операциях Руднева восхищалась точностью и прототой их движений.

Хотелось ли ей, чтобы худая и нервная кисть Руднева, на костяшках которой ещё белел тальк от перчаток, легла ей на бедро или сдавила тяжёлую грудь? Конечно, хотелось. Галина нередко мечтала об этом ночами, когда время в операционной словно останавливалось, и только ритмичные вздохи наркозного аппарата создавали иллюзию жизни и в бесчувственном теле больного, и в кровавой хлюпавшей ране, и во всём засыпающем мире, но мечты оставались мечтами, а руки Руднева продолжали вязать, шить, отсекать и пальпировать — делать то, что им было привычнее всего. “Лучшие руки города”, — так про них порой и говорили, словно вовсе забывая об их хозяине и предоставляя рукам доктора Руднева право на суверенное существование.

И не то, чтобы жизнь не давала Галине возможностей утолить желания своего большого и жаркого тела — нет, у неё был и муж, а на короткое время даже завёлся любовник, о котором в больнице мало кто знал, — но

всё же, когда она мылась на операции с доктором Рудневым, она даже и в сорок лет волновалась, как юная девушка перед свиданием.

А уж когда у её любимого доктора прямо на операции случился инсульт, и Руднев рухнул на пол, едва не сбив плечом столик Галины, ей самой пришлось уйти на больничный и просидеть дома несколько дней. Она была тогда сама не своя, и даже дети не радовали и не утешали её. Как она плакала, как убивалась, но и как зато радовалась, когда Руднев пришёл наконец-то в себя, заговорил, и его стало можно навещать в палате реанимации!

Но вместе с радостью от выздоровления Ивана Михайловича Галину ожидало и горе: Руднев ушёл из больницы, потому что работать, как прежде, он больше не мог.

— Как же так? — растерянно говорила она, когда Руднев зашёл в оперблок попрощаться. — Неужели мы с вами никогда больше не помоемся вместе?

— Как знать, Галюша? — вздыхал Руднев, обнимая её за горячие полные плечи. — Жизнь, сама знаешь, штука непредсказуемая...

13

— Ну-ка, девочки, — радостно распоряжалась Галина. — Принесите доктору новый комплект! — Через минуту она разворачивала перед Рудневым белый комбинезон с синими полосами проклеек на спине и рукавах. — Интересно, размер подойдёт? Икс-эль: вроде, ваш... Держите, Иван Михайлович! А пока одеваетесь — я вам очки обработаю.

Это были даже и не очки, а защитная пластиковая маска на широкой чёрной резинке, напоминавшая маску ныряльщика. Пока Руднев расправлял комбинезон, Галина протёрла маску спиртовой пахучей салфеткой, затем щедро капнула жидкого мыла и принялась втирать его в зеленоватый пластик.

— Чтoб не потели, — поясняла она.

За свою медицинскую жизнь Руднев одевался на операции тысячи раз, но то, что он делал сейчас, казалось ему непривычным и даже немного смешным. Когда-то, в далёком детстве мать пошила ему новогодний костюм зайчика — тоже белый комбинезон с капюшоном, — и Рудневу вспомнилось детское чувство неловкости, даже стыда: в тот момент, когда его тело погрузилось внутрь просторного белого балахона и словно спряталось от самого же себя. “Опять маскарад, — ухмыльнулся он мысленно. — А вдруг после смены из комбинезона выберется тот пятилетний мальчик, каким я был когда-то?” В самом деле, казалось: когда “бегунок” молнии с шипеньем поднялся до подбородка, прежний Руднев словно исчез, а вместо него внутри шелестящего белого облака шевелился почти незнакомый ему человек.

— Вы перед тем, как перчатки надеть, надорвите манжеты и в дырки большие пальцы просуньте, — советовала Галина. — Так у вас рукава задираются не будут.

— Спасибо, Галюша! Что бы я без тебя делал?

Бахил и перчаток полагалось надеть по две пары. Когда Руднев закрыл рот и нос респиратором, а глаза поверх собственных очков ещё и защитной маской, окружающий мир враз отодвинулся от него. Очки и маска, как Галина ни колдовала над ними, всё же запотели, но снимать и протирать их уже было нельзя. Капюшон, шелестя, гасил звуки; воздух с трудом просачивался сквозь респиратор. Мгновенно оглохший, полуслепший и натужно вздыхающий Руднев ощутил себя погружённым в глубокую старость — ту, до которой дожить он, откровенно сказать, не надеялся, но с которой вдруг встретился так же внезапно, как и с воспоминанием о детсадовском маскараде. “Как-то всё перепуталось, — думал он, неуверенно шаркая к двери. — Я становлюсь то ребёнком, то совсем стариком...” Было странное чувство, что его жизнь начинается заново: с неуверенных первых шагов, первых вдохов и выдохов и с удивления перед тем непонятным и мутно-туманным, что теперь окружало его.

Облачённый в шуршащий скафандр, Руднев шаркал по коридорам больницы — одновременно и узнавая, и не узнавая места, где провёл почти всю

свою жизнь. И очки, и маска всё сильнее запотевали с каждым вдохом и выдохом, поэтому окружающий мир казался недостоверным, а вот воспоминания о той жизни, что когда-то кипела здесь, напротив, с каждой минутой становились живее. К тому же в коридорах не было пациентов — им строго предписывалось находиться в палатах, — и Руднев шагал по больнице, как по музею собственной жизни, наполняя пустынные коридоры теми лицами и голосами, что рождались в его оживившейся памяти.

Тридцать три года он отработал здесь, в этих стенах, которые видели столько боли и горя, и столько смертей, сколько не видел ни один другой дом города. Но для Руднева это было лучшее место на свете. Вне больницы он, можно сказать, и не жил: только здесь, в атмосфере азартной работы, переживавшей кратким отдыхом в ординаторской, в смешении лиц, голосов, стонов, смеха, в скрипе каталок и звяканье инструментов, в гуле отсосов, не успевающих осушать заплывавшие кровью раны, — только здесь, в хирургическом мире, он чувствовал, как его жизнь наполняется смыслом.

А покидая больницу, он словно терял самое важное: без хирургии всё казалось ненужным и мелочным, скучным и пресным. Но мельчал и скучнел не один только мир, окружавший его; проведя вне больницы хотя бы несколько дней, Руднев начинал ощущать, как и сам он становится мелочней, злее и даже глупее. Те проблемы собственной жизни, на которые он в запарке больничной работы не обращал внимания или легко о них забывал, начинали расти, усложняться и занимали собой почти всё свободное время и мысли. То что-то ломалось в квартире, то опять не было денег (и куда они только девались?), то жена закатывала очередную истерику, то возмущённый нижний сосед грозил подать в суд (Руднев, задремав в переполненной ванной, снова залил его), то случалась ещё какая-нибудь неприятность. Бытовуха душила его, и Руднев изнемогал под гнётом обыденно-мелких проблем, сам мельчая и портясь от этого.

Поэтому он и ждал возвращения в больницу — как ждут исцеления от неотвязной и нудной болезни. Стоило только приблизиться к серой семиэтажной громаде и пересечь двор, по которому сёстры-хозяйки толкали каталки с бельём, потом шагнуть в двери приёмного отделения, на ходу бросив сёстрам: “Привет!” — как всё в нём менялось. Он становился решительней, твёрже — и одновременно терпимее и снисходительней к окружающим. Мелкие бытовые проблемы больше не занимали ни душу, ни мысли. Все люди, которых он видел, — даже больные — казались приятны и доброжелательны, а в их глазах Руднев читал неизменное уважение к себе, доктору, — то уважение, о котором его жена даже не имела понятия. Мир стремительно делался лучше, понятней, честнее — вместе с тем, как становился лучше он сам, Иван Михайлович Руднев. И на худом, часто хмуром лице доктора появлялась улыбка, с которой он порою не расставался даже на операциях: хотя кто мог видеть её под белой марлевой маской, простроченной наискось брызгами крови?

Вот и теперь в нём что-то менялось — той порою, как он медленно шаркал бахилами, совершая свой первый обход красной зоны. Двери палат проплывали справа и слева; на них были наклеены цветные кружки: на одних дверях — красные, а на других — жёлтые. Рудневу уже объяснили, что красным цветом отмечают палаты, в которых лежат пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке. Таких красных палат было, навскидку, не более трети, — но всё равно при виде ярких кружков на дверях становилось тревожно. Как раз и один из больных, неуверенно кравшийся из туалета, заметил на двери своей палаты красный зловещий кружок — и, закашлявшись, спросил проходившего мимо Руднева:

— Скажите, а что это значит? Красным метят палаты, где лежат смертники?

Руднев, как мог, успокоил его, но пациент, судя по страху в его бегавшем взгляде, не слишком-то верил словам. “Глупо, конечно, придумали, — думал Руднев, продолжая свой путь. — Люди и так на взводе, а их ещё красным цветом пугают...” Ещё он подумал о том, как сложна и противоречива символика красного цвета. Это цвет жертвы и подвига — и одновременно

греха и соблазна; цвет бунта, свободы — и цвет запрета. Красное знамя семьдесят лет было символом той страны, где Руднев родился и вырос и которую, как ни странно, он пережил; и красный же цвет обозначил ту запретную зону, в которой он оказался теперь. А кровь — вечный спутник хирурга? “Я только и видел, что красное, — вздыхал Руднев. — Вся моя жизнь проходила в присутствии и под воздействием красного цвета...”

14

Войдя в ординаторскую, он нечётко различил несколько белых, бесформенных и неуклюжих фигур.

— Добрый день! — произнёс Руднев, удивившись тому, как глухо звучит его голос.

Ему ответили вразнобой, но вполне дружелюбно.

— Вы, как я понимаю, Иван Михайлович Руднев? — спросил его бас, чей живот выделялся даже через комбинезон. — Наслышан, наслышан! Мне о вас говорили в самых лестных тонах. А меня зовут Валерий Фёдорович, я заведу реанимацией в этой богадельне. Будем знакомы!

Пожимать руки через четыре слоя перчаточной синей резины странно и немного смешно. Кто-то из тех, с кем здоровался Руднев, ещё помнил его; но для большинства молодых докторов он выглядел почти ископаемым, человеком из давнего прошлого.

— Значит, вы к нам на подмогу? — звонко спросила одна из белых фигур. — Вовремя: мы здесь уже с ног валимся.

— Много работы?

— Хватает. Главное, что врачей мало. Дежурить сутки через сутки — это, знаете, перебор...

— Понимаю, — кивнул Руднев.

Ему хотелось ещё поболтать с этой женщиной — судя по голосу, молодой и привлекательной, — но она обернулась к заведующему, продолжая, видимо, тот разговор, что здесь шёл ещё до появления Руднева.

— Валерий Фёдорович! — возмущалась она. — Ну, когда же нам привезут дыхательные аппараты? Я так работать уже не могу: свободный аппарат появляется, только когда кто-нибудь умирает!

— А что же ты, Оленька, предлагаешь? — разводил руками толстяк-заведующий. — Я что, из кармана тебе их достану? Дефицит аппаратов везде: вон, посмотри, что творится в Италии.

— Да что нам Италия? Нам своих людей спасти нужно!

— Оленька, милая, я же всё понимаю, — заведующий словно бы извинялся перед своей молодой и горячей сотрудницей. — Надо пока обойтись тем, что есть. Наш главврач вчера был в министерстве: там говорят, что вопрос решается...

— Решат они, эти чиновники, как же! Их бы сюда, часов на шесть в красную зону — да чтобы покойников каждый день вывозили!

Руднев искренне сочувствовал реаниматологам: непросто решать, кому из умирающих дать шанс на жизнь. Но разговор в ординаторской шёл не только о грустном. Сейчас докторов здесь было много: одни заступали на смену, другие сдавали её, — но оживлёнными были и те, и другие.

— Слыхали кашушку? — спрашивал чей-то весёлый голос.

— Про что?

— Как про что? У нас теперь тема одна...

И весельчак декламировал:

*Ни за что не дам Егору —
У него нашли “корону”!
А Ивану б я дала —
У него антителя!*

Даже серьёзный Руднев, и то засмеялся. Вот народ! Ничто его не берёт: тут, понимаешь, весь мир в панике, а они знай, хохочут! Он сидел на диване

в углу, где сживал множество раз, ожидая, пока старший дежурный смены распределит всех по рабочим местам. Здесь, в ординаторской очки и маска почти перестали запотевать — видимо, наступило некое равновесие температуры и влажности, — и Руднев теперь мог отчётливой различать глаза тех, кто смотрел на него. Как удивительно, что от всего человека, скрытого в этом защитном костюме, остаётся самое главное: взгляд. Как это там говорится: глаза — зеркало души? Вот и выходит, что здесь, в красной зоне, мы общаемся напрямую с душой человека...

А ведь так, продолжал размышлять Руднев, было далеко не всегда. Сколько лет для него важнее всего было женское тело, которое и привлекало, и восхищало, и даже пленяло его. А момент, когда он впервые попал в этот плен — и желанный, и тягостный одновременно, — припомнился Рудневу с поразительной ясностью.

15

В отрочестве любимейшим местом Ивана был овраг рядом с домом, на окраине города: но не в той унылой промзоне, где он жил ныне, а окраине тихой, зелёной и в те годы безлюдной. По дну оврага журчал чистый ручей; ольха и ракитник возле него разрослись в непролазные дебри; а по солнечным склонам, над ещё не заплывшими метинами давно миновавшей войны (воронки от бомб были так глубоки, что весной превращались в небольшие озёра, полные сизыми гроздьями лягушечей икры) — над былыми окопами и воронками вольно стояли большие берёзы, и лужайки под ними были для юного Вани истинным раем. В своё двенадцатое лето он бегал туда почти каждый день, чтобы одиноко бродить под берёзами, высматривая в траве красные ягоды земляники. Он так и запомнил с тех пор, что рай существует и что в нём есть берёзы по склонам, пятна света и тени на свежей траве, шелест ветра в листве и сладкий, с легчайшей горчинкой запах нагретых на солнце, уже переспелых до черноты земляничных раздавленных ягод. Иван бродил под берёзами, забывая о времени и обо всём вообще, переполненный счастьем существования как такового: без мыслей, воспоминаний и даже без осознания себя самого...

Но вдруг его словно ударили. Перед ним на одной из тех райских лужаек, которых здесь было полно, лежала и загорала совершенно голая женщина. В руке у неё было, кажется, красное яблоко; но Иван не успел разглядеть подробностей, потому что в ту же секунду упал: запнувшись о кочку, он рухнул в прохладу травы. Но эта прохлада несколько не освежала; лёжа, он чувствовал, как его щёки пылают, а сердце часто бьётся о землю. Растерянный, он не понимал: то ли ему сейчас плохо — то ли, наоборот, хорошо? Стараясь дышать только ртом — так дыхание было менее слышно, — он осторожно приподнял голову и посмотрел сквозь метёлки травы. Ему и хотелось увидеть женщину снова, но одновременно мелькнула и мысль: хорошо, если бы её там не оказалось. Тогда у Ивана оставался шанс возвратиться в свой солнечный рай и немного продлить детство.

Но красавица никуда не исчезла. Лёжа на животе, она с хрустом кусала красное яблоко — так, что при каждом укусе напрягалась её спина и вздрагивали рыжие волосы. Наоборот: теперь, когда мальчик жадно рассматривал её ослепительно белое тело — спина и плечи в веснушках — куда-то исчез окружающий мир. Ни солнца, ни синего неба, ни зелени, ни шелестящих берёз больше не осталось: сияли только веснушки на полных плечах, волновал глубокий прогиб поясницы, переходивший в крутой взлёт ягодниц, и ещё ноги, одна из которых лежала спокойно, а другая то и дело игриво сгибалась в колене, — длинные белые ноги, видеть которые тяжелее всего. Он не то, чтобы думал — способности думать исчезли вместе со всем окружающим, — но он понимал, что вот с этой минуты для него изменился весь мир, и он сам, Иван Руднев, обречён стать другим. Так чисто и просто, как прежде, он уже не увидит ни блеска ручья, ни колыхания берёзовых крон на ветру, ни тугих облаков в синем небе. То, что всего лишь минуту назад составляло сияющий центр безмятежного летнего

мира, оказалось мгновенно оттеснено на обочину. А центром всего — тем, без чего остальное уже не имело значения, — стала вот эта голая женщина, неторопливо кусавшая красное яблоко.

Губы Ивана пересохли, пальцы рук мелко дрожали, на лбу проступила испарина, а груди не хватало воздуха, словно сама возможность дышать отныне зависела от обнажённой красавицы. Иван не знал, как ему поступить: оставаться лежать и подглядывать дальше (это было мучительно), встать и спокойно (куда там спокойно: его трясло, как в ознобе!) пройти мимо женщины — или удариться в бегство?

А поскольку усилие бега уже не раз выручало его, он и пустился бежать напролом, через ветки кустов, вниз по склону оврага.

Он встретил самое страшное, что только можно увидеть, — голую женщину — и теперь со всех ног убегал от опасности.

Каким, интересно, взглядом — насмешливым или недоуменным — посмотрела та рыжая Ева на мальчика, что опрометью бежал от неё? “Беги, малыш, беги, — скорее всего, улыбнулась она, потянувшись и сладко прогнув поясницу. — Всё равно куда тебе от меня не убежать...”

16

Свою первую смену он дежурил в приёмном покое — там, где когда-то начинал хирургический путь. Конечно, “покоем” это место назвать можно только в насмешку: более беспокойного места в городе не существовало. И если даже — как сейчас, когда Руднев шаркающей походкой спустился на первый этаж и вошёл в двери приёмного, — здесь было тихо и пусто, то и тишина, и пустынность были обманчиво-хрупкими: в любую минуту могло начаться светопреставление.

Обстановка приёмного мало переменялась с тех пор, как он здесь работал. Те же столы — для сестры и врача, — та же кушетка за ширмой, каталка в углу и чемодан с дефибриллятором на подоконнике. Из новых предметов — лишь запасной дыхательный аппарат (Руднев вскоре узнал, что он сломан), с его шлангами, маской, “гармошкой” и циферблатами. В стёклах и мокрых после обработки панелях приборов Руднев увидел собственное отражение — смешную и неуклюжую белую куклу, — и снова ему показалось, что и он сам, и все прочие люди играют в какую-то забавную игру с переодеваниями. “Думал ли я, — усмехнулся он про себя, — что на старости лет снова буду, как в детском саду, участвовать в маскараде?”

Помимо него, здесь находилась ещё одна белая “кукла”: она сидела за столом медсестры, и её пальцы сноровисто перебирали клавиатуру компьютера.

— Привет! — поздоровался Руднев. — Тебя как звать?

— Добрый день! — отозвалась сестра. — Я Камилла.

— Красивое имя...

— Да я и сама ничего! — засмеялась она.

— А вот об этом, — развёл Руднев руками, — я могу только догадываться!

Общий смех сразу их сблизил. “Надо же, — удивлялся Руднев. — Вижу только глаза, да ещё слышу голос, а кажется, что давным-давно знаю эту весёлую девушку...”

Руднев всегда выделял медсестёр из всех прочих женщин: он их любил, уважал и ценил, как может любить и ценить только хирург, проработавший рядом с ними всю жизнь и на собственном опыте знающий, что врач без сестры мало что может. Когда-то, ещё молодым, Руднев видел в сёстрах скорее учителей, способных показать ему главное: как общаться с людьми. В отделении, где он начинал, работало несколько пожилых медсестёр ещё старой закалки, которые относились и к больным, и к молодым докторам вот именно, что по-матерински, со строгой, порою насмешливой, но неподдельной любовью. Да, они могли быть грубоваты и осадить не в меру капризного пациента, могли даже не согласиться с молодым доктором и оспорить его назначения, но никому и в голову не приходило обижаться на это.

К ним и обращались: “Мать, сделай укольчик!” — именно как к матерям, создающим во всём отделении душевно-семейную атмосферу.

Но годы шли, Руднев взрослел и матерел, а сёстры в сравнении с ним молодели. Когда же они в основном поравнялись годами, Руднев стал видеть в них не матерей, а скорей боевых подруг. И, что греха таить, они порой делили с доктором не только работу, но и диван в ночной ординаторской. И угрызения совести, скажем прямо, не слишком его донимали. “Не нами заведено, — думал Руднев, — и не нами закончится то, что врачи и медсёстры — самые близкие друг другу люди. У нас не просто одна работа — у нас общая жизнь и судьба...”

Время летело, и Руднев замечал, как он постарел — по омоложению медицинских сестёр, окружавших его. Он видел, что теперь вокруг — большей частью юные девушки, годящиеся ему в дочери. С ними крутить любовь как-то уже неприлично — да и на что он, постаревший, нужен этим весёлым красавицам? Поэтому Руднев взял с ними тон отечески-снисходительный и добродушно-насмешливый, как старый солдат с необстрелянной молодёжью. И юным сёстрам нравилось это. Им нравилось и пошутить, а то и от души посмеяться с этим пожилым, ироничным хирургом — тем более что в работе он не уступал молодым, и у него было чему поучиться.

Когда же Руднев ушёл из больницы, он чувствовал, как ему не хватает не только привычной работы в операционной, но не хватает энергии жизни и юности — той, которой с ним прежде делились медсёстры. И сейчас, оказавшись снова в приёмном покое, он был рад и тому, что слышит смеющийся голос сестры, и тому, что они оба с ней спрятаны внутрь защитных костюмов, а значит, и разница в возрасте уже не имеет большого значения.

— Ну что, Камилла, — внимательно посмотрел он в зеленовато-карие глаза медсестры. — Будем работать?

— Конечно, доктор: что нам остаётся? — Её глаза улыбнулись сквозь маску. — А вот, кстати, и “скорая”...

Настойчиво запиликал входной звонок, Камилла нажала кнопку на пульте — и створки тамбура стали медленно расходиться. Красно-белая морда “скоропомощного” “УАЗа” показалась в проёме дверей, а затем из машины неловко выпрыгнул человек в таком же комбинезоне и маске, что были на Рудневе. В резиновой синей руке у него трепыхался сопроводительный лист.

— Что у вас? — спросил Руднев, выйдя навстречу.

— Ковид, — просто ответил комбинезон.

— Носилочный?

— Да, плохой: сатурация семьдесят пять.

Тот, кто лежал на каталке, и впрямь был нехорош. Старик с седой бородой дышал торопливо и шумно и почти не реагировал на окружающее: дышать важнее всего, поэтому старик не мог отвлекаться на те пустяки, что происходили вокруг. Белая борода оттеняла свинцовые губы и синие мочки ушей. Ногти на пальцах, вцепившихся в ворот рубахи, тоже синюшны: нечасто Рудневу приходилось видеть столь явные признаки дыхательной недостаточности. Он скомандовал:

— Камилла, включай кислород!

Сестра отвернула кран висевшего на стене аппарата Боброва, и в стеклянном флаконе забулькали пузырьки кислорода. В ноздри синюшному старику вставили две пластиковые канюли — и уже через две-три минуты его дыхание стало спокойнее, лицо перестало быть таким пугающе синим, а взгляд — таким напряжённым. Руднев надел на его холодный дрожащий палец прищепку портативного пульсоксиметра и с облегчением увидел, что сатурация выросла до восьмидесяти четырёх: при таких показателях можно не суетиться. Доктор распахнул рубаху на костлявой груди старика, сдвинул брюки со впалого живота и начал осмотр. Стетоскоп сейчас бесполезен — сквозь шорох капюшона ни сердца, ни лёгких выслушать нельзя, — и Руднев ограничился самым привычным: пальпацией живота. Старик дышал всё ещё часто и шумно — он жадно глотал кислород, как в жару пьют холодную воду, — и его напряжённый живот ходил ходуном. В такой ситуации и пальпировать бессмысленно. Получается, главную информацию о пациенте

давал пульсоксиметр — прибор, говорящий о кислородном насыщении крови. Руднев вспомнил, что он читал о его устройстве. В эту штуковину, что он надевает больному на палец, встроены фотоэлемент, который определяет, насколько красна его кровь. Чем красней кровь — тем больше в ней кислорода. А мы-то привыкли считать: красно — значит, опасно! Вот и зона, где мы работаем, называется красной; а на самом-то деле красный цвет — это цвет жизни...

Пока он так размышлял, и пока старик всплывал из гипоксии, как ныряльщик всплывает из глубины, сестра Камилла бойко заполняла на компьютере титульный лист истории болезни.

— Доктор, — спросила она, не отрывая взгляда от клавиатуры. — Вы осмотр сразу записывать будете? Или после, когда старика на этаж поднимем?

— Я привык сразу, по свежим следам.

— Тогда я вам покажу: у вас на рабочем столе есть шаблон — вот он! — и надо вписать только новые данные. Так будет быстрее.

Действительно, по шаблону запись осмотра заняла минут десять: неплохой результат, подумал Руднев, для начинающего инфекциониста. И это при том, что сквозь вновь запотевшие стёкла он видел буквы нечётко, а потолстевшие и неловкие от двух пар перчаток пальцы порою промахивались мимо нужной клавиши.

— Доктор, — спросила Камилла, — а на компьютерную томографию мы его прямо сейчас повезём?

— Нет, пока рано. Пусть его наверху сначала стабилизируют — сейчас он долго без кислорода не протянет.

— Тогда я его поднимаю?

— Давай...

Камилла кликнула санитарку (Рудневу голос её показался знакомым), и они вдвоём покатали носилки к лифту. Обе спешили, потому что старика пришлось оторвать от спасительного кислорода, и надо было, не мешкая, снова пристроить его к аппарату Боброва, но уже наверху, в палате с красным кружком на дверях.

Оставшись в приёмном один, Руднев почувствовал беспокойство. Уж казалось бы, он-то тёртый калач, чего только не повидал и не пережил — в том числе в этом самом приёмном покое, — но он вдруг осознал собственную незащитность перед всем тем, что незримо и явно ему грозило. Перед собственной старостью и одиночеством, перед этим чёртовым коронавирусом, перед множеством задыхавшихся и перепуганных насмерть больных, которых везли ему (и вот именно в эту минуту!) с разных концов города — перед, в конце концов, смертью, что угрожала его пациентам, да и самому доктору Рудневу тоже. Что он мог, один против множества этих угроз? Его даже вдруг зазнобило, словно он оказался на беспощадном и пронимающем до костей сквозняке. “И чёрт меня дёрнул геройствовать? — подумал он, ощутив жалость к себе. — Можно подумать, что без меня бы не обошлись. Сидел бы, старый дурак, в своей волчьей норе — да смотрел новости о пандемии...”

Зато когда вместе с шумом двух “скорых”, одна за другою въезжавших в ворота больницы, Руднев услышал и быстрое шарканье, и голоса в коридоре — медсестра с санитаркой вернулись, — он с облегчением подумал: “Ну, теперь нас здесь целых трое — теперь нас так просто не одолеть...”

17

Камилла и санитарка, пока везли пустую каталку по коридору, а затем опускали её в завывающем лифте, говорили о докторе, что сегодня работал с ними в приёмном.

— Мужик вроде толковый, — одобрительно отзывалась Камилла. — Хоть и старый, а соображает быстро.

— Да какой же он старый? — возмущалась санитарка, которая сама была лишь немногим моложе Руднева и успела поработать с ним вместе

несколько лет. — Михалыч мужик огневой! Бывало, ни одной юбки мимо не пропустил.

— То-то смотрю, — заливалась смехом Камилла, — он всё норовит меня приобнять: как бы, типа, по-дружески...

— Что ты! — кивала шуршащей, большой головой в кашпоине её собеседница. — Я тебе не рассказывала, как он в лифте застрял?

— Нет, а что там случилось?

— Это, милая, было лет тридцать тому: Михалыч тогда был моложе тебя. Одна медсестра — её Веркою звали, такая оторва! — попросила Михалыча помочь ей мертвяка в морг отвезти. Одной страшно: тёмной-то ночью...

— Подумаешь, страшно, — Камилла презрительно фыркнула. — Я сколько раз там была!

— Да ты, девка, слушай... Михалыч к той Верке давно уже клеился, да она ему всё не давала: динамила, значит. И вот завозят они жмура в лифт — вдруг: трах, что-то ломается, лифт падает в подвал, и они там застревают.

— С трупом?

— Ясное дело, с покойником.

— Жесть! И долго они там просидели?

— Почти до утра, пока лифтёра не вызвали. Так самое главное: Михалыч, не будь дурак, — хватъ Верку за жопу! Чего, говорить, зря время будем терять?

— Пряма при покойнике? Да ты, небось, гонишь! — хохотала Камилла.

— А чего им покойник — укусит он, что ли? — санитарка сама засмеялась, вспомнив эту историю, давно ставшую больничной легендой. — Мне Верка сама потом рассказывала, вот ей-богу! Говорит: как тут было не дать — и страшно, и темно, и вообще думаешь — не в последний ли раз с мужиком оказалась?

— Да откуда ты всё это знаешь? — смеялась Камилла. — Сама, что ль, в том лифте свечку держала?

— Я ж тебе говорю: мне Верка рассказывала. И вообще, в нашей больничке все про всех знают: кто, с кем и где... Тут, девка, шила в трусах не утаишь...

— Выходит, наш доктор — живая легенда?

— Ну, а я что толкую? Таких мужиков, как Михалыч, теперь днём с огнём не найдёшь!

Вернувшись в приёмное, Камилла другими глазами взглянула на пожилого врача, который сидел за компьютером и печатал очередную историю. “Ишь ты, — подумала медсестра, — каким, оказывается, орлом он был в молодости...”

Ей думалось сразу о многих вещах. И о том, что скоро заканчивается смена — и можно будет наконец-то сходить в туалет. “А то прямо хоть надавай памперс — нет сил терпеть! Как же достали эти костюмы защиты... Всё тело зудит, будто меня отстегали крапивой. Но ничего: скоро отпуск, и мы с Павлом махнём в Крым, если, конечно, к тому времени снимут ограничения. А уж там-то я буду ходить вообще нагишом: вот будет счастье после этого комбинезона!”

Она вспомнила их с мужем любимую Лисью бухту и лагерь nudистов, в котором они провели два сезона подряд. Как было прекрасно жить без одежды, меж морем и высохшим склоном горы Эчки-даг, питаясь рапанами, мидиями и зеленухами, которых добывал её Павел! Они жили там, как в раю: днём плавали и загорали, потом долго спали в тени под брезентовым тентом, а вечерами вся их молодая компания сходилась к костру. Кто пил вино, кто покуривал травку, кто брэнчал на гитаре, а кто занимался любовью, не очень заботясь о том, чтоб надёжно укрыться от глаз окружающих. Вот была жизнь! Камилла и Павел тогда загорели почти дочерна, высохли до худобы и пропитались солёною горечью моря настолько, что целоваться им было больно: соль осыпалась с их губ, как мука, и трещины на коже саднили. Но всё равно они предавались любви почти каждую ночь, под мерный шум волн и стрёкот цикад. Крымские звёзды висели над ними, огромные,

словно созревшие яблоки; горячее тело Павла порой закрывало Большую Медведицу или Плеяды, и такого острого наслаждения, как в те ночи, Камилле не довелось испытать никогда. “Вот только жаль, — вздыхала она, протирая салфеткой панель кардиографа, — что у нас с Павлом до сих пор нет ребёнка... Может, на этот раз нам повезёт — и наш сын будет зачат как раз в Лисьей бухте?”

Камилла украдкой взглянула на Руднева, на его нервные руки в синих перчатках, и отчего-то подумала: “Вот от этого доктора я бы враз забеременела...”

18

Больные продолжали поступать, но более-менее регулярно: больше двух “скорых” подряд к приёмному отделению не подъезжало. Руднев с Камиллой и санитаркой успевали принять пациентов, сводить или свозить их на компьютерную томографию, осмотреть, описать, снять кардиограмму, — в общем, сделать всё, что положено, и при этом не создавать в приёмном очереди. “Вирус пока даёт нам поблажку, — думал Руднев, печатая очередную историю. — Но, чуёт моё сердце, дальше будет хуже. Вот как повалят больные сплошняком — так нам и покажется небо с овчинку...”

Он даже стал находить интерес в сортировке больных — работе, которая раньше, в бытность хирургом, ему доставалась нечасто. Теперь приходилось быстро решать: кого положить, а кого отпустить домой, кого поднимать сразу в реанимацию, а кто пока мог лечиться в общей палате? И Руднев начинал сам себе казаться то ли режиссёром спектакля, который распределяет актёров в пространстве сцены, то ли, скорей, полководцем, отбивающимся от наступающего и превосходящего в силах противника. Вот только враг, которому медики пытались противостоять, был неуловим и невидим — он находился везде и нигде, — и эта незримость угрозы раздражала Руднева больше всего. Он, хирург, привыкший противника видеть и чувствовать пальцами, — вот камень, вот спайка, вот опухоль, вот кровоточащий сосуд — всё никак не мог свыкнуться с мыслью, что они сражаются чуть ли не с пустотой.

Важнейшим исследованием была компьютерная томография грудной клетки. Этот метод считался сравнительно новым, Руднев к нему ещё не привык, и поэтому с интересом ходил к рентгенлаборантам, чтобы рассматривать изображения лёгких на мониторах. Тяжёлого пациента на счёт “раз-два-взяли!” перетаскивали с каталки на платформу томографа — и она вместе с больным заезжала в “трубу” аппарата. Медики наблюдали за этим через стекло из соседней комнаты; аппарат гудел и пощёлкивал, платформа двигалась туда-сюда — и через несколько минут на экране возникало изображение лёгких. Руднев всю жизнь рассматривал рентгенограммы на плёнке, но привыкнуть к картинкам на мониторе не составляло труда: чёткие, их можно поворачивать так или эдак, подсвечивать и затемнять, увеличивать. Поэтому, пересмотрев десяток-другой изображений, Руднев казался себе самому заправским врачом-рентгенологом. Уж что-что, а “матовые стёкла”, главный признак коронавирусного поражения лёгких, были видны отлично: в очагах поражения лёгочные поля затягивал словно туман.

А главная сложность — как и во всех больницах страны — заключалась в нехватке дыхательных аппаратов и коек с кислородной подводкой. Сестра Камилла, отвезя на каталке очередного больного, отчитывалась:

— Всё, на третьем этаже мест с кислородом больше нет. Осталось три на четвёртом — и ещё пара мест в реанимации.

— Пойду-ка я сам туда поднимусь, — сказал Руднев сестре. — Посмотрю: как там и что?

— Сходите-сходите, — кивнула Камилла. — У нас всё равно пока пауза. А если кого привезут, я вас разыщу.

Подъём по лестнице на четвёртый этаж неожиданно дался ему тяжело. Воздух с трудом проходил сквозь респиратор, очки вновь запотели (они запотевали всегда, как только движения становились активнее), а бахилы как-то совсем уж по-стариковски шаркали по истёртым ступеням.

Реанимация была особенным местом — как бы ничейною полосой между жизнью и смертью, где побеждала попеременно то одна, то другая, а уж сейчас, в пандемию, реанимация и подавно сделалась главным полем сражения. Толкнув полупрозрачные маятниковые двери, Руднев вошёл в гулкую, шумную залу: несведущий человек мог подумать, что это фабричный цех, где между натужно гудящих станков снуют работницы в белых комбинезонах. Но единственной продукцией, которую производили эти станки и эти работницы, была жизнь — и она была столь же невидима и неуловима, как и смерть, чьё присутствие здесь было несомненным.

Руднев сквозь запотевшие очки и маску огляделся в просторной кафельной зале, полной коек с больными, шестов капельниц, кардиомониторов и ритмично гудящих дыхательных аппаратов. Такого количества заинтубированных пациентов он раньше не видел, хоть и бывал в этой реанимации тысячи раз. И даже для него, доктора, было тягостно зрелище этих мертвенных лиц, у которых в углах оскаленных ртов торчали интубационные трубки, а на закрытых веках белели влажные марлевые комочки. Сказать, живы те люди или уже нет — трудно. Формально, конечно, все пока оставались живыми — никто бы не стал вентилировать лёгкие мёртвых, — но Руднев-то знал, как трудно возвратит к жизни того, за кого несколько суток дышал аппарат. Хорошо, если “снять с трубы”, как выражались реаниматологи, удавалось одного из пяти. Так что можно считать тех, кто лежал на койках, чья грудь поднималась и опадала в такт движениям чёрной “гармошки” дыхательного аппарата, как бы зависшими между жизнью и смертью.

19

— Здорово, Михалыч! А я тебя сразу узнал: по походке, — раздался знакомый Рудневу голос.

Возле одной из коек стояли две белых фигуры: одна была, похоже, сестрой — она держала в руках тонометр, — а в другой, невысокой, Руднев по голосу угадал доктора Серебрякова. Не сосчитать тех часов, что они проводили вместе в операционной: Руднев — склонённый над раной, а Серебряков, дававший наркоз, — в изголовье стола. Встретить доброго знакомого приятно — да и Серебряков был искренне рад видеть Руднева.

— Здорово-здорово! — пожал Руднев руку в синей перчатке. — Снова, значит, работаем вместе?

— Ага, — кивнул Серебряков. — Только это не работа, а хрен знает что!

— А что так?

— Да с дыхательными аппаратами — просто жопа! Последний свободный остался. Вот займу его, и больше больных переводить к себе не буду: делайте с ними, что хотите!

Он обвел рукой переполненную залу и добавил:

— Погляди: у меня в восьмиместной реанимации — двенадцать душ!

Что мог Руднев на это сказать? Он сам плыл в той же лодке, что и Серебряков, — в лодке, в которой всегда, сколько он помнил, чего-нибудь катастрофически не хватало: то сестёр или санитарок, то лекарств или шовного материала, то денег на зарплату сотрудникам (особенно в лихие девятьностые), то чего-то ещё. Похоже, нехватка самого необходимого была неизменным и чуть ли не главным условием существования их больницы. “Интересно, что бы мы делали, — иногда думал Руднев. — если бы нам дали всё, что положено? Может, совсем бы расслабились и перестали работать? Похоже, что преодоление трудностей — это наш национальный вид спорта”.

— Да что я всё о работе? — сменил тему Серебряков. — Сам-то как?

— Нормально, — Руднев не любил, когда его спрашивали о здоровье. — В больнице-то, вижу, одна молодёжь?

— И не говори! Ветеранов, как мы с тобой, — раз-два, и обчёлся.

— Да, летит время... Ну, а что ещё у вас нового?

— Нового? — ненадолго задумался Серебряков. — Ты когда-нибудь неинвазивную дыхательную маску видал?

— Это которая без трубы в трахее?

— Ага, классная штука! Идём, покажу...

Они прошли в бокс, где лежала единственная больная: молодая женщина необъятных размеров. Её живот возвышался горой, громадные груди, казалось, стекали с кровати, а каждый сосок был размером едва ли не с чайное блюдце.

— Видал, какая фемина? — с гордостью, словно на собственное произведение, показал на неё Серебряков.

Лицо женщины плотно облегла пластиковая маска, от которой тянулись шланги к дыхательному аппарату — “гармошка” в нём поднималась и опускалась, — но, к удивлению Руднева, никакой трубки во рту больной не торчало, и она была в полном сознании.

— Ну как ты, голубушка? — обратился к ней Серебряков.

Толстуха медленно подняла пухлую руку, выставив большой палец.

— Вот и умница. — Серебряков похлопал её по закольхавшемуся, как студень, животу. — Может, маску попробуем снять?

Женщина замычала и протестующе замахала рукой.

— Ладно-ладно, дыши, — успокоил её Серебряков.

Он проверил параметры вентиляции, что-то подкрутил на панели дыхательного аппарата и обернулся к Рудневу:

— Видишь, как здорово? И трубы в горле нет, и сознание сохранено, а аппарат помогает дышать. Сама бы она давно истоцилась: поди, продыши грудь такого размера!

— И что же, такая маска только одна? — спросил Руднев.

— Была ещё одна, но порвалась, — вздохнул Серебряков. — Вот и крутись тут, как вошь на гребёнке. Каждую смену решаю: кому — жить, кому — нет?

— Выходит, ты здесь второй после Бога?

— Да ладно тебе издеваться, — отмахнулся Серебряков, вновь наклоняясь над пациенткой. — Ты, главное, милая, аппарату не сопротивляйся: расслабься и получай удовольствие...

Руднев уходил из реанимации со смешанным чувством. Конечно, обилие тяжёлых больных и общая атмосфера напряжённой работы его угнетали; но встреча со старым приятелем и осознание того, что они снова сражаются вместе, подбадривало и давало надежду. “К тому же, я слышал, — вспомнил он утренний разговор в ординаторской, — к нам приходят новые реаниматологи. А там, глядишь, помогут и с дыхательными аппаратами. Ничего, как-нибудь выдюжим: не первая волку зима...”

20

Не сказать, чтобы он так уж сильно устал к концу своей первой смены — бывали в его жизни дежурства и потяжелее, — но защитный костюм всё больше его тяготил. Вспотевшее тело зудело, и хотелось его почесать; но доступа к собственной коже он был лишён, и Руднев чувствовал, как в нём накапливается раздражение, которое проявлялось и тем, что с больными он разговаривал нетерпеливей и резче, чем в начале дежурства. Имелась и ещё одна, уж совсем прозаическая причина того, что Руднев всё чаще поглядывал на циферблат настенных часов, ожидая, когда придёт смена: ему пора было справить нужду, а защитный костюм и правила красной зоны этого не позволяли. “А терпеть в моём возрасте, — морщился он, — как-то уже и неправильно. Так дотерпишься и до того, что тебе сунут катетер...”

Зато очки и маска перестали запотевать. Даже и непонятно: отчего так случилось? Ходить и дышать Руднев не переставал, в приёмном царили та же самая температура и влажность, но он видел мир не туманно-размытым, как прежде, а вполне чётким. Можно подумать, что он к концу смены так привык к красной зоне, а она привыкла к нему, что меж ними теперь нет разницы, которая и вызывает образование конденсата.

К одному, правда, он привыкнуть не смог: к телефонным звонкам, которые отвлекали его от работы и раздражали ещё больше. Хорошо, если рядом была Камилла: она брала трубку и терпеливо выслушивала людей, зачем-либо позвонивших в приёмный покой. Кто-то спрашивал, как ему быть, если у него поднялась температура, кто-то разыскивал потерявшихся родственников или знакомых, кто-то интересовался состоянием тех, кто лежал в их больнице, а кто-то нёс бессвязную пьяную чушь — и таких, увы, было немало.

Очередной телефонный звонок, резкий и неприятный, разорвал непрочную тишину приёмного, Камилла взяла трубку, но скоро передала её Рудневу:

— Доктор, это, кажется, вас!

— Слушаю! — громко и раздражённо сказал Руднев. — Кто говорит?

— Кто-кто, — захихикали в трубку. — Конь в пальто!

Первым желанием Руднева было бросить трубку — не хватало выслушивать пьяные бредни! — но что-то его удержало, и какое-то он время продолжал слушать шелесты и щелчки, которые раздавались, когда хихиканье стихло. Пустота, — а ведь это, как он понимал, была пустота, создававшая искажения и помехи связи, — словно гипнотизировала доктора, и было не просто перестать вслушиваться в её треск и шелест.

— Так кто же ты, чёрт подери? — повторил Руднев вопрос и услышал в ответ:

— Мужик, не ори! Я — никто...

— А зачем же тогда позвонил? — ухмыльнулся Руднев, которому неожиданно стало смешно.

— Сказать, что я всё-таки существую...

Странную эту беседу прервала сирена очередной “скорой”, въезжавшей во двор больницы. “Сейчас не до мистики...” — подумал Руднев, бросил трубку и вышел навстречу носилкам, катившимся по коридору.

С этим больным — он был тяжёлый — ему пришлось самому подниматься на лифте в реанимацию: Камилла одна не могла и держать флакон капельницы, и управляться с каталкой.

— Опять ты, Михалыч? — встал из-за стола Серебряков. — Ну-ка, девочки, принимайте больного! Вон туда его, к последнему аппарату...

Пока сёстры перетаскивали больного с носилок на койку, Серебряков с горьким вздохом сказал:

— Представляешь, а наша-то красавица приказала долго жить...

— Какая красавица?

— Ну, толстуха, которую мы вместе смотрели.

— Да ты что? — изумился Руднев. — Она же была вроде стабильная. Ещё рукой нам махала...

— Была, да сплыла, — по голосу было слышно, как огорчён Серебряков. — Похоже, тромбоэмболия. Вот как ты ушёл — так она и посинела. Сижу вот теперь, историю оформляю. А наши девки её заворачивают. Теперь положено так: всех ковидных покойников упаковывать в красную плёнку...

Руднев заглянул в бокс. Огромное тело лежало уже на каталке — и как его только сумели перетащить? — и носилок почти не видно под ним. Две фигуры в комбинезонах пытались упаковать мёртвую в большой, шелестящий красный пакет. Но это никак им не удавалось: покойница была так велика, что её локти и груди то и дело выпадали в прорехи. Рудневу даже на миг показалась, что толстуха ещё жива, ещё борется с кем-то невидимым — и поэтому руки и груди её не помещаются в красном коконе смерти. Сёстры злились, ругались, а ленты широкого скотча с пронзительным треском оплетали покойницу. В шелесте плёнки слышалось что-то такое, что будто бы издавалось над ними, живыми: и над Рудневым, и над огорчённым Серебряковым, и над хлопотавшими сёстрами, и над всеми больными, лежавшими в реанимации.

Шесть часов смены, наконец, истекли — молодой доктор пришёл сменить Руднева минута в минуту, — и теперь всех, кто отработал, ждал путь обратно: выходить из красной зоны полагалось по особым правилам. Перед дверью санпропускника образовалась даже небольшая очередь из врачей, медсестёр, санитарок и лаборантов. Но это никого здесь не тяготило, — наоборот, в ожидании душа и отдыха все были весело оживлены.

Процедура разоблачения начиналась с орошения дезраствором. Гудел компрессор, и люди в комбинезонах опрыскивали друг друга: один направлял наконечник распылителя, а другой медленно поворачивался в холодном и едко пахнущем облаке антисептика.

— Какой это гадостью нас обрабатывают? — спросил Руднев девушку, оказавшуюся в паре с ним.

— Гипохлорит, — отвечала она, направляя на Руднева шипящий распылитель. — Говорят, убивает не только коронавирус, но и всё живое.

— Ишь ты, — хмыкнул Руднев, поворачиваясь в едком облаке. — Ладно, достаточно. Давай-ка, милая, теперь я тебя опылю...

Затем все снимали средства защиты перед длинным, застеленным красной клеёнкой столом. Очередность разоблачения была строго определена. Сначала снималась первая пара перчаток, затем респиратор и маска, потом две пары намоченных бахил — и лишь после этого шапочка и комбинезон. Сняв любой из предметов, составлявших защитный костюм, полагалось погрузить кисти рук в таз с тем же самым гипохлоритом натрия. Раньше Руднев видел что-то подобное лишь в институте, да и то не в реальности, а в учебнике военного дела — в разделе о дезактивации и дезинфекции.

Самым большим наслаждением оказалось снять, наконец, респиратор и маску — и облегчённо вздохнуть. Лицо так зудело — особенно вокруг глаз и на переносице, — что хотелось тут же его расчесать; но руки пока оставались в перчатках, и приходилось терпеть этот зуд, выполняя непреложные правила санобработки.

Второй для Руднева радостью после возможности свободно дышать стало возвращение в мир женских лиц и фигур. Шесть часов его окружали одни лишь щитки масок да бесформенные комбинезоны, в которых даже и пол человека не сразу удавалось определить. И Руднев только теперь, в оживлённой толчее санпропускника, осознал, как же важно ему видеть женские лица. Да, они сейчас безо всякой косметики, бледные и измождённые, со следами от масок и респираторов, — а кое у кого переносицы стёрты до садин, — но всё равно милей этих лиц Руднев, кажется, ничего не встречал. Оказавшись, пусть на короткое время, в обезличенном мире, он с радостью видел, как окружающий мир опять обретает лицо — точнее, лица, — и они в основном женские.

Возвращение женских фигур тоже радовало его. Санитарки и сёстры одна за другой сдвигали от подбородка вниз бегунок “молнии” комбинезона — балахон словно трескался вдоль — и из белой, шуршащей его оболочки появлялись женские плечи и руки, а затем ноги. Это было похоже на то, как из куколки появляется бабочка: когда хитиновый треснувший кокон неохотно выпускает на свет красоту, которую он скрывал прежде. И вот уже мокрый комбинезон стоптан к стройным ногам, а юная женщина, выбравшись из надоевших ей оболочек, так сладко потягивается — словно и впрямь у неё расправляются крылья...

Руднев и сам себя почувствовал помолодевшим лет на пятнадцать, когда снял защитный костюм. Теперь его ждал душ — непременная часть санобработки. Встать под горячие струи было таким наслаждением, что Руднев чуть не застонал. Впрочем, из двух соседних кабинок вместе с шумом и плеском воды как раз и доносились почти сладострастные стоны: все, кто мылся после шестичасовой потной смены, испытывали схожие чувства.

Сначала Руднев, ещё не намывлив мочалку, скрёб лицо, темя, шею ногтями, вспоминая чью-то дурацкую мысль, вычитанную давно: “Счастье — это возможность почесаться, когда захочется”. “Не такая уж она, оказывается,

и дурацкая, — подумал доктор, продолжая остервенело чесаться, — особенно в красной зоне...”

Утолив первый зуд, он выдавил шампунь на мочалку и взбил пену. Почти всякий раз, когда Руднева покрывала мыльная пена, ему вспоминалось, как пятилетнего Ваню (неужели когда-то он был таким?) купала его деревенская бабка. Мальчик стоял посреди жарко натопленной хаты в оцинкованном, хлопающем под ногами корыте. Пышная пена покрывала его так обильно — она с мягким шипеньем ползла по груди, животу и ногам, — что Ване казалось, будто он может вовсе исчезнуть в этом шипящем и оплывающем облаке. “Вдруг из пены появится кто-то другой, — думал мальчик, — тот, кого я и вовсе не знаю?” И он всегда с волнением ждал той минуты, когда бабушка осторожно, боясь обжечь внука, будет лить на него из ковша тёплую воду — и блестящее, гладкое, чистое тело в первый миг, в самом деле, покажется новым и даже немного чужим.

Вот и сейчас под горячими струями душа Руднев испытывал нечто подобное — чувство, что он рождается заново. “Тоже мне, Афродита, — ухмыляясь, смывал он остатки мыла. — Ты ещё, может, надеешься встретить любовь?”

22

Переодевшись в сухое и чистое, — он полжизни провёл в таких вот просторных портах и рубаше, в которых он и оперировал, и урывками спал на дежурствах, — Руднев спускался по лестнице на второй этаж, где устроили зону отдыха для бригад, отработавших смену.

Какое удовольствие помыться в душе и переменить одежду, но такая же, если не больше, радость пройтись по оживлённому коридору, полному голосов и движения и главное — человеческих лиц без масок. Но не одно многолюдье и оживление радовало его. Всё, что Руднев видел сейчас в зоне отдыха, воскрешало в памяти коридоры общаги и шесть студенческих лет, проведённых вот точно в таком окружении голосов, лиц и смеха. И ещё удивительно — Руднев отметил это впервые — больница напоминала общагу даже своей обветшалой-имперской архитектурой. Да, вот точно такие же гулкие коридоры, высокие потолки и такой же торжественный сумрак царил в их общежитии, стены которого видели Руднева двадцатилетним.

С давно позабытым волнением он шагал мимо старых дверей в облупившейся краске, за которыми слышались взрывы женского смеха и из которых порой выбегали полуодетые девушки с полотенцами вокруг мокрых голов и в небрежно накинутых ярких халатах. Как и сорок лет назад, Рудневу чудилось, что за каждой дверью — только толкни её и войди! — его ждет ещё одна, новая и непочатая жизнь. Женский смех, — а возможно, ещё и обилие тех впечатлений, какими его одарила сегодня красная зона, — кружил голову Рудневу: молодость вспомнилась так, как давно уже не вспоминалась.

И общага была с нею связана так неразрывно, как будто одно не могло существовать без другого. Когда Руднев впервые вошёл в её двери, толкнул турникет, повернувшийся с жалобным скрипом, когда он вдохнул тот особенный воздух, которым дышал потом целых шесть лет, — воздух одновременно и затхло-застойный, и полный особенной, юной свободы, — он сразу понял, что обречён полюбить этот гулкий, торжественный сумрак общаги.

Поначалу, когда ему, первокурснику, становилось особо тоскливо — уставал ли он от бесконечной зубрёжки, скучал ли по дому и матери, — он отправлялся бродить коридорами общежития. В старом здании располагалось несколько лестниц — две парадных, четыре “пожарных” — и такое количество переходов и закоулков, тушиков и загадочных комнат, что в недрах общаги можно было блуждать, как в дремучем лесу. Порой начинало казаться, что общага собой заполняет весь мир, что в нём и не может быть ничего, кроме этого гулкого сумрака, стёртых ступеней и старых паркетин, кроме табачного неистребимого запаха в тёмных углах, завывания труб

в туалетах, кроме скрипа и хлопанья тяжеловесных дверей... Бродя этажами общаги — их было пять, не считая подвалов, спускаться в которые он пока не решался, — Иван испытывал то болезненно-острое состояние одиночества, которое возникает лишь в окружении многих людей, в мельтешении лиц и почти не смолкающей многоголосице. Он, конечно, был частью всей этой массы людей, но вместе с тем сознавал, что свою жизнь он обязан прожить только сам, и помочь ему в этом не сможет никто. “Или всё же поможет?” — с надеждою думал Иван, проходя этаж за этажом, коридор за коридором и сам не вполне разбираясь в тех спутанных чувствах и мыслях, что его переполняли.

Сильнее всего Иван волновался, когда встречал девушек, шагавших ли по коридору, колдовавших ли возле кастрюль на общих кухнях, или хотя бы слышал, как звонкий девичий смех раздаётся из-за тяжёлых дверей, мимо которых брёл задумчивый бледный студент. Он чувствовал, что спасение от одиночества, от неотвязной тоски, от груза собственной личности, только ещё зарождавшейся, но уже непростой и тяжёлой, — спасенье могло прийти только от женщины и от женской любви.

И он быстро понял, что его молодые блуждания по коридорам и лестницам старой общаги были, по сути, поиском женщины. Причём не какой-то конкретной, имеющей имя, судьбу и характер, а поиском той женской тайны, какая разлита по множеству лиц, голосов, взглядов, тел. Можно сказать, что Иван искал женственность как таковую — он без неё прямо-таки задыхался.

Больше того: вся громадная эта общага, которая тяжеловесно и сумрачно окружала его, порой представлялась Ивану огромной женщиной, которую он обязан завоевать. И входя по какой-либо надобности в комнату девушек, — скажем, взять конспект лекции или попросить нитку с иглой, чтобы пришить отлетевшую пуговицу, — Иван в глубине души чувствовал, что он входит ни много ни мало в саму ожидавшую этого вторженья общагу. Он погружался в тот женский мир, где всё восхищало его и где он мог, наконец-то, по-настоящему жить и дышать. Минуты, когда он оказывался в окружении всей этой женской милой неразберихи — платьев на стульях, флаконов с духами на тумбочках (первенство было за “Красной Москвой”), бюстгальтеров, сохнувших на верёвках между кроватями, — были одними из лучших минут его жизни. Он чувствовал: здесь сам воздух пропитан любовью — точнее, ожидаемъ любовью, — и дышать этим женственным воздухом Иван мог бесконечно...

Руднев даже потряс головой, чтобы прогнать наваждение воспоминаний и снова увидеть не коридоры общаги и не женские комнаты, а привычный ему коридор больницы. И всё же их сходство казалось ему поразительным — несмотря на четыре десятилетия, которые их разделяли. Это какое-то колдовство. Стоило только войти в красную зону — как он вновь оказался в собственной юности. Интересно, какие ещё сюрпризы она ему приготовила?

23

— Михалыч, обедать-то будешь? — окликнул Руднева Серебряков. — Садись к нам: махнём по сто грамм фронтowych!

Одну из палат отвели под столовую: здесь стояло три круглых столика, а на подоконнике высились стопки пластиковых контейнеров с едой.

— И что, хорошо кормят? — спросил Руднев.

— А то! — хохотнул Серебряков. — Жаль, что не поят за казённый счёт. Ты же знаешь, Михалыч, что коронавирус спирта боится?

— Что-то такое слышал...

— Слышал он! Это же самое главное: единственное после кислорода лекарство.

И Серебряков, не стесняясь, поставил на стол бутылку водки. Да, вольные здесь стали нравы. Раньше всё-таки не выпивали открыто. Видимо, чем ближе смерть — тем больше в людях свободы...

— Набирай, Михалыч, закуску, — подсказывал Серебряков. — Непременно капустки возьми: хороша! Вот точно такую моя покойная матушка делала...

Руднев взял капустный салат и котлету с картошкой. Всё было упаковано в пластик — как подают в самолётах, — но, судя по увлечённо жевавшим врачам и медсёстрам, еда и впрямь была вкусной.

— Не сомневайся, — словно прочитал его мысли Серебряков. — Харчи первый сорт! Ну, где твой стакан? Давайте вот что: помянем тех, кого не сумели спасти...

Несмотря на печальный тост, Руднев выпил с большим удовольствием. Всё-таки смена была напряжённой — да ему ещё многое оказалось в новинку, начиная с костюма защиты и запотевавших очков, — так что хороший глоток ледяной обжигающей водки оказался как раз кстати: в груди Руднева словно расцвёл горячий цветок.

— Что, хорошо? — подмигнул Серебряков.

— Неплохо, — выдохнул Руднев и взялся за вилку.

Капуста и впрямь отменно вкусна. Да и котлета, и жареная картошка так хороши, что у азартно жевавшего Руднева в буквальном смысле слова трещало за ушами. Серебряков разлил ещё по одной — бутылка на этом закончилась — и это тоже, подумал Руднев, правильно: всё-таки вечером им предстояло возвращение в красную зону, и увлекаться спиртным ни к чему. Ему уже стало так хорошо, как давно не бывало. Тот тугой узел, что Руднев почти постоянно ощущал где-то около сердца, наконец, распустился — и какое-то время можно просто жить и дышать, не ставя перед собою задачи, которую непременно нужно решить, а наслаждаясь покоем и счастьем обычного существования. “Вот почему, — думал Руднев, — мне всегда нужно словно кому-то доказывать своё право на жизнь? Уж я-то к своим годам вроде как заслужил это право, а до сих пор будто бы виноват перед кем-то за то, что живу. И в редкие только минуты — такие, как эта, — я могу просто дышать и смотреть вокруг, никому ничего не доказывая...”

Их за столиком сидело четверо — к ветеранам подсели два молодых доктора, — и Руднев, слушая гул разговоров и взрывы смеха, опять вспоминал студенчество: в комнате, где он жил в юности, стол тоже был круглым, и за ним точно так же собиралась шумная молодёжь. Серебряков очень живо рассказывал о своём детстве, проведённом в рязанской глуши, и слушатели смеялись до слёз.

— Вот у вас, молодых, что было за детство? — обречённо махал рукой Серебряков. — Вы, небось, и печного дыма не нюхали, и босыми ногами коровьих лепёх не давили... А мы, — правда, Михалыч? — как сходим на дойку, да как молочка-то парного нам девки нальют, да как животы нам раздуют после ворованных яблок — вот это, я понимаю, жизнь!

Молодёжь зачарованно слушала, а Руднев думал о том, до чего же ему и Серебрякову повезло: им удалось застать ту реальную жизнь, о которой нынешняя молодёжь может знать разве из интернета. Припомнились ему и случаи собственного деревенского детства: например, то, как он голым полез в крапивные заросли. “Не рассказать ли об этом? — подумал Руднев. — Впрочем, не стоит: особо смешного там нет; а признаваться, каким дураком я был уже смолоду, — пожалуй, что и ни к чему...”

Ване Рудневу было тогда лет десять. Их детская деревенская стайка, — помнится, Вовка Титчев и Лёшка Кошцев, Нинка Житких и ещё кто-то — убежала за речку, на склон, изувеченный бомбами. Хотя после войны прошла уже четверть века, воронки были ещё глубоки, и в них росла непролазная, чуть ли не в два человеческих роста крапива. И вот кто-то, — кажется, Лёшка, — воскликнул:

— Слабо голяком пролезть через эту крапиву?

Все засмеялись: уж очень диким показалось такое предложение. Тем более, что каждый знал, что такая крапива — подсыхая, чуть порыжелая — стрекается злее всего. И только Иван с обречённой решимостью понял: вот сейчас он разденется и полезет в крапивные заросли!

Пока Иван раздевался, сверстники поглядывали на него с недоумением, переходящим в брезгливость. Сам же он ощущал, как с каждым мгновением от них отдаляется, раз собирается сделать то, на что не решаются остальные. Оставшись в одних трусах, он сделал шаг в зашелестевшую рыжевато-зелёную гущу. С подсохших крапивных метёлок на плечи и голову посыпалась ржавая пыль. Странно, но первые пять-шесть секунд крапива не жглась, она словно тоже была удивлена неожиданным поступком Ивана. Да и после, когда он углубился в крапивные заросли и под ногами зачавкала жижа (на дне воронки оказалось небольшое болотце) — ожоги оказались слабее, чем он ожидал. Иван остановился на самом глубоком месте, запрокинул голову и подумал, что такого прекрасного неба, как то, что синело вверху, меж крапивных метёлок, он прежде не видел. Неожиданно он ощутил такой прилив радости, что забыл о крапиве, о зуде, о грязи, что чавкала под босыми ногами: тело, которое он только что подчинил своей воле, вдруг перестало ему досаждать и мешать и словно вовсе исчезло. Но разлучившись с собственным телом, Иван обрёл себя в чём-то другом; где помещалось это “другое” и как оно называлось, сказать он не мог, — но сомневаться в его существовании отныне было нельзя.

Когда Иван вылез из ямы — по колени в грязи, весь в нашлёпках крапивных ожогов, — на него смотрели, как на зачумлённого.

— Ну, и как там? — с опаской спросил его Лёшка.

— Нормально, — пожал плечами Иван, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать остервенело чесаться.

— Ну, и дурак! — звонко крикнула рыжая Нинка, засмеялась и побежала к реке.

За ней засмеялись и остальные: поступку Ивана нашлось объяснение, и оно было с радостью принято. “Сами вы дураки...” — думал он, одеваясь, со спокойствием, удивлявшим его самого. То, что он понял сам о себе, стоя среди обжигавшей крапивы, было отныне его личным опытом и достоянием — и делиться им он не собирался ни с кем.

Бабка, увидев Ивана, сначала не на шутку перепугалась и даже хотела везти его к доктору, но когда он рассказал о крапиве, долго смеялась.

— Ай да внучок! — потешалась она. — Это ты, значит, сам себя отстегал? Ну, теперь тебе и сам чёрт не брат...

Она дала Ване банку сметаны — и, пока тот обмазывал нестерпимо зудящее тело, всё причитала:

— И в кого ты, Ванюша, такой уродился? За что ни возьмись — всё норовишь сделать по-своему! Ты мажь, мажь гуще: сметана у нас, слава Богу, не покупная...

24

— Ну, и где же нам подремать? — спросил Руднев, подавляя зевок.

— Пойдём, покажу, — поднялся Серебряков.

Палаты, где раньше лежали больные, были отданы медикам, чтобы те могли отдохнуть между сменами. И вновь Руднев поразился тому, до чего же большая мужская палата, куда его привели, напоминала комнату общежития. Здесь тоже стояло шесть коек и шесть тумбочек у изголовий, и царил именно тот беспорядок временного приюта, что был так памятен Рудневу с юности. И ему сейчас был по душе этот живой беспорядок: и смятое постельное бельё, и одежда, небрежно брошенная на спинки кроватей, и разномастные чашки на тумбочках.

— Я что-то свободных коек не вижу, — огляделся он.

— Да занимай любую, — широким жестом показал Серебряков. — Тут у нас запросто: лёг, где есть место, поспал — и потопал на новую смену. Пока работаешь — на эту койку ещё кто-нибудь ляжет.

— Ясно... Тогда я прилягу вот здесь, у окна.

Руднев вспомнил, что именно так, изголовьем к окну, стояла его кровать в комнате номер двенадцать, где он прожил шесть студенческих лет. И, как

только он лёг, ему показалось: он снова в общежитии, и вот-вот должны появиться его соседи по комнате. Возможно, что он и не слишком бы удивился, если бы так и случилось. “Где-то они теперь? — вспоминал Руднев своих однокурсников. — Раскидала нас жизнь, а кого-то уже и на тот свет забросила. Шутка ли: почти сорок лет прошло с той поры...” В комнату кто-то вошёл, затем вышел; на соседнюю с Рудневым койку завалился и тут же начал похрапывать молодой парень с чёрной, словно приклеенной бородой; в коридоре за дверью беспрерывно слышались голоса и шаги. Казалось, заснуть в такой обстановке — при его-то бессоннице — у Руднева нет ни малейшего шанса. Но он чувствовал, как погружается в сон: как его мысли текут всё свободнее и беспорядочней, а картины, что возникают перед мысленным взором, всё уверенней вытесняют реальность. За дверью послышался женский смех, ему очень знакомый, и засыпающий Руднев подумал: “Это, конечно же, Мила — уж её-то не спутать ни с кем...”

С Людой Лабиной — Милой, как все её звали, — он расстался в конце институтской учёбы. Их ссора была настолько глупа и случайна, что Руднев даже не помнил конкретных её обстоятельств. Как раз шла выпускная сессия, надо было сдавать госэкзамены и решать вопросы с распределением, и они во всей этой суете не находили времени помириться. Неожиданно Руднев с удивлением и возмущением узнал, что Милу видели с каким-то московским доктором, ещё молодым, но уже успешным; а сразу после экзаменов она и уехала с ним. “Ну и чёрт с тобой!” — думал обиженный Руднев. Распределение он сам выбрал в такую глушь, куда в распутицу можно было добраться только на вертолёте. Уже через несколько лет случайно встреченный однокурсник рассказал ему, что Мила уехала с мужем в Америку, но, кажется, не прижилась там и возвратилась. Но неизвестно, ни в каком она городе, ни какова её семейная жизнь, ни даже то, каким врачом она стала. “Да и вообще: жива ли она? — порой думал Руднев. — Надеюсь, жива — уж о смертях-то вести обычно доходят...”

Когда-то, ещё молодым, он вспоминал Милу часто. Не сказать, чтобы он так уж сильно страдал от разлуки — работа хирурга, а затем и семейная жизнь не оставляли ни сил, ни времени для ностальгических переживаний, — но всё-таки что-то тепло в душе, когда память непрошено и наугад показывала какую-нибудь картину из их с Милой общего прошлого. Правда, с годами такое случалось всё реже: душа Руднева неизбежно черствела и сохла, и живая вода воспоминаний нечасто смачивала её. А уж инсульт и подавно стёр из памяти многое.

И только выход в красную зону, где вся обстановка напоминала общагу, в которой и закрутились их с Милой роман, так неожиданно переместил Руднева в прошлое, что он и сам уже не понимал, где находится: в реальности или во сне, в одинокой старости или в юности, полной надежд?

25

Ему снилось то, как преображалось их общежитие субботними вечерами. Просторный читальный зал превращался в зал танцевальный: столы сдвигались к стенам, а в углах появлялись динамики и цветомузыкальная установка, испускавшая не только ревущие звуки, от которых дрожали колонны и стены, но и ритмичные красные вспышки. А меж колонн танцевального зала теснилась хмельная, вспотевшая масса людей. Того, кто вошёл, — как это сделал Иван в своём сне, — поражала теснота, духота и багровые сполохи, что скользили по лицам, стенам и потолку, превращая пространство в единое красное месиво. Среди танцующих девушек было больше, но из-за мелькающих вспышек Иван замечал лишь отдельные лица, затылки, колени и локти: словно детали конструктора, из которого можно было собрать какую угодно — по желанию — женщину. Красные блики отражались и в глазах танцевавших, и в зёрнах пота на их взмокших лбах.

“Какую же женщину хочется мне?” — соображал Иван. То, что он видел, пока не решаясь шагнуть в эту гущу живой человеческой плазмы, и от-

талкивало его, и привлекало. Вся слитная масса танцующих девушек, что содрогалась пред ним под ритмичные громкие звуки и красные вспышки, казалась единым, манящим Ивана и жаждущим слиться с ним женским телом. Несколько голых рук призывно махали ему.

Наконец, он шагнул в гущу танцующих, полную острых локтей и коленей, дыхания, влажных касаний, и поплыл в ней, стараясь пробиться в центр зала. Не сразу — уж очень здесь было тесно, — но это ему удалось. Иван чувствовал: если не двигаться вместе со всеми, его непременно сомнут и затопчут. Поэтому он старался попасть в общий ритм, содрогаясь в таких же конвульсиях, в каких корчились все, кто его окружал.

Вдруг ритмичная быстрая музыка смолкла — танцоры, тяжело дыша, заозирались, — и зазвучали тягучие стоны электрогитары. Играли “Отель “Калифорния”, самую популярную тогда песню. Медленный танец предлагал всем разбиться на пары; Иван, протянув руку в красные сумерки, коснулся ближайшего плеча — и к нему обернулась невысокая стройная девушка с ясной улыбкой и живыми глазами.

— Ты кто? — громко крикнула девушка.

— Я Иван! — постарался он перекричать музыку.

— А я Мила! — прокричала она ему на ухо и положила руки Ивану на плечи.

Тесно обнявшись, они переминались с ноги на ногу — насколько им позволяло пространство меж точно таких же обнявшихся и переминавшихся пар. Говорить из-за томного завывания музыки было нельзя — только кричать, почти касаясь губами уха, — но разговоры были им ни к чему. И красные вспышки, и теснота, и откровенная музыка всё уже словно сказали за них: Иван искал женщину, Мила искала мужчину — и, похоже, их встречные поиски увенчались успехом.

Часа через два они выходили из танцевального зала в обнимку, словно давным-давно знали друг друга. Вопрос был один: куда им пойти? В двенадцатой комнате, где жил Иван, шла развесёлая пьянка; все лестничные площадки, какие им встретились, уже были заняты целующимися парами. Как общага была ни велика, но, похоже, и ей было трудно предложить всем желающим укромный приют.

— Ты где живёшь? — спросил Иван Милу.

— В триста двадцатой.

— Может, к тебе?

Мила пожала плечами: решай, мол, сам — ведь ты же мужчина...

В комнате Милы свет был погашен — лишь бледно серело окно — и трое девушек сонно зашевелились на койках, стоявших вдоль стен.

— Милка, ты? — прошептал кто-то из темноты.

— Я, — ответила Мила, тихо смеясь. — Вань, не шуми: видишь, все спят...

Кровать Милы стояла налево за шкафом, и это создавало хотя бы иллюзию уединения. Впрочем, когда Иван поцеловал девушку в сухие горячие губы, а потом поднял её блузку и сжал упругую, как ни странно, прохладную грудь, ему стало уже всё равно, есть ли в комнате кто-то ещё. Он сдёрнул рубашку, потом, торопясь, расстегнул и стоптал на пол брюки — и крепко прижал Милу к себе. Он чувствовал, как она часто дышит и как её сердце стучит под распластавшейся левой грудью. Потом Мила, горячо что-то шепча, потянула его за собой — и они опустились в глубокую, заскрипевшую и застонавшую яму постели...

26

Роман Ивана и Милы вспыхнул быстро и горел ярко: молодость была лучшим горючим, что поддерживало этот костёр. Встречались они почти каждый день, правда, возможностей уединиться общага предоставляла немного, и нередко гуляли ночами по городу.

С Милой было легко и почти всегда весело. Смешливая и говорливая, она восхищала Ивана и лёгким характером, и тем особенным светом, который

всегда излучали её глаза. А улыбка почти не сходила с её миловидного, очень живого лица. “Вот уж, действительно — Мила!” — думал Иван всякий раз, как встречал её карий взгляд и улыбку и слышал её торопливый, немного картавящий голос.

С ней было легко говорить — и, что важнее, — легко помолчать: если даже Иван был задумчив (а это случалось нередко) и не хотел разговаривать, то Мила сама щебетала о чём-то, и этот её говорок несколько не раздражал, а, наоборот, успокаивал. “Это как пение птицы, — думал Иван. — Хочется слушать и слушать...” Вот и во время ночных прогулок говорила большей частью она, а Иван то вставлял реплики, то поддакивал, то думал о чём-то своём, и этим его размышлениям ничуть не мешало присутствие Милы.

Может, эта склонность Ивана задумываться и привлекала её? Как Руднев восхищался её живой женственностью, так Миле, похоже, нравилась задумчивость, немногословность и даже угрюмоватость Ивана: те качества, в которых настоящая женщина чувствует душу мужчины, необходимого ей.

— Ну, что ты всё время морщишься? — Мила, смеясь, трогала быстрыми пальцами то виски возле глаз Ивана, то углы его рта. — Я тебя никогда не видала расслабленным.

— Даже в постели?

— В постели — тем более! — хохотала она. — У тебя тогда просто зверская рожа!

Ночные прогулки стали для них почти ритуалом. Конец апреля выдался тёплым; уже зацвела черёмуха, и её дурманящий запах заливал переулки и улицы, по которым они бродили. А вот прохожих почти не встречалось, им попадались лишь редкие милиционеры да запоздалые пьяницы. Можно было подумать, что город нарочно освободил свои улицы, площади, скверы, чтобы Иван с Милой могли без помех гулять под его фонарями.

— Вань, а куда все подевались? — удивлялась Мила. — Вымерли, что ли?

— Может, и вымерли, — пожимал плечами Иван. — Вдруг это вирус какой-нибудь всех поразил?

— Представляешь: приходим в общагу, а там — никого... — трагическим голосом произносила она, и тут же начинала смеяться. — Вот здорово: выбирай любую из комнат — и кувыркайся там, сколько угодно!

Но смех смехом, а это было действительно странно. Ивана не оставляло смутное чувство тревоги; он думал: что, если и впрямь людей поразил какой-то неведомый вирус, и они с Милой скоро останутся одни на всём белом свете? Как раз в этом семестре им читали курс микробиологии, и Иван много размышлял о тех чудесах и угрозах, какие таит мир бактерий и вирусов. “Вот идём мы с Милой, — думал он, вполуха слушая её рассказ о недавнем зачёте, — а внутри нас скрыты не просто миры — вселенные! И что они, эти внутренние вселенные, знают о нас — и что мы знаем о них?”

Он вспомнил последнюю лекцию: то, что старый, смешной и азартный профессор рассказывал об удивительной подлости вирусов.

— Что есть вирус? — восклицал толстяк-лектор, сдвинув очки на сверкавшую лысину. — Это всего лишь кусок нуклеиновой кислоты; по сравнению с клеткой, в которую этот подлец проникает — это тьфу, гадость, это три грязные буквы, которые пьяный дурак написал на заборе!

— Какие буквы, профессор? — ехидно спрашивали из задних рядов.

— А то вы не знаете! — лектор грозил пальцем, и студенты дружно смеялись. — И как это бранное слово является только ничтожной частью человеческой речи — так и та информация, что содержится в вирусе, ничтожна по сравнению с той, что содержит геном человека!

Профессор прерывался, чтобы выпить воды, отирал взмокший лоб и ерошил седые остатки волос, а затем продолжал с прежним пылом:

— И вот это ничтожество начинает командовать синтезом наших белков. А почему, — взывал лектор к залу, — происходит такое?

Зал гудел, волновался, смеялся.

— Потому что мы слишком доверчивы! — горестно вскидывал руки профессор. — Мы, увы, доверяем чужой информации и принимаем её за свою...

Он проходил перед рядом висящих таблиц, брал указку и взмахивал ею — как бы фехтуя с невидимым, но опасным врагом.

— Этот мерзавец, — пронзал он указкой кого-то, — заставляет нас с вами плясать под его подлую дудку! Мы начинаем, как дураки, производить новые поколения вирусов, наши клетки гибнут, и вот уже нас с вами нет, а эти незримые подлые твари продолжают захватывать мир!

В общем, профессору не хватало только чернильницы, чтобы запустить его в несуществующего врага... Да, Почаев был славный старик, и студенты любили его, хоть злые языки и говорили, что он не выходит читать лекцию, не выпив стакан коньяка. Зато его мысли, да ещё изложенные в столь живой форме, надолго задерживались в студенческой памяти. Вот и сейчас Иван размышлял о вирусе как о чужой информации, соблазняющей и подчиняющей человека. “Вместо того чтобы жить свою жизнь, оставаясь самими собой, — думал Иван, — мы отдаёмся во власть чужих сил, и это, в конце концов, губит нас. Но как распознать: где своё — где чужое?”

Ещё он думал о том, что если вирус, по сути, есть информация — то и мысли, которые овладевают людьми, могут распространяться, как вирусы. Тут очень кстати он вспомнил цитату из Карла Маркса (а марксизм-ленинизм был у них, медиков, самым важным предметом — куда важнее анатомии!): что, дескать, идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой. “Да и сам марксизм, — приходила Ивану крамольная по тому времени мысль, — разве это не вирус?” В самом деле: то, что придумали два человека в Германии полтора века назад, со временем распространилось, захватило умы миллионы и неизнаваемо изменило весь мир.

Вот и они с Милой, бродя по ночному заснувшему городу, на каждом шагу встречали приметы и символы поражённого красным вирусом мира. Город как раз готовили к завтрашней первомайской демонстрации, и центральная площадь, где уже возвели трибуну, была вся в красных флагах. Правда, ночью и под фонарями эти обвислые флаги казались скорее чёрными, но привычный их цвет так впечатался в память и душу, что каждый, увидевший флаги даже в ночной темноте, был уверен: они, да ещё над трибунами, могут быть только красными.

Вообще, красный цвет был тогда главным цветом страны и эпохи. Октябрытские звёздочки и пионерские галстуки, корочки комсомольских билетов, всевозможные знаки отличий, паспорта, удостоверения, наградные листы и почётные ленты — всё, что сопровождало земной путь человека, вплоть до обивки гробов, было красного цвета. А названия? Вот они с Милой спускались к реке по улице Красный ручей — чудесной, почти деревенской, утонувшей в садах, — вот прошли над Днепром (мост был украшен, естественно, красными флагами) и миновали любимый их кинотеатр “Красный партизан”.

— Куда пойдём дальше? — спросила Мила. — Я что-то устала.

— А давай на вокзал: посидим, выпьем кофе...

— Давай, — легко согласилась она.

27

Они поднимались на пешеходный мост, проходили над россыпью разноцветных железнодорожных огней — красных и тут было больше, — и Иван с наслаждением вдыхал тот горчащий, креозотом и дымом пропитанный воздух, который всегда вызывал в нём желание ехать и ехать, неважно, куда. Он чувствовал: тот герметически замкнутый мир, в котором он жил и который успел полюбить, стал мучительно тесен не только Ивану, но и себе самому — весь мир будто бы задышался без доступа свежего воздуха. Может, они с Милой и приходили сюда, на вокзал, чтобы вдохнуть, наконец, полной грудью? Когда пассажирский, мелькающий светлыми окнами поезд “Рига—Воронеж” или “Москва—Калининград” тяжело пронёсся сквозь ночь, он пробивал словно брешь в неподвижности сонно-застойного мира, и Иван,

обнимая за плечи притихшую Милу, представлял, как они с ней могли бы сидеть в вагоне-ресторане за мелко дрожащим столиком, на котором позвякивает посуда, а за окном пролетали б ночные огни поездов и полустанков...

Но бывало неплохо зайти и в вокзальный, пустой по ночам ресторан. В углу непременно скучала зевавшая официантка в белом переднике — её грудь была столь пышна, что блокнот в нагрудном кармане лежал горизонтально, — а баночки соли, горчицы и перца на столиках тихо позвякивали, когда по недалним путям проносился очередной громыхающий состав.

— Что закажем? — спрашивал Иван Милу. — Я, кстати, проголодался.

— Я тоже! — смеялась его подруга, которой всё на свете казалось смешным. — Давай спросим, что у них есть...

Обычно они обходились яичницей, которую им приносили минут через десять в тарелках с волнистой синей каймой и клеймом “МПС”.

— Вот тебе и тарелочки с голубой каёмочкой, — ухмылялся Иван. — Чем не жизнь?

Как-то весёлый хмельной мужик, что сидел за соседним столом, угостил их портвейном.

— Студенты? — спросил он, услышав обрывки их разговора. — Я студентов люблю: сам когда-то учился, да не доучился...

Он засмеялся, взерошил седые короткие волосы и позвал официантку:

— Нинуль, принеси молодёжи бутылку “Молдавского”: я угощаю!

Иван с Милой попробовали отказаться, но мужик был настроен решительно:

— Даже не спорьте: я сегодня богатый — гуляю! Потом, когда придёт ваше время, сами будете угощать молодых...

Иван с интересом смотрел на хмельного соседа. Поражала свобода его поведения и разговора — так непривычная в мире, где они жили. Мужик было лет пятьдесят, и похоже, что жизнь обошлась с ним неласково. На левой руке не хватало трёх пальцев, правая кисть синела от татуировок, а на виске багровел грубый шрам. Но глаза мужика были молоды и постоянно смеялись — точно так же, подумал Иван, как и глаза Милы.

Сосед закурил “Беломорину”, глубоко затянулся, выпустил струю синего дыма — и, развалившись на стуле, спросил:

— Ну, как живёте, студенты?

— Нормально, — пожал плечами Иван.

— Не скучно?

— Да нет...

— А мне скучновато, — мужик снова выпустил дым и напомнил. — Вы про портвейн-то не забывайте!

— Спасибо, отличный портвейн, — Иван подпил густое сладкое вино себе и Миле.

— А то! — хмыкнул мужик. — Я, пока срок мотал, всё мечтал: вот откинусь, приду в ресторан на вокзале, закажу ящик портвейна, буду пить и угощать всех вокруг...

— Мечта, выходит, сбылась? — улыбнулась Мила.

— Сбылась, дочка — о том и горюю! Без мечты, сама понимаешь, нельзя... Ну, будем живы!

Отпив полстакана, мужик громко продекламировал в пустоту ресторанного зала:

— У свободы крылья велики, но не сладят с нею дураки!

Это было так неожиданно, что захохотали не только они с Милой, но и грудастая официантка. Иван любовался соседом и думал: вот человек, который недавно вышел из зоны, и как же он, чёрт побери, красив! Несмотря на шрамы, седину и морщины, он казался даже моложе их с Милой. В умных, смеющихся, цепких глазах светилось столько жизни, что думалось: сама смерть не погасит огонь, что горит в его радостном взгляде.

— Скажите, — спросил захмелевший Иван, — а вы смерти боитесь?

— Вот это вопрос! — восхитился мужик и добавил, враз посерьёзнев: — Нет, не боюсь — и ты, парень, не бойся... Ничего в ней, смерти, страшного нет.

— А вы разве знаете?

— Да уж как-нибудь знаю, — подмигнул мужик. — Меня сколько раз на тот свет провожали, а я, как видишь, вернулся...

28

В Миле и в отношениях с ней было то живое и настоящее, чего Иван не находил в окружающем мире, лживость которого он ощущал всё острее. И ему приходилось порой делать выбор: быть с Милой — или подчиниться тому, что от него, комсомольца-студента, требует мир, породивший, взрастивший и воспитавший Ивана.

Острее всего это противоречие проявилось в истории с праздничным шествием. Майские и ноябрьские демонстрации в их институте — как и во всех институтах страны — считались чем-то священным. Студенту могли простить любой грех, любые пропуски лекций и двойки, но не отказ участвовать в шествии. А Ивана тошнило при одной мысли о том, чтобы потратить выходной день первого мая на тупое шагание в колонне, под завывание духового оркестра и под плески алых полотнищ над головами. “Нет уж, в эту красную зону я не хожу, — думал Иван, только-только проснувшись. — Пусть, кто хочет, таскает эти дурацкие транспаранты и флаги: а у нас с Милой есть чем заняться...” Не так уж и часто их комната, где жило шесть человек, опустевала на целых полдня, и им с Милой выпадала такая возможность для любовных утех.

Ещё не вставая с постели, Иван удивился тому, как непривычно темно в их двенадцатой комнате: причём сумрак был красновато-зловещего цвета. “Что за чертовщина?” — подумал он. Оказалось, окно снаружи завешено транспарантом, по красному фону которого, справа налево (в обратном порядке, как чёрная месса), читалась надпись: “Слава КПСС!”.

Радио, не выключавшееся никогда, уже давно отыграло государственный гимн и теперь вещало неестественно-бодрым, праздничным голосом. Иван никуда не спешил и с интересом смотрел, как поднимаются и одеваются его соседи по комнате. Звучали обыкновенные шуточки, гудели электробритвы, шумел электрический чайник — в целом, утро было похоже на все остальные. Но оживление праздника всё же чувствовалось и во взрывах общего хохота, и в том, что свои рубашки, брюки и туфли студенты осматривали придирчивей, чем обычно.

— Коль, посмотри, — просил Витя Чаусов, — у меня на спине пятна нет?

— Есть! — радостно сообщал Лозбенев.

— Да ты что? — ужасался доверчивый Витя. — И где же я его посадил?

Он снимал рубашку, и все хохотали: никакого пятна, разумеется, не было. Общага не могла жить без насмешек, подначек, обмана и грубых шуток; но сегодняшним утром дурацкая эта манера врать всегда, всем и везде как-то особенно раздражала Ивана.

С улицы уже слышалась бодрая музыка: институтскую колонну формировали как раз под окном их комнаты.

— Вань, а ты что же, на демонстрацию не собираешься? — спрашивал Алексей Агамирзов.

— Да ну её на хрен! — зевал и потягивался Иван. — Демонстраций я, что ли, не видел?

— Ну, ты даёшь! — Агамирзов не то восхищался, не то ужасался. — Тебя же так взреют, что мало не покажется...

— А, пускай! — Иван чувствовал, что теперь, после сказанных слов, ему уже стыдно идти на понятный.

Бодрые марши за окном звучали всё жизнерадостней, за красным сукном транспаранта, как копыя, качались и двигались древки флангов, и нарастающий гул голосов временами перекрывал даже музыку. Скоро комната опустела; Иван встал и подошёл к окну. Снаружи гудела толпа, двигались тени флагов и транспарантов, такты музыки словно утрамбовывали людей

и выстраивали их в колонну, а Иван был один, совершенно один... И внутренний голос ему говорил: “Это правильно — так и живи. Никакая толпа не заменит тебя самого и не сделает то, что ты должен сделать сам. А эта бодрая музыка, эти флаги и крики — всё это пустое...”

Зато когда он услышал, как по коридору приближаются быстрые шаги Милы, а затем увидел её радостные глаза, которые будто светились в сумраке комнаты, зачавшее сердце сказало Ивану: “А вот это — живое и настоящее...”

Колонна ещё не ушла от общаги, флаги ещё раскачивались за полотном на окне, и музыка завывала в каком-то уже иступлении, а они с Милой уже раскачивали скрипящую койку. Их движения то совпадали с тактами духового оркестра, то выбивались из общего ритма; но эти события происходили одновременно, разделённые только стеклом и плакатом: толчки молодых, жарких тел друг о друга — и судороги колонны, тяжело ворочавшейся за окном. Шествие то и дело запиналось; красные флаги плескались над головами; отдалившемуся оркестру словно уже не хватало воздуха — он задыхался, хрипел, — и всё это походило на грандиозное совокупление, что толпа совершала сама же с собой. Кровать в иступлении билась о стену; гул музыки оглушал демонстрантов; лица любовников были мокры; от грузно-ритмичного шага колонны дрожала общага. Когда же Иван захрипел, Мила вскрикнула и затрепетала под ним — в тот же миг облегчённо-раскатистое “Ура-а-а!” пронеслось над волнующейся колонной...

29

Конечно, прогул демонстрации ему не простили, как не прощали никому. Через несколько дней, когда в деканате сверили списки и опросили старост студенческих групп, Иван, в числе прочих прогульщиков, был вызван на заседание комсомольского комитета курса. “Разбор поведения” — так это тогда называлось.

— Что, Вань, на вздрючку собрался? — не без ехидства спросил его Лозбенёв, видя, как мрачен Иван, собирающийся на заседание комитета. — Ну, а чего ж ты хотел? Любишь медок — люби и холодок...

Заседания проходили в “красном уголке”, особенной комнате на третьем этаже общежития. Красный цвет в ней действительно преобладал: в углу, рядом с бюстом Ленина, стоял красный флаг; длинный стол был застелен кумачовой скатертью, а над столом висела стенная газета, пестрящая красными буквами заголовков.

Вызывали прогульщиков по одному. За кумачовым столом заседал курсовой комитет, многие лица были Ивану хорошо знакомы — ведь он учился с ними на одном курсе, — но, странное дело, их было трудно узнать. Те два десятка глаз, что посмотрели на вошедшего в комнату Руднева, были словно слепыми. “Вот что происходит с людьми? — удивлялся Иван. — Встретишь иного в общаге, на улице или даже в пивной — человек как человек. И поговорить, и посмеяться, и выпить — всё может за милую душу. Но как сядет за красный стол — так сразу глаза становятся оловянными, словно две пуговицы...”

Ему указали на стул — он сел поодаль от всех — и началась процедура разбора.

— Ну, и что вы скажете в своё оправдание? — спросил его кто-то, кого Иван даже не разглядел, — он смотрел мимо судей.

— В оправдание чего?

— Не прикидывайтесь дурачком, Руднев! — Тот, кто спрашивал, постучал о стол карандашом. — В оправдание своего отсутствия на демонстрации.

— Ничего не скажу, — пожал плечами Иван. — Не пошёл, потому что был занят.

— Любопытно знать, чем?

— А уж это, — усмехнулся Иван, — моё личное дело.

Все десять голов, которые только что явно скучали и чуть не зевали, с интересом посмотрели на Руднева.

— Так-так... — комсомольский председатель, казалось, несколько озадачен. — Значит, вы личное ставите выше общественного?

— Ничего никому я не ставлю, — Иван продолжал смотреть в сторону. — И потом: разве демонстрация — это не добровольное дело?

— Не разводите демагогию, Руднев! — снова застучал про столу карандаш. — Вот влепим выговор — будете знать, что у нас добровольное, а что принудительное!

— А то я не знаю, — опять ухмыльнулся Иван.

Он думал: “Как странно всё то, что здесь происходит... Меня обсуждают, ругают, стучат по столу, а я не чувствую ни вины, ни обиды, ни страха. Словно всё это мне только снится, а на самом деле нет ни этого флага в углу, ни стола с красной скатертью, ни комсомольского комитета. Вот проснусь — и всё это исчезнет, как дым...”

Он почти и не слушал, как его обсуждали, понимая, что люди, входившие в комитет комсомола, должны были отговорить то, что положено, исполняя порученную им роль. То, что всё это игра, Иван понял давно, пожалуй, с тех самых пор, как у них начались отношения с Милой. Сам играть в неё он не хотел, но и не хотел мешать другим притворяться, изображая ревностных комсомольцев. “Пусть поиграются, — думал Иван. — Чем бы дитя ни тешилось... Скорее бы уж вынесли мне этот самый выговор — или что у них там полагается? — да отпустили”. Они с Милой в тот день собирались в кино.

Как он и предполагал, ему вlepили выговор, но даже без занесения в личное дело. Легко отделался. Или комсомольцы пошли уж не те, что раньше? Видно, всё в мире ветшает и выцветает — так же, как красный флаг в углу, рядом с пыльным гипсовым Лениным...

30

Скоро рассыпался весь прежний мир, но не доктор Руднев, который прожил с той поры ещё тридцать пять лет и теперь просыпался на втором этаже городской больницы, превращённой в инфекционный госпиталь.

Спросонья, как это бывает, он не сразу сообразил: где, в каком месте и времени он оказался? Прошлое и настоящее перемешались в его восприятии; и уже не студенчество представлялось далёким воспоминанием, а, напротив, те годы, что прошли с той поры до сегодняшних дней, — годы, которые и составляли почти всю его жизнь, — казались чуть ли не сном. А юность как будто ещё продолжалась — тем более всё, окружавшее Руднева, так разительно напоминало общагу. И эти шесть коек с измятым бельём и одеждой на спинках кроватей — на двух ещё спали, накрывшись почти с головой, то ли студенты, то ли доктора, — и этот живой беспорядок на тумбочках и подоконнике, и старые стены с потёками на штукатурке — всё возвратилось из юности, из тех дней, когда Руднев был молод и думал, что молод он будет всегда.

А главное, что соединяло его — ещё сонного и не вполне понимавшего, где он и что происходит, — с собственной юностью, была уверенность в том, что и Мила находится где-то неподалёку. Уверенность эта была так сильна, что Руднев, ещё не вставая с кровати, прислушался: а не раздаются ли шаги Милы по коридору? Он в прошлом так часто, с таким нетерпением ожидал стука её быстрых, летящих шагов, который он отличил бы от дробного топота тысяч иных женских туфель, что почти испугался: а вдруг в самом деле она сейчас влетит в комнату?

Но шагов Милы пока слышно не было, и это немного его успокоило и отрезвило. Что ж, значит, можно вставать, не спеша выпить чаю, а затем одеваться на новую шестичасовую смену.

Тот сложный, огромный по содержанию сон, что видел Руднев, не просто его освежил, а словно влил в него новую кровь. Шагая по коридору до туалета, а затем возвращаясь в “кормушку”, Руднев с недоумением поглядывал на свои руки и ноги. С виду они были теми же самыми, что и всегда, но почему в них как будто зудело молодое желание что-либо сделать, куда-то

идти или даже бежать? “Как всё-таки правильно, — радовался Руднев, — что я не остался сидеть дома, в своей волчьей норе, а вышел работать в красную зону. Чем тихо стареть, превращаясь в развалину, лучше выжать последние силы из старого тела и старой души. Да и красная зона, — похоже, не самое гиблое место на свете. Конечно, она угрожает и мучает, заставляет немало терпеть; зато, если выдержишь то, что она предлагает, возможно, не просто останешься жить, но ещё и будешь вознаграждён. Это как в сказках про Бабу-Ягу и твоего тёзку, Иванушку-дурачка: не испугаешься, согласишься полезть в её красную печь, — глядишь, и спасёшься, да ещё и получишь в награду какую-нибудь Василису Прекрасную...”

31

Только-только он переоделся в защитный костюм и спустился в приёмное, как за окном послышался шум сразу нескольких машин “скорой помощи”. Двор больницы стремительно оказался заставлен красно-белыми “УАЗами” так, что носилки, которые медики выкатывали из торцевых дверей, сталкивались и мешали друг другу. Но люди в комбинезонах, как ни странно, вели себя тихо: не доносятся ни криков, ни ругани. Каждый, видимо, чувствовал: положение слишком серьёзное, чтобы тратить время и нервы на пустое сотрясение воздуха. И кое-как каталкам с задышавшимися больными удавалось разъехаться и развернуться, чтобы занять очередь у дверей приёмного.

Руднев, хоть и не бывал на настоящей войне, вспомнил, чему учили на военных курсах и как действуют врачи медсанбатов при массовом поступлении раненых. Первое, что он сделал, приказал медсестре:

— Звони старшему дежурному, пусть присылает подмогу!

Он понимал, что сейчас главное — выявление тех, кому помощь нужна в первую очередь. Таких оказалось трое. Пройдя вдоль ряда носилок в свете фар “скорых”, Руднев увидел, что губы и уши у двух стариков посинели; а заглянув в одну из машин, он увидел там часто и шумно вздыхавшую женщину, судя по животу — беременную.

— Вот этих троих, — показал он фигурам в комбинезонах, — завозим первыми!

Очередь из каталок снова смешалась. Руднев сам помогал медсёстрам закатывать носилки со стариками в приёмное, затем подвозить их к дверям лифта, и сам поднялся в реанимацию с самым тяжёлым из поступавших больных. От быстрых движений очки опять запотели.

— Он пока без истории, — пояснил Руднев фигуре в комбинезоне (кажется, медсестре), что первой встретилась ему в зале реанимации. — К нам привезли человек десять сразу, так что бумаги писать будем потом.

— Хорошо, — ответила женщина в белом, — у нас как раз дыхательный аппарат освободился...

Руднев взглянул, куда она указала. Одна из белых фигур, стоявшая в дальнем углу, показалась знакомой; но что он мог ясно увидеть на таком расстоянии, да ещё сквозь запотевшие стёкла очков?

— Принимайте его, — передал он больного сестре, — а мне некогда: ввизи много работы. Не забудьте каталку вернуть!

Торопливо спускаясь обратно в приёмное, Руднев думал о двух вещах: как бы не поскользнуться и что же такого особенного было в той белой фигуре (по всему судя, женщине), которую он увидел в реанимации? Отгадка крутилась в мозгу совсем уже близко — он почти вспомнил, — но лестница кончилась, и он вновь погрузился в суматоху работы.

Кроме него, в приёмном теперь работал ещё один врач, присланный на подмогу. Когда подняли в реанимацию самых тяжёлых больных, обстановка чуть разрядилась, по крайней мере, никто не умирал прямо в эту минуту, у них на глазах. Но всё равно, больных оставалось много, и с каждым надо было срочно что-то решать. Хорошо, что смена не первая, и Руднев более-менее освоил порядок действий с лёгочными больными. Сначала нужно оценить сатурацию: то, насколько насыщена кровь кислородом. Затем больных

помещали в трубу томографа, и через несколько минут монитор показывал картины лёгочных “срезов”. “Да, вот оно, “матовое стекло”, — вглядывался Руднев в расплывчатые разводы, что пятнали лёгочные поля. За этими пятнами лёгкие казались так же размыты, как и всё окружающее за стёклами запотевших очков. И опять эта мысль — что вирус поражает не только лёгкие больных, но и вообще весь мир, — пришла доктору в голову. Поэтому и пандемия, что поражается всё...

Карусель работы крутилась без остановки. В приёмное заводили или завозили очередного пациента, Руднев бегло оценивал его состояние — опрашивал, измерял сатурацию, пульс и давление, записывал всё это, чтоб не забыть, на отдельный листок — а затем сёстры доставляли больного в кабинет компьютерной томографии. В целом это напоминало то, как Руднев работал в приёмном раньше; вот только теперь его больше интересовали не животы, как когда-то, а лёгкие. Так много кашлявших и задыхавшихся больных сразу Руднев ещё не видел: словно некая беспощадная и коварная сила решила отнять у людей самое главное — воздух.

Рудневу и самому становилось всё труднее дышать. Респиратор, насытившись влагой, пропускал воздух всё хуже; а двигателю приходилось много: то помогать перекатывать через порог носилки, то осматривать пациентов, то присаживаться к компьютеру, чтобы через пару минут встать и спешить в кабинет компьютерной томографии — и уже через час суматошной работы Руднев чувствовал себя, почти как когда-то на стадионе, во время забега. Было тесно и жарко, ноги налились тяжестью, а воздух, который он шумно вдыхал сквозь респиратор, казался пустым, и его не хватало. Помогала привычка терпеть — то главное, что Руднев приобрёл за пятьдесят семь лет жизни.

Но едва ли не более, чем нехватка воздуха, Руднева раздражали проблемы, что возникали с компьютером. Ведь ему, принимая больных, приходилось печатать жалобы и анамнез, заносить в базу данных результаты осмотра и всех проведённых исследований, да ещё и расписывать план лечения. С одной стороны, это было формальной и канцелярской работой, но и без неё нельзя обойтись. “Это тебе, приятель, не оперировать: тут думать надо!” — говорил Руднев мысленно себе самому, то тыкая толстыми от перчаток пальцами в клавиатуру, то двигая “мышью” — от спешки курсор то и дело промахивался, — то раздражённо стирая ошибки.

Но как он ни торопился, курсор по экрану двигался куда медленнее, чем это хотелось бы Рудневу и чем требовала вся нервная обстановка. Ко всему, компьютер всё чаще тормозил: то стрелка не слушалась “мыши”, то курсор замирал, мигая, на одном месте. Можно было подумать, что кто-то незримый, сидящий в компьютере, дразнит Руднева и мешает работать. “Чтобы сдох! — злился доктор, колотя по клавиатуре. — Мало мне вируса, что поражает больных, так теперь ещё и компьютерный!”

Но пока он пытался справиться с непослушным компьютером и с потоком больных, во всём корпусе вдруг погас свет! В первый миг все замолкли, а потом темнота огласилась испуганными голосами. “Помогите!” — кричали больные; “Куда позвонить?” — бегали взад-вперёд сёстры; “А ну, прекратите истерику!” — пытался перекричать всех Руднев. Но его голос, приглушённый респиратором, был слышен плохо. Тьму озаряли только экраны мобильных — сестра с санитаркой пытались вызвать аварийную службу — да освещали окно фары “скорых”, которые продолжали одна за другой подъезжать к больнице. Без электричества совсем крышка. Ладно здесь, а каково сейчас в реанимации? Без дыхательных аппаратов больные начнут помирать один за другим...

Конец света, к счастью, длился недолго. Уже минут через пять снова вспыхнули лампы и засветились экраны компьютеров. Но на оживших мониторах творилось что-то совсем уж несуразное. По экранам плавали красные точки, которые то сливались в багровые пятна, то вновь разлетались в кровавые брызги. “Неужели коронавирус проник и в компьютер?” — невольно думал Руднев, пристально глядя в мерцающий монитор.

Он плохо уже понимал, как давно началась его смена и как скоро она закончится. Казалось, он целую вечность работает здесь, в красной зоне. И он, сколько помнит себя, занимается только расспросом больных, измерением оксигенации крови, изучением “матовых стёкол” на экране томографа и тыканьем пальцев в клавиатуру, отчего курсор на мониторе движется судорожными рывками. К нехватке воздуха и к зуду вспотевшего под комбинезоном тела он тоже привык: это всё воспринималось, как неизбежное, хоть и неприятное условие существования. Жить отныне и означало испытывать зуд и одышку, и ещё выносить ту тоску, что наваливается на дежурного доктора в полночь, когда ему кажется: время остановилось, а он сам завис словно в зазоре между реальностью настоящего и собственным прошлым, которое не отпускало его. Окружающий мир расплывался и таял, становился нечётко-размытым, зато воспоминания, всё чаще являвшиеся ему, обретали тяжеловесную достоверность реальности. Так, когда он опять поднимался в реанимацию (пока сестра была занята оформлением очередного больного, Руднев сам решил отнести наверх истории тех, кто поступил в самом начале смены) и когда перила, ступени и стены медленно, словно тоже с одышкой, двигались навстречу ему, вспомнилось, как он взбежал вот по этим ступеням лет тридцать назад. Тогда азарт и напор жизни в нём был таков, что казалось: он легко добежал бы не то, что до четвёртого, а и до сорок четвёртого этажа. Но даже сейчас, несмотря на свой грузный шаг и одышку, ему почудилось, что он снова молод, точнее, что внутри его старого тела опять оживает тот парень, поджарый и неутомимый, каким Иван Руднев был когда-то давно. Это странное разделение на старика и юношу вновь удивило его. “Может, это от гипоксии? — спросил Руднева врач, всегда живший в нём. — Интересно, какая сейчас сатурация у меня самого?”

Потом он вспомнил, что и в общаге была похожая лестница — и вот на такой же площадке, как эта, они с Милой провели немало часов. Теперь он, поднимаясь, видел уже не зелёные прутья перил и не стоптанные ступени, а смеющийся взгляд карих глаз. Потом, пробиваясь сквозь шелест костюма, в ушах зазвучал и её торопливый, всегда как бы чуть задыхавшийся голос. Да, голос и взгляд вспоминались ярче всего, ведь именно голос и взгляд хранят сокровенную и неизменную суть человека. Мила смотрела сейчас на него с лёгкой усмешкой, словно спрашивая: что ж ты, мол, Ваня, так постарел? И Руднев, продолжая грузно шагать, развёл руками, словно оправдываясь: да вот, как-то так получилось...

Увлечённый незримым общением с Милой, он почти не заметил, как мягко хлопнули створки дверей, пропуская его в реанимацию. Здесь его окружало — хоть и в тумане — привычное: ряд коек, шланги дыхательных аппаратов, стойки капельниц и несколько белых фигур в мешковатых комбинезонах. Но воспоминания так накладывались на реальность, что Руднев продолжал видеть Милу, чьё лицо неотступно плыло перед ним. Вот её лик совместился с белой фигурой, которая обернулась к нему — и он, зацепившись за что-то бахилой, пошатнулся и чуть не упал. Кое-как устояв на ногах, он снова взглянул на фигуру в комбинезоне. На него сквозь очки и сквозь пластик маски смотрели живые, смеющиеся карие глаза. “Я что — брежу? — подумал Руднев. — Или устал до того, что мне всюду мерещится Мила?”

— Здравствуй, Ваня, — услышал он голос, до боли знакомый. — Ты что, меня не узнаёшь?

Руднев хотел ущипнуть себя за ухо, чтобы проснуться, но мешал комбинезон. Чувство, что он видит сон, не оставляло его даже тогда, когда Мила, — а это была, несомненно, она — тормозила его за плечо.

— Ты что, правда меня не узнал? — смеясь, повторяла она. — Вот и я не сразу узнала — ну, когда ты забежал сюда в первый раз. Спросила, а мне говорят: да, это доктор Руднев...

— Ну, а ты... Ты-то как здесь? — с трудом проговорил он.

— Сейчас расскажу... Девочки! — крикнула Мила. — Возьмите истории — нам с доктором нужно поговорить.

Они отошли к окну. Мила держала Руднева за локоть, словно боялась, что он исчезнет; а Руднев не понимал, где находится: в реанимации или в своей давней юности, где он вот так же стоял с Милой возле окна и слушал её торопливый, счастливый, смеющийся голос.

— Представляешь, тётку приехала навесить: ей уже девяносто, но старушенция бодрая. А тут хлоп — пандемия! Тётка, ясное дело, на изоляции — из дома ни шагу. Так мало того, из Москвы позвонили: больничка, где я работала, закрылась на карантин, и я пока там не нужна. А ты ж меня знаешь: я без дела сидеть не могу. Чего бы, думаю, здесь пока не поработать? Каждый реаниматолог сейчас — на вес золота. Документы мне сын из Москвы переслал — вот я к вам и устроилась!

— Надолго? — у Руднева пересохло во рту.

— Пока на месяц, а там видно будет.

— А живёшь где? У тётки?

— Пока у неё. Хотя это, конечно, неправильно, раз я в красной зоне работаю. Но мне обещали, что завтра поселят в гостиницу. Ты-то, Вань, как?

— Как видишь — живой...

— Боже мой, Ваня! — воскликнула Мила, обняла его, и Руднев даже сквозь два комбинезона почувствовал, как она горяча и как часто, взволнованно дышит.

И всё-таки он не понимал, что случилось и откуда здесь Мила, которая, ухватившись рукой за его плечо, продолжала что-то рассказывать...казалось, что внутри шелестящего балахона не его пожилая ровесница, а всё та же смешливая девушка, какой была Мила лет сорок назад. “Неужели это всё действие красной зоны? — думал Руднев, не отводя взгляда от карих, блестящих глаз Милы. — Значит, есть место, где времени нет и где всё сохраняется точно таким, каким оно было когда-то?” Он был уверен, что Мила под комбинезоном всё та же: горячая, крепкая и молодая. Об этом ему говорил и её сияющий взгляд, и взволнованный голос, и, главное, сердце самого Руднева, которое билось так, как не билось давно.

Последний час ночной смены прошёл, словно во сне. Руднев существовал как-то сразу и в настоящем, и в прошлом: в приёмном покое, среди медсестёр и больных — и в комнате их общежития, которая вспомнилась до мелочей отчётливо. По сути, в той комнате он сейчас и находился, но в ожившие воспоминания, досаждая ему, время от времени врываются обрывки реальности. Вот он стоял посреди их студенческой комнаты, обнимал полуголую Милу — на ней только рубашка Ивана, — и вдруг к ним прямо сквозь стену въезжала каталка с очередным пациентом. Рудневу приходилось сделать усилие, чтобы оторваться от Милы — и почти машинально записывать жалобы и анамнез, измерять давление и сатурацию, а затем, по многолетней привычке хирурга, проминать живот пациента, перемещая ладонь от левой подвздошной области к правой. Мила ждала, пока он закончит осмотр, запахнувшись в рубашку, которая очень ей шла. А как только сестра с санитаркой укатывали носилки — стена общежития вновь смыкалась за ними, и для Руднева в мире опять оставалась одна только Мила: её смех, её торопливый взволнованный голос, и её молодое, горячее тело...

34

После душа он сидел в “кормушке” за круглым шатавшимся столиком и ждал Милу. В том, что она непременно зайдёт сюда, он не сомневался — хоть они и не успели договориться о встрече. Вокруг, несмотря на глухую ночь, было шумно: расхаживали и смеялись врачи и медсестры — все были много моложе Руднева, — но к нему никто не подажживался, словно догадываясь, что этому пожилому доктору сейчас не нужны застольные собеседники.

Руднев ждал Милу и думал о том, как ей, наверное, непросто решиться на предстоящую встречу. Ведь женщинам много сложнее скрывать свои годы, чем нам, мужикам. Одно дело жилистый и ещё крепкий старик, а другое — старуха такого же возраста.

Но он понимал и то, что многое, если не главное, в их предстоящей встрече — уже без маскарадных защитных костюмов, в которые их нарядила красная зона, — зависит от его собственного взгляда. Насколько он сможет увидеть ту, прежнюю Милу сквозь её теперешнюю постаревшую оболочку, настолько же молодой ощутит себя и она. Чувство, что возраст Милы находится словно в его, Руднева, власти, почти испугало его. Что, если он не сумеет вернуть Миле её молодость? Но с другой стороны, он совершенно не мог представить её постаревшей; и надежда на то, что время не властно над Милой, укреплялась в нём с каждой минутой.

Карман полотняной просторной рубахи Руднева оттягивала коньячная фляжка, к которой он пару раз основательно приложился. Есть не хотелось совсем, лоток с жареной рыбой так и оставался перед ним нетронутым. Около четверти часа он просидел, поглядывая на дверь и прислушиваясь к шагам в коридоре.

Вот так же в молодости он множество раз ждал Милу — то в общаге, то в библиотеке, то на скамье городского парка — и переживал: да что же она не идёт? Но вместе с досадой и нетерпением он испытывал наслаждение от самого ожидания. В том, что Мила, в конце концов, всё же появится, он не сомневался — на свидания она приходила всегда, хоть порою и с опозданием, — как не сомневался и в том, что в его жизни вряд ли будут минуты блаженнее, чем вот это щемящее, всё нарастающее в нём предощущение встречи. Тогда и весь окружающий мир напрягался и словно вибрировал — в ожидании Милы. И эти деревья старинного парка, в кронах которых звенели синицы и мелко дрожала листва, и эти прохожие, что так озирались, как будто искали кого-то, и эти лужи, морщившиеся от беспокойных порывов ветра, — всё вокруг Руднева исходило таким же томлением, что он ощущал и в своём туго бившемся сердце.

И вдруг, словно с облегчением долгожданного вдоха после удушья, он увидел ладную, торопливо шагающую фигурку. У Милы, спешащей к нему на свидание, даже походка была полна радости; она словно сама изумлялась тому, как легко у неё получается всё: и перепрыгивать лужи, и пробегать, балансируя, по бетонным поребрикам, и хохотать, и кидаться на шею Ивану. Казалось, что ласковый ветер, ворвавшийся в парк вместе с ней, закружил их обоих, и этот порыв унёс всё, кроме смеха, сияющих глаз и дыхания Милы...

...Руднев вздрогнул, почувствовав точно такой же упругий и ласковый ветер, который внёс в комнату Милу. Время словно замедлилось — и, пока она приближалась к нему, Руднев успел поразиться тому, до чего же она моложава. И радостный смех, и сияющий взгляд, и порывистые движения — всё было точно таким же, как прежде. Вот только морщины в углах глаз и рта выдавали истинный возраст, да короткие волосы (ещё не просохшие после душа) были того печального, хоть и красивого, цвета, что называется “перец с солью”.

— Смотришь, какая я стала? — улыбнулась она, подойдя и положив горячую руку на плечо Рудневу. — Уж конечно, не помолодела...

— Да что ты, Мила, — накрыл он её руку своей, тоже горячей. — Ты с виду просто девчонка!

— Ну, ты же знаешь: маленькая собачка — до старости щенок! — она засмеялась так весело, что нельзя было не засмеяться с ней вместе.

— Садись, — пододвинул Руднев стул. — Коньячку выпьешь, за встречу?

— А как же! Ты, смотрю, уже приложился?

— Так, самую малость. Не поверишь: волнуюсь, как мальчик!

— Я, Ваня, тоже, как девочка...

Он и забыл, до чего же весь мир рядом с Милой становится словно светящимся — тем же самым живым, тёплым светом, каким светились её глаза и улыбка. Руднев ощущал себя снова двадцатилетним и ничуть не

смущался того, что держит Милу за руку и неотрывно смотрит в её глаза: ему не было дела ни до собственного возраста, ни до взглядов и мнения окружающих.

С Милой, похоже, происходило нечто подобное. Её глаза блестели, голос и руки дрожали, а на губах блуждала недоумевающая улыбка: она тоже испытывала мгновенное и ошеломляющее перемещение в юность.

Как это бывает при встрече людей после долгой разлуки, следы возраста на лицах друг друга им были заметны только несколько первых минут; но скоро сквозь постаревшие оболочки стали проступать их прежние облики, и сознание каждого воспринимало лишь эту неожиданно воскрешённую юность, не замечая того, что сделала жизнь с их телами и лицами. Руднев видел перед собой не пожилую женщину с пепельно-серой стрижкой, сетью морщин возле глаз и рта, а двадцатилетнюю девушку со светящимися глазами. Мила же, в свой черёд, видела не пожилого мужчину с бритым черепом, с небольшим перекосом лица (она, врач, сразу отметила это) и с привычной гримасой усилия, что искажала его, а видела двадцатилетнего юношу, который с таким восхищением смотрел на неё, что ей делалось страшно и весело одновременно...

35

“И как я жила без Ивана?” — с изумлением думала Мила. Она, не отвлекаясь, рассматривала его теперешнее лицо — седую щетину, морщины и вздутые вены под кожей висков, — словно ревнуя Ивана теперешнего к собственному воспоминанию о нём, молодом. “Конечно, он уж не тот”, — с печалью и жалостью отмечала она и тут же, с нахлынувшей радостью, видела: да нет же! Он тот, каким был!

Её память стремительно побеждала и вытесняла реальность. Перед ней сидел не пожилой человек, измученный трудной ночью и прожитой жизнью, а худощавый двадцатилетний юноша, смотревший на Милу с такой откровенной радостью и восхищением, что у неё начинало ныть сердце. “И как я жила без него?” — снова и снова крутилось в голове Милы, и вся её долгая жизнь начинала ей видеться одновременно, будто она, наконец, рассмотрела её с высоты, как летящая птица.

Да, в её долгой жизни было неожиданное. После обидной разлуки с Иваном — замужество и отъезд за границу, рождение сына, развод, возвращение в Москву, потом новый муж — вот это золотой человек! — и его смерть от инфаркта, было много работы, бессонных ночей, несколько быстрых служебных романов, но все эти годы сейчас вспоминались, как сон или фильм, который Мила смотрела сама о себе, сочувствуя главной его героине, но и понимая, что всё, о чём он повествует, является только частью её истинной жизни.

Теперь-то ей стало ясно: она никогда не переставала любить и помнить Ивана. Да, жизнь их развела, и они потеряли друг друга на многие годы. Мила знала лишь то, что Иван распределился в какой-то глухой городок на Урале, а затем его след пропал совершенно, но даже не сознавая того, где-то в тайных глубинах души Мила продолжала общаться с Иваном. Так, всех мужчин, кто возникал в её жизни на долгое или короткое время, она сравнивала именно с ним, словно Иван был для неё безоговорочным эталоном мужчины. Один слишком высок — потому что выше Ивана; другой низковат — потому что ниже него. У одного Мила видела уши Ивана, у другого — манеру Ивана прищуривать взгляд, а у третьего оказывался голос с такой же волнующей, как у Ивана, хрипотцой.

Да что говорить! Даже сын её, Алексей, когда чуть подрос, и в нём стали проступать черты взрослого облика (а они проступают порой уже в пятилетнем ребёнке), — даже сын в глазах Милы напоминал ей скорей не родного отца, а Ивана. Тот же взгляд с характерным прищуром, та же манера замолкать и задумываться посреди разговора, будто бы все забывая о собеседнике (хотя нить разговора он не терял никогда), и та же усмешка одной половиною рта, что и у Ивана. Может, ещё и поэтому Мила души не

чаяла в сыне, что он напоминал дорогого ей человека и позволял продолжать неуловимо-незримое общение с ним?

Она не забывала Ивана, даже когда ей казалось, что она совершенно забыла его и что он навсегда исчез из её жизни. И она никогда не встречала — хоть жизнь была долгой, и разных встреч много — таких настоящих мужчин, как Иван. Что это значило — быть настоящим мужчиной — она и сама себе не могла объяснить; но именно интуитивное ощущение — настоящий мужик перед ней или нет? — было главной меркой, с которой она подходила к мужчинам. Иван был, без сомнения, настоящим — куда более настоящим, чем все, кого она знала потом. В нём словно звенела струна напряжённой тоски по тому, чего эта реальность и жизнь дать не могут, и Миле, когда она ощущала в Иване напряжение этой незримой струны (а она ощущала её почти непрерывно), хотелось утешить Ивана, хотелось хотя бы немного ослабить его напряжение, а не то струна его жизни вот-вот оборвётся! И Мила знала единственный способ, старый, как мир, каким женщины могут утешить любимого ими мужчину: безоглядно отдать ему своё тело и душу...

“Какое же счастье, — думала Мила, не убирая руки от горячей и нервной ладони Ивана, накрывшей её чуть дрожащие пальцы, — какое же счастье, что эта чума, поразившая мир, снова свела нас вместе! Страшно подумать, что я могла дожить жизнь, так и не встретив его. А ведь я уже, честно сказать, начала забывать этот голос и это лицо: вот как забыла бы их совершенно — так бы, наверное, и умерла...”

Зато сейчас память, стремясь наверстать и восполнить всё то, что она позабыла, накрыла Милу горячей волной. Ей сразу вспомнилось многое: образы прошлого словно толпились у тесных дверей её памяти, и вдруг они разом ворвались в сознание Милы и затопили его своим разнообразным, живым, ничуть не потускневшим от времени содержанием. Иван сидел сейчас перед ней, неотрывно смотрел ей в глаза, что-то рассказывал, спрашивал, она отвечала, смеялась, о чём-то спрашивала сама, но его постаревшая оболочка ничуть не мешала видеть Ивана таким, каким он был прежде и каким всегда оставался в её восприятии. “Неужели он и меня видит прежней? — с замиранием сердца спрашивала Мила себя, и сама же себе отвечала: — Конечно, он видит меня молодой... Иначе бы так не светился его восхищённый взгляд — как мне знакомы эти волчьи глаза! — и в его хриплом голосе не звучала бы такая живая и откровенная сила желания...”

36

Их глаза, шаря по лицам друг друга, вели свой разговор, в то время как ошившие от усталости и волнения голоса говорили своё.

— ...так что я завтра — нет, уже сегодня! — рассказывала Мила о своих планах, — переселяюсь от тётки в отель. Наконец-то не нужно будет ни стирать, ни готовить. Ты же помнишь: бытовую возню я всегда терпеть не могла!

— А как же ты жила замужем? Кто на кухне возился?

— Как кто? Мужья, — смеялась она. — Мне с ними везло: все попадались хозяйственные.

— И много их было?

— Нет, всего два. Но первый ушёл к молодой, а второй, Сергей, умер два года назад.

— Сердце?

— Да, сердце...

Воспоминание о мужьях ненадолго сделало Милу печальной — словно тень набежала ей на глаза, — но скоро она вновь светилась.

— Что я, Вань, всё про себя! Ты-то как?

— Ну, как... — вздохнул Руднев. — Я тоже один.

— Да ты что? — округлила Мила глаза. — Овдовел?

— Нет, в разводе.

— И как же так получилось?

— Теперь уже и неважно...

В паузу, что повисла меж ними, вместились немало: и воспоминания об оставшейся в прошлом семейной жизни, и ещё не утихшая радость от встречи, и удивление оттого, что эта встреча застала их снова свободными.

— Выпьем ещё? — поднял Руднев коньячную фляжку.

— Да, конечно... Вань, а ты меня вспоминал?

— Ещё как...

Как легко было им говорить в самом начале их неожиданной встречи, так же трудно теперь произносить слова, которые — каждый чувствовал это — нисколько не выражали того, что творилось в их душах. Да и как выразить целую жизнь и всё то, что в ней вместилось, — жизнь, которая их развела, а теперь неожиданно, то ли в награду, то ли в насмешку, опять свела вместе?

“Куда подевались те сорок лет, что я прожил без неё? — думал Руднев, всё больше хмелея и всё больше волнуясь. — Словно не было у меня ни семьи, ни работы, ни всей той мороки, которая называется жизнью и которая так, признаться, уже опостылела и надоела... Словно мы с Милой растались только вчера, потом я заснул — сон был путанный, тяжкий, тревожный, — а теперь вот проснулся и не могу намотреться на эти глаза и улыбку...”

К тому времени, как они допили коньяк, “кормушка” совсем опустела. Но из палат, превращённых в комнаты отдыха, с чёрных лестниц, из коридора и туалетов ещё доносились ночные невнятные звуки: гудение жизни, которая хоть и устала, но никак не хотела угомониться. Вот точно так же и в их общаге гулко разносились шаги по ночным коридорам, так же гудели водопроводные трубы, и взрывы смеха слышались то за одной, то за другой дверью. “Неужели я снова в молодости? — думал Руднев, ещё не вполне доверяя впечатлениям удивительной ночи. — И неужели сейчас повторится всё то, что уже случилось когда-то?”

Похоже, что всё повторялось. Он снова брал Милу за горячую руку, она легко и послушно вставала из-за стола, и они снова шагали куда-то сквозь гулкую пустоту коридора, а двери палат, как когда-то и двери общаги, проплывали слева и справа. Потом они снова стояли на чёрной лестнице, неотличимой от лестницы их общежития, и целовались так торопливо, почти неумело, как целуются лишь молодые. Они словно боялись, что их вот-вот заметят, поднимут на смех и погонят отсюда; но боялись-то, в сущности, даже и не людей — кто бы их осудил? — а смущались самих же себя, своей поздней, так неожиданно вспыхнувшей, страсти...

— Вот идиоты, — шептала Мила, когда их поцелуй прерывался. — Представляешь, увидят: старик со старухой целуются? Вот смеху-то будет...

— Ничего, эта больница видела и не такое, — бормотал Руднев, сам не узнавая своего хриплого, сдавленного голоса...

37

Он проснулся с таким чувством радости в сердце, какого давно не испытывал. Только в детстве ему доводилось просыпаться в состоянии столь же счастливом, когда он испытывал наслаждение от каждого вдоха и выдоха и от каждой мысли, что проплывала в его голове. Причём небольшая похмельная тяжесть ничуть не мешала, а помогала этим мыслям существовать, придавая им основательность и достоверность. Вспоминал ли он что-нибудь из прошедшей ночи, — а оно обязательно было связано с Милой, — или предавался мечтам, в которых звучал тот же смех и светились те же глаза, — всё было прекрасным, и всё это снова вернулось в его одинокую жизнь.

Соседи по комнате один за другим просыпались, вставали, разговаривали и смеялись — и Руднев почти не удивлялся тому, что это не его однокурсники, а молодые ребята, ему едва знакомые. “Какая, в конце концов, разница? — думал он, сладко потягиваясь. — Главное, что мы с Милой — всё те же...”

Умываться Руднев нарочно шёл не спеша, с молодым интересом поглядывая в приоткрытые двери женских палат, за которыми слышался смех

и мелькали полуодетые девушки. “Вот почему, — удивлялся он, — женская нагота до сих пор так меня привлекает? Уж казалось бы, на голых баб я насмотрелся: и как хирург, и как мужчина. Иной за всю жизнь не увидит их столько, сколько я видел за месяц. А вот поди ж ты: до сих пор, как увижу красивую грудь или ноги — так у меня от волнения пересыхает во рту. Всё же есть, есть в женщинах тайна, которую нам, мужикам, никогда не постичь...”

Из туалета Руднев вышел совсем уже бодрой и моложавой походкой, словно не было позади ни двух трудных смен, ни встречи с Милой, ни хмельных посиделок в “кормушке”. Впереди у него маячило двое свободных суток: и уж этот-то отдых он, без сомнения, заслужил. Мила, он знал, рано утром уехала, чтобы заселиться в отель, где размещали работников красной зоны, по возможности изолируя их от обычных людей.

Планёрки всегда были важной частью больничного дня. И пока конференц-зал наполнялся людьми, Руднев, пришедший одним из первых, вспоминал о планёрках прошлого — о тех временах, что ныне казались почти легендарными. По тому, как проходили и как менялись планёрки, можно изучать историю их больницы и чуть ли не всей медицины страны.

Он часто с нежностью вспоминал и людей, и черты той эпохи. Больница тогда была для него вторым домом, и врачебное их сообщество жило, как одна большая семья. А планёрки являлись утренним сбором этой семьи, неизменно дружной и доброжелательной. Проблемы и ссоры, если они и случались, — какая семья живёт без противоречий? — решались вот именно, что по-домашнему. Старшие могли по-отечески пожурить молодёжь, а самым серьёзным наказанием было отстранение от операций на несколько дней, отчего жадные до работы молодые хирурги впадали в отчаяние. Во время отчёта дежурных бригад или при обсуждении сложных больных коллеги делились друг с другом не просто мыслями или опытом, но самой энергией жизни. Никогда молодому доктору Рудневу так не хотелось скорей встать к столу или распутывать непростые клинические ситуации, как после тех утренних шумных, весёлых планёрок.

Но времена изменились, и вместо уютной эпохи застоя настала эпоха иная, бестолковая и беспощадная. Больница тогда превратилась почти в медсанбат: всё чаще к ним поступали пациенты не с аппендицитами или холециститами, а с ножевыми или пулевыми ранениями. И, как на настоящей войне, не хватало инструментов, медикаментов, перевязочного материала. Планёрки в те годы больше напоминали сводки с полей сражений: всё чаще звучали тревожные вести о том, что, как ни трудно больнице сейчас, дальше, скорее всего, будет ещё хуже.

Возраст и опыт научили Руднева, что кончается всё — даже плохое. С годами жить стало спокойнее, бинты и лекарства перестали быть дефицитом, и теперь мало кто из хирургов мог похвастаться тем, что на дежурстве он оперировал, скажем, ножевое ранение сердца. Но вот планёрки, на рудневский взгляд, заметно испортились, потому что из них ушла жизнь. Они стали длинными, нудными и пустыми. Начальство требовало всё более многословных, подробных докладов: отчёты о жизни стали важнее, чем сама эта жизнь. А после дежурных докладов приходилось ещё и выслушивать проповеди главного врача о том, как доктора нерадивы, неграмотны и нерасторопны. “Или это всё оттого, — вздыхал Руднев, — что мы сами сделали старшие и хуже, нам поэтому кажется, что испортились люди, нравы и времена?”

Конференц-зал наполнялся народом. Руднев почти никого здесь не знал — лишь несколько старожилков больницы заулыбались, увидев его, и подошли позвать руку. “Ну, как ты, Михалыч? — Нормально! — Вернулся? — Как видишь. — Здоровье-то как? — Да грех жаловаться... — Ну, ты орёл!” — примерно таким был каждый из диалогов, и Рудневу было приятно узнать, что его здесь ещё помнят.

Сама же планёрка, как это ни странно, напоминала ему давно минувшие времена. Доктора выходили докладывать свободно и раскованно — даже халаты на плечи были наброшены вольно — и говорили, ничуть не смущаясь присутствием главврача и начмеда. Вот что значит полувоенная

ситуация! Когда обстановка серьёзная, уже не до пустой болтовни и не до формальностей. Теперь даже тупым чиновникам ясно, что доктора — это самые главные люди на свете...

А ситуация в самом деле с каждым днём усложнялась. Хуже всего то, что катастрофически не хватало дыхательных аппаратов: и в их больнице, и в городе, и в стране, да и во всём мире. А кислород и искусственная вентиляция лёгких были единственным, что давало тяжёлым больным хоть какие-то шансы — увы, небольшие. Эффективность лекарств, которыми предлагалось лечить коронавирусную инфекцию, была под очень и очень большим вопросом, их назначали скорее от бессилия и от незнания того, как же справиться с чёртовой этой заразой. Вакцина? Но вакцина — это спасение не для больных, а для здоровых; да и о ней говорить пока рано. На её разработку, проверку, внедрение в практику уйдут многие месяцы, а ускорить этот процесс всё равно, что ускорить беременность. “Пока солнце встанет, — вспомнил Руднев любимую поговорку своей бабки, — роса очи выест...” Доктор даже поёжился, ощутив на спине холодок, но не от обычного сквозняка или просыхавшего пота, а от ошущенья громадной беды, нависавшей над всеми и угрожающей каждому. Руднев впервые ясно представил, как и он сам может оказаться на искусственной вентиляции — да и то, если будут свободные аппараты — и отбывать в лучший мир с дыхательной трубкой, торчащей во рту.

Главный врач говорил о нехватке свободных коек и необходимости как можно скорее выписывать тех пациентов, у которых нет дыхательной недостаточности, но Руднев уже не слушал его. Он то вспоминал, что случилось в минувшие сутки, то думал о Миле — интересно, достался ли ей одноместный номер? — то снова прислушивался к себе, удивляясь тому, как чувство вернувшейся молодости возбудило в нём и страх смерти, прежде ему незнакомый. “Теперь мне есть, что терять и чем дорожить, — думал он. — Не повстречайся я снова с Милой — на кой бы ляд мне нужна была эта самая жизнь?”

— Ну, всё! — завершая планёрку, ударил ладонью о стол главный врач. — Положение хоть и серьёзное, но панику разводить ни к чему. Будем работать, а там — что Бог даст...

Доктора, обсуждая последние новости, расходились. Кто отправлялся домой отдыхать после суточной смены, а кто-то шёл облачаться в защитный костюм, чтобы вновь выдвигаться в красную зону.

В кармане Руднева завибрировал телефон, засветился экран, и он прочитал сообщение: “Заселилась в отель. Приезжай в гости. Мила”.

38

Казалось, белый “фольксваген” не выезжает, а вылетает на просторную, всю в майской зелени окраину города. Шоссе в этот час оказалось пустынным — коронавирус расчистил дороги от автомобилей, а небеса от самолётов — и таксист-узбек гнал, как бешеный, радуясь редкой возможности показать свою ураль.

— Брат, куда разогнался? — спросил его Руднев. — К аллаху торопиться?

— Зачем к аллаху? — улыбнулся молодой смуглый водитель. — Я слышал, русские любят быструю езду!

— Это верно, — кивнул Руднев. — Но ты всё же поаккуратнее, мне ещё жизнь дорога...

Таксист сбросил скорость до ста двадцати, но всё равно они словно летели над лентой шоссе меж зеленевших, вздымавшихся и опадавших полей. “Земля словно дышит, — любовался Руднев просторными видами. — Уж ей-то, родимой, ни к чему дыхательные аппараты...” В это свежее майское утро Рудневу вновь начинало казаться, что его жизнь начинается с чистого листа — такого же чистого, как синева неба или зелень полей и мелькающих по сторонам перелесков. Уже и не верилось, что где-то есть красная зона, есть ужас в глазах задыхавшихся пациентов, есть мерные гулы дыхательных

аппаратов и трупы, завёрнутые в плёнку, — есть то, среди чего он провёл миновавшие сутки и что вскоре вновь его ожидало. “А ну его к лешему! — подумал Руднев о том плохом, что угрожало ему и всем людям на свете. — Если всё время держать в уме смерть, то и жить не захочется...”

— Сколько зелени! — восхищался таксист, поглядывая то в окно, на поля с перелесками, то в зеркало, где отражалось уставшее, серое, волчье лицо его пассажира. — И всё растёт само по себе: не то, что у нас в Бухаре, где нужно полить и водою, и собственным потом каждый клочок. Удивительная земля — Россия! В Бухаре не случалось бывать?

— Случалось. И в Бухаре, и в Самарканде.

— Ну, и как вам?

— Красивые города. Главное — люди очень хорошие...

39

Скоро впереди замаячил зеленовато-серый куб отеля “Амбассадор”, построенного недавно при большом автомобильном заводе. Таксист лихо развернулся у входа и затормозил; Руднев расплатился и вышел, сказав на прощанье весёлому парню:

— Будь здоров, брат! Думаю, ты ещё будешь меня сюда подвозить.

В холле пришлось надеть маску — такие правила теперь повсюду, — и вежливый толстый портье спросил Руднева:

— Вы доктор? Из красной зоны? Заселяетесь к нам?

Руднев, секунду подумав, ответил одним-единственным “Да!” — на все три вопроса. “В самом деле, — пришла ему мысль, — отчего бы мне и не переехать в отель, раз уж нас, медиков, селят бесплатно? И Мила рядом, и кормят, я слышал, неплохо...”

Паспорт у Руднева был при себе, а его фамилию портье быстро нашёл в списке сотрудников красной зоны, которым не просто было разрешено, а предписывалось жить в отеле, в изоляции от прочих смертных.

— Вы пока без вещей? — поинтересовался портье, глядя на Руднева со смешанным выражением любопытства, страха и уважения.

— Да, я их привезу после.

— Хотите посмотреть номер? Кстати, вот телефон, по которому, — подвинул бумажку портье, — можете заказать и обед, и ужин. Еду оставляют у дверей номера.

— Вот даже как? — хмыкнул Руднев. — А выпивкой, часом, не обеспечивают?

— Пока нет. — Даже сквозь маску было видно, как вымученно улыбнулся портье. — Выпивку все приносят свою. Только, пожалуйста, не увлекайтесь, а то у нас здесь вечерами творится бог знает что...

— Хорошо, увлекаться не буду, — пообещал Руднев и добавил, почувствовав, что покраснел: — Скажите, а в каком номере поселилась Людмила Ивановна Лабина?

— В двести шестнадцатом, — портье словно ждал, что Руднев спросит именно об этом.

Ну что: сразу к ней? Или сначала зайти в свой номер, принять душ да оглядеться?

Его номер оказался неподалёку от того, где жила Мила. “Что ж, очень даже неплохо, — осмотрел Руднев стол, кресло, кровать (она была жёсткой, как он и любил). — Ого, да здесь и балкон!” Балкон оказался просторным — на нём стояло ещё одно кресло и небольшой столик, — и с него открывался вид на молодой березняк, поле цветущей сурепки за ним — его желтизна аж слепила глаза — и на дальний лес, темнеющий до горизонта. “Красота!” — Руднев сладко, до хруста в спине, потянулся:

— С такого балкона хоть век не уходи!

Через пару минут он стоял под горячими струями душа. “Что-то часто я стал мыться, — думал Руднев, блаженствуя в сильно шумящем потоке воды. — За сутки уже третий раз, этак я и совсем мою старую кожу и стану другим...”

Ему в самом деле казалось, что он переменялся — и внутри, и снаружи. Когда он смотрелся в зеркало, то в туманном, забрызганном, мокром стекле отражался не столько тот Руднев, каким он действительно был, сколько тот, каким хотел быть, чтобы Мила увидела не старика с дряблой кожей, а молодого, поджарого парня, который смутно угадывался в нечётко белеющем контуре обманчиво помолодевшего отражения...

Он так крепко прижал к себе Милу, что у неё хрустнули позвонки.

— Вань, ты полегче, — закашлялась и засмеялась она. — Совсем раздавил! Погоди, я хоть дверь закрою...

Он не замечал ни морщин, ни чуть расплывшегося тела — ничего из того, чем Мила нынешняя отличалась от себя двадцатилетней. А её глаза так сияли и голос дрожал такой радостью, что, похоже, и ей Руднев казался всё тем же, каким она его помнила.

Штора из тюля как будто дышала, поднимаясь и опадая от тёплого майского ветра. Казалось, что этот же ласковый ветер освобождает их, обнимавшихся и целовавшихся, от одежды. На пол упала рубашка Ивана, на неё соскользнул пояс Милиного халата, а затем и сам шёлковый красный халат с золотыми драконами. Лифчик, почти невесомый, попробовал зацепиться за перекладину стула, но, не удержавшись, тоже упал...

Хоть оба они и казались друг другу прежними, то, что происходило между ними сейчас, мало напоминало былые свидания. Уж не та исступлённая схватка мужчины и женщины — схватка, где нет победителей и побеждённых, но где царят ярость и ослепление страсти, знающей только саму себя. Теперь пожилые любовники думали не о себе, а о другом, которого так неожиданно встретили и боялись опять потерять. Это было уже не сражение, а стремление соединиться настолько, чтобы не оставалось зазора не только между телами — они мягко касались друг друга почти в том же ритме, в каком надувалась и опадала полупрозрачная занавеска окна, — но и между их душами.

Где сейчас была Мила? Конечно, в Иване, в его напрягавшихся и расслаблявшихся мышцах, в его вдохах и выдохах, в его неожиданно помолодевшим и помягчавшим лице, в его восхищённо смотревших на Милу глазах — она различала саму себя в его радужках, — словом, во всём том, что сейчас заполняло её целиком, вытесняя из мира всё прочее, кроме Ивана. В эти минуты она не нашла бы саму себя, своё тело и душу, если б даже захотела, но такого желания в ней не могло и возникнуть, потому что во всём был только Иван, в котором она растворялась решительно и без остатка. Она позабыла бы и своё имя — зачем ей теперь было помнить и знать, как её звали когда-то? — если б оно не слетало снова и снова с его пересохших губ...

А где был Иван? Конечно же, в Миле: в покорных и вместе с тем властных волнах её тела, которые уносили Ивана далеко-далеко от себя самого; в распахнутом взгляде её карих глаз, в которых читались и недоумение, и наслаждение одновременно; наконец, он был в её, Милы, дыхании, которое делалось всё торопливее и горячее... Можно сказать, он и жил её жарким дыханием, оно у них было одно на двоих, и воздух, входящий в его напряжённую грудь, легко выходил из полураскрытых губ Милы, горячо овеивая Ивану лицо.

Мягкие волны соития уносили их далеко от самих себя, но и приближали к себе — тем, какими они оба были ещё до начала времён, которое разделило людей на мужчину и женщину. Для того, чтоб вернуться к самим себе прежним — попасть в мир, где ещё не было смерти, — им оставалось последнее и запредельное, проникавшее друг в друга усилие...

Прошло много времени — или, может быть, совсем мало? — пока Мила, очнувшись, сумела проговорить:

— Что это было? Мы оба умерли? Или оба родились?

— Похоже, и то, и другое... — с трудом отозвался Иван. — С днём рождения, подружка!

Переезд в отель не отнял у Руднева много времени. Он вообще любил собираться в дорогу: неважно, была ли это, как в юности, поездка в соседнюю область на соревнования, сборы в байдарочный поход или выезд в одну из столиц на медицинскую конференцию.

И он всегда чувствовал: уезжая, он словно подводит черту под всей прежней жизнью. Возможно, так звучала в нём гениная память: по отцу рудневский род происходил из запорожских казаков; а для казака любая разлука с домом могла оказаться последней. Недаром в казачьей традиции было прощаться с женой, выходя из родной хаты даже по самому пустяковому делу. Вот и сейчас Руднев словно прощался с тем местом, где он провёл пять лет после развода, живя аскетической, так подходившей ему жизнью старого холостяка.

Спешить было некуда — Милу вызвали на внеочередное дежурство взамен захворавшего Серебрякова, — и он собирался неторопливо.

Сначала он выпил чаю на кухне, строгий порядок которой ему так нравился. “Ничего лишнего” было его жизненным принципом, и Руднев не допускал в быт ничего, кроме действительно необходимого. “А то знаю я, во что превращается привычка к комфорту, — рассуждал он. — Только дашь слабину, как быт превращается из слуги в господина, и вот уж не он помогает тебе, а ты сам обслуживаешь его. А сейчас у меня всё, как надо: даже водку и чай я пью из одного и того же стакана...”

Правда, серебрянный подстаканник — подарок одной из влюблённых в него пациенток — у Руднева всё же имелся, и каждое чаепитие напоминало о поездках и о дальней дороге. Вспоминался и двойной перестук колёс под дрожащим полом вагона, и горький запах угля от растопленного “титана”, и проводница в синей тужурке, несущая сразу четыре окутанных паром стакана плохого железнодорожного чая.

Сам-то Руднев заваривал чай только самый лучший — одна из немногих поблажек, что он себе позволял, — и чаепитие было едва ли не самым любимым занятием пожилого врача. Он отхлёбывал чай не спеша, задумчиво глядя в окно и рассеянно трогая тиснёный рисунок на подстаканнике. Этот рисунок — башня Киевского вокзала Москвы — был так знаком его пальцам, что Руднев, пожалуй, и с завязанными глазами отличил бы свой подстаканник от прочих. Его он, подумав, решил взять с собой, чтобы в безликой обстановке отеля иметь что-то привычное.

Отправляясь в походы, Руднев всегда составлял список необходимых вещей; вот и сейчас он положил рядом с дымящимся чайным стаканом лист бумаги и карандаш. Первым делом он записал самое важное: “телефон, ключи, паспорт, деньги”. В принципе, ничего больше можно было и не брать, тем более что на дворе май, и можно не обременять себя лишней одеждой. Ветровки да свитера будет достаточно, чтоб вечерами сидеть на балконе. Ну, ещё пара футболок да пара трусов, стирать которые можно в отеле. Да, не забыть беговые трусы и кроссовки. В кроссовках, кстати, можно ездить и на дежурства, а в отеле ходить в банных шлёпанцах.

Руднев сам удивлялся тому, как немного вещей ему нужно для жизни. Оставалось приписать зубную щётку и ножницы, очки и походный набор ниток с иглками, да перочинный ножик со штопором — на случай, если им с Милой придётся откупорить бутылку-другую вина. Немного подумав, он снял с полки ещё одну важную вещь: чёрный потрёпанный том Хемингуэя, сопровождавший Руднева чуть ли не всю его жизнь. “Не телевизор же мне смотреть перед сном? — подумал доктор. — В нём-то уж точно, кроме новостей о коронавирусе, ничего интересного не увидишь...”

Уложить сумку оказалось ещё быстрее, чем написать краткий список вещей. “Да, немного я нажил добра, — вздохнул Руднев, посмотрев сначала на небольшую спортивную сумку, а затем окинув взглядом голые стены квартиры. — Можно подумать, что здесь никто никогда и не жил...”

Ему неожиданно стало жаль и себя, и квартиру. “А вдруг я больше сюда не вернусь?” — подумал он, подхватил с пола сумку и вышел на лестницу, громко хлопнув обшарпанной дверью.

Что было делать в отеле без Милы? Руднев бросил сумку в прихожей номера и распахнул балконную дверь. Свежесть майского дня охватила его. Небо сияло, молодая листва шелестела под ветром, а из ближнего березняка доносились соловьиные трели. “В такую погоду грех сидеть взаперти, — подумал Руднев. — Может, побегать?”

Шнуруя кроссовки, Руднев снова порадовался тому, как же удачно он их выбрал. Это была профессиональная беговая обувь, очень лёгкая, с упругой подошвой и колодкой, идеально подходящей к стопе. А в чём только не приходилось бегать в молодости! Те, кто мог раздобыть “Адидас”, считались королями. А так все обычно бегали в брезентовых тапочках на резиновой подошве, они стоили два рубля двадцать копеек. И как-то ведь бегали — даже результаты показывали неплохие...

Сразу за оградой отеля начиналась утоптанная тропа, и Руднев медленно потрусил по ней в сторону берёзовой рощи. После инсульта он опасался бегать в полную силу; хотя, с другой стороны, — думал он иногда, — для него, бегуна, очень даже неплохо умереть на бегу. Не сосчитать, сколько раз он уже умирал, финишируя: когда дышать нечем, а помутившийся взгляд видел только белые клетки разметки, которые приближались мучительно медленно...

Всё это, впрочем, было давно: и хрипящая грудь, и туман в голове, и усилие финиша. Теперь-то он бегал куда осторожнее, не доводя себя даже не то, что до изнеможения, но и до сколько-нибудь серьёзной усталости. Начинал бег всегда еле-еле, трусцой, прислушиваясь и к постепенно разогревавшимся мышцам, и к шуму крови в ушах, и к привычной боли в коленях. Суставы, конечно, сносились — и он замечал это на каждой пробежке. Да и как было им не сноситься, отбегав многие тысячи километров и по грунтовке, и по городскому асфальту, и по покрытию стадионов?

Тропа вывела Руднева из весёлого березняка, где пятна лиственной тени скользили по свежей траве и где сочно щёлкали соловьи, на поле, заросшее ярко-жёлтой сурепкой. К этому времени он уже разогрелся и с наслаждением бежал сквозь медовые запахи и пчелиный клубящийся гул. Погружаясь в неторопливую медитацию бега, Руднев чувствовал, как становится лучше не только он сам, но улучшается весь окружающий мир. С каждой сотнею метров небо делалось словно синее, медовые запахи гуще и слаще, ветер всё ласковей обдувал его голову, а зернистые трели жаворонка обильнее сыпались из синевы.

Неужели и впрямь всё зависит от человека, и, меняя себя, мы меняем весь мир? Получается, в наших собственных силах испортить мир или улучшить, погубить его или, может, спасти?

После сорокаминутного кросса Руднев так повеселел, что ему даже толстый сонный портье в холле отеля показался неплохим парнем. Принимая от него ключи, Руднев чуть было дружески не похлопал этого увальня по плечу.

— Как побегали? — осведомился тот вежливо, словно почувствовав расположение Руднева.

— Отлично!

— Завидую вам, — улыбка портье расплылась шире маски. — Правильной жизнью живёте.

— А вам кто мешает так жить?

— Да так как-то всё... — пожал плечами толстяк. — То семья, то работа, то что-то ещё. Жизнь вообще штука сложная...

— Это вы верно заметили, — засмеялся Руднев. — Ну, бывайте здоровы!

После душа Руднев с наслаждением вытянулся на широкой, пахнущей свежим бельём постели. “Где же Мила? — начинал беспокоиться он. — По всем расчётам, её смена уже закончилась”. Странно, что мысль позвонить

Миле и узнать о причине её задержки даже не пришла ему в голову. Слово он настолько перенёсся душой в свои молодые воспоминания — в те времена, когда мобильников не было и в помине, — что рядом с мыслью о Миле не возникало представления о телефоне.

Наконец он услышал в коридоре шага — и нетерпеливо вскопчил. В том, что шагает именно Мила, он не сомневался: за сорок лет Руднев не забыл её поступь. Только эти шаги были приглушены то ли ковром коридора, то ли усталостью Милы, то ли десятками прожитых лет.

Он появился перед ней неожиданно. Мила вздрогнула:

— Ты меня напугал!

Он поразился тому, каким измученным и постаревшим было её лицо. Хотя удивляться тут нечему: Руднев множество раз видел лица врачей, отдежуривших трудные сутки, — и сам возвращался с дежурств с таким же безжизненным, серым лицом.

— Тяжёлая ночь? — спросил он, обняв Милу.

Не отвечая, она лишь кивнула и положила голову на его грудь. Какое-то время они постояли, обнявшись, посреди коридора, посторонившись лишь для того, чтобы пропустить горничную с её тележкой. Потом Мила негромко сказала:

— Вань, ты меня извини: я сейчас никакая...

Он проводил Милу в её номер и подождал там, пока она примет душ. Номер был точно такой же, как тот, где жил он; и Руднев подумал, что между его собственной жизнью и жизнью Милы тоже нет большой разницы. Оба одинокие пожилые врачи, и оба провели жизнь в больницах, в непрерывной и суматошной работе, в бессонных ночах, в окружении громыхавших каталок, везущих по коридорам тела, — чаще, к счастью, живые, чем мёртвые, — и в той гулкой и напряжённой кафельной пустоте, какая царит в операционных. “Только и разницы, — думал Руднев, — что Мила всю жизнь простояла у изголовья стола, а я — над раскрытым животом пациента. А так-то мы, в сущности, жили почти одинаково...”

Мила вышла из душа, закутанная в два полотенца: одним она, как чалмой, обернула мокрую голову, а в другое завернула себя. Она показалась Рудневу такой маленькой и беззащитной, что захотелось немедленно сделать ей что-то хорошее.

— Хочешь есть? — спросил он.

— Нет, сначала посплю, — мотнула она головой. — А поедем потом, хорошо?

— Как скажешь...

Раскинув руки, Мила ничком рухнула на широкую белую простыню постели.

— Ка-айф... — застонала она. — Представляешь: у меня за смену четыре покойника!

— Впечатляет, — понимающе кивнул Руднев.

Мила пробормотала что-то ещё, но её голос с каждой секундой становился всё более сонным. И вот уже Руднев видел, что Мила спит, обхватив, как ребёнок, подушку руками.

Ему было жаль уходить. Чувство нежности к этой маленькой измученной женщине переполняло его. Осторожно прикрыв одеялом спящую Милу, он прилёг на кровать рядом с ней. Мила дышала ровно и глубоко, и скоро Руднев заметил, что он сам дышит в такт её размеренному дыханию. Он подумал: а что, если и впрямь их дыхание делится как-то одно на двоих? Пока дышал один — дышала другая; и пока спина Милы чуть заметно приподнималась и опадала в такт мерным вдохам и выдохам, Рудневу словно и незачем было дышать самому...

Со следующей смены они дежурили только вместе: Руднев — в приёмном покое, а Мила — в реанимации. Больше того: уже очень скоро им довелось поработать вместе и в операционной.

Каков бы ни был поток больных, но животы Руднев, по многолетней привычке, пальпировал обязательно; вот и этому высохшему, как крыло стрекозы, — похоже, запойному — мужику он положил пальцы на плоский живот и сквозь две пары перчаток почувствовал доскообразное напряжение мышц.

— Так-так, приятель, — Руднев даже оживился, столкнувшись со столь знакомой ему хирургической ситуацией, — расскажи-ка мне поподробнее: как ты заболел?

Но рассказчик из мужика был плохой. Он дышал часто, неразборчиво что-то мычал и отталкивал руки Руднева от своего живота. Межрёберные промежутки западали на вдохе — что было явным признаком дыхательной недостаточности.

— Так, девочки, — поторопил Руднев сестру с санитаркой, — давайте его срочно в рентгенкабинет.

На снимке брюшной полости, как Руднев и ожидал, был отчётливо виден серп свободного газа.

— Значит, прободение полого органа, — заключил доктор. — И лапаротомии ему не избежать. Вот только кто будет его оперировать? В бригаде, насколько я знаю, кроме меня, нет ни одного хирурга.

Он созвонился со старшим дежурным смены, им оказалась совсем молодая женщина. Но рассуждала она вполне здраво.

— Вы уверены, что прободная? — переспросила она. — И больной, как вы говорите, совсем плохой? Тогда мы должны вызвать помощь на себя. А пока едет хирург, развернём операционную и подготовимся.

— Да я, в принципе, мог бы сам и начать... — предложил Руднев.

— Ну, такого распоряжения я дать не могу: по правилам, должен оперировать штатный хирург. Тем более что исход, вероятно, будет летальный — и разборка нам не избежать.

Не сказать, чтобы Руднев так уж стремился оперировать сам — свой хирургический голод он утолил давно, — но хирург, которого ждали уже минут двадцать, всё не появлялся. Несчастный мужик уже заинтубирован, его живот давным-давно обработан рыжим раствором Люголя и отгорожен стерильными простынями, а сам Руднев, надевший стерильный халат и третью пару перчаток поверх своего облачения, томился в бездействии.

Наконец Мила — она давала наркоз — потеряла терпение.

— Иван Михайлович! — громко сказала она. — Что мы тянем кота за хвост? Чего ждём? Начинайте!

Действительно, пациент мог вот-вот отбыть в лучший мир, так и не дождавшись лапаротомии. Руднев шагнул к столу и взял скальпель, сверкнувший в лучах хирургической лампы. Кожа за лезвием скальпеля расходилась в кровотокающую щель. Пациент был настолько худым, что одного движения хватило, чтобы рассечь кожу с клетчаткой, ещё одного — на апоневроз, и вот уже Руднев видел перламутровый блеск брюшины. Едва он надсёк её тонкую плёнку — как с лёгким хлопком вышел воздух: это оказалось именно то, чего Руднев и ожидал. Выпота оказалось немного: значит, давность прободения небольшая. Когда доктор раздвинул ладонями сизоватые петли кишок, обнаружилась и сама язва: на передней стенке двенадцатиперстной Руднев увидел чёткое, как бы штампованное отверстие, над которым вяло пузырилась слизь. “Надо же, как удобно, — поразился хирург. — Прямо студенческий случай: ни тебе инфильтрата, ни перитонита! Зашивай дыру, мой живот — и уноси ноги, пока мужик жив...”

— Ну, что там? — Мила с интересом заглянула в рану. — Ага, вижу: прободная! Похоже, работы будет немного?

— Немного, — кивнул Руднев.

— Вот и славно! Хотелось бы снять со стола живого.

— А что, он совсем плох?

— Хуже некуда, — вздохнула Мила. — Дело даже не в прободной: у него ковидное поражение лёгких процентов на восемьдесят. Одними верхушками дышит...

Рудневу было радостно сознавать, что Мила рядом и что она видит, как он оперирует. Кто, как не доктор-анестезиолог, отстоявший на тысячах операций и видевший разных хирургов, мог по достоинству оценить мастерство оператора? И Руднев, хоть и не терпел показухи, всё же старался работать как можно точнее, быстрее и аккуратнее. Давно ему не было так хорошо, как сейчас: рядом с любимой женщиной и любимой работой. “Надо же, — думал он, пока его руки словно сами собой перехватывали кольца иглодержателя или затягивали лигатуры, — только в конце моей жизни совпало то главное, ради чего вообще стоит жить...” Он чувствовал, как весь мир, наконец, обретает устойчивость, смысл и порядок — несмотря на все беды и всю неразбериху, что царят в нём. “Подумаешь, пандемия, — думал хирург, сам любясь тем, как аккуратно сомкнулись края ушитого прободного отверстия. — Вирус вирусом, а у нас есть своё дело: вот его, пока можешь, и делай...”

Он уже заканчивал мыть живот, когда в операционную быстро и шумно вошёл его старый знакомый, Эдик Кравцов, толстяк, говорун, весельчак и отличный хирург. Даже в комбинезоне и маске его нельзя было не узнать.

— Ба, какие люди! — похлопал он Руднева по спине. — Узнаю старую гвардию! Знал бы я, что ты здесь — захватил бы бутылочку, встречу отметить. Ну, как ты, Михалыч?

— Как видишь. Вон, прободную ушил, тебя не дождался...

— А, ерунда, — Эдик даже не стал смотреть в рану. — Что я, учить тебя буду? Правда, Маш?

Он шлёпнул по заду операционную медсестру, та вскрикнула, и Кравцов радостно захохотал. Вместе с ним в операционную ворвалось столько жизни, что все задвигались, заговорили и засмеялись — несмотря на усталость и на глухую ночь.

— Помочь, Михалыч? — гудел бас Кравцова.

— Ладно уж, обойдусь без сопливых. — Руднев был искренне рад видеть старого друга. — Сам-то как?

— Нормалёк! Слышал новость?

— Какую?

— Новые рекомендации Минздрава по борьбе с вирусом.

— Ну, поделись...

— Теперь после контакта с ковидным больным положено полоскать горло спиртом. Ей-богу, не вру!

— Полоскать — и выплёвывать? — спросила сестра.

— Ага, щас! — гудел Кравцов. — Это пусть злые собаки выплёвывают! Каждый глоток спирта — гвоздь в гроб коронавируса, ясно?

— Куда уж ясней, — смеялся Руднев, начиная шить кожу. — Видно, Эдик, без выпивки нам сегодня не обойтись, раз уж сам товарищ Минздрав рекомендует...

— А я о чём? Мы ещё твою любимую песню споём. Как там: “Я был батальонный разведчик...”?

— Ишь ты, не забыл... — Руднев был даже растроган.

— Я, Ваня, настоящих людей не забываю!

45

Вышить им, правда, так и не удалось. Закончив лапаротомию, Руднев снова спустился в приёмное, где его, пока он оперировал, подменял молодой доктор-стажёр, и вновь закрутился в безостановочной карусели дежурства. Одна за другой подъезжали “скорые” и сгружали больных; белые фигуры в комбинезонах ковыляли по коридорам или перекладывали беспомощных пациентов; “труба” компьютерного томографа почти непрерывно была загружена задышавшимися телами; родственники рыдали, прощаясь с близкими у дверей лифта; и чёрные пластиковые пакеты с одеждой (налево — одежда живых, направо — умерших) уже не помещались в бельевой комнате приёмного отделения.

У Руднева голова шла кругом от мелькания лиц и тел, от несмолкающего гудения голосов и от бесконечных строк на экране компьютерного монитора — строк, которые ему приходилось вбивать, оформляя очередную историю очередного поступающего пациента. Не раз он с ностальгической нежностью вспоминал недавнюю операцию, когда никто его не торопил и не дёргал, когда он прекрасно знал, что ему нужно делать, и мог работать в своё удовольствие. “Кто поверит, что операционная — самое спокойное место на свете? — думал хирург. — Там ты занимаешь своё законное место, делаешь то, что можешь и должен, и суета всего остального мира тебя уже не касается”. А вот приёмное отделение было, напротив, центром беспокойства и суеты.

Лишь перед самым рассветом, когда оконные стёкла ощутимо похолодели и затуманились, наступило временное затишье. Смолкли шаги, голоса, стук каталок и лязганье жестяных дверей лифта. Но предрассветная тишина была хрупкой, она словно не доверяла самой себе.

И правильно делала: не успел Руднев встать от компьютера и потянуться, прогнув затёкшую поясницу, как лифт опять загудел, и его кабина медленно опустилась с четвёртого на первый этаж. Снова лязгнули двери, тяжело застучала каталка — и в приёмное заглянула фигура в комбинезоне.

— Чего тебе? — сонно спросила её санитарка.

— Ключи от мертвецкой у вас? — поинтересовалась фигура совсем юным, девчоночьим голосом. — Мне нужно покойника в морг отвезти.

Санитарка, зевнув, протянула ей ключок с биркой из красной клеёнки, на которой было крупно написано: “морг”. Рука девушки, принимая ключ, заметно дрожала.

— Да ты, никак, мёртвых боишься? — обратила на это внимание санитарка.

— Ага, очень боюсь! — призналась молоденькая медсестра. — Я и в морге ни разу ещё не была — тем более ночью...

— Вот глупая! — санитарка, выдавшая виды, не то удивилась, не то возмутилась. — Живых надо бояться, а мертвяки ещё никому ничего худого не сделали. Верно, доктор?

— Верно-то верно... — Руднев чувствовал, как гудят его ноги. — Знаешь, что, милая: схожу-ка я вместе с тобой — заодно прогуляюсь...

Шелестя бахилами, они вышли в ночь: Руднев с сестрой (которая, получив провожатого, сразу повеселела) и тот, кто катился меж ними, завёрнутый в красную плёнку. Покойник был очень тяжёл, это чувствовалось и по инерции хода каталки, и по натужному скрипу её сочленений. Вот почему мёртвые всегда кажутся тяжелее живых? Не может же сама смерть что-то весить, ведь это ничто, пустота, всего-навсего отрицание жизни... Мысли о парадоксальной тяжести смерти так увлекли Руднева, что он не заметил, как наступил в лужу, и бахилы мгновенно промокли.

— Ах я, растяпа! — воскликнул он.

— Что с вами, доктор? — обернулась сестра.

— Да вот, сослепу в лужу шагнул...

На востоке небо светлело; за зданием морга, в овраге, отрывисто-сочно свистел соловей; а кусты сирени пахли так сильно, что Руднев даже замедлил шаги и сдвинул с лица респиратор.

— Чуеть, дочка, как пахнет? — спросил он сестру.

Девушка тоже открыла лицо — она оказалась очень хорошенькой — и с наслаждением, полной грудью, вдохнула.

— Да, чудесно! — сказала она. — За этой работой я и забыла, что на свете есть соловьи и сирень...

Похоже, что только один из них — мёртвый, завёрнутый в плёнку — не мог разделить наслаждения этой майскою ночью. Но он, по крайней мере, не мешал ни Рудневу, ни медсестре, ни щёлкавшему соловью; он тихо лежал, ожидая, пока они снова тронутся.

Морг оказался забит мертвецами. Даже Руднев, и то растерялся, увидев тела, лежавшие и на каталках вдоль стен, и на всех трёх прозекторских сто-

лах, и даже на бетонном полу. А уж зловоние здесь царило такое, что от него не спасал и респиратор.

Медсестра зашаталась: похоже, она собиралась упасть в обморок.

— Эй, подруга! — потряс её Руднев за худенькое плечо. — Смотри, без фокусов!

Нашатыря бы ей под нос или хотя бы побить по щекам. Но в этом костюме и до тела-то не доберёшься... Он сделал единственное, что мог: грубо схватил медсестру за левую грудь (“Ого: не такая и маленькая!” — отметил Руднев) и сдавил её так, что девушка взвизгнула.

— Ну вот, — засмеялся довольный Руднев, — обморок отменяется...

Не сразу они нашли место для своего покойника: пришлось сдвинуть тех, что лежали вдоль стен. “Вот и верь тому, что нам говорят в новостях: смертность, мол, не повысилась, — думал Руднев, проталкивая каталку меж мёртвых тел. — Столько покойников разом я сроду не видел. А ведь кто-то ещё сомневается и не верит в существование коронавируса...”

Зато когда они с медсестрой належке вышли снова на воздух и прикрыли оцинкованной дверью зловоние морга — свежая майская ночь показалась ещё прекраснее, и соловей запел ещё громче.

— Не обижаешься, дочка? — спросил Руднев, приобняв медсестру за плечи.

— Что вы, доктор! — блеснул её взгляд сквозь очки. — Напротив, я очень вам благодарна...

46

Красная зона подарила Рудневу ещё одну радость: возможность после дежурства сидеть на балконе отеля, наслаждаясь покоем и видами. Раньше-то Рудневу было уж точно не до созерцаний: поток работы и жизни нёс его так, что задача оставалась одна — не захлебнуться и не утонуть. Теперь же, вернувшись из красной зоны в отель, — иногда побегав полчаса-час, иногда решив обойтись без пробежки, — он усаживался на балконе в удобное кресло, ставил рядом стакан со спиртным (не зря же Минздрав предписывал профилактику этанолом?) и погружался в безмятежный рай созерцания. Мила к тому же по утрам часто бывала занята — она то снабжала престарелую тётку лекарствами и продуктами, то находила ещё какие-то бытовые дела, — и Руднев на два-три часа оставался один.

Что ему открывалось с балкона? Вид каждый день оставался всё тем же — газон с небольшим фонтаном, скамьи и дорожки, затем молодой березняк за оградой отеля и поле сурепки, желтевшее в просветах между деревьями. Но Руднев каждое утро видел иную картину, с особенным освещением и настроением, с разным расположением солнца и бледной луны, перьевых или кучевых облаков, и с разными птицами, быстро или медленно пересекавшими то синее, то белёсое небо. Надо же, живи хоть сто лет, и каждое утро смотри с той же точки — никогда не увидишь двух одинаковых, до мелочей совпадающих видов. И погода, и освещение, и время года или время суток — да что там: твоё собственное настроение и состояние! — всё будет влиять на то, что и как ты видишь с одного и того же балкона. А то, как ты смотришь, разве не влияет на вид? Прищурь, скажем, левый или правый глаз, посмотри вдаль или вблизи — или вот так, сквозь стакан, — и увидишь картину, ничуть не похожую на ту, что ты рассматривал полминуты назад. До чего же богата жизнь, если всего только вид с балкона отеля, и то наполняет её бесконечным разнообразием...

Виски в стакане закончился, Руднев дотянулся до бутылки “Джонни Уокера” и налил ещё пальца на два, решив, что до обеда он добавлять больше не будет. “От добра добра не ищут, — думал он. — А мне сейчас и так хорошо. Жив-здоров, дышу да люблюсь на белый свет — что ещё нужно? Да и Мила, надеюсь, скоро придёт: я уже начинаю скучать по её взгляду и голосу...”

Он впервые за многие годы ждал женщину именно как человека, а не только как ту, с кем хотелось как можно скорее оказаться в постели. “Видно,

старею, — думал с усмешкою Руднев. — Теперь мне важнее поговорить, пошутить, повспоминать, чем тащить её в койку, как было когда-то. Это что: угасание жизненных сил или, напротив, рождение нового чувства?”

Он вспомнил, как Мила недавно говорила ему:

— Вань, представляешь: ведь ты мой последний мужчина! Мне, как об этом подумаю, сразу как-то и страшно, и одновременно смешно...

— Ну, а ты, стало быть — моя последняя женщина?

— Надеюсь, что так! — хохотала она. — И вообще, мы с тобою — последние люди на свете...

А иногда он вспоминал детство. Если даже виды с балкона ему представлялись бесконечно разнообразными, то прошлое начинало казаться бездонным по своему содержанию, по богатству и глубине тех воспоминаний и образов, что воскресали пред ним.

Сегодняшним утром ему вспоминалась пасека деда. И толчок, разбудивший именно эти воспоминания, был очевиден: на зелёном газоне перед балконом цвели одуванчики, и над яркою их желтизной вились пчёлы. Сдержанное, но полное скрытой силы гудение доносилось до Руднева, напоминая ему дедов сад и синие улы на траве под цветущими яблонями. Дед был в белом просторном костюме и шляпе — с полей опускалась защитная сетка, — и Руднев чуть не засмеялся, подумав, до чего же его дед-пчеловод в своём белом костюме напоминает те фигуры в защитных комбинезонах, что неуклюже расхаживают по красной зоне. “Но тогда, в детстве, это был рай, — вздохнул Руднев. — А теперь скорей ад...”

Дед пыхтел дымарём: сизый дым окутывал улы, вольготно стоявшие на зелёной траве, среди желтеющих одуванчиков, и поднимался к ветвям старых яблонь, облитых бело-розовыми цветами. Пчёлы гудели, и их сложновьющий гул восхищал и пугал пятилетнего Ваню. Это был для него словно гул самой жизни, прекрасной и непонятной, манящей, но и угрожающей. Зачарованный мальчик приник к стволу яблони, неотрывно глядя на деда, на вздохи его дымаря и на улы со снятою крышкой, из которого дед доставал и осматривал рамки. “Интересно, — подумал Руднев теперешний, — а в раю может быть пасека? Если может, то там дед, надеюсь, всё так же пыхтит дымарём, и над ним продолжают гудеть его вечные пчёлы...”

Потом Руднев вспомнил, как его впервые ужалила пчела. В тот миг, когда серый жужжащий комочек ударился о его испарпанную коленку и превратился в пчелу, озабоченно шарящую усиками по коже Ивана, мальчик почти гордился тем доверием, что ему оказала пчела. “Как хорошо, что она меня не боится”, — подумал он с радостью. Когда же он попытался взять её пальцами, чтоб рассмотреть, пчела повела себя странно. Она приподнялась на членистых лапках, подогнула мохнатое серое брюшко, на мгновение замерла и напряглась — и вдруг Иван ощутил жжение там, где согнулась пчела! С изумлением мальчик смотрел, как пчела, содрогаясь, пыталась глубже и глубже пробить его кожу. Чем-то помимо рассудка, с восторгом и ужасом он сознавал, что в этот момент между ним и пчелой возникает нерасторжимая — в прямом смысле, смертная — связь...

Затем мальчик рассматривал то, что осталось от серой пчелы, невесомо упавшей с его покрасневшей коленки на траву. Ногтями он выдернул скользкое чёрное жало из кожи, горячей огнём, — оно всё ещё сокращалось — и только в этот момент осознал, что пчела у него на глазах отдала свою жизнь. Но зачем? Кто заставил её умирать?

Руднев отхлебнул ещё виски, откинулся в кресле, но теперь взгляд его был туманен и вряд ли отчётливо различал окружающее. Он весь, целиком ушёл в размышления о том, как пчела, что ужалила некогда пятилетнего мальчика, незримо влияла на всю его, Руднева, жизнь.

Смерть пчелы стала первою смертию, которую видел Иван. “Уж сколько потом я встречал самые разные смерти, — думал Руднев, — а порою, признаться, и сам был невольной причиною их, но жертва пчелы до сих пор не даёт мне покоя. Может, всё дело в том, что это свободная и добровольная смерть — та, которую сам выбираешь во имя чего-то, что больше тебя самого?” Смысл и тайна жертвенной смерти впервые открылись ему с такой

простотою и ясностью, какой Руднев прежде не знал ни в своей напряжённой душе, ни в своих, часто путаных мыслях.

И он уже не удивился тому, что пчела, с басовитым и нежным гудением покружив по балкону, опустилась на голое рудневское колено (он был в спортивных трусах) и, словно передавая ему привет из далёкого детства, согнулась в напрягающуюся запятую. Почти с наслаждением Руднев снова почувствовал жжение там, где сидела пчела, и не спешил сбрасывать её серое лёгкое тельце, содрогавшееся в последних конвульсиях. Отчего-то он был уверен, что это всё та же пчела, что она не умерла тогда, в саду деда, а, пролетев пятьдесят с лишним лет, вновь нашла Руднева и опустилась ему на колено. “Да, это та же пчела, — думал Руднев, растроганный неожиданной встречей и с ней, и с самим собой пятилетним. — Потому что отдать себя в жертву — единственный способ победить свою смерть...”

47

Вечерами они с Милой гуляли в полях. Однажды зашли так далеко, что зелёный куб отеля “Амбассадор” оказался едва виден на горизонте. Но уж очень хорошим и тёплым был вечер: столбы мошкарки висели над ними, стрижи стригли небо, а медовый запах цветущей сурепки кружил голову.

— У нас ведь с тобой тоже медовый месяц, правда? — Мила, блестя глазами, с улыбкой поглядывала на Руднева.

— Похоже. — Он приобнимал её, и она легко подстраивалась, чтобы идти шаг в шаг с ним.

Руднев до сих пор поражался тому, как Мила мгновенно чувствует и исполняет именно то, чего хочет он сам, хоть в постели, хоть, как сейчас, на прогулке. Неужели бывают такие женщины, что с ними не нужно ни спорить, ни убеждать их в чём-либо, ни ругаться, ни наносить оскорбления, а можно просто шагать, обнимая её и наслаждаясь вечерним покоем?

Он хотел расспросить Милу о жизни в Америке, где она провела вместе с первым мужем несколько лет; но не хотелось нарушать благодать этого вечера разговором, который, возможно, был ей неприятен. Захочет — расскажет сама.

Поднявшись на взгорок, они повернули обратно — и замерли, поражённые зрелищем огненного заката: пламенела почти треть неба. Глаз было не оторвать от густого багрянца, в котором как будто сторали едва различимые на горизонте дома города, шпиль телевышки и трубы промзоны. Но это же пламя, сжигавшее город и мир, вызывало тревогу. Красное небо пересекали бесшумные чёрные вороны, похожие на сажу, взлетевшую от охватившего небо и землю пожара.

— Ну что, возвращаемся? — наконец спросил он притихшую Милу.

— На закат?

— На закат... Знаешь, чем больше смотрю на него — тем больше мне хочется выпить.

— Мне тоже! — засмеялась Мила. — Так мы, Ваня, с тобою сопьёмся.

— Я думаю, что уже не успеем...

Они возвращались неспешно, держась за руки, как бы погружаясь в закат — в его с каждой минутой густевшее пламя. Неожиданно — они даже вздрогнули — их обогнали три велосипедиста. Первым ехал седой бородатый мужик, чем-то похожий на самого Руднева, а следом катили молодые парень и девушка. Руднев заметил, что девушка очень красива: её ясный лик, строгий взгляд и пшеничного цвета коса отпечатались в его сердце и памяти столь же отчётливо, как и чёрные птицы на фоне заката.

— Странная троюза, правда? — заметила Мила, когда велосипедисты отдалились.

— Чем же странная?

— Ну, парень с девушкой — это понятно. А третий, седой — он-то им зачем?

— Как зачем? Может, он чей-то отец...

— И они его взяли с собой прокатиться?

- Почему бы и нет? Он мужик ещё крепкий — вон как крутит педали!
— Ну, если так... — согласилась Мила. — Они, небось, про нас тоже подумали: что за странная пара?
— А мы-то чем странные?
— Ну, как: пожилые, а держатся за руки, как молодые влюблённые!
— Так мы и есть молодые влюблённые.

48

Руднев навряд ли и сам мог сказать, когда ему пришла мысль попробовать записать несколько воспоминаний о детстве. Они приходили к нему по утрам на балконе — нередко подогретые глотком-другим виски — всё свободнее, ярче, живее. Возможно, что и присутствие рядом тома Хемингуэя, который Руднев время от времени открывал, чтобы перечитать десяток любимых страниц, подталкивало к попыткам перенести на бумагу картины и образы прошлого.

Вообще его жизнь сейчас была так полна, как давно не бывала. Мила и радость общения с ней — радость, вовсе не ограниченная постелью, — работа в больнице, которую он, несмотря на усталость и возраст, любил до сих пор, пробежки в полях и долгие созерцания на балконе отеля — всё это было почти идеальной для Руднева жизнью. Для полного счастья, как он смутно чувствовал, недоставало лишь творчества: попыток перевести непрочную зыбкость воспоминаний в полновесную и несомненную тяжесть написанных слов.

Возвращаясь в отель после очередного дежурства, он зашёл в книжный магазин (как ни странно, работавший, несмотря на запреты) и купил там чёрный блокнот “Moleskine”, которым, он знал, пользовались все известные писатели, и его любимый Хемингуэй в том числе. Блокнот оказался недёшев, что Рудневу даже понравилось: это как бы заранее повышало ценность того, что он собирался писать на его страницах. “Пустьками, уж точно, марать такую бумагу не будешь”, — подумал он, с уважением перелистывая блокнот. В нём была и закладка, и кожаный хомутик для карандаша, и резинка, прижимающая страницы, чтобы их не перелистывал ветер. “Правда, теперь в блокноты не пишут, — размышлял Руднев, купивший ещё и подложки карандашей. — Теперь текст набирают на экране планшета или телефона. Так что, похоже, я буду последним писателем старого образца — музейным, можно сказать, экспонатом...”

Эта мысль ему тоже понравилась — хоть она и была скорее грустной. Он всё чаще себя сознавал человеком последним в том смысле, что отношение к жизни, которое он уважал в других и старался, по мере сил, поддерживать сам, становилось всё более редким и странным, неуместным и даже смешным. Конечно, любой пожилой человек ощущает себя в арьергарде отступающего с полей жизненных битв поколения: бой в основном отгремел, павшие пали, а немногие из оставшихся в поредевшем строю изнемогают от ран и так измотаны, что уже не способны сражаться, как прежде, но Руднев подозревал, что его поколение вообще замыкает собой целый этап человеческой цивилизации. Лучшие из его современников — те, кого он глубоко уважал и старался не то, чтобы быть похожим на них (подражательства Руднев не выносил совершенно), а старался нести ту же ношу мужчины-бойца, что несли и они, — лучшие уходили один за другим, и те зияющие пустоты, что оставались после их ухода, заполнить, увы, было некому. И Руднев почти физически чувствовал тот сквозняк, что тянул из открывшихся дыр пустоты. А ведь пустота, думал Руднев — это страшная вещь. С одной стороны, это то, чего как бы не существует, но эта же самая пустота может быть действительна и агрессивна, она угрожает всему, что есть в мире, суетной и неуёмной энергией небытия.

Не с этой ли самой пустотой он хотел напоследок сразиться, принимаясь записывать воспоминания детства? Ведь он и в своей собственной жизни, в остывающей с каждым годом душе тоже чувствовал сквозняки пустоты: они тянули издали, из его личного небытия — из того времени, когда

Руднева ещё не существовало. Эта загадка тоже мучительно интересовала его. Переход от того состояния, когда его ещё не было в мире, — или он уже был, но ещё не понимал факта собственного существования, — ко времени, когда он осознал, что живёт, представлялся Рудневу чуть ли не главным вопросом на свете и главной тайной, которую он был обязан раскрыть, пока жив. Таинственный переход от небытия к бытию был так важен ещё и потому, что в нём же таилась отгадка того, что ждёт Руднева в будущем. Ведь ему предстояло вернуться туда, откуда он некогда вышел: тайна возникновения, как он смутно догадывался, одновременно являлась и тайной исчезновения или возможного существования, но уже за чертой смерти.

Так что ещё и для осознания этого, а не только для заполнения времени в ожидании Милы он собрался писать мемуары.

49

Но он даже не представлял, как это будет непросто. Когда Руднев уселся в кресло и не спеша заточил три карандаша — золотистые стружки остались на блюдце, то даже воспоминания поначалу не приходили к нему. Они словно боялись того, что их теперь хотят изловить, и, как вольные птицы, не подлетали к силкам, состоящим из карандашей и блокнота.

Пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить то, как он чуть не утонул в семилетнем возрасте. Почему-то именно с этого эпизода хотелось начать мемуары. Это воспоминание было одним из самых ярких во всей его жизни — оно до сих пор приходило во снах, — может быть, оттого, что тогда семилетний Иван сразу дважды — в одном и в другом направлении — переосек черту, отделяющую жизнь от смерти.

Положив раскрытый блокнот на колено, Руднев помедлил, вздохнул, а затем написал: “Мне было семь лет. Мы пошли купаться на речку и заспорили, кто дольше просидит под водой? Я был самый младший, и меня не хотели допускать до состязания. Но уже тогда я был упрямый, как осёл, и тоже полез в воду. А чтобы не всплывать, я сунул ногу меж старыми брёвнами, что лежали на дне...”

Руднев остановился и перечитал написанное. Нет, это было не то: слишком грубо и просто, и не передавало того, что он надеялся выразить. Он-то хотел дать сразу и всю картину происходящего: показать их компанию, зелень травы и гусиный помёт на берегу, тень от моста на траве и его шершавые доски, такие странные, если смотреть на них снизу, и одновременно передать то, что происходило в его душе, когда он, Ваня Руднев, вдохнув напоследок поглубже, присел с головой в мутноватую тёплую воду. Его нога легко проскользнула меж старых ослизлых брёвен, оставшихся после ремонта моста, а он ещё так развернул стопу, чтобы она закрепилась там, в тесной илистой щели, и удержала его возле дна. Какое-то время под водой было удобно. Потом в груди сделалось тесно и захотелось вдохнуть, но Ваня, умевший нырять, уже знал, что это желание можно перетерпеть. Навверху, он слышал, продолжали громко считать секунды, но этот счёт отдалялся и становился всё медленнее, отставая от торопливых толчков крови в ушах. “Ещё пять ударов — и выныриваю!” — мелькнуло в шумящей его голове. И он, даже не досчитав до пяти, оттолкнулся от дна. Но левую ногу что-то крепко держало — то ли сдвинулись брёвна, то ли так развернулась стопа? — и до желанного воздуха он не дотянулся. Над Иваном качалась, мерцала поверхность — даже руки уже были там, на свободе, на воздухе! — а лицо, искажённое ужасом, оставалось в воде...

Но мука и паника длились недолго. Ощущение времени вдруг прекратилось, он перестал слышать толчки крови в висках, и руки его перестали взбивать загустевшую воду. Иван затих и обмяк, и поплыл внутрь себя самого — в те глубины, где прекращалось удушье и затихали конвульсии тела. Ему неожиданно сделалось так хорошо, как ещё не бывало. Такого слияния с миром и примиренья с самим собой он никогда не испытывал; его самого уже как бы не было, но он ещё существовал, погружившись в блаженный покой,

что лежит много глубже изменчивой, суетной и прихотливой поверхности мира явлений...

Из нирваны его вырвали так же грубо и бесцеремонно, как, ободрав стопу в кровь, выдернули ногу из щели меж брёвен. Возвращение в солнечный мир оказалось куда тяжелее, чем уход из него. Сначала Ивана рвало зеленоватой слезью; потом он мучительно кашлял, и каждый вдох отдавался режущей болью в груди; а затем начала сильно болеть и распухшая, с содранной кожей стопа. Сидя на забрызганной илом и кровью траве, он озирался с таким недоумением, словно спрашивал: “Зачем вы вернули меня в этот мир? Ведь там, под водой, было так хорошо и спокойно, а здесь так больно и так тяжело...”

Руднев вздохнул и захлопнул блокнот. Вот как передать это всё — то, что он пережил и что время от времени возвращалось к нему? “Непростое всё-таки дело — писать, — подумал он. — Недаром мой старый друг Хем столько пил...” Отложив блокнот, он налил себе виски и с наслаждением глотнул, ощутив, как в груди потеплело и как уже через пару минут мир сделался ближе, подробнее и интереснее. “Ничего, как-нибудь после попробую вспомнить и записать что-то ещё, — успокаивал сам себя Руднев. — Даже у Хемингуэя, и то получалось не сразу...”

50

Он продолжал дежурить в прежнем режиме, через двое суток на третьи — так работало большинство сотрудников красной зоны — и к седьмому или восьмому дежурству почувствовал, что ему не хватает двух суток отдыха. Пожилому доктору было непросто проводить две смены по шесть часов в защитном костюме и не просто сидеть за компьютером, а осматривать поступавших больных, успокаивать перепуганных родственников, отвечать на телефонные звонки, да ещё помогать сёстрам то закатывать носилки с больными в кабину лифта, то отвозить покойников в морг. Очки продолжали запотевать, несмотря на различные средства, которыми их обрабатывали, пот в жаркий полдень продолжал течь по лицу и спине, а в зябкую полночь Руднева прохватывало ознобом, и он с тоской поглядывал на циферблат настенных часов, мысленно торопя короткую стрелку приблизиться к двойке — то есть ко времени, когда должна прийти смена.

Усталость, похоже, копилась во всех, кто работал с ним вместе, кто проводил сутки за сутками в красной зоне, а в промежутках, вырванный из привычного течения жизни, отсыпался или скучал в отеле. “Нам-то с Милой ещё хорошо, — думал Руднев. — Нас двое, и нам есть, чем заняться. А вот другим, разлучённым с семьями — тем, конечно, несладко...”

У усталости был и ещё один облик. Те, кто уже много дней находились в гнетущей и возбуждающей атмосфере опасности, начинали воспринимать войну, как рутину, и всё чаще пренебрегали правилами безопасности. Сдвинуть на лоб очки, если они запотели, стало обыденным жестом, и не только в ординаторской или рентгенкабинете, вдали от больных, но и во время обходов в палатах, наполненных вирусом.

Случались и вещи, из ряда вон выходящие. Как-то Руднев шёл отделенческим коридором и в закутке возле лифта увидел незнакомого молодого врача, который, опустив респиратор под подбородок, жадно вдыхал воздух ртом.

— Что случилось? — спросил, подойдя к нему, Руднев. — Дышать тяжело?

Парень вздрогнул — похоже, он не ожидал, что его здесь увидят, — и его печальные, как у побитой собаки, глаза с тоской и испугом остановились на Рудневе.

— Ничего, не волнуйтесь, — пробормотал он смущённо. — Просто я...

Он замылся, не зная, что сказать дальше. Потом, — очевидно, решив, что скрывать больше нечего, — раздражённо воскликнул:

— Просто меня всё достало! И эти дежурства, и эти покойники, и всё вообще...

Руднев внимательней посмотрел на него. Вид у парня и впрямь был неважный: под глазами темнели круги, а тонкие бледные губы кривились в печальной усмешке.

— И чего же ты хочешь? — продолжал спрашивать Руднев. — Зачем респиратор снял?

— Как зачем? — удивился вопросу молодой доктор. — Чтобы заразиться и уйти на больничный. Может, хоть тогда отдохну?

Руднев не знал, что на это сказать. В нём боролись сочувствие к этому парню — он, видно, и впрямь был на пределе — и неприязнь к человеческой слабости, проявившейся так откровенно. Пожав плечами, пожилой доктор зашуршал бахилами дальше по коридору, размышляя о том, как же всё-таки молодёжь отличается от их поколения, для которого проявление слабости всегда считалось позором. На войне такого бойца ожидал бы трибунал. Да, молодёжь стала другой, и её уже трудно понять. Хотя... Люди разные, и у каждого свой запас сил...

О себе самом он мог точно сказать, что предел ещё не наступил. Знакомый с большими нагрузками с молодых лет, проведённых в спортзалах и на стадионах, Руднев знал, что первая усталость приходит тогда, когда человек ещё полон сил и возможностей. Бежишь, бывало, полторы тысячи, так уже на втором выраже начинает казаться, что сил не осталось. А бежать ещё огого сколько! Вот тут и нужна привычка терпеть. А молодые, похоже, терпеть не хотят.

Пока было свободное время, он решил зайти в реанимацию, чтобы увидеть там Милу и перекинуться с ней парой слов. Но поговорить им не удалось: Мила как раз интубировала больного. Что-то у них с сестрой не получалось — трубка никак не входила в трахею — и они прекращали попытки, накладывали на посиневшее мертвенное лицо кислородную маску, и ждали, пока цианоз сойдёт с губ и ушей. Потом Мила снова хватала интубационную трубку, немного сгибала её о сестринский столик и пыталась, чуть ли не прижимаясь лицом к синюшному лбу пациента, вставить дыхательную трубу в трахею. Но шея больного была коротка, хорошо запрокинуть голову не удавалось, и трубка снова и снова соскальзывала в пищевод: вместо ровного шума, какой должны издавать лёгкие, слышалось бульканье. К тому же пластиковая маска потела — ещё, бы, в такой нервозности и суете! — и Мила не видела голосовой щели. После нескольких безуспешных попыток она раздражённо сдвинула маску на лоб.

— Так я хоть что-то увижу, — пояснила она медсестре. — Маша, прижми ему шею!

Наконец, ей удалось вставить трубку в трахею. Отерев лицо тылом руки, — было видно, как по лбу течёт пот — она встретилась с Рудневым взглядом и только пожала плечами: извини, мол, сейчас не до тебя...

Вернувшись в приёмное, Руднев принял ещё двух пациентов: одного положил, одного отпустил домой. Допечатав историю, он вышел подышать на крыльцо. Решётка больничной ограды разделяла ночь на два разных мира. Здесь, на больничном дворе, обнесённом красно-белыми лентами, сам воздух казался наполнен страхом и смертью, а свет фонарей падал на влажный асфальт с напряжённой, болезненной резкостью. А вдали, за оградой, шла городская обычная жизнь. Вот проехала пара машин — из одной раздавалась ритмичная музыка, — вот протопала очевидно хмельная компания молодых мужиков, оживлённо спорящих и размахивающих руками; а вот прошла парочка: парень в белевшей рубашке накинул пиджак на плечи девушки, а она так доверчиво прижималась к нему, что Руднев посмотрел на них с умилением. “Красивая пара, — вздохнул он. — И впереди у них целая жизнь...” Парень с девушкой одновременно взглянули через ограду на Руднева. Должно быть, в своём белом комбинезоне он показался им привидением или выходцем с того света. Девушка что-то спросила, парень негромко ответил — и оба они засмеялись. “Смейтесь-смейтесь, ребята, — подумал Руднев, глядя им вслед. — Когда ещё и посмеяться, если не в молодости...”

Выйдя на очередную пробежку, он поначалу не обратил внимания на серую полосу, закрывавшую край неба. Солнцу было ещё достаточно места, его яркий свет заливал и зеленеющий березняк, и жёлтое поле сурепки за ним, и грунтовую дорогу, по которой, не торопясь, бежал Руднев.

С каждой сотнею метров, что он пробегал, солнечный свет становился тревожнее, а серая полоса тучи обретала свинцовый оттенок и угрожающий вид. Но Рудневу, разогретому бегом, было не страшно, а весело поглядывать на неё. “Даже если и вымокну, — успокаивал он себя, — небось, не растаю: не сахарный!” Единственное, что он сделал из предосторожности: на развилке дорог взял левее, чтобы в случае ливня быть ближе к шоссе, а не бежать по размокшей грунтовке.

Туча вспухала, поднявшись до самого солнца, — и, чем больше приближалась грозная её чернота, тем ярче и радостнее сияло светило. “Вот так же бывает и у людей, — мелькнула у Руднева мысль. — Чем ближе смерть, тем острее ощущение жизни...” На взгорке неожиданный порыв ветра едва не опрокинул бегуна. И показалось, что именно этот порыв задул свет: вокруг потемнело, а от солнца, закрытого тучей, осталось лишь несколько тонких прощальных лучей. “Сейчас врежет!” — подумал Руднев, ощущая одновременно и страх, и восторг перед тем, что вот-вот ожидало его и весь мир.

Наверху заворочались глыбы сердитого грома. Ещё несколько раз рванул ветер, и над дорогой возник небольшой пыльный смерч. Он какое-то время летел, крутясь, впереди Руднева, словно предлагая ему поиграть в догонялки. “Нет, приятель, мне за тобой не угнаться, — улыбнулся мысленно Руднев. — Ты вон какой лёгкий и быстрый!”

Смерч, подхватив клочок сухой травы, взвился к чёрному небу, и дорожную пыль стали пятнать торопливые капли дождя. Ощущать их шлепки спиной и затылком разгорячённому Рудневу поначалу было приятно, как приятно вдыхать и особенный запах дождя, перемешанный с запахом влажной пыли.

К тому времени, как дождь разошёлся в полную силу, Руднев выбежал на шоссе. Над потемневшим асфальтом висел слой водяных брызг. Бегун, шлёная по ещё неглубоким лужам, чувствовал, как на его напряжённые икры попадает холодная грязь. Но бежалось пока в охотку: дождь подбадривал, силы в ногах ещё оставались, и грела мысль, что в отеле, куда он бежит, его ждёт горячий душ, сухая одежда — и Мила.

Гроза набирала мощь с каждой минутой. Небо трещало, словно разламываясь, и из этих разломов вместе с грохотом грома извергались потоки воды. “Дождь стеной” говорят как раз про такое, когда не только ничего толком не разглядеть сквозь белые струи, но трудно даже дышать этой влажной смесью, где воды, кажется, больше, чем воздуха.

А тут ещё прямо в ленту шоссе стали бить молнии. Руднев впервые видел такое, когда впереди ослепительный ломкий стержень соединил чёрное небо с асфальтом, и раздалось такое шипение, словно на огромную каменку опрокинули ковш кипятка. Тотчас загрохотал оглушительный гром, а там, куда врезалась молния, Руднев увидел дымящееся пятно треснувшего асфальта. Вскоре такие же треск и шипенье раздалось позади него. Руднев даже не успел испугаться, хотя в голове и мелькнуло, что молнии метят, похоже, в него, просто они слишком злятся и слишком торопятся, чтобы попасть точно в цель.

Ему ещё не приходилось быть центром и целью грозы; и он никогда не испытывал вместе с ужасом близкой, взглянувшей ему в лицо смерти такого пьянящего чувства свободы. Он сознавал, как ничтожен среди этих бушующих, расвирепевших стихий — и как он одновременно сильнее всего, что творится вокруг. “Что эти молнии знают о жизни и смерти? — думал он, задыхаясь от бега сквозь ледяную стену дождя. — Лучше б они расспросили меня: я бы им рассказал...”

Когда он, наконец, добежал до “Амбассадора”, дождь почти стих и гроза бушевала уже далеко в стороне. Пока Руднев, оставляя мокрые следы на полу, пересекал холл отеля, портье провожал его изумлённо-испуганным взглядом. Руднев настолько озяб, что у него стучали зубы и дрожали колени. “Похоже, что, кроме Милы, меня не согреет никто, — думал он. — Да мне никто, кроме неё, и не нужен...”

52

Такого горячего женского тела, как тело Милы в тот день, Руднев ещё не встречал в своей жизни, богатой на встречи.

— Мы с тобой, Вань, — задыхалась горячая, взмокшая Мила, — как в последний раз...

— Как знать... — хрипел Руднев.

Потом они долго лежали, часто дыша; Руднев — ничком, Мила — навзничь друг возле друга.

— Ну что, согрелся? — наконец с тихим смехом спросила она.

— А ты?

— Да я и была не холодная...

Она в самом деле была горяча словно печка, и никак не могла успокоить дыхание.

— Ты в порядке? — спросил обеспокоенный Руднев.

— В полном... — не то засмеялась, не то закашлялась Мила.

Она медленно села и потянулась к стакану с водой. Руднев, не отрываясь, смотрел, как она жадно пьёт и как с каждым глотком вздрагивает её взмокшее тело.

— Небось, удивляешься, — заметила Мила его взгляд, — что за старуха с тобой в постели?

— Ну, что ты! — погладил он её по горячей и влажной спине. — Ты точно такая же, как и была.

— А ты — даже лучше! — засмеялась она. — Мы с тобой, Вань, оба плохо соображаем: это уже возрастной маразм...

— Иногда этот маразм называют иначе, — пробормотал Руднев.

— В смысле — любовь? — усмехнулась она. — Так ведь это тоже болезнь, вот мы с тобой и заразили друг друга!

— Дай-ка и мне воды, — попросил Руднев. — Ну, как отдежурила? Многих спасла?

— Если бы... — Мила вздохнула. — С этим чёртовым вирусом даже не знаешь, что будет с больным через пару часов. С утра он вроде в порядке — говорит, дышит, даже шутит, — а к вечеру уже синий... Да и аппараты по-прежнему в дефиците.

— Как же вы выбираете, кого спасать, кого — нет?

— И не спрашивай! Это самое тяжкое, — по лицу Милы прошла словно туча. — Выбираем, кто помоложе: у них больше шансов.

— А старики?

— Что старики? Они-то уже, слава Богу, пожили... Да что мы всё о работе? — Мила встала и чуть пошатнулась. — Ладно, я в душ, а ты, Вань, открыл бы вина!

— И что будем праздновать?

— Как что? Общую нашу болезнь...

53

Недомогание началось у них одновременно, во время очередного дежурства. На Рудневу накатила такая слабость, что даже просто сжать руку в кулак было трудно. Сквозь запотевшие стёкла очков мир казался туманно-размытым, и доктор двигался большей частью на ощупь, а из пластиковой маски приходилось время от времени выливать пот, разъедавший глаза.

В перерыве между сменами Руднев даже не стал обедать: его мучило при одной мысли о жареной рыбе, которую им привезли. Зато воды он пил очень

много, стакан за стаканом, но то, что он выпил, уже через пару минут проступало на лбу в виде испарины и бежало ручьём меж лопаток. Руднев, конечно, померил температуру, но она оказалась, как ни странно, нормальной. “Может, это всего лишь отравление?” — подумал он и решил продержаться ещё одну смену. Тем более что заменить его было попросту некем: с каждым днём заболело всё больше врачей.

С Милой на этом дежурстве пересечься им не пришлось: работы в реанимации было так много, что она даже не выходила на перерыв. Но Руднев не сомневался, что ей тоже худо: с недавних пор он стал ощущать состояние Милы, как своё собственное.

Встретились они уже на больничном крыльце, в три часа ночи, когда ожидали такси, чтобы ехать в отель.

— Ну, как ты? — спросил Руднев и тут же подумал, что нечего и задавать таких глупых вопросов. У Милы всё было написано на лице, бледном, измученном и постаревшем.

В ответ она только махнула рукой и попробовала улыбнуться, но улыбка напоминала скорее страдальческую гримасу.

В такси ехали молча, на заднем сиденье, закрыв лица масками, чтобы не подвергать водителя лишнему риску. Вёз их тот самый весёлый узбек, с которым Руднев когда-то ехал в “Амбассадор” в гости к Миле. Весельчак в эту ночь тоже был молчалив — и, пару раз встревоженно глянув в зеркало на пассажиров, закрыл и своё лицо чёрной маской.

В отеле, поднимаясь по лестнице, Руднев придерживал Милу за локоть.

— Ты держишь меня или держишься сам? — улыбнулась, хоть и через силу, она.

— Не знаю... — признался он.

Закрыв за собою дверь номера, они постояли, обнявшись и отдыхая после утомившего их подъёма.

— Ну что, солнце моё? — сказал наконец Руднев. — Похоже, мы с тобой коронованы...

— В смысле? — Мила не сразу его поняла. — А, ты про вирус! Да, похоже... Чёрт, до чего же не вовремя: на кого я тётку оставляю?

— Ничего, — утешал её Руднев. — Позвоним в соцзащиту — помогут.

Сам он, честно сказать, не особенно и огорчился. Он так устал на последнем дежурстве, что перспектива безвылазно провести в отеле какое-то время его даже радовала. “Хоть отосплюсь, — думал он. — Кормёжку носят исправно, запас выпивки есть, Мила рядом — да что ещё нужно?”

Но отоспаться, как он надеялся, не удалось. Всё тело Руднева наполнило зудящее беспокойство — вроде того, что он испытывал в детстве, когда залез в яму с крапивой. Кожа горела, и хотелось сменить её, как меняют изношенную или испачканную одежду.

Рукам и ногам тоже не находилось удобного положения. Руднев то вытягивался, то сгибался во внутриутробную позу, подтягивая колени к груди, но его тело сейчас находилось в разладе с самим же собой и само себе непрерывно мешало.

Когда Мила, выйдя из душа, легла рядом с ним, беспокойство усилилось вдвое: ведь теперь, беспрестанно ворочаясь, он мешал заснуть и ей тоже. Впрочем, и Милу — он видел и чувствовал это — изводило такое же точно телесное беспокойство. Она тоже ворочалась, часто вздыхала и тоже не могла найти места горячим рукам и ногам. Скоро Рудневу стало казаться, что в постели томится единое многоногое и многорукое существо: уже трудно было понять, где чьи руки и ноги и где кончается он, а где начинается Мила? “Вот уж, воистину: мы стали единою плотью, — думал измученный, тяжело вздыхающий Руднев. — Теперь даже кашлять, наверное, будем одновременно...”

Так оно и оказалось. Кашлял он — тут же, как по приказу, начинала кашлять и Мила; а как только её тело начинали встряхивать кашлевые толчки — из груди Руднева тоже рвался надсадный, сухой, изнурительный кашель.

Забывтё ненадолго их накрывало, но снилось что-то настолько тревожное, что Руднев был рад, когда просыпался и чувствовал рядом дрожащую Милу. Он гладил её по горячей и мокрой спине, а она, томясь внутри сонного бреда, стонала и плакала, словно малый ребёнок.

— Ничего-ничего, — утешал её Руднев. — Неужели мы вместе не одолеем эту заразу?

54

Хмурое утро принесло им открытие, которое не оставляло сомнений в диагнозе: они перестали ощущать запахи. Измученный трудной ночью, Руднев кое-как встал и умылся, а затем решил заварить в чашках молотый кофе. Открыв банку с “Арабикой”, он машинально пронёс её перед лицом, ожидая привычной бодрящей волны горького запаха, и не почувствовал ничего. Не поверив своим ощущениям — то есть отсутствию их, — он понюхал ещё и даже попробовал кофе на вкус: результат нулевой.

— Мила, понюхай — попросил он. — Ты что-нибудь чувствуешь?

Бледная Мила с трудом села в постели и с очевидным усилием улыбнулась Рудневу. Он поднёс ей к лицу кофейную банку. Мила смешно и по-детски сморщила нос.

— Нет, не чувствую, — удивлённо прошептала она. — Неужели такое бывает?

— Значит, бывает, — вздохнул Руднев. — Теперь нечего и сомневаться: мы оба в коронах. Ваше величество будет пить кофе без вкуса и запаха?

— Что-то не хочется, — пробормотала Мила и снова легла.

Рудневу стало пронзительно жалко её, похожую в эти минуты и на старушку, и на ребёнка одновременно. Её взгляд был таким удивлённо-несчастливым, словно она не могла понять: кто и за что её так обижает? “А хуже всего, — думал Руднев, — что я ничем не могу ей помочь. Это тебе не хирургия, где болезнь можно просто-напросто вырезать, тут, брат, дело серьёзное...”

Себе кофе он всё-таки заварил, но пил его не только безо всякого удовольствия, а почти с отвращением. “До чего злобный вирус, — размышлял он, прихлёбывая обжигающую, но совершенно безвкусную жидкость. — Похоже, он хочет испортить весь мир: вот и кофе перестал быть собой...”

Действительно, мир в это промозглое утро оказался не просто сер и уныл, а противен и пресен. Во всём, что Руднев видел с балкона, он не чувствовал ни глубины, ни тайны, ни интереса — ничего из того, что прежде удерживало его здесь часами. Всё было мертвенным, плоским, бесцветным, словно вырезанным из сырого картона. Даже вид, так всегда восхищавший и утешавший, — березняк, за ним поле, а за ним дальний лес — оказался закрыт серой мглой, сквозь которую сеялась мелкая и почти незаметная морось. Руднев вышлепнул за перила балкона остатки безвкусного кофе и возвратился в номер.

Надо было решать, что делать дальше. На работу, понятное дело, выходить нельзя — да и какие из них, заболевших, работники? Руднев позвонил заведующей отделением и в двух словах объяснил ей, в чём дело.

— Конечно, оставайтесь в отеле — взволнованно отозвалась она. — Одышки-то нет?

— Пока нет.

— Ну и хорошо! Вот что: я попрошу кого-нибудь из наших привезти вам пульсоксиметр — будете сами измерять сатурацию.

Молодой парень в маске и синих перчатках, который привёз пульсоксиметр, оказался догадлив и захватил ещё две бутылки водки.

— Поправляйтесь, Иван Михайлович, — поставил он звякнувший пакет возле двери, не заходя в номер. — А это вам для лечения.

Руднев насилу уговорил его взять деньги за водку.

— Золотые ребята! — вернулся он к Миле, лежавшей в постели. — А я-то, дурак, ещё ругал молодёжь.

— Да, ребята хорошие... — слабым голосом проговорила она.

— Что-то ты совсем расклеилась, — присел он к ней на кровать. — Давай-ка померяем сатурацию и температуру.

Прибор показал девяносто четыре процента, а термометр — тридцать девять и шесть.

— Вот это жар! — почти восхитился Руднев, заботливо отирая Миле лицо. — Я и не думал, что мы с тобой способны так жарко гореть...

Ему тоже было нехорошо, но он всё же решил провести Миле перкуссионный массаж грудной клетки. Минут десять он хлопал её по горячей спине ладонями, но откашляться Миле не удавалось: грудь болела, и кашель оставался надрывно-сухим.

— Чего же ты хочешь? — проговорила она между приступами кашля. — Дело ведь не в альвеолах, а в кровотоке...

— Не умничай! — он снова надел пульсоксиметр на палец Милы. — Вот видишь, уже девяносто шесть. Да и на ощупь ты стала прохладнее. Ничего, подруга — прорвёмся!

К вечеру стало хуже ему самому. Его лихорадило, всё тело ломило, и никак не удавалось вдохнуть полной грудью, словно клин был вбит между рёбер. Теперь уже Мила ухаживала за ним: давала воды, чтоб запить таблетки парацетамола, и проводила перкуссионный массаж.

— Удар у тебя — будь здоров! — бормотал Руднев, лёжа ничком и чувствуя, как небольшие ладони Милы крепко колотят его по спине.

— А ты как думал? — хриплым голосом отзывалась она. — Это я с виду хрупкая...

После массажа дышать стало вроде полегче.

— Ну-ка, — потянулся Руднев за пульсоксиметром. — Поглядим, какой теперь уровень красного?

На табло загорелось “девяносто пять”.

— Терпимо, — пробормотал Руднев. — Дай мне полотенце...

Они сидели друг против друга в постели, мокрые и измученные — массаж утомил обоих — и дышали так часто, как будто только что занимались любовью. “А ведь у меня, — думал Руднев, глядя на Милу, — никого не осталось, кроме неё...”

Мила думала и ощущала что-то подобное. Как она ни устала, как ни тёр пот по её впалым щекам, и как ни темнели подглазья, но во взгляде её, обращённом на Руднева, неизменно светилась живая и тёплая нежность. Оба они с удивлением осознавали, что любовь может быть и такой: не горячей, как пламя, сжигавшее их молодые тела, а тихо светящейся в их обращённых друг к другу глазах...

55

Ещё ночь и день они продержались. Но болезнь наступала: температура у обоих поднималась почти до сорока, а сатурация снизилась до девяноста процентов. Тяжелее всего было нараставшее ощущение нехватки воздуха: не помогал ни перкуссионный массаж, ни пронопозиция, то есть положение лицом вниз. И если Руднев как бывший бегун-средневик ещё мог терпеть гипоксию — сколько раз он вот так задыхался, хватая ртом пустой воздух, когда выбегал с виража на финишную прямую, — то Миле психологически было куда тяжелее. Она дышала натужно и часто, порой начинала метаться в постели, и в её глазах Руднев видел уже настоящий страх.

— Вызывай, Ваня, “скорую”, — прошептала она между приступами кашля. — Я больше так не могу...

Машина приехала на удивление быстро: видно, бригаду предупредили, что они забирают не просто двух докторов, но ещё и работников красной зоны, заразившихся во время дежурства. Когда Руднев, опираясь о стену, подошёл к двери и открыл её, он увидел две точно такие фигуры, какие привык встречать на работе: в белых бесформенных комбинезонах с синими лентами клееных швов, в респираторах и шестелящих бахилах.

— Готовы? — без лишних слов, женским голосом проговорила одна из фигур.

- Готовы, — кивнул Руднев.
- Сами дойдёте?
- Попробуем...
- Тогда двигаем! Только маски наденьте.

Они медленно все вчетвером спустились по лестнице в холл. Руднев подерживал Милу за локоть, чувствуя, как она горяча и как часто дышит.

Внизу дежурил всё тот же толстый портье. Он с очевидным испугом следил за процессией, медленно пересекающей холл: две фигуры в белых комбинезонах словно конвоировали двух то и дело кашлявших бывших его постояльцев.

— Может, приляжете? — басом спросил водитель, указывая на носилки в салоне машины.

И Руднев, и Мила лечь отказались: дышать легче сидя, чуть наклонившись вперёд. Ночь, на их счастье, освободила улицы города, и они ехали почти без остановок. Качаясь в салоне то разгонявшейся, то чуть тормозящей и кренившейся на поворотах машины, Руднев испытывал неожиданное облегчение. Он кашлял по-прежнему часто, грудь болела и воздуха не хватало, но его утешала мысль, что он передаёт попечение о своей и о Милиной жизни из собственных рук в руки тех, кто их вёз, а скоро передаст в руки других медиков.

Минут через пятнадцать “скорая” притормозила возле приёмного отделения. Руднев помог Миле выбраться из машины и, всё так же придерживая её за горячий локоть, вошёл с ней в тот тамбур, где он столько раз сам встречал пациентов.

— Это вы, доктор? — сестра Камилла узнала его. — Выходит, и вы не убереглись?

Руднев только развёл руками: что, мол, поделаешь?

— Да-да, — закивала сестра. — От судьбы не уйдёшь...

Молодой врач, имени которого Руднев сейчас не мог вспомнить (голова соображала всё хуже), хотел осмотреть сначала его, но Руднев решительно воспротивился:

— Нет, сначала Людмилу Ивановну!

Пока врач расспрашивал Милу и измерял ей давление, температуру и оксигенацию, Руднева повели на компьютерную томографию. Непривычно и странно было ему самому оказаться в гудящей трубе, а чуть погодя рассматривать изображение собственных лёгких. Казалось, он смотрит чьи-то чужие срезы и озабоченно думает: “Да, этот парень попал в переплёт: все лёгкие в “матовых стёклах”. Навскидку — поражено процентов семьдесят пять...” Мысль о том, что это его собственные лёгкие и что именно он, Иван Руднев, скорее всего, окажется в реанимации — до сих пор так же плохо укладывалась в его сознании, как и мысль о том, что он смертен, и старуха с косой в этот раз подошла к нему так близко, как ни разу ещё не подходила.

У Милы объём поражения лёгких оказался точно таким же, а сатурация у обоих снизилась до восьмидесяти пяти. Ни у кого — и у них самих тоже — не было сомнений в том, куда их госпитализировать: конечно же, в реанимацию, поближе к дыхательным аппаратам, которые могли понадобиться в любой момент.

Их положили на соседние койки, разделённые ширмой. Ширму, впрочем, скоро убрали — она мешала ходить персоналу, — и Рудневу было тяжело видеть, как привычно и быстро, с равнодушной сноровкой обращаются сёстры с обнажённой Милой. В одну руку ей воткнули иглу капельницы, на другую надели манжету тонометра; лицо закрыли дыхательной маской (кислород пока шёл через банку Боброва), и одна из сестёр, держа в руке судно, деловито спросила:

— Помочиться не хотите?

Мила помотала головой, и сестра поставила судно под койку.

С Рудневым делали всё то же самое — разве что вместо судна предложили утку, — но ему гораздо важнее было то, что происходит с Милой. Он даже привстал на локтях, чтобы рассмотреть сатурацию на экране её

прикроватного монитора, но цифры сливались и плыли в его помутившемся взгляде.

— Лежи, доктор, лежи! — нажала ему на плечо медсестра. — Теперь тебе спешить некуда...

56

Дорога в больницу, а затем подъём в реанимацию сильно его утомили, и Руднев себя ощущал, как после забега, забравшего все его силы. “Надо же, — прыгали мысли в его голове, — только что бегал в полях под дождём, потом обнимал горячую Милу, а теперь лежу в чём мать родила, под капельницей и кислородной маской...” Скорость случившихся с ним перемен изумляла его: он до сих пор как-то не верил, что лежит в зале реанимации, а вокруг ходят сёстры, для которых он больше не врач, а тот, кого называют безликим словом “больной”. Казалось, что всё это сон или бред — уж с кем-кем, а с ним такого случиться никак не могло! — и скоро всё это развеется и пропадёт, как пропадают и забываются ночные кошмары.

Иногда взгляд туманился — сёстры, стены и стойки капельниц расплывались и отдалялись — и вместе с чёткостью взгляда терялась отчётливость мыслей. Осознание того, где он находится и что с ним происходит, на какое-то время совсем его оставляло, и казалось, что он снова студент и сдаёт важный экзамен, от которого будет зависеть вся его жизнь. То, что он обнажён и лежит на кровати, как раз говорило о важности испытания: нельзя ни подсмотреть, ни списать. И Руднев, волнуясь, пытался увидеть, кто принимает экзамен? Но экзаменатор постоянно менялся: это мог быть или он сам, доктор Руднев, внимательно слушавший собственный сбивчивый и торопливый рассказ, или Мила, смотревшая на него с невыразимой печалью и жалостью, или кто-то невидимый и незнакомый, но понимающий всё, что хотел сказать Руднев. Казалось, и задыхается он оттого, что ему слишком многое нужно успеть рассказать, а время экзамена неумолимо подходит к концу. Он поэтому и торопился, и перескакивал с одного на другое, и путал слова — иногда вместо слов просто кашлял, но экзаменатор прекрасно его понимал, словно видел студента насквозь, и не задал ни одного дополнительного вопроса.

В какой-то момент своего торопливого и задыхавшегося ответа Руднев понял: слова вообще не нужны — время слов кончилось. Он перевёл взгляд на Милу, лежавшую на соседней кровати. Простыня с неё сбилась, обнажилась и бледная грудь, и ходуном ходивший живот. Видно, даже и кислород, чьи пузыри серебрились в банке Боброва, не устранял одышку. “Лежим нагишом, как младенцы, — мелькнуло в сознании Руднева, — но только на другом конце жизни... Держись, милая: нам сейчас главное — перетерпеть... Потом обязательно будет полегче... Хорошо, что есть маски и кислород, а то мы давно бы уже посинели...”

Скосив взгляд в его сторону, Мила еле заметно кивнула, показав, что вполне понимает, о чём думает Руднев. Ободряя её, он слегка помахал свободной от капельницы рукой, и пальцы Милы шевельнулись в ответ.

Дышать становилось всё тяжелее, несмотря на то, что подача кислорода была максимальной. Гипоксия влияла, прежде всего, на сознание — и мысли Руднева снова смешались, перебивая самих же себя, как бывает, когда несколько шумных и суетливых людей говорят одновременно. “Да перестаньте же!” — хотел Руднев крикнуть всем тем, кто беспорядочно спорил в его голове. Теперь ему представлялся уже не экзамен, а то, как он бежит по виражу стадиона. Как всегда, на последнем круге мучительно не хватало дыхания — пустой воздух со свистом входил в напряжённую грудь, — но опыт многих забегов ему говорил: побеждает тот, кто умеет терпеть.

Он и терпел, надеясь, что не потеряет сознание прежде, чем приблизится к финишу. Беговая дорожка была видна до мелочей отчётливо: с клочками резины, торчащими между чёрных битумных гранул, со всеми трещинами и выбоинами, с белой выцветшей краской разметки и с дощатым бордюром, обозначающим бровку. Но странно, что кроме этой отчётливой и несомненной реальности стадиона перед Рудневым возникали какие-то бледные и ме-

шавшие финишировать миражи — койки, капельницы, каталки, черные шланги дыхательных аппаратов, фигуры в белых комбинезонах, — пробегать сквозь которые ему становилось всё труднее. Каждый шаг путался в этих капельницах и аппаратах, и скоро Руднев уже не понимал: в каком направлении нужно двигаться? Другая реальность — реальность палаты реанимации — обступала его всё плотнее. С досадой — опять ему не дают финишировать! — Руднев вернулся в тот мир, из которого чуть было не убежал.

Теперь он отчётливо различал голоса и слова, которыми обменивались три белых комбинезона, стоявшие у изножья его кровати. Один голос принадлежал Серебрякову, другой, басовитый, заведующему реанимацией, а третьего, женского и молодого, Руднев не узнавал.

Похоже, они проводили что-то вроде консилиума, решая: кому — Рудневу или Миле — отдать последний свободный дыхательный аппарат?

— Я за Михалыча, — говорил Серебряков. — Он, родимый, столько лет у нас отработал — неужели мы не дадим ему шанс?

— А я разве против? — басил заведующий. — Кто спорит: хороший мужик! А Людмила Ивановна, может, и без аппарата справится. Бабы — они выносливей нас...

— Опять обижаете женщин! — возмущался молодой звонкий голос. — Чем доктор Лабина хуже? Приехала к нам из Москвы, добровольцем, а мы её без последнего шанса оставим? Вы как хотите, а я не согласна!

— Ну, дорогие мои, — разводил руками заведующий. — Не монету же нам бросать? И потом, ещё неизвестно, поможет ли аппарат? Сами знаете: как посадишь кого на трубу — хрен потом снимешь...

Руднев, слышавший и понимавший всё, — мысли в эту минуту у него прояснились — свободной рукой сдёрнул маску с лица и позвал Серебрякова.

— Миш... подойди!

Трое комбинезонов переглянулись и замолчали — и один из них наклонился над Рудневым.

— Чего, Михалыч? — спросил комбинезон голосом Серебрякова.

— Я... от аппарата... отказываюсь... — просипел, тяжело дыша, Руднев. — Если надо... могу подписать...

— Уверен? — спросил, глухим голосом, Серебряков.

— Да... аппарат — ей... — повернул Руднев голову в сторону Милы. — А я потерплю...

— Ну, смотри, — вздохнул Серебряков. — Ты, Михалыч, продержись хотя бы до завтра: нам обещали ещё два аппарата доставить. Короче, не ссы — прорвёмся!

— А какой... нынче... день? — трижды выдохнул Руднев.

— С утра была пятница. Давай-ка, я тебе снова маску надену: с кислородом оно всё же лучше...

Он закрыл рот и нос Руднева маской, подтянув её лямку потуже и громко позвал медсестру:

— Валюша, готовь, что нужно: будем Лабину интубировать!

57

“Ну, вот и всё, — с облегчением подумал Руднев. — Осталось последнее: хорошо финишировать...”

То, что происходило с ним, и впрямь напоминало финишное усилие, так хорошо знакомое Рудневу. Его ноги судорожно подёргивались, морща пятками простыню, кисти рук сжимались и разжимались, грудь часто вздымалась, кислород свистел между маской и небритыми, впальными рудневскими щеками, а ему самому представлялась беговая дорожка, уводящая в красноватую зыбкую мглу. Где-то там, впереди, должны быть белые клетки разметки, трибуны и флаги, что плещутся на горячем ветру; но самому бегуну пока не было видно ни финиша, ни судей с секундомерами, чьи стрелки он должен был остановить.

Как ни странно, но гипоксия больше не мучила, а скорей помогала бежать. Он теперь словно парил над чёрной и сухо крошащейся под шипами

дорожкой. Тело ещё продолжало бороться, но сам Руднев словно со стороны наблюдал за его усилиями. С каждым шагом бежать становилось всё легче — шиповки почти не касались дорожки — и, как бывает во сне, каждый шаг мог длиться сколько угодно, подчиняясь уже не законам природы, а единственно воле того, кто бежит.

Время от времени, впрочем, он воспринимал и реальность. То ли так действовали препараты, которые капали Рудневу сразу в две вены, то ли увеличивалась подача кислорода в его маску, но он краем глаза и краем сознания замечал стойки капельниц, стены палаты и кровать Милы рядом, возле которой хлопотали фигуры в белых комбинезонах. “Это что, ангелы? — думал Руднев, удивляясь замедленной плавности их движений. — Я-то сам двигаюсь много быстрее: им за мной не угнаться...”

Да, он бежал легко и свободно, как не бегал ещё никогда. Шиповки уже не касались земли, а упруго толкались о воздух; и всё, что его окружало в палате — стены, койки, флаконы с лекарствами и шланги дыхательных аппаратов, — всё становилось расплывчато-ненастоящим. С каждым шагом он выбегал не только из этих кафельных стен, но и из тела, лежавшего навзничь и продолжавшего часто, нутужно вздыхать. Как же он раньше не понимал, что всё дело именно в этом: выбежать не просто из тех минут и секунд, что отмечены мелкою дрожью судейских стрелок, но в том, чтобы выбежать из самого себя?

И сейчас, наконец, у него получалось: его нёс сильный, радостный ветер победы. Над трибуною хлопали флаги, кричали болельщики, и Иван был уверен, что Мила, конечно же, видит, как он побеждает в забеге...

НИНА ЯГОДИНЦЕВА



В МЕДВЕЖЬЕЙ НЕЖНОСТИ СНЕГОПАДА

* * *

Всю ночь гудели самолёты
За тучами, над высотой.
Светились окна, словно соты
С начинкой нежно-золотой.

В меду таинственном тонули
Заботы и печали дня,
Но небеса стояли в гуле
И острых высверках огня.

Тянуло дымом от окраин —
Горел весенний сухостой.
Вся ночь была печальным раем
С начинкой нежно-золотой.

И в этой ласковой печали
Казался гул ещё острее...
И долго свет не выключали
Во тьме грядущих новостей.

ЯГОДИНЦЕВА *Нина Александровна* родилась в 1962 году в Магнитогорске. Выпускница Литературного института имени М. Горького. Кандидат культурологии, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинского государственного института культуры. Автор более 30 изданий, а также более 700 публикаций в литературной и научной периодике. Лауреат многих литературных премий. Член Союза писателей России с 1994 года. Живёт в Челябинске.

* * *

Ещё немного снега — а потом
Вернуться в дом, младенчески жалея,
Что без тебя пустынная аллея
Не выведет к беседке над прудом —

Заблудится в сугробах, забредёт
За молодые заросли акаций
И никому не будет откликаться,
С густых ресничек смаргивая лёд.

Как будто замкнут на душе твоей
Незримый контур для земного тока,
И только ты, свою жизнь только
Смысл придаёшь сейчас себе и ей.

И первый снег — куда ему теперь
Идти по тишине невыразимой
Через свои бесчисленные зимы —
И молча одиночество терпеть?

А первая синица у окна?
Она на прошлогоднюю кормушку
Не к семечкам летит, а потому что
С тобою хочет свидеться она...

Жизнь без тебя смутна и неясна.

Ты это знаешь, и тебе тепло...
Отряхивая шубку и сапожки,
Ты говоришь себе: я выйду позже.
Выходишь позже.
Всё уже прошло.

* * *

А что случится — и знать не надо:
Ковид, предательство, слом эпох...
В медвежьей нежности снегопада
Неровен выдох и жаден вдох.

Полотна ветра проносят мимо —
И кажется, всё: не вернуть назад
Ни хлеба запах, ни запах дыма,
Ни роз таинственный аромат.

Идёшь, дыханье с трудом вплавляя
Во встречный холод, белёный мрак —
Ни зги не видно, и жизнь былая
Тебе не может помочь никак.

Но то и счастье, что путь неведом,
Но то и свет, что в твоей груди,
И снегопадище прёт медведем
И тоже не знает, куда идти.

* * *

Пасмурно, томительно, бесснежно, пустота — а не видать ни зги.
Острый холодок вдыхая спешно, ветер ищет лежище пурги.
Вот она, разбуженная, встала, вот она полнеба обняла —
И вокруг горячего оскала задышала розовая мгла.

Задышала, полем заходила, мягко смяла горлышко воды
И в одно мгновенье поглотила чьи-то одинокие следы.
Бледною, бессильною луною на короткий миг освещена...
— Выходи поговорить со мною! — равнодушно требует она.

Знаю, что ни правдою, ни ложью, ни наивной речью нараспев
Не пройти навывлет бездорожье на почти немислимый рассвет.
Только из былого в небылое выйти молча на высокий Суд,
Где слова очнутя, вспомнят Слово, встанут на молитву — и спасут.

* * *

Мир идёт по кровавой кромке большой войны,
Ни на миг не отшатываясь назад.
Мы живём, как будто друг другу мы не нужны.
Словно нам не вместе гасить этот адский ад.

Ненависть, как вино, — обжигающая и легка,
Пока нельзя ненавидеть открыто — мы тайно ропщем.
У каждого своя правда — но это только пока:
Пепелище всё равно будет общим.

ПЕРСЕИДЫ

1

Ветер на горе сторожевой
Холоднее раны ножевой.

Он напал на спящие заставы,
Разметал степные костерки,
Уложил безропотные травы
В берега мерцающей реки,

Стих, тревожный миг пережидая,
Затаился, по воде скользя...
Перед ним гора сторожевая,
Звёздами осыпанная вся.

Миг — и он взлетел! И на вершине
Навзничь, в небо взорами, легли
Двое — те, что полночь сторожили
И огня во тьме не разожгли.

2

Когда приходят ночи светлее дней,
Всадники Персеид седлают коней.

Небо — родник, и студёный пульс его част.
В эту тревожную полночь, в урочный час,

В один утаённый от всех невозможный миг
Сердце падает камнем в живой родник.

Падает камнем — и не коснётся дна.
По краю плывёт дрожащим листком луна,
Но с той стороны в воду уже пролит
Лёгкий поток блистающих Персеид.

3

Мы караулим полночь. Наша застава
Последняя — город в долине справа
Спит, и дышит степь утаённым жаром,
И горизонты гроза обжигает жалом.

Мы караулим полночь. В такую полночь
Если кто-то и может прийти на помощь —
Только с тех высоких ночных орбит,
Где ходят дозором всадники Персеид.

Но кони их чернее ночного мрака,
И мы караулим тьму, ожидая знака,
Когда польются искрами с высоты
Удары об их блистающие щиты.

Пока гроза огнём горизонты лижет,
Всадники Персеид всё ближе и ближе,
С бешеным стуком сердца мгновенно слит
Бешеный стук копыт.

Да, нам сегодня в грядущее путь неведом,
Но это Млечный Путь, исполненный светом.
Держитесь, кто в битве,
 проснитесь, кто крепко спит, —
Идут на подмогу всадники Персеид!..

4

В августе, в полночь, в немислимом ветре стоя,
Пять чувств погасить — и возжечь шестое,
Ибо отсюда ни одному из пяти
В небесную высоту не дано взойти.

Да, этот новый век обесчеловечен —
Некому говорить, и ответить нечем,
В пустоты сознания серным дымом вползает ложь,
Но ты-то здесь, ты думаешь и живёшь,

На ладони вулкана над чашею Аркаима
Вспыхиваешь ясно и неопалимо
И говоришь себе: как могу посметь я
За жалкий удел отринуть своё бессмертье?

5

...И сходятся меч на меч,
 и падает щит на щит,
И сыплются чёрные звёзды с ночных орбит...
Проснитесь, кто крепко спит!
В оглушительный грохот небесных битв
Вступает тихий шёпот наших молитв.

Так наступает трава,
 пробивая каменный плен,
Так молодой лес шумно встаёт с колен,
Так ветер идёт штормовой волной
 по ночной степи...

Душа, не спи!

Ибо если мы не ответим идущим встречу —
Зачем нам сердце, зачем нам родная речь,
Лёд родниковой воды, поцелуй огня?
Зачем нам эта полночь яснее дня?

6

Пора младенческих пелён,
Пора наивных упований
Прошла — и воздух воспалён,
И молнии напоминаний,
Вонзаясь в плоть, горят, как сталь:
Очнись, очнись и вспомни, кто ты!

Замок — душе, печать — устам
И страха липкие тенёта:
Таись, покуда не задело...

Но нет, не определено
Грядущее. Его пределы
Не здесь — в материи иной.

О небо, говори со мной!

7

Всадники Персеид сходят с коней в сухую траву,
И она полыхает во сне или наяву,
Горит, не сгорая, сиянье земное для, —
Нынче полночь светлее дня.
Видно далёко, за грозы и горизонт,
За высоту высот.

Видно так, как бывает в жизни один лишь раз.
Ибо тот, кто увидел — провидит это всегда.
Вот с высоты ещё одна сорвалась
Звезда —

Кто-то ударил мечом о зеркальный щит,
Значит, вдали битва ещё кипит...
Взлетают в сёдла всадники Персеид.

Нас было двое. Мы оба видели это.
Мы слышали дальнего боя гулкое эхо.
Спящих будили — и поднимали падших.

Небо — за нас. И мы за него — тем паче.

.....
*Сердечно поздравляем нашего дорогого друга и постоянного автора
журнала — поэта Нину Александровну Ягодинцеву — с юбилеем!
Желаем новых замечательных стихов и свершений!*

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



КИНЕШМА

Из книги “Сорок второй, до востребования”

1

В Кинешме прошла бабушкина юность, и туда мы не раз ездили на каникулы к её сводному брату, дяде Коле Петрову, и жене его тётё Шуре. Время от времени и дядя Коля приезжал к нам в Замоскворечье — грузный, осанистый и напоминавший старого слона: нос с лёгкой горбинкой, длинное полное лицо. Молодым прошедший германский фронт, когда-то офицер и красавец, говорил он, подобно Ивану Николаичу Крушину, надтреснутым басом, только ещё более зычным, театральным. Считалось, что в Москву он ездил за нюхательным табаком и зелёным сыром. Но не сыр-табак нужны были ему, а дорога да поезд. Да четвертинка с резиновой чёрной пробкой, в которую ему возле магазина наливали, когда соображали на троих. Вот он и соберётся, и в своём чёрном драповом пальто метнётся по зимней кинешемской ветке.

Зелёный сыр бабушка покупала заранее и держала на случай дяди Колиного приезда, он был в виде конуса с отрезанной вершинкой, как перевернутый стаканчик.

Табак дядя Коля брал сам и пересыпал из кубической бумажной пачечки в круглую табакерку. Дядя Коля же научил ещё молодую бабушку курить. Лежал на диване:

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Закончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности география/биология. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где работал сначала полевым зоологом, затем охотником. В 1991 году закончил Литинститут им. А. М. Горького. Автор книг “Стихотворения”, “За пять лет до счастья”, “Замороженное время”, “Енисей, отпусти!”, “Тойота-креста”, “Избранное”, “Сказка о Коте и Саше”. Главный редактор альманаха “Енисей”. Живет в с. Бахта Красноярского края.

— Маруська, прикури мне папиросу!

Видимо, спичек не было лишних, и Маруська шла к печке или к лампе.

Отправившись я у бабушки гулять, и на дяди Колин зычный вопрос: “Куда это он?” — она отвечала, что на лыжах кататься. А дядя Коля прерзительно-разочарованно тянул:

— Ну-у-о-о... — и, откашлявшись, декламировал: — “В эти годы у него должна быть одна дорога: туда, где она!”

От дяди Коли сладковато пахло смесью переработанной водочки и колбасы. Однажды бабушке позвонили с Ярославского, или, как она говорила по- довоенному, с Северного вокзала. Сказали, чтобы приехала. Вдрабадан пьяный дядя Коля сидел у стенки вокзала.

Бабушка крепко дружила с его женой — тётёй Шурой, которая жила в Кинешме и в Москву не металась. Она была украинка, урождённая Кисляк, дядя Коля привёз её с Украины. Родители её любили чтение, и на стене висел портрет Толстого. Говорила тётя Шура без акцента, была небольшого роста, с прозрачно-голубыми глазами.

Однажды, когда она гуляла по Кинешемской набережной, подошёл парочод. Московская туристка спесиво выговорила ей:

— Как живёте вы здесь, в эдаком захолустье?

Тётя Шура отвечала преспокойно:

— А для мыслящего человека нет захолустья. И здесь, включая театр, музей, картинную галерею и прочее, имеется совершенно всё.

У дяди Коли и тётя Шуры был единственный сын Алька. Трижды с фронта приходила на него похоронка. Две оказались ложными, а третья настоящая: в конце войны в Прибалтике его в спину убили из пулемёта. Алька был красавец несусветнейший, порода ушла и в дочь, и когда та приехала с Украины, сбежались все кинешемские парни. Тётя Шура её отправила восвосяи.

2

Моя первая поездка в Кинешму связана с ногтем. Перед зимними каникулами я катился с деревянной горки на санках, и большой палец попал под полоз. Бабушка кровавый ноготь забинтовала и сказала:

— Теперь сойдёт.

А я не понял:

— Как сойдёт?

— Так и сойдёт.

Когда, вернувшись из Кинешмы, я проковырял иглой почерневшую корку, под ней вырос молодой и чудный розовый ноготь...

В поезде удивила теснота и то, что переборки с людьми, сидящими по всей плоскости среза, начались сразу. Я ждал, когда они закончатся и за ними откроется нечто просторное, но дальше шли те же соты, пока одни из них не оказались нашими. Бельё из экономии бабушка взяла только мне, а сама прилегла с туфлями на матрасе. Проводница выговорила бабушке, бабушка, поджав губы, убрала ноги. Я за бабушку обиделся: было дико, что кто-то её, всегда справедливую, мог упрекнуть... И больно за неё, послушно убравшую худощавые ноги со своим каким-то изяществом, извивом и держа вместе. Туфли были носатые, когда-то чёрные, но шершаво оббитые до серости и с низкими бортами. Видимо, она их взяла с собой, а ехала к поезду в валенках. Зимы стояли морозные.

Северный вокзал, зима, ночь — всё новое и сильное образовало дух той дороги, снежной, вьюжной, с инеем в тамбурах, с законной тьмой и огнями. И звёздами, которые неслись куда-то вперёд за мелькающими ёлками, пока я не понял, что бегут-то как раз ёлки, а мы не то летим, не то парим в студёной связке со звёздами.

Из названий запомнился Александров, где нас перецепили на паровоз, и эта незримая паровозная тяга ещё добавила зимнего, свирепо-первозданного, неведомого. А я всё пытался ощутить новизну этой тяги по изменившейся побегке поезда. Проснулся я от ночной остановки: кто-то входил с сумками, таща морозный воздух. С торжеством бабушка сказала:

— Вичуга. — И, не удержавшись, добавила заветный перечень: — Вичуга, Нёмда, Решма.

Утром стояли на станции недалеко от Кинешмы, и я смотрел с верхней полки в окно на паровоз — он был кофейного цвета и, скорее всего, мне привиделся, по крепкому обычаю оставшись картиной навсегда. Другой образ, за него ручаюсь: гуляем по перрону, вдоль него работает маневровый паровоз. Он медленно набирает ход. Нарастает мощная и отрывистая отсечка, словно рубят пар, как тугую капусту. Она на четыре такта, ритмичная и оглушительная. И кажется, участившись, сольётся во что-то катастрофическое.

Особенно грозным было замедление и остановка паровоза. И то, что, когда он полз медленно, мог и фыркать, и не фыркать по настроению, что подтверждало его одушевлённость. Пар, валящий из соединений, локтястые привода. Дышла, вращающие колёса с неестественной бешеностью, их головки, описывающие эллипсы, — такого не было ни в одной технике. Другие машины прятали свои потроха под капоты и кожуха, а этот выставлял напоказ, будто кичась.

Ясно помню выход из поезда в Кинешме, умятый снег вокзальчика и обилие лошадей, запряжённых в розвальни, и эти розвальни с колокольным развалом к корме и похожие на расстёгнутый тулуп, в котором, извернувшись, боком сидел мужик. Розвальни были разные — и попроще, и побогаче, и везде с великолепным этим развалом... Морозно-свежо парил пахучий навоз с овсяными шелушинками, валялись ключья сена, и воробьи сновали под ногами. И бабушка шагала победно-счастливо.

Дорога закончилась, и в один из первых вечеров я увидел завораживающее тому подтверждение. Мы шли к бабушкиной подруге тёте Гале Целевич. К ночи вывезло и, на вдохе до слёз, до захлёба остро и враспор вставала морозная даль, отдавая дымком и ещё чем-то зимним и грозно знакомым.

Морозец не давал мешкать, но то, что я увидел во тьме поодаль, заставило замереть. Это был поворотный круг. На него заехал паровоз, стравливая пар и туманно светя под низ красным отсветом. Вот он встал и начал медленно разворачиваться. Я был уверен, что его крутит колесо, чёрный, как ночь, чугунный диск, хотя на самом деле вращалась только ферма с рельсами, а циферблат самого компаса стоял на месте.

Что-то было могучее в этом конце дороги и её же мгновенном возрождении. В том, что, набрав ход и долго летя в связке со звёздами, паровоз вдруг стал в полный разворот и сменил курс с такой мутящей планетарной силой, что, казалось, и звёздное небо теперь должно повернуться вослед.

Паровоз ушёл, а звёзды остались на месте и только придвинулись. Морозец тоже поджал. Протяжней залаяли собаки. И в этом раскатно-задумчивом лае, в угольном дыме и холодном переблеске огней и звёзд было что-то пронзительно-бесприютное. Но ближе к тёплому крову всё легче шагалось, объёмно и золотисто манили гостеприимные окна, ещё шаг — и родным до морозной слезы станет это бесприютное, зимнее, звёздное...

3

Дом дяди Коли и тёти Шуры — серый, этажа в четыре. Ещё никакого похода к тёте Гале, и мы только идём с бабушкой с вокзала. Заходим со двора — там лошадь с санями. Конская морда, жующая грызло, лиловатый язык, его вывихивающий. Жуёт так ожесточённо и так закидывая назад голову, будто её за секунду до нас взнуздали.

Квартира сумрачная, с высокими потолками. Обставлена вещами, которые когда-то перевезла в Кинешму моя прабабушка Вера Николаевна Дубасова. В гостиной особенно сложен и огромен буфет, нагромождение уступчиков, граней — сумрак, объём и нутряная даль. Туманчик... Гранёные стеклышки. За ними — блюдечки для варений, тоже гранёные, но мельче, скрупулёзной шаг огранки... Стулья, стол... Всё знакомо бабушке с детства — она здесь дома, будь то буфет или площадь с розвальнями.

К тёте Шуре обстановка попала из прабабушкиного дома. Он будто был на улице Песчаной, и помнится, мы долго его с бабушкой искали, хотя сло-

во “помню” тут вряд ли подходит: настолько спутано привидевшееся и виденное взаправду. Искали мы и нашли бледно-синий одноэтажный домишко и долго-долго напротив него стояли. Словно ждали чего-то — не то дом узнает нас и дрогнет стеклами, не то выйдет кто-то далёкий и знакомый до слёз, прижмёт к сердцу, и сольются в один щемящий замок два детства — далёкое и маревое бабушкино и моё — то зоркое, то туманное, но уже уловившее незримую тягу прошлого...

Дядя Коля больше сидит у себя, но иногда выходит и пытается меня развлечь. Однажды нарисовал на листке куски слов, чёрточки:

— Называется ребус. А ну-ка, что это?

Над “я” чёрточка, над чёрточкой написано “бед”. Зачёркнутое “за”. Я ничего не разгадал: а вся городьба эта означала: “Бед-на-я ка-была па-есть за-была”.

— “Па” — есть. А “за” — было. Видишь зачёркнуто!

Или спрашивает меня, что читал, а я говорю: “Последний из могокан”. Он в ответ: “Значит, ты Монтигомо Ястребиный Коготь”, — и смотрит на мой почернелый ноготь. Я говорю, что нет там такого в книге. А он не отступает и даже здороваётся: “О-о-о-о, Монтигомо Ястребиный Коготь!” А я стесняюсь и остро чувствую опасность цепляния и подгонки меня под его обычаи-повадки.

Дядя Коля уходил в свою комнату и слушал там радио. Однажды оттуда донеслась песня, женский голос пел: “Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море, Волга в сердце впадает моё”. И я представлял карту, разбирался, где Волга, где Каспий, где я, и выходило, что область сердца в районе Кинешмы.

Дядя Коля больше сидел у себя. Бабушка же с тётёй Шурой пили непрерывный чай в гостиной, а меня усылали в соседнюю комнату читать Чехова. Чаем, конечно, меня тоже поили, но расслаживаться не давали. Бабушка выпроваживала командно, а тётя Шура смягчала дело рассказом о пользе чтения: как в её юности некий приехавший всучал ей “Вешние воды”, а она фыркала: “Вот ещё: воды какие-то! У нас тут и свои не хуже! — говорила она с интонацией “А у моего батюшки и сливочки не едятся!..” — Особенно по весне, когда Волга стронется”. Я видел забавность её молодого фырканья и не воспринимал пример как наставление к чтению. И выходя, повисал на дверном косяке, а бабушка говорила: “Не отвечивай”.

Комната, куда меня высылали, была, как и вся квартира, с высокими потолками и мрачноватая. Что-то тоскливо гудело в доме, в трубах ли, и я впадал, бывало, в тоску, но чтение побеждало. Сидел я за столом под зелёной лампой и читал прекрасное издание Чехова — большое, в светло-серой обложке с тиснением. Там был и рассказ “Мальчики”, где упоминается тот самый Монтигомо. Но мне почему-то особо запомнился рассказ “Злой мальчик”, причём розовыми ушами, за которые мальчишку драли молодожёны. Я настолько ясно представил это ярко-розовое на просвет ухо, что жил им долгие годы, пока, перечитав, не нашёл никакого описания розовости. Сказано лишь, что драли за ухо.

“Драму на охоте” я прочитал с упоением и испытал чувство манящей тоски, тайны, связанной с любовью и смертью, которое меня подхватило под самую душу и дало какое-то главное ощущение литературы, её таинственной силы. Перечитав взрослым, я был разочарован: образ главного героя, которого Чехов почти презирает, я принял за чистую монету.

Читал я обычно вечером, а днём мы с бабушкой бродили по городу. Была в Кинешме площадь в волжском духе и звавшаяся в старину Торговой, с купеческими домами, торговыми рядами и угловым магазином, будто вырубленным из неровного крепкого творога. Стояли морозы. На подходе к площади так тянул ветерок, что ломило щёки, сводило выступы скул, и я останавливался и поворачивался спиной. А бабушка заранее мазала мне “морду” гусиным жиром, и я хорошо помню его сытый запах и чувство своих блестящих мазаных щёк. Греться мы заходили как раз в бело-творожный дом, в магазинчик. И в магазинчике звучало волжское оканье, кто-то покупал мОлОко, и морщинки у бабушкиных глаз весело светились.

Набродившись, мы возвращались домой, к столу с обедом и бесконечным чаем. Когда мне удавалось при нём задержаться, тётя Шура обязательно рассказывала что-то волжское. Как празднично и долгожданно идёт весенний лёд по Волге, а вскоре за ним и первые пароходы. И что есть даже астраханские, огромные и особенно будто белые.

Эти астраханские настолько поразили моё воображение, что я пробредил ими до весны.

4

По возвращении в Москву в Замоскворечье я некоторое время показательно окал, писал под бабушкиным руководством открытки дяде Коле и тёте Шуре. А потом жизнь взяла своё, и Волга будто отошла, спряталась до весенних каникул в туманчик. Жизнь эту бабушка описывала в дневнике так:

“5 февр. Вымыла пол, вымыла Мишку — обоих очень чисто. Спит, свинка, в чистенькой постели. Ручка его не пищит, всё перо скособочено — завтра покупать, а у меня денег 7 р. — 4 на школьные завтраки в понед. отдавать.

2 дня не ходил в школу — по радио позволили из-за мороза, а я под предлогом дала отдохнуть. И начали читать “Тимура” (кстати, приходится всё объяснять, но интересуется очень, всё просил читать ещё).

Вчера прочитали “Тёму и Жучку”, а сегодня ещё “Неслуха” про медвежат, что взял в школе давно ещё. Читает ещё плохо. То начинает с середины слова, то задом наперёд, и никогда не догадается по контексту, пока не прочитает, что это за слово. Удивительный тяжелодум. Многих слов просто не понимает, например, вчера “свежескошенная” и сегодня в “Тимуре” не помню какие слова. Учительница раз сказала: “Способный мальчик, всё на лету схватывает”. Какой уж там лёт! Просто она взяла штамп. Он понимает, когда что-то точно, ясно. Надо понять и запомнить, но без применения живого ума и смекалки. Как-то не так пишу... Не могу объяснить. Будем читать вдвоём до беглости, а потом, вероятно, через год начнёт читать один. Сейчас ему лень; и плохо понимает.

Мишка ужасен. Уроки делает так же, как ест. Куда-то бежит, отвлекается, то рисует, то с каким-то пластилинами мажется к машине. Весь день уходит на мишканье, сегодня 2 раза всыпала ему полотенцем”.

Так с “мишканьем” и дожили до весны...

В день нашего прибытия в Кинешму висящее в сыром воздухе слово “ледоход” так будоражило и манило, что я, едва сойдя с поезда, уже волок бабушку на берег, совершенно как тот конь с пенным грьзлом из первого приезда. Улица упиралась в мутный просвет Волги, в настолько паркое молоко, что никакого того берега видно не было. Город тонул в тумане, который я принял за обязательный признак ледохода, словно перемешанная со льдом река обязана превратиться в облачную взвесь и переполнить окрестность. Весенний туман, мягко скользящая каша, мутно-жёлто-зелёная мешанина льда и его шорох так и остались чем-то невиданным, и никогда больше не встречал я ледохода в таком тумане.

Вдохновенная и вздымающая сила шла от проснувшейся Волги, светлое волнение стояло абсолютно на всех лицах, и город походил на огромное дитя. И всё это означало, что скоро начнётся навигация, и я увижу астраханский.

Снова я на кухне у тёти Шуры ем варенья из хрустальных блюдецек и смотрю на бабушки-Верин буфет. Такие же створки с гранёными стеклышками, та же тётя Шура и та же Кинешма, но... что-то непоправимо изменилось в этом уже родном для меня доме. Нет дяди Коли. Во дворе его, пьяного, придавил к стене пятящийся грузовик. То, что всё произошло не при мне, что всё подметено, до синевы подчищено к моему приезду, усиливает ощущение меня маленького, которого будто шадят, берегут от страшных событий. И дарят праздниками.

Волга расчищалась ото льда, но всё не шли ни астраханские, ни другие пароходы, и длилось бесконечное ожидание, таскание бабушки на берег, мучительное выглядывание речной дали, в которой однажды странно, одиноко

и невыносимо долго синела вдали сверху какая-то низкая баржонка. Словно замершая городошная бита, медленно-медленно вращаясь, она сплавлялась по течению, и я изнывал от загадки и тоски: что же это за судно, что с ним случилось и где же, наконец, настоящий пароход?!

Помню свежайшее утро, ощущение края, который подступает на берегу большой реки, и наконец изменившаяся речная обстановка. Привёл баржи небольшой буксир с угольно-чёрным корпусом и круглыми в деревянной окантовке иллюминаторами. Вид его меня заворожил, особенно иллюминаторы, такие же круглые кранцы из шин, и то, что звался он “Углич”, да ещё тащил баржи с углём. Хотя образ ещё не дополнился самим Угличем, Дмитрием-царевичем и Пушкиным. Но и это не за горами...

Нашёл у себя в дневнике старинную и местами выпренную запись: *“Виденное и привидевшееся в детстве закреплялось бесчисленными обращениями к этим воспоминаниям и наполнялось тайной, от которой сосало под ложечкой уже секунду спустя. Но особенно остро и мучительно наваливалось воспоминание по прошествии времени, войдя в особую полосу свечения, которая тащилась за мной с тросовым провисом года в два-три. Столь мучительная сила воспоминания тяготила, пока я не понял, к чему сподвигают эти баржи с углём былого: что нет им лучшего применения, чем стать топливом для книги. И что столь сильному переживанию той или иной жизненной поры нет иного объяснения”*.

Зимой буксиры вмёрзшими утыгами стояли в затоне Кинешемки, и я бродил меж них, омертвело-сонных, и в чёрно-белом зимнем свете деревянные окантовки иллюминаторов гляделись выцветше-серыми. Но тайны в них было не меньше, чем в их грядущем весеннем собрате “Угличе”. И если маленькие буксирчики на меня производили столь сильное впечатление, то что уж говорить о большом пароходе, да ещё загадочно-астраханском!

Уже Волга очистилась ото льда, а я всё таскал бабушку на набережную, по которой мы бродили под её рассказы про буксиры и расшивы — деревянные парусные суда, ходившие когда-то по Волге. И про то, что баржи в составе называются пыжами, и бывает два типа “счала”: когда друг за другом и когда борт к борту, и что, когда борт к борту, — это “пыжевой счал”.

Как-то солнечным днём оказались мы с бабушкой на площади и обнаружили возле творожно-белого дома гнедую лошадь, запряжённую в нечто чёрное, истрёпанно-кожаное и великолепное. “Гарантас”, — почти прошептала бабушка. Потом мы пошли с площади к набережной, и бабушка, впившись взглядом во что-то впереди нас, якорно потянула мою руку вниз: нам навстречу нес мужик на руках огромного глухаря — мощный и рыхлый ворох с тяжко свисающей шеей. А потом...

А потом я вдруг увидел торчащие антенны чего-то восхитительного, что скрывалось за высоким берегом. Настолько необычайна была эта белая мачтовая городьба, за которой свежо и нежно синел волжский простор, настолько она изменила и берег, и город, и меня, что я побежал к Волге с истощенным криком: “Бабушка, астраха-а-а-анский! Астраханский!”

5

Пароход оказался не астраханский, а обычный двухпалубный. Звался он “Собинов”. Приход астраханского как-то размылся, загордился этим “Собиновым”, в звучании которого мне слышалось что-то немисливо пароходное — казалось, при этом звуке кто-то с присвистом продувает огромную трубу...

Сколько мы с бабушкой выходили по Кинешме под негромкий её голос, одному Богу известно. Много рассказывала она о заволжских лесах, полных боровой дичи, о Николай-Матвейче и его легавых собаках, делавших стойку на красную дичь, и вообще об охоте. И очень смешно изображала напряжённо замершую собаку с поднятой передней лапой. Рассказывала и о кошке Кане, которая увязывалась за бабушкой в лес и, когда её прогоняли домой, делала вид, что ушла, а потом возвращалась, и бабушка, зайдя в хвощи, по их шевелению видела, как крадучись идёт параллельным ходом кошка.

Была трагическая история: парень катал девушку на лодке и решил подстрелить утку. В секунду, когда он нажимал на спуск револьвера, девушка встала, и пуля пришлась ей в голову. Это уже было в послереволюционную пору, когда в Кинешме жил Сашка Гурьянов, шепотливый и видный бабушкин двоюродный брат. Сашка был комсомолец, боролся с церквями и звал бабушку в комсомол, а та не шла. Сашку этого я помню в образе дяди Саши Гурьянова, необыкновенно породистого, осанистого и с седой, ярко светящейся причёской — с такой яркостью горит боковой свет на пере чайке. Серебром из-под плоской тучи.

Дядя Саша приходил к нам в Замоскворечье. С расстановкой повествовал: “Э-э-э-э... один полковник купил хромированную “Волгу”, и поставил на зиму под брезент. Весной “Волги” не оказалось, обнаружилось некая э-э-э-э... форма из брусочков и кирпичи, подложенные под ступицы”. Бабушка говорила, что Сашка всё сочиняет.

Жил он какое-то время в Иванове, где работал журналистом и позже со слов старых людей “оставил добрую память” — там даже выходила о дяде Саше статья в журнале. С дядей Сашей связана важная страница бабушкиной юности. Она очень любила купаться, хорошо плавала и на спор переплывала Волгу напротив Кинешмы. И именно дядя Саша сопровождал её на лодке.

Всё это было невообразимо давно и, казалось, слова-рубежи “до революции”, “до войны” где-то в непосильной, книжной дали синеют — настолько отрезки эти превышали мои семь или восемь лет. И жаль было прошлого, особенно бабушкиного, такого отцветшего по сравнению с моим светящимся будущим.

Всё в Кинешме было пропитано бабушкиной школьной юностью и памятью о подругах. Подруги жили себе на Волге, не мечтая о других краях, жили девичьей своей жизнью, настолько лишённой заигрывания с этим самым девичьим, что нынче трудно такое и представить... И сравнить с чем-либо по осмысленности, интересу к жизни, простоте: читали и обсуждали книги, играли в лапту да городки, купались в Волге. Всё было по правде, и именно эта вместе добытая правда их и сплотила. Трёх я знал: двух тётё Галь и тётю Муру Раевскую, которая к тому времени уехала в Ленинград.

Тёти Мурин брат, молодой красавец, юродивый, в двадцатых годах бродил по Кинешме в веригах, а потом зловеще исчез. Бабушка почему-то приносила “юродИвый”, а я её мучил про вериги: какой в них смысл. Бабушка отвечала: “В том, что никто тебя не неволит. — Что не неволит? — Носить их. Спи”.

Тётя Галя Молокова — худоцавая, черноволосая, с чёрными, будто матовыми, глазами, жила на горе за Кинешемкой на втором этаже двухэтажного дома, высокого и обшитого потемневшим тёмсом. Рядом стояла квадратная толпа лип, прозрачных и сквозистых.

И тёмный тёмс дома, и липы с оттенком в вишнёвость имели какую-то необъяснимую глубину и значимость, словно чего-то от меня ждали. И манили, но даже не грустным, а давешним, неизбывным, как зимний вечер, — словно кто-то взрослый во мне давно уже знал и липы, и дом на горе, и так приворожился, что его самого навсегда вытянула, приняла в себя эта даль, а теперь и меня маленького проверяла на верность.

6

Тетя Галя разводила на продажу цветы. В один из приездов бабушка, идя по улице, увидела торгующую тётю Галю. Проходила хорошо одетая пара, и она, протягивая букет, бросилась к проходящим с таким беспомощно-заискивающим движением, что бабушке нестерпимо больно стало за близкую подругу.

Дом тёти Гали Целевич не помню, зато саму её вижу, как сейчас: широкоскулую, с металлическими зубами. Муж — живейший, небольшой и беззащитно лысый мужичок, похожий на актёра Леонова. Лысость особенно безоружная, горькая. Лысина старательно перекрыта жидкими прядями. Представлялся:

— Владимир Ильич, — и с извиняющейся улыбкой добавил: — Но, цъ, не Ленин. — И развёл руками.

Оба несказанно нам рады, тётя Галя улыбается железными зубами, ведёт за стол, а там варенья — черничные, сливовые, яблочные — крупными мутными кусками в хрустальных вазочках. Владимир Ильич возбуждённо улыбается, шумит и налегает на зеленоватую поллитровку. Он шофёр грузовой машины и рассказывает, как весной проваливаются машины на переправе через Волгу. Как сам провалился, вылез уже под водой из кабины и не мог выбраться, тыкался в лёд головой, а я представлял, как он долбится лысой головой, а лёд не пускает. Раскрасневшийся Владимир Ильич говорил со страстью, с интонацией “от как бывает”, “всякое приходилось”, и в каждой истории звучало жаркое требование какого-то высшего, последнего объяснения произошедшего, чего-то такого, где не ищут виновных, а лишь дивятся, как знамению или знаку.

Рассказывал ещё историю, довоенную. По весне бывают морозцы после оттепели. Таким морозным утром шёл он льдом по конскому санному следу. И будто след оборвался, и он увидел мёрзлую мешанину льда и перед ней оторванные конские уши.

— Я как представил, как он тащил её! — замотав головой, вскрикнул Владимир Ильич и хлобыстнув ещё рюмку, заел капустой. — Кормиллицу!

Тётя Галя, едва он начал рассказывать, толкала в бок, зачем, мол, при ребёнке. А Ильич, закусив, грозно глянул на меня красными округлившимися глазами и, стукнув кулаком, рыкнул:

— Пусть знает! — И несколько раз рыскнул глазами направо-налево.

А потом вышел и вернулся с гармошкой. Прежде гармошку я слышал только на улице, а тут обрушилась на меня её непривычная для помещения громкость, жилистый напор. И ощущение, что музыка идёт сочным пучком, вкачивая в жизнь если не театральное, то что-то несомненно высшее по весу и остро противоположное обыденному, прозаическому...

Пел Ильич мало — больше играл, подстанывая, отклоняясь корпусом, напряжённо доигрывая лицом, которое даже тиком бралось в особо трудных местах мелодии.

Сидел он рядом со мной, и было два звуковых слоя: где-то шла музыка, а совсем близко пуговично клацали кнопки. Особенно это слышалось, когда, играя плясовую, он набивал по пуговкам кистью, и они отзывались сухой чёткой.

Меха гармошки были не раз помяты, и когда Ильич тянул, то одно особо измочаленное место мятым треугольничком всасывало внутрь. Запомнилось именно ближнее — жизнь пуговок, мехов. Сама музыка ещё скользом шла, и из глубоких впечатлений осталось, пожалуй, одно: когда зазвучало нечто торжествующее, монументальное, снежно-дорожное... Что это было — “Степь да степь кругом” или и впрямь Свиридов, не знаю. Помню только, что музыка не рекой текла, не потоком. Она ликующе стояла завесой.

Он снова заиграл, но вдруг прислушался, замер и поставил гармонь на табурет. Принёс трёхкопеечную монетку, заточенную с одного бока, отвернул ей шурупы и разобрал гармошку. Открылись бумажная изнанка мехов, деревянные комнатёнки с планочками... Что-то в них вывалилось. Несмотря на несовместимость пересохлого гармошкиного нутра с водочной дрызглостью Ильича, он уверенно и осторожно выудил упавшую рамку, поставил на место и, собрав гармошку, сочно жамкнул мехами. Звук пошёл отличный.

Потом отдал мне гармонь и приложился к хрустальной своей рюмочке. Я потянул меха, и они отозвались расслабленно нестройно.

— Дело мастера боится! Был в Заволжье... — Ильич махнул вдаль рукой, а тётя Галя покачала головой:

— Ну всё — замахал Ильич руками!

— ...Был в Заволжье на два села один гармонист. Заядлейший. Ещё говорил: “Ты неправильно играешь. С подтыром надо”... Гулял в деревне одной — играл-играл, а его ждут в другой. На свадьбе. А он всё играет, потом только пошёл. А меж деревнями овраг и лес кругом. Густой. С черникой. С малинником. А где свадьба — его хватились и пошли вызволять. Слышат —

далеко-о-о-о... — пропел Ильич, прикрыв глаза, — в овраге гармошка. Да только играет странновато. В овраг-то спустились, а мимо них медведь ка-а-к повалит. А гармонь играет. Подходят — Михалыч на земле сидит и наяривает. Как заело его. Окоченел весь: пальцы от гармонии еле отлепили. Оказывается, медведь на него попёр, тот орать на него по матери — не помогает. В дыбки встал — идёт. Тот давай тогда играть: хоть помру с музыкой! И что думаешь: медведь стал, как вкопанный, аж мох взлетел — слушает. А перестанет играть — в рык и к нему. Тот снова играть. И остановил! Остановил. Два часа играл. Прикоченел, как колотушка. Ещё и язык прикусил. Язык-то длинный!

— А ум короткий! — сказала тётя Галя, и все засмеялись.

7

На краю города сосновый бор, гора и овраг. С горы я съезжал на лыжах. Нёсся с упоением от свиста ветра и налетающей силы дороги, в которую еле ухитрюсь вживить лыжины, еле успеваю перетапывать ими, ловя равновесье на буграх и ямах. Лыжину ведёт вбок, и могучая сила подсекает и валит меня. Вспахиваю лицом снег до нашатырной рези в ноздрях. Задыхаясь, успеваю ощутить великолешие снежной пыли, вставшей облаком. Пыль опадает, отираю мокрое лицо, бессильно облепленное снегом, хлопаю, шевелю запорошёнными веками и встаю во всей раскоряке лыжин, выворачивающих ноги. Отстёгиваю резинки, отряхиваюсь, охлопываюсь, подбираю палки... Гляжу на изуродованную лыжню и лезу в гору.

Бабушка любила смотреть, как я несусь с горы, и долго выстаивала на взгорке под соснами. Как-то закатался я до синих сумерек, потерял рукавицу, которую мы долго искали, пока темнело и всё вокруг, и склон горы, и наши поиски всё сильнее обращались в какое-то застарело-знакомое наваждение... Тот же снег, тот же круг поисков, те же кусты ивы. И чувство, что всё это было, и какое-то вдруг иное ощущение и себя, и времени, и даже найденная тёмная рукавичка — как со дна морского.

Бабушка стоит поодаль как-то особенно недвижно. Я спрашиваю: “Бабушка, это ты?” И вдруг понимаю, насколько темнело, поднимаю взгляд в морозное небо и замираю — так ясно и близко сияют звёзды. Они поразительно ярки, особенно Млечный Путь, пролётший объёмно и пыльно во всё небо... Бабушка показывает свою любимую Кассиопею и Волопаса со звездой Арктур, и меня восхищают названия — в Арктуре мне слышится холодное великолепие и тайна, а Волопас смешит. Потом она переходит на Большую Медведицу: “Считай от стенки Ковша пять отрезков”. Я отсчитываю и попадаю на Малую. Бабушка говорит, что в ручке Малой — Полярная звезда, показывающая, где север. Она на самом приверхе неба, и север еле определишь.

Звёзды поразительны, и я впервые осознаю, что вся эта светящаяся бездна — не просто ночная обстановка Кинешемской окраины, а по правде существующие огромные светила, отстоящие на немыслимом расстоянии не только от меня, но и друг от друга.

Я замечаю маленький хрустальный ковшик. Он настолько прозрачно-прекрасен и будто объёмен, что я удивлён, почему не показала мне бабушка Плеяды в первую очередь.

Сквозимый дышащей бездной, я долго пытаю бабушку о бесконечности Вселенной, но она ничего мне может сказать, кроме того, что всё это “космос”.

При этом слове мне вспоминается приходивший к нам в Замоскворечье дядя Юра Диков, зять моей второй бабушки Марии Макаровны, негромкий человек с детски-синими глазами и залысиной какой-то очень нежной выделки, легко берущийся морщинами. Он был связан с физикой, и на мой вопрос, что за космосом, с тихо-загадочной улыбкой отвечал: “Ещё космос”. А я спрашивал: “А за ним?” Он снова улыбался: “Ещё космос”. Казалось, улыбка связана именно с ожидаемостью и повторением моего вопроса. И моим непониманием — ни этой бесконечности, ни этого перечисления.

И убежденностью, что меж вторым и третьим космосом обязательно должна быть какая-то граница, перепонка.

Фигура появилась внизу. Морозно скрипя валенками, шёл из оврага человек. Им оказался не кто иной, как наш Владимир Ильич, бедовый муж тёти Гали. Помню своё и удивление, и одновременно ощущение, что иначе и быть не может в этом очарованном кинешемском пространстве. И радость, что мы встретили Владимира Ильича, словно это доказывало какую-то справедливость вообще: настолько хотелось всех встречать — близких и дорогих, раскиданных по замоскворечьям, солнечногорскам, кинешмам...

Шёл Владимир Ильич шарящейся, низовой походкой, и было что-то в этом нарыске безутешное. Доносило от него водочкой. Под мышкой он держал гармошку, крепко обнимая, прижимал, словно она пыталась рассыпаться... Он остановился:

— Голоса потерял!

И долго говорил с бабушкой и махал рукой в сторону оврага, тёмно черневшего и уже будто висящего где-то в подножье сумрака, смешавшего ориентиры.

Оказалось, Ильич шёл из гостей и в овраге упал настолько сильно и нескладно, что гармошка, державшаяся на нескольких шурупах, развалилась. Выпали голоса, которые он в темноте не нашёл. Он показал на звёзды:

— Такой янец! Не засыпет. Найду завтра!

Дома я всё не мог заснуть: громоздились созвездия и налетала лыжня, множась на копии и бесчисленно сходясь-расходясь. С ночи засыпал медленный и мелкий тягучий снежок. Я, будучи на пике своей лыжной эры, ободрённый снежком, умягчавшим мой спуск, с утра отправился через Кинешму на гору. Всё тонуло в сероватой пелене, городские звуки словно подбило ватой, а фигуры казались обобщённо-чёрными. И на одной улочке вдруг с внезапным грохотом съехал снег с крыши.

Даль, подъём, сосняк тонули в туманчике, снежной крапчатой сыпи. Появилась издали чёрная фигура, она приблизилась, и я различил мешок за плечами. Владимир Ильич в мешке нёс гармошку:

— Пошли голоса искать!

В низине даже под свежим снежком всё было истоптано и изъезжено, и снежок пушисто повторял рисунок. Ильич вытащил гармошку, аккуратно разложил мешок и положил на него гармонь, причём не на середину, а ближе к краю, чтоб осталась свободная часть, которой он прикрыл "струмент". И принялся за дело. На корточках, а то и на коленях медленно снимал снежный пух, снежную заливку, вёл терпеливую вскрышу, убирая пудру с окаменелой пропечатки. Потом и её, твёрдую, принялся прощупывать, вгрызаясь красными пальцами и просеивая меж них снежный песочек. Я, как мог, помогал ему, а он приговаривал:

— Не затопчи, главное, не затопчи... Должны найти... Грят, и иголку в стогу сена находят... Ведь сидит где-то и над нами смеётся.

Я попробовал чистый снег в стороне от вчерашней копанины, и какова была моя радость, когда, всерно взяв рукавицей, я вдруг нашёл металлический блестящий предметик, пластиночку с двумя прорезями, похожую на длинную пряжечку. На последних проходах руки она засинела сквозь пористый снежок. Не веря глазам, я убрал снег. Голос лежал, холодно поблёскивая. Рассеянный свет неба горел на нём ровно и сдержанно, и, казалось, сама музыка, как серебро, пролилась на зимнюю землю и застыла зеркальцем на выстывшем дне оврага.

Ильич тоже вдруг нашёл голос, потом ещё один. Лицо его сияло...

— Никуда не денется... — сказал он весело и сдунул снежок с последнего голоса.

Ильич откинул мешковину, как полость, достал из кармана монетку и отвинтил резную крышку. Странно было видеть шкатулочную бездонность гармошки на фоне оврага, серых кустов, падающего снега. Аккуратно, как рамку с сотами, он вытащил колодку с щербинами недостающих голосов.

Голоса приклеиваются на нагретый воск с добавкой канифоли. Всё было мёрзлое, и я хоть и ничего не понимал в гармошечном деле, но был уверен,

что обрадованный Ильич, убедившись, что все голоса найдены, приберёт их до дома. И было наладили из оврага, но Ильич, не глядя на меня, буркнул загадочно-тихо:

— Да подожди ты! — И засунул колодку с голосами за пазуху под пальто, а голоса стал греть дыханием. Потом достал колодку и положил на мешковину. Пошарил по карманам, зажёл спичку и поднёс к голосу. Блестящее зеркальце шершаво взялось копотью, Ильич додержал быстро чернеющую спичку, лоскуток пламени подошёл под пальцы, и он не отпустил, пока спичка не сгорела полностью. Потом разжал пальцы, и она, чёрная, худоще-кривенькая, упала на снег. Расстегнув пальто, он протёр голос углом рубахи и, поставив на место, прижал. Потом так же прогрел, протёр и поставил второй и третий голоса. Пробормотал, кряхтя и очень тихо, с придыханием:

— Пока так... На холодную...

Потом аккуратно взял колодку меж ладоней и, наружу вывернув локти, погрузил её в гармошкино чрево, а на последнем движении, напряжённо взглянув на небо, кивком отметил, что пришлась по месту:

— Зато сыграем... на горячую... — И подмигнул: — Да, Михась?

А мне не верилось, что она заиграет. Но Ильич сработал мехами, и гармошка запела.

— Подсачивает, — покривился Ильич, глаза которого неуправляемо сияли. Медленнее и крупнее пошёл снег. — Пошли... — грозно и чуть дрогнув голосом, сказал Ильич и, заиграв, начал медленно, в такт снегу, подниматься в гору. Играл он ту самую кантатную мелодию, которая так мне запомнилась в тот вечер у тёти Гали. Что-то близкое к “Зимней дороге” Свиридова, которая теперь окончательно встала на место.

Ильич так и ушёл в снежный просвет под музыку. Пришла бабушка с проверкой округи — и потерянных голосов, и меня, и погоды. Перестал снег, и мутно пробилось солнышко. На его фоне тёмно гляделись остатки снежной крошки, с разворотом летящие из поднебесья. Под ногами всё рельефней проступали лыжные следы. Я съезжал с горы с громким воем. Бабушка спросила, зачем я вою, и я сказал, что “для грандиозности”.

8

Когда я подрост, бабушка устроила нам поездку до Астрахани туда и обратно на трёхпалубном и точно астраханском пароходе. Поход начался в конце мая и длился в оба конца дней двадцать.

Бабушка писала: *“На улице солнце, но ветер. Холодно. Ночью несколько раз ходила смотреть шлюзы. Соловьи пели со всех сторон. Сейчас берега интересные, а потом будет очень широко и скучно. Денег хватит. Проедаем не больше 3 р. в день, а то и меньше — порции огромные. Мишка изучил весь пароход и пока больше ничего не делает. Вечером в 7 часов 30-ого будем в Кинешме”*.

А я писал в письме школьному другу Ваське: *“Сперва мы 12 часов плыли по каналу. Пожалуй, самое интересное было шлюзы. Мы подплываем ко вторым воротам, тем временем первые ворота закрываются за нами. Мы пришвартовываемся к таким штукам на рельсах в стене. Воду спускают, и мы с этими штуками опускаемся до нужного уровня. Здесь полно чаек, сизых и серебристых. Видел даже крачку. Сейчас на Волге ветер — барашки... Проехали шлюзы. Бабушка дала читать “Годунова”. Письмо отправлю в Угличе”*.

Храмы, монастыри, памятники казались моими личными заметами, чем-то обычным и должным, и потом только выяснялось, насколько каждая из них единственна и общеизвестна. Запоминалось всё порой в запутанном порядке: знаменитую и многострадальную церковь в Бармине за Нижним я запомнил, будто она чуть ли не на въезде в Волгу. Увидев силуэт церкви с колокольней, я спросил про неё у высокой пожилой женщины с девичьим каким-то пучочком. Она гуляла по палубе и необыкновенно охотно ответила: “Это Бармино”, — причём тоном, как у бабушки, — когда названием всё объясняется. Меня удивило, что она мгновенно назвала первую попавшуюся

церковь, и было непонятно: то ли она всю Волгу так знает, то ли одно это место.

Следующим впечатлением была Калязинская затопленная колокольня, стоявшая среди вод мрачно и чуть косо. Дул ветер, и её низ был сумрачно и сыро захлёстан волной. Дальше — Углич с храмом Дмитрия на Крови. Потом помню Кинешму.

Опершись на деревянный брус, я часами простаивал у ограждения палубы в компании молодого ещё человека, казавшегося мне матёрейшим дядей. Он недавно закончил речное училище, и я его мучил судовыми и речными вопросами, на которые он отвечал негромко и наставнически подробно. Я спросил, почему на нашем теплоходе две трубы, и он ответил, что одна настоящая, а другая фальшивая, сделанная для вида. Говорили мы и про Кинешму, и про площадь, на которую мне обязательно надо попасть... Когда пришли и начали швартоваться, речник негромко сказал:

— Ну иди, иди. Посмотри на свою Кинешму.

Дальше был Горький, который бабушка звала Нижним. В Нижнем я проснулся от странной музыки — хорового пения, льющегося мелодично, ритмично, с медными подголосками. Оказалось, работает земснаряд, а мы стоим на рейде напротив города. В Нижнем бабушка стремилась в два места: к монастырю и в музей Пешкова. Алёша Пешков нравился ей своей мальчишеской тягой к книге. И она повторяла торжественно:

— Ну, Лексей, ты — не медаль, на шею у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди.

Звучало это и мне в упрёк, — мол, у тебя-то, слава Богу, до этого не доходит, так что знай, как бывает! И цени. Музейный домишко выглядел домашне — с деревянным, низеньким подворьем.

Потом последовал Волгоград с Мамаевым курганом, который мы подробно осмотрели весь, хотя, кроме фигуры Родины-Матери и стен-руин, я ничего не запомнил. Чебоксары привиделись мне выше Волгограда и запомнились благодаря зеркально-золотистому значку, купленному бабушкой у пристани. Я собирал значки, которых накопилось с горсть, но этот мне нравился особо. Золотистый фон, коричневые буквы, а сам зеркальный, и когда под небом — с отдачей в синеву.

Кругом все окали, и я тоже начал снова окать, имея врождённую чувствительность к говорам, в которые погружался с головой и, которые, воротясь в Москву, берёг в пику столичности.

На пароходе, добавляясь и сменяясь, ехали дети. Царило слоняние по салону и палубам, выбирание какого-нибудь матроса-кумира и хождение за ним по пятам. В салонах обязательные шашки, в которые я настропалился играть, и с такой скоростью обставил глухонемого молодого дядьку, что тот порывисто сгрёб шашки и ушёл. Был он чёрный, усатый и с густой чёрной щетиной.

Запомнилась ещё занозистая черноглазая девчонка с хвостиком. Как-то мы, бегая, потерялись с моим товарищем, и она, сползая вниз по поручню трапа и нависая надо мной, выпалила:

— Иди, он на третьей палубе, твой соперник!

Чем ближе к Астрахани, тем больше боялась бабушка холеры и мучила мытьём рук. В Волгограде зазвучал гхакающий говорок, который я немедленно и не в первый раз перенял, и, гуляя по Астрахани, говорил бабушке, как здесь много “гхорлиц”. Матово-бежевые кольчатые горлицы с тёмной рисочкой на шейке бегали, семена, под акациями по раскалённому асфальту. Жёлтый песочный свет был разлит над городом.

На обратном пути вырос вал на огромном Куйбышевском море. Пароход покачивало, и эту небольшую, но настоящую и первую в жизни качку я и изо всех сил выщупывал, сливаясь с палубой, и будто участвовал в ней, всем телом добавляя размаха. Второе посещение Кинешмы в памяти не отложилось. Зато команды “Отдать швартовы!” и торжественное “Прощание Славянки” на каждом отходе от пристани стали привычно-родными. Так же, как и кормление чаек с кормы, и бесконечные разговоры у поручня с моим

другом-речником: про города и пароходы, из которых мне больше всего нравились колёсные “Помяловский”, “Станюкович”, “Писемский”.

Хорошо легли на душу и волжские города — привычно родным стало устройство: набережная, площадь, торговые ряды, монастырь. Хотя музейное, монументальное, историческое до меня не особо доходило и больше запомнилось ближнее, людское.

Ехал благочестивый бородатый дед с подростком послушнического вида, худощавым, узколицым и веснушчатым. Бабушка говорила, что дед, видимо, священник. Обедавший с нами полковник скалозубского обличья назвал деда “поповатым”, а бабушка обиделась.

Был ещё парнишка в чём-то чёрном, истрёпанном, татарин или чуваш, веснушчатый, круглолицый, похожий на Мустафу из “Путёвки в жизнь”. Он был постарше и, будто отвечая за меня, поучал: “Надо масла есть, масла есть”. А я не понимал: масло или мослы. Был он разговорчивый, несуразный и совершенно раненый, безденежный, видно, сирота.

У бабушки он так описан: *“От Горького едет татарчонок лет 16-17. Был там на операции. Живёт в Куйбышеве, скоро доедет. Мишка с ним подружился. Он знает места и всё показывает. Едет голодный-холодный. Дали ему рубль: он вчера поужинал. Сейчас Мишка послал его завтракать — у него ещё осталось 40 коп. Всё это Мишку волнует. Хорошо. Я не вмешиваюсь”.*

А у меня так в письме: *“До Куйбышева я подружился с одним татарским парнем. Он ехал из Горького из больницы без копейки денег. Я дал ему рубль. Он вышел в Куйбышеве. Он работает на заводе и учится в вечерней школе. Я подарил ему переливающийся значок, курил ему мороженого и сока. Когда наш пароход отчаливал, он стоял на пристани и плакал”.*

По прошествии лет смотрю на Волгу издали и будто чуть сверху. Город с церквами, Торговая площадь с розовато-творожными домишками, пристань и ещё что-то белое, заветное на реке — не то льды, не то остатки тумана. Не то Стенькины паруса... Сильнее разгоняет клочья крепкий ветер, вздувает ребристую рябь, и вижу: буксир ведёт баржи пыжевым счалом, а за ними то самое белое и несбыточное — длинный пароход с колёсами и коптящей трубой. На палубе капитански стоит бабушка в плаще и с поднятым воротом, щурит глаза и курит “Прибой”. Играет “Славянка”. А я бегу к Кинешемской набережной с криком: “Астраханский! Астраханский!”

АЛЕКСАНДР НЕСТРУГИН



РАВНИННОЕ

* * *

Родник иссох? Не бери
Слепую жажду гневной лирой.
Нет родника — в себе найди;
Не смог — в себе колодец вырой!

Берись немедля за дела!
И — за венцом венец — до края...
И ты поймёшь, как тяжела —
В тебе самом — земля сырая...

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЧУХОНЦЕВА

*Прости мне, родная страна,
За то, что ты так ненавистна...*
О. Чухонцев

Так безыскусно начинал писать...
И нынче там живёт, со мной не ссорясь,
Сечёт капусту Павловский Посад
И огурцы в большой кадушке солит.

НЕСТРУГИН Александр Гаврилович родился в 1954 году в селе Скрипниково Калачеевского района Воронежской области. Стихи и эссе публиковались во многих литературных изданиях России и зарубежья. Автор десяти книг поэзии и прозы. Лауреат премии им. В. Кубанёва (1988), всероссийской литературной премии "Имперская культура" им. Э. Володина (2008), международного литературного конкурса им. А. Платонова "Умное сердце" (2012). Член Союза писателей России. Живёт в райцентре Петропавловка Воронежской области.

А сам поэт — за строчкою-межой,
Где вороньё со всех сторон слетелось.
Поэт хороший, что там! Но — чужой.
Так долго в это верить не хотелось.

* * *

Сумерки сердцу не врут
Старой приметой этой:
Селезни крыльями рвут
Воздух, ещё не прогретый.

Возле реки не броди:
Сердце измучают ночью,
Не приживаясь в груди,
Рваного воздуха клочья.

* * *

Пока к большой воде несусь
Бумажной радости кораблик,
Душа скитается в лесу,
Ещё безлиственном... Как зяблик,

То примется порхать она,
То стихнет, вслушиваясь чутко...
Забыв, что ястребу видна
Зарёй обрызганная грудка.

НИКОЛАЙ КРУПИН



БЕГИ, ДЕД, БЕГИ!

РАССКАЗЫ

ОКУНИ

1

Если в нашем доме появлялась крупная речная рыба, мой отец почти всегда вспоминал при этом один эпизод из своего детства. Подростком случилось ему поймать на удочку в нашей речушке два больших окуня. Для тринадцатилетнего мальчишки большая удача. Он замотал рыбин в рубашку и побежал домой — не терпелось показать свой улов деду. В горячке радости забыл отец, что прошедшей зимой дед Антон совсем ослеп — только свет да тьму и различал. К тому же “отнялись” ноги, и он, всегда теперь сидя или лёжа на печи, “грел” их. Так, говорил, они меньше ныли.

Богатый дед Антон — пять внучков, а любимым был мой папа. Отец рассказывал, как он себя маленького помнит, — всегда около деда крутился, а тот брал его и в лес по грибы, и на рыбалку. Когда-то я видел очень

КРУПИН Николай Дмитриевич родился в 1954 году в селе Смольково Иса克林ского района Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности “инженер-механик” и Куйбышевский государственный университет по специальности “историк”. Работал инженером, преподавателем. Был частным предпринимателем. В настоящее время пенсионер. С 1974-го по 1978 год — активный участник движения авторской песни, сейчас — “домашний” бард. Рассказы печатались в журналах: “Русское эхо” (Самара), “Чайка” (СПА), “Смена” (Москва) — первое место в литературном конкурсе за 2018 год, “Урал” (Екатеринбург), “Эдита” (Германия), “Дальний Восток” (Хабаровск). В самарских издательствах вышли две книги — “Польский джаз в сельском клубе” в издательстве “Самарская губерния” и “Рассказы” в издательстве “Русское эхо”. Живёт в Самаре.

давнюю фотографию: дед сидит на стуле, внук стоит сбоку от него. На снимке видно, что дед ещё здоров. Он спокойно и строго смотрел в объектив фотокамеры. Лицо иконописно: высокий лоб, большие глаза, прямой тонкий нос и борода — чёрная, очень аккуратная. Отцу на фотографии лет десять. На голове — чуть сдвинутая набок фуражка, на лице — едва заметная улыбка. Наверное, фотограф попросил улыбнуться.

Но вот прошло три года, и дед Антон молча сидел на печи — ждал, когда смерть заберёт его в иной мир. В мир, где он будет и видеть, и ходить. Может, дед в этот мир не верил, а просто ждал, когда же он уснёт — счастливо и навечно...

Отец подбежал с окунями к деду и осёкся — вспомнил, что тот своими глазами ничего уже не видит, — но всё же нашёлся, что сказать:

— Я таких окуней больших выловил!

— Дай их мне, — попросил дед. И, взяв у внука уже уснувших рыб, стал водить по ним руками, оценивая их величину.

Он сидел на печи, голова обращена к окну, в сторону, откуда шёл свет. Отец смотрел, как сухие жилистые руки деда трогают окуней, и ждал похвалы: за выполненную работу, за учёбу дед всегда хвалил. Но сейчас почему-то молчал. Отец поднял глаза и посмотрел на лицо деда: нижняя губа слегка дрожала, а из открытых, ничего не видевших глаз ручьями лились слёзы. Дед не хотел своим плачем расстраивать внука — вот и молчал. Но через некоторое время всё же сумел совладать с собой и похвалил:

— Хорошие окуни! Наверное, с мои лапти будут!

Этот эпизод из своего детства мой отец запомнил отчётливо и навсегда. И уже взрослым, вспоминая и деда Антона, и окуней, не переставал удивляться и волноваться:

— Он гладил окуней, а всё лицо его было мокрым от слёз!

В конце того лета дед Антон умер. А ещё через год окончилось детство моего отца. Он закончил сельскую “семилетку” и в четырнадцать лет стал работать в колхозе на колёсном тракторе СТЗ. Мужчин в селе не было. Шла война.

2

С той поры прошло много лет. По годам отец пережил деда Антона уже на двадцать лет. Но, несмотря на свой почтенный возраст, был ещё бодр и здоров: содержал большой дом в селе, ухаживал за мамой — она последние годы сильно болела. Смерть подбиралась к нему медленно и осторожно, как хищник за добычей.

С приходом очередной, последней для него весны отец как-то сразу сдал, а к осени совсем занемог: он плохо и с трудом ходил — ноги не слушались головы, путались мысли... В городе, куда я его привёз на лечение, нашёл-ся он категорически отказался. Пришлось отвезти отца снова в село и нанять сиделку — она же медсестра. Сиделка выполняла лечебные процедуры, назначенные городскими докторами, ухаживала и за папой, и за мамой.

Однако ни дорогие препараты, ни процедуры, к большому огорчению, не помогали — отцу становилось всё хуже и хуже.

Как-то, уже вечером, я позвонил сиделке и услышал от неё, что отец весь день не ест и не пьёт, лежит, повернувшись лицом к стене, не разговаривает. К тому же поднялась температура — почти под сорок.

Упало сердце.

— Это всё! — подумал я.

Но утром произошло чудо — температура спала, отец, проснувшись, попросил поесть и даже улыбнулся. Радость захлестнула меня, появилась надежда. И что я только не представлял: ранней весной мы приедем с сыном и выставим улы; а когда станет совсем тепло и зацветёт верба, приведу отца на пасеку, усажу его на стул, и он будет с радостью смотреть, как пчёлы, покидая улей, дружно летят на “взятку”. Сердце пчеловода возрадуется!

— Дайте ему телефон, — попросил я сиделку.

— Пап, ну, как ты себя чувствуешь?

Я ожидал услышать знакомый и родной голос. А услышал тихий, сдавленный, доносившийся то ли издалека, то ли из-за толстой глухой стены, чужой полуголос-полушёпот:

— Нормально...

Я слышал, как сиделка громко сказала отцу:

— Ну, вы скажите ему, какое у вас настроение, что ели...

В трубке было молчание. Я стал что-то говорить. Говорил для того, чтобы отец услышал мой голос, говорил для того, чтобы его как-то подбодрить. Говорил то, что в подобных случаях говорят своим близким: что, конечно, он выздоровеет, что мы ещё с ним сделаем и то, и то... Я делал паузы. Но обратной связи не было — телефон молчал. Наконец сиделка прервала мой монолог:

— Он плачет, — тихо, чтобы отец её не слышал, сказала она.

Только два раза я видел, как плакал отец, — он не был ни сентиментальным, ни слезливым. Но сейчас, наверное, он понял, что с ним происходит, и не смог пересилить свою душевную боль. Я представил, как он беззвучно плачет. Беззвучно, чтобы не расстроить меня — своего сына. И... я тоже не смог сдержаться. Разделённые двумя сотнями километров, мы — отец и сын — держали в руках телефоны и беззвучно плакали, чтобы не расстраивать друг друга...

На следующий день я приехал к родителям. Отец лежал в своей комнате на кровати. Ходить он уже не мог. Тело не слушалось его. Он мог только двигать руками, но координации движений у рук не было. Увидев меня и услышав мои слова приветствия, отец что-то сказал — он пошевелил губами, но я ничего не расслышал, — потом повернул голову к стене и закрыл лицо рукой. Тело его задрожало...

Душевные страдания его были невыносимы для меня: я был рядом с любимым человеком, но не мог ничем помочь ему, не знал, какие слова сказать. Мама лежала тут же на соседней кровати. Ничего не говорила. Смотрела перед собой, и взгляд был сух и безразличен. Я понял, что это безразличие за пределами уже выстраданного.

Через два дня отца не стало.

Он умер в солнечный октябрьский день. А вот день похорон выдался дождливым.

Ещё при жизни отец просил похоронить его на кладбище нашего родного села — более сорока лет назад мы с родителями переехали и стали жить неподалёку, в большом посёлке. Это километров двадцать по грунтовой дороге.

На кладбище прощались с отцом спешно. Дождь разошёлся, и на обратной дороге мы могли бы безнадежно завязнуть в грязи. Я подошёл к отцу, чтобы навсегда проститься с ним. Всё его лицо было мокро от дождя. Или это были его ещё не высохшие слёзы, когда он беззвучно плакал, прощаясь с жизнью, прощаясь со своими любимыми людьми?..

3

Домой с похорон мы вернулись под вечер. Дождь прошёл. Поднялся ветер. Он дул с Запада, растаскивая и разрывая облака. За лесом, не видимое мне, заходило за горизонт большое красное солнце. Далёкий горизонт был уже свободен от облаков, и края выгнутых ветром тёмно-серых туч становились красно-розовыми от солнечных лучей, и сами тучи тогда становились похожи на больших серых рыб с красными плавниками. Подняв голову, не отрываясь, я как замороженный смотрел на эти облака. Они быстро плыли по небу в сторону нашего родного села. И представил я, что там, за лесом, стоит большой, прозрачный, как привидение, дед Антон и из своих сухих жилистых рук пускает по небу больших окуней, направляя их в сторону своего родного села. Чтобы эти рыбы проплыли медленно и величаво над нашей Родиной — над её лесами, полями, речкой и над кладбищем, где теперь зарыт и его внук.

Первый раз я услышал историю про окуней и плачущего деда Антона, когда мне было лет десять-одиннадцать. Мы тогда ещё жили в своём родном селе. И хорошо помню, при каких обстоятельствах это произошло. Я приехал с рыбалки и привёз добычу — двух здоровенных окуней. Дело было в июне. Я договорился с двумя товарищами порыбачить в нашей речке — пескарёй половить. Но Толян — самый старший из нас — настоял, чтобы мы поехали на велосипедах на большую речку. Там я и выловил этих рыб. Моё появление в доме с двумя большими окунями вызвало не изумление, а, скорее, нездоровое оживление. У нас тогда гостил младший брат отца — он жил в городе и приехал в отпуск. Был он страстным рыбаком, но мой дед нагружал его домашней работой, и рыбалка каждый день откладывалась. Увидев окуней, дядя почти закричал, обращаясь ко всем, кто в то время был в доме:

— Маленький пацан ловит такую рыбу, а я здесь сижу, как дурак! Всё! Завтра на рыбалку!

Никто не сказал ему ни слова против — было видно: его не удержать. У соседа взяли напрокат мотоцикл; дядя с отцом не спеша ехали на нём за мной, а я ехал впереди на велосипеде, показывая дорогу. Сейчас я понимаю, почему мой отец, к тому времени равнодушный к рыбалке удочками, тоже решил поехать за окунями. Ему так хотелось снова поймать на удочку больших окуней и снова показать их — пусть в мечтах — своему любимому деду и услышать от него слова похвалы. Увы, клёва не было. Что только отец не делал: забрасывал удочку рядом с камышами около берега, забрасывал на середину омота, где хищники охотились за мальками, но рыба не ловилась.

Вечером, после нашего приезда с неудавшейся рыбалки, услышав рассказ про окуней и деда Антона, я с любопытством и завистью спросил отца:

— А что, у нас в речке окуни водились?

— Водились, да ещё какие! И лини были, и щуки.

С семи лет я окончательно и бесповоротно “заболел” рыбалкой. И в истории, рассказанной отцом, меня тогда, в первую очередь, заинтересовали окуни. Их к тому времени в нашей речке не было, как не было ни линей, ни щук. Приходилось промышлять мелкую рыбёшку, а так хотелось ловить крупную рыбу! Куда же она исчезла?

— Я как из армии пришёл — ни окуней, ни щук, ни линей в речке нашей уже не водилось, — вспоминал отец.

После смерти родителей я разбирал бумаги, оставшиеся в шкафах. Книжки, документы, фотографии. И мне попадалось очень много листков, исписанных отцом. На листках он писал адреса и телефоны родственников и знакомых. С годами память становилась хуже, он понимал это и заполнял вот такие листки — так он страховался, на случай, если забудет что-то. Попадались листки с ещё очень приличным почерком, а записи, сделанные незадолго до его смерти, разобрать совсем трудно. Листок вот с таким неразборчивым почерком я и держал в своих руках. На мятом тетрадном листке в клетку написаны уже много раз повторяющиеся на других листках телефоны и адреса родственников. Писал отец обычно на одной стороне листа. А этот лист я решил перевернуть. На обратной стороне, посередине листа я обнаружил одну короткую запись: “Дед Антон умер такого-то месяца, такого-то года”. Я едва разобрал эти слова. Может быть, это последнее, что отец написал.

После смерти отца прошла зима. Май выдался холодным и дождливым — потеплело только к июню. В моих родных краях подсохли грунтовые дороги. В это время я и поехал в своё родное село. Успокоившаяся немного

за прошедшее время душа моя вновь пролилась слезами, когда я пришёл на могилу отца. Говорят, время лечит душевные раны, и боль душевная становится не так остра. Но что поделать: любимый человек навсегда ушёл в другие миры, и осталась в сердце пустота, которую уже ничем не заполнить. Вот и изливается душа слезами, чтобы заполнить эту пустоту, но — тщетно...

С кладбища хорошо видна речка. Она извилисто тянется вдоль гряды высоких гор и обозначается зеленеющими кронами вётел и ольшаника. Святые для меня места! Каждое лето я стремлюсь сюда, чтобы пройтись вдоль речки, умыться лицо её светлой, прохладной водой и, не вытирая лица, подставить его горячему летнему солнцу.

И я снова, в который уже раз, иду по её берегу, по зелёной траве; смотрю на её перекаты и плёсы, смотрю, как ветки ивы купаются в реке.

Неожиданно из-за поворота реки вышли три человека. По виду — деревенские мужики: двое, как говорят, в возрасте, третий — совсем молодой парень лет двадцати. Парень шёл налегке, двое других — с поклажей: один мужик нёс рыбацкую снасть — небольшой бредень, другой — чёрную кирзовую сумку. Я решил пошутить. Сделал сердитое серьёзное лицо и официальным голосом остановил рыболовецкую бригаду:

— Здравствуйте! Я инспектор рыбнадзора! Что, браконьерство?

Мужики остановились. Те, что в годах, растерялись. Молодой их спутник внешне никак не отреагировал. Я подошёл к ним поближе.

— Да какое там браконьерство?! — Мужик с виноватой улыбкой открыл сумку и показал мне улов. На дне сумки было не более двух пригоршней мелкой рыбёшки: пескари, огольцы, уклейки.

— Что же вы так?! — с укором воскликнул я. — Рыба, что ли, в речке перевелась?!

Мужики поняли, что никакой я не рыбнадзор, и заулыбались. Парень что-то буркнул с недовольным лицом.

— Два часа лазили! И вот — на тебе!

Мужик встряхнул сумку. И я увидел! — наверху оказались две небольшие серые рыбки с красными плавниками.

— Погоди! Погоди! Это же окуни! А их, я помню, в этой речке не было! — удивился я.

— Не знай! Вот первый раз попались. Сроду я их здесь не ловил, — сказал тот, что с сумкой.

— Да были они раньше! Только давно — до войны. Мне дед рассказывал. И другая крупная рыба была, — возразил мужик с бреднем.

— Что же вы таких маленьких взяли?! Пусть бы подросли.

— Не мы — так другие возьмут. Сейчас жизнь такая: если не ты — другой ухватит, — зло стрельнул глазами молодой рыбак.

Окуньки из последних сил медленно раздвигали жабры. Мужик решительно взял рыбёшек в руку и бросил их на середину речки. Несколько секунд окуньки лежали на поверхности воды неподвижно. Потом один быстро задвигал плавниками и стремительно ушёл в глубину, второй лениво поплыл по поверхности.

— Ничего, отойдёт, — сказал про второго окунька мужик с бреднем и, обратившись к парню, воскликнул, — а ты такой ещё молодой, а уж, прости Господи, злой и скупой, как моя старуха!

Пожелав хорошего улова, я попрощался с рыбаками.

Мужики двинулись дальше вверх по течению реки и вскоре стали спускаться к руслу, расправляя свою нехитрую рыбацкую снасть.

СЕНОКОС

С утра и до обеда мы возили сено с ближних паёв. От окраины села и до леса — а это километра два — тянется большой овраг; на пологих склонах его растёт густая трава. Здесь и косить начинают пораньше, и сохнет трава быстрее, чем на лесных полянах или около леса, потому как круглый день на солнце да на ветру. Вот отсюда и возили.

Мы сделали три “рейса” на лошади — привезли, как тогда говорили, три колымаги сена. Ездили втроём: мой дед, ещё не старый тогда мужик шестидесяти лет, одноногий (ноги по молодости лишился), дядя Саша — ему сорок лет было, он старший сын у деда с бабушкой, жил в районе, но всегда на два-три дня приезжал помогать в заготовке сена, вот и в этот раз — сначала приезжал косить сено, а теперь приехал сено перевозить. Третий — это я, подросток пятнадцати лет.

Ещё совсем недавно мы с родителями жили с дедом и бабушкой в этом селе, а потом переехали в большое животноводческое хозяйство. Но каждый год во время сенокоса я помогал деду в заготовке сена. Это было для меня святым делом. Да и удовольствие от сенокоса я получал: главное для меня была косьба, я испытывал чувство гордости, когда, встав в ряд со взрослыми и опытными косцами, широко и сильно махая косой, ни на шаг от них не отставал. С сочным хрустом валился срезанный моей косой густой пырей. И напрягаясь, чтобы коса шла ровно, чтобы не отставать от идущего впереди, я чувствовал силу мышц от пяток и до шеи...

Осталось перевезти сено с дальних паёв. Тут для перевозки нужна была бортовая машина. На лошади не получалось — и далеко, и в одном месте подъём крутой, без механической силы не обойтись.

Ещё вчера дядя Валя — это младший сын деда, молодой мужик лет двадцати семи, жил в этом же селе “примаком” у тестя — ходил к председателю колхоза просить машину. И председатель машину дал, правда, с оговорками. Но его понять было можно — как раз начиналась уборка зерновых, а в колхозе тогда имелось всего четыре грузовые машины ГАЗ-51. Не до жиру — в середине 60-х годов сельхозтехники в сёлах было мало. И машину дал с условием: перевозить сено только вечером после работы.

Как пришёл дядя Валя после разговора с председателем к деду, так все домашние сразу разволновались, занервничали: вдруг что-то не заладится — машина сломается или срочно для колхозных дел потребуется, шофёр вина выпьет лишка... И каждый по поводу предстоящей поездки за сеном высказывал свои опасения. Да и как иначе? Это важное событие для сельской семьи. Десятилетиями помнили мои домочадцы, как сено в тот или иной год привозили: и как в грозу попали, и как с горы крутой чуть в речку не сорвались — много чего случилось...

Совсем недавно я проезжал на своей машине по памятным сенокосным местам. Трава стояла выше колен. И никто её не косил. Совсем не осталось коров на личных подворьях. В сельском магазине покупают мои земляки в картонных коробках порошковое молоко. Говорят — хватит, наломали спины; а которые вздыхают — непорядок это, при таких травяных угожьях бог знает какое молоко пить, которое и молоком-то не пахнет.

Чуть ли не тридцать лет прошло, как кончились мои сенокосы. Но многие эпизоды тяжёлой, но и радостной для меня сенокосной поры помню до сих пор отчётливо. Вот и тот вечер, когда привозили сено с дальних паёв, помню хорошо.

Приедет или не приедет машина, гадали все. И я хочу каждому дать слово. И первое слово дам человеку, которого в то время уже не было с нами. Два года назад умерла моя прабабушка. Я оплакивал её уход в мир иной, как взрослый. Для меня она навечно осталась в памяти живой. Может, потому, что это был первый близкий и любимый человек из нашей семьи, который ушёл от меня куда-то навсегда.... Вот я приезжаю в свой отчий дом, а она меня не встречает на крыльце. Значит, умаялась и лежит, греет ноги на печи или, ругая незлобно ленивую современную молодёжь, дёргает сорную траву в огороде... Но она, безусловно, где-то рядом — а где же ей быть ещё?! Не на кладбище же под крестом с табличкой “Спи спокойно бабушка”? Эту табличку её внук дядя Петя сделал на заводе из нержавеющей стали. И она пятьдесят лет висит, прибитая к дубовому кресту. А у меня все эти пятьдесят лет две претензии, — конечно, несерьёзные — к дяде: почему только “бабушка”, она была тогда кому-то и мама, и прабабушка; и другая претензия: почему запяточку не поставил? Учила дядю правилам русского языка в школе моя мама.

Какой была моя прабабушка в расцвете лет, я не знаю, а вот к концу своего жизненного срока стала пессимисткой:

— Нонче ведь ни на кого надёжны нет — все мужики только и знают в рюмку глядеть.

При этом стояла или сидела бы она в сторонке и сказала всё это в момент, когда разговоры остальных членов семейства на время закончились и возникала пауза. Сказала она это тихо и с сожалением. Но так, чтобы все услышали её слова.

Мой дед — её зять — на это сразу бы отреагировал, резко и с нажимом прикрикнув:

— Хватит заранее причитать! Нытьём своим беду накличешь!

Я знаю, почему так зло отреагировал дед на слова прабабушки. Дело не в нытье и не в причитании — дед до недавнего времени был большой любитель выпить. И он скрытый намёк в свою сторону разглядел сразу.

После окрика деда прабабушка опустит голову и пойдёт, согнувшись сильнее, чем обычно, куда-нибудь в дальний уголок или полезет на печку. При этом тихо и скорбно скажет:

— Ну вот, опять не угодила...

Всхлипнет, чуть задрожит нижняя губа...

Так бывало. Почти всегда, когда решались важные семейные дела. А прабабушка когда-то была самой главной, и даже муж её, мой прадед, взял при венчании её фамилию.

Но в тот вечер прабабушки уже не было, а может, она спала тихонько на печке — кто знает...

Самым большим оптимистом был дядя Валя:

— Всё нормально будет! Что вы тут... — И обязательно скажет какое-нибудь крепкое непечатное слово. — Витёк не подведёт, и никуда его не пошлют. Вы молитесь, чтобы дождя не было!

— Какой тебе дождь! — воскликнет бабушка. — И признаку никакого нет! И на завтра ведро обещали по радио.

— Нам по радио коммунизм скоро обещали, а пока и признаку никакого нет. Только из колхоза стали больше тащить. А что, может, это и есть коммунизм?

Оторвёт от газеты голову дядя Саша, самый грамотный и начитанный человек в этом доме:

— Ну, что вы за люди? Не приедет сегодня — завтра приедет. Каждый год вы нервы друг другу треплете, а сено хоть раз оставляли на зиму около леса?

Ну, тут все на какое-то время приумолкали. Тем временем солнце начало терять яркую желтизну, и появлялись на огромном небесном светиле едва заметные оттенки розового цвета. Словно сговорившись, все в избе молчали: не дай-то бог каким нечаянным словом сглазить важное дело. Дядя Валя вышел за дом и стал смотреть на дорогу.

— Вот видите, я же говорил, что Витёк не подведёт! — На другом конце села поднялась пыль на дороге.

Я удивился интуиции своего дяди:

— А откуда ты знаешь, что это Виктор?

— А кто же ещё?

И дядя подробно рассказал, где сейчас находятся остальные три машины и чем занимаются их водители. Помню, я удивился его осведомлённости:

— А откуда ты всё это знаешь?

— Это деревня, Колёк! На одной стороне села бабка пукнет, а на другой уж обсуждают: заболела она или так — зорует.

— Ну, чё, поехали? — небольшого росточка, худощавый, подвижный молодой мужичок в фуражке набекрень, в огромном сером пиджаке выскочил из кабины и тут же, открыв капот, стал заглядывать с интересом в нутро механизма. Смотрел подозрительно, то и дело помахивая головой, словно сомневаясь в его способности совершить предстоящую работу.

Немедленно к машине вышли все домашние и стали здороваться с водителем — степенно, по имени обращаясь к нему. А он, не оборачиваясь, коротко бросал — “здрате, здрасте...”

Только тронулись — слышим, дед кричит:

— А гнёт-то!

— Да ладно, бать, там срубим! — крикнул дядя Саша.

— Што болташь! Где ты там срубишь?

Деда с собой не взяли. В кабину с водителем уселись мы с дядей Сашей, а дядя Валя поехал на мотоцикле впереди нас — он должен был заехать за дядей Толей — нашим всегдашним помощником в этом трудном деле — молчаливым, крепким, жилистым мужиком, по возрасту ровесником дяди Саши.

В кабине машины сильно пахло бензином, под ногами туда-сюда перекатывались какие-то железки, видимо, запчасти. Гнёт в кузове громыхал, его бросало из стороны в сторону. В открытые окна кабины врывался предвечерний воздух сенокосной поры с запахами сухой травы, ароматами ещё не отцветших трав, свежестью реки, что протекала неподалёку. Я так хотел сидеть у окна, но это престижное место без лишних слов занял дядя Саша. Словоохотливый и контактный человек, он первым начал разговор:

— Загрузить бы машину побыстрее и доехать засветло.

Витёк молчал.

— А то в прошлом году шабёр наш Федя в темноте наперекосьяк сена наложил на машину — она у него набок упала.

— Чё-то я такого не помню! — подал голос водитель.

— Да ты что! Заново перекладывали. Ещё хорошо, что его сын на мотоцикле был — светил, а то не знаю, как бы они справились. На двор приехали в первом часу ночи. Кто дома остался, чуть с ума не сошли.

— Ты такие разговоры брось — накаркаешь!

— Накаркаешь...

Я нутром почувствовал, что дядю задело такое к нему обращение, и он хотел уже начать назидательный и поучительный разговор о чистоте русского языка и деликатности, но с трудом воздержался: шофёр в селе фигура неприкасаемая, и без особой надобности волновать его не следовало. И дядя Саша перевёл разговор о заработках механизаторов на селе, а потом стал о своей непростой судьбе рассказывать — это была его самая любимая тема. Шофёр больше молчал. Думаю, что он и не слушал дядю, а думал о том, чтобы побыстрее развязаться с нашим делом, получить своё и уехать домой. Дорога, если добираться на машине, недлинная, но ехали не спеша, и дядя сумел намолоть слов немало...

Косить я научился рано — лет в одиннадцать. Очень хорошо помню, как первый раз пришёл с косьбы. Бабушка ужин ставила на стол, а я, выпив залпом кружку холодного кваса из погреба, упал от усталости на кровать. Да так, видно, крепко уснул, что трогать меня пожалели. Утром бабушка стала меня будить, а я говорю, что, ужинать? Нет, смеялась бабушка, завтракать. Я хотел встать, а не мог — всё тело болело. Дядя Саша сказал: ничего, разойдётся — всегда так бывает первый раз. И действительно, разошёлся. Косьба — работа тяжёлая, мужская, но порой и бабы косы в руки брали, а что делать, если мужик один не управляется или его, мужика, вообще в доме нет.

А вот сгребать валки, складывать копны — это уж женское и ребячье дело. Плохо, если дожди во время сенокоса зарядят — каждый день надо валки переворачивать, чтобы сено не сгнило. Для меня эта работа — муторная и бесполовая — была, как нож в сердце. А в целом — тяжёлое это дело, сенокос. В те годы городские родственники приезжали помогать сено заготовливать. Раньше это было в порядке вещей. Потом уж, как в стране нашей капитализм начался, почти перестали городские приезжать. Что сказать? Каждый за себя...

По правую сторону от машины раздался звук, похожий на шум идущего на взлёт "кукурузника". Это догнал нас на мотоцикле дядя Валя. Дядя ехал без головного убора, прямо держал спину и заметно, на публику, лихачил. А что? Он ещё молодой мужик был. Дядя Толя сидел в люльке.левой рукой он держался за край люльки, а правой поддерживал фуражку. Со стороны было похоже на то, что дядя Толя принимает военный парад. Дядя Саша словно угадал мои мысли:

— Во! Авангард Кантемировской дивизии.

Я рассмеялся. Витёк никак не отреагировал на шутку.

Дорога пошла под гору. Открывался вид на широкую долину небольшой речки. Когда-то вдоль неё стояло несколько небольших сёл. А сейчас два или три дома с выставленными ставнями пустыми глазами глядели в вечерние сумерки.

Солнце наполовину уже скрылось за горизонт, когда мы начали нагружать машину сеном. Работали споро и скоро, домой приехали ещё засветло. Солнце скрылось, но закат алел. Его розовый цвет мешался с пылью, которую поднимали мотоциклы местной молодёжи и грузовые машины — свои и из других сёл. Над порядком села стоял серо-розовый шлейф пыли.

Дед стал настаивать на том, чтобы сразу с машины сено уложить в омёт. Дяде Вале было неудобно пред шофёром: это немалое время — сооружать омёт, и он стал спорить с дедом, убеждая его оставить укладку сена до завтра.

— Бать, давай мы завтра с утречка сложим, а Витька отпустим, чай, у него свои дела! А сейчас гнётом подопрём и свалим.

— Ай! Какой ты прыткой! Сейчас сено пластами лежит — айда, клади его. А ты свалишь гнётом, переменёшь его, потом будешь целый день канатыряться.

Дед подошёл к шофёру:

— Ну, ты, чай, Виктор, подождёшь немного, а я уж тебя не обижу.

Виктор мнётся: ни да, ни нет... И дед рукой даёт отмашку: давай, клади омёт!

Дядя Валя нехорошо выругался, но это скорее для шофёра. Дед, несмотря на то, что без ноги был, сам стал закладывать омёт. Потом, когда определились контуры омёта, в дело вступил дядя Толя.

Дед сделал своё дело: настоял на своём, скомандовал, заложил омёт и теперь, усталый, отошёл в сторонку и стал наблюдать за нашей работой, как полководец за битвой. Дядя Валя сбрасывал сено с машины, а мы со старшим дядей подавали его вилами с длинными черенками на омёт. Дядя Толя аккуратно, по “науке” раскладывал сено так, чтобы и дождь его не пролил, и чтоб зимой было удобно брать.

Вот тут и начался монолог дяди Вали. Иногда вступал дядя Саша. Дядя Толя молчал. А я смеялся от души; да так, что иногда задыхался от пыли и сухой травы, попадавшей мне в рот. Дед прикрикивал на сыновей:

— Хватит болтать-то! — Это было его самое что ни на есть цензурное выражение. Дед был страшным матерщинником, хотя его мат звучал как-то естественно и не грязно.

Стало заметно темнеть. Все работники разделись до пояса — жара не спадала, — к мокрым потным телам стали приставать мелкие сухие колпачки, а вскоре в изобилии появились комары. Село стояло на берегу большого пруда, а пойма была болотистая. Один дядя Толя так и не снимал ни пиджака, ни фуражки. С раздражением и руганью мои дядья снова надели рубашки. У молодого и горячего дяди Вали внутри, чувствовалось, закипали разные чувства, требующие выхода.

— Ну, вот, скажите мне дураку — в какой ещё стране так заготавливают крестьяне сено? Ночью, как воры!

— Правду, Вальк, говоришь, — это дядя Саша, — всю жизнь русский мужик спину гнёт, работает, как проклятой, а по-человечески у него не выходит! “Ты и обильная, ты и бессильная, матушка Русь!”

Возникла пауза в разговоре, некоторое время работали молча. И мне снова почудилось, что со двора, из темноты, тихонько и незаметно вышла прабабка Варвара.

— Вы бы омёт-то рядышком к воротам ложили — всё ближе зимой таскать-то.

— Ну, тебя только не спросили! Давайте правление колхоза соберём. Там таких, как ты, советчиков до хрена! — Это реакция деда.

— Мама, дорогая наша мама, ты там, что положено, не забудь! — театрально, немного манерно крикнул дядя Саша. А бабушке, чувствовалось, это было приятно — нечасто сельские женщины получали словесные ласки.

Было видно, что молчаливый и сосредоточенный на работе дядя Толя при этих словах понимающе улыбнулся.

Работали мы, можно сказать, из последних сил — считай, с раннего утра сено тягали. Дядя Валя так и сказал:

— Ну, всё! Вот сложим омет, а там только картошку выкопать...

Дядя Валя был ещё молодой мужик, только вступающий в самостоятельную трудовую жизнь и нащупывающий свой путь в нелёгком житье-бытье. После службы в армии он сразу женился и уехал жить и работать в небольшой город. Но что-то там у него не заладилось. И вот он, как блудный сын, вернулся в родные пенаты. Пока жил с семьёй у тестя, но уже планировал переехать к отцу — моему деду. Однако чувствовалось, что в его голове были мысли и про городскую жизнь: в одном месте не заладилось, может, в другом наладится?

Темнота всё стужалась. И вот уже друг друга мы узнавали только по силуэтам. А комары не отставали, они и через рубашки жалили. Всё тело от их укусов горело пламенем.

— Как тут работать?! — обращаясь то ли к деду, то ли к самому себе, восклицал дядя Валя, — не видно же ни хрена! Темно, как у негра в ж... животе!

Вся работающая бригада громко рассмеялась. Только дед молчал. Может, он и улыбнулся. Но в густых сумерках этого не было видно. Да я, зная деда, был уверен — не улыбался тогда он, — он вообще редко улыбался, когда вершилось важное серьёзное дело. В других обстоятельствах — пожалуйста: и шутил, и стихи экспромтом сочинял, а сейчас... важное дело.

— И зачем я, дурак, опять в эту деревню приехал? — дядя Валя это предложение повторил в нескольких вариациях — я привёл самую благозвучную.

— Вот Петруха (это брат дяди Вали) в городе живёт. Отработал свои восемь часов, пришёл домой, поел и на диван — телевизор смотреть. Красота! Вот это, я понимаю, жизнь! Надо молока — в магазин сходит, а там и ряженка, и кефир, и сметана. И никакого сенокоса нет.

Люди молча работали. Или соглашались с Валентином, или о своём думали. Наконец, дядя Саша задумчиво произнёс:

— Город...

Помолчал немного, словно привлекая к себе внимание, и продолжил:

— Так, Вальк, и в городе надо крутиться. Что-то не больно хвалят свою городскую жизнь мужики, которые туда из села уехали. Так, по пьянке про зарплату похвалятся, а не говорят, что эту зарплату они только в день поллучки видят, а потом сразу жене отдают. Вроде дети они малые, и копейки им доверить нельзя. Они и играют в дурачков: после работы скинутся на бормотуху и домой к скандалу приходят.

— Это кто как себя поставит, — вступил в спор дядя Валя, искренне полагая, что он-то уж как надо себя поставит, — в деревне ведь от работы ни продыха, ни роздыха: то на колхоз работай, то на своё хозяйство. А в городе стабильная зарплата. И отдых гарантированный. Чать, помните, как Петька в отпуск приехал весь обгорелый от солнца? Это, говорит, мы с Лорой на пляже отдыхали. На песке лежали и уснули. Целый день лежали на песочке и ничего не делали! А я тут за всё лето ни разу на рыбалку не сходил! А речка через село протекает, пруд под носом.

Дядя Валя помолчал. Сбросил несколько навильников сена на землю. И тут какое-то насекомое неслабо его укусило, — может, и пчела припозднившаяся: наша пасека рядом была. Дядя Валя крепко выругался. С манерным стоном потёр место укуса.

— А жара-то! Сдохнешь тут с этой коровой! — сказав про корову, он неожиданно перекинулся на другую тему (но всё в том же ключе — как плохо в деревне жить).

— А пиво? Почему у нас пиво раз в году продают? Видите ли, в честь окончания уборочной! Что мы в селе, прокажённые?

— Ты прав, Валька, — поддержал его дядя Саша — большой любитель и пива, и других алкогольных напитков, — это раньше так помещики

мужиков благодарили за труд после окончания летних работ. А пиво, да! Сейчас бы холодного пивка!

— Не трави душу, братик! — почти кричит дядя Валя. — Правильно я говорю, Анатолий?

Дядя Толя самоотверженно и молча работал. Два человека подавали ему сено, а он, стоя на верху уже заметно выросшего омета, жонглируя вилами и балансируя на шатком, ещё не просевшем сене, ловко укладывал подаваемое вилами сено.

— Вот сюда, на край кидай! А ты на меня — да не бойся — бросай!

Я бросаю пласт сухой травы прямо ему на грудь, он приминает под себя траву и тут же принимает навильник сена у дяди Саши и укладывает его аккуратно на край омета.

Дед стоит рядом, опершись на палку. Наблюдает.

— Может, передохнём? — это дядя Саша. На что дед тут же:

— Айда, отдыхальщик! Ай умаялся?!

— Не жалеешь ты, бать, детей! — с нажимом и едва заметной проницей говорит дядя Саша. Ему чуть за сорок. Сидячая работа в райцентровской конторе позволила ему заметно округлить живот. Когда дядя Саша отдыхал днём, лёжа на боку на диване, его живот смешно выкатывался рядом с ним, словно он для смеха спрятал под рубашку арбуз. Дядя Саша не в пример сельским мужикам заметно изнежен. Своей розовощёкостью, солидным брюшком, ранней лысиной он был в те годы похож на гоголевских персонажей из фильма “Ревизор”. Дед, конечно, знал, что его старший сын не шибко устаёт на своей работе, поэтому сразу же пресёк попытку дяди Саши устроить перекур. Была и другая причина — нельзя терять набранный темп работы. Хорошо и ладно шла работа. И это несмотря на трудности, которые нам приходилось преодолевать: темнота, жара, пыль; прибавилось комаров, они нещадно жалили даже через рубашку, лезли в уши, в нос; рот нельзя было открыть — тут же залетал туда комар. Дядя Валя стал сильно материться:

— Вот и закуски не надо — комарами наедемся!

Своё нелестное мнение о деревенской работе и деревенской жизни высказывал и дядя Саша. А дядя Толя работал молча — только успевай ему пласты сена подбрасывать. Заметно стемнело, я видел лишь силуэт его, но зримо представлял, как по его худым, коричневым от загара скулам каптется пот и по шее стекает за воротник рубашки.

— Бать! А Петенька наш сейчас лежит на диване. Телевизор смотрит и Лорочку свою по животу гладит, — никак не уймётся дядя Валя. Мысли о райской городской жизни, чувствовалось, одолевали его в данный момент крепко.

Наконец в разговор вступил молчаливый дядя Толя:

— Вальк, дался тебе этот телевизор — возьми да купи.

— Анатолий, тебе жарко? — дядя Валя на минуту остановил работу.

— Ну, жарко...

— А хочешь на часок снег, зиму, чтоб остыть?

— Да не мешало бы, — с улыбкой и с ожиданием подвоха отзывается дядя Толя.

— Вот сейчас закончим, и я тебя к своему другу отведу — к Феде Толмачёву. Ты знаешь — тут недалеко. Он нынешней зимой телевизор купил, “Рекорд-64”. В самом конце зимы, в феврале. Помнишь, метели-то какие были? Кое-как мы с ним антенну поставили. Самую длинную жердь нашли. Птицы от неё, как ошалелые, шарахались. Включили телевизор, а в телевизоре снег идёт. Хоккей показывали как раз: СССР — Канада. Федька говорит: ну, небось, у них там снег идёт. Снег! Темнота ты, говорю, они ж в помещении играют. Ну, значит это от погоды, сказал Федька, раз на улице снег, то и в телевизоре снег. Чуть ли не неделю метели мели, и в телевизоре у Федьки одни метели были. Но когда на улице стихло, в телевизоре всё равно снег шёл.

— Значит, приём плохой — не кажет; или антенну не так поставили, — привёл свои догадки дядя Толя.

— Да, вот так нас, деревенских дураков, и дурят! Кажут войну: Израиль арабов атаковал. Диктор говорит: танки в пустыне. А мы что видим? Танки в снегу. А может, это они на нас напали?

— Вальк, тебе бы юмористом работать, а ты телятам хвосты крутишь, — смеётся дядя Саша.

Бывает, расскажет человек смешной анекдот, а никто не смеётся. А есть такие люди: простое слово с нужной интонацией скажет, и все от смеха падают. Вот такой был и есть по жизни дядя Валя. Помню, моя покойная мама, уже обессиленная годами и болезнями, иногда просила меня: “Давай к Вальке съездим, я его прикольчики хочу послушать”; а дядя Валя уж восьмой десяток разменял, но “прикольчики” его были так же остры, как и в молодые годы.

А городской жизни дядя Валя завидовал в тот момент, я думаю, от минутной расслабленности душевной, от раздражительности: действительно, устал человек. На него, на молодого мужика, много чего навесили: и тестю помоги, и своему отцу, и в колхозе работай...

— Нет, бать, как закончим сенокос, я в город на разведку съезжу, может, работу себе какую найду.

Дед недоволен такими разговорами младшего сына. Не хочет он, чтобы тот в город уезжал — один с бабушкой в селе останется.

— Айда, айда! Без тебя там дураков мало!

Но... разговоры разговорами, а работа идёт. Вот уж и завершает омет дядя Толя.

— Давай, слезай, Анатолий, — командует дядя Саша, — я омет завтра причешу, сейчас ничего не видно.

Мы протягиваем дяде Толе черенки вил, и он, опираясь на них, спускается на землю.

— Ну, слава тебе Господи и Изусь Марии! — восклицает дядя Саша.

Всё это время, пока мы складывали омет, шофёр Витёк молча сидел на брёвнах около сарая и беспрерывно курил папиросы. Как только мы окончили работу, дядя Валя подошёл к нему, достал из кармана брюк бумажную денгу, положил её в ладонь шофёра и с чувством глубокой благодарности пожал руку Витька вместе с денгой.

— Ну, большое спасибо тебе, Виктор! Выручил! Айда в избу, отметить надо.

Но Витёк стал мяться: ни да, ни нет.

— Всё понял! Я щас.

Дядя Валя, делая вид, что торопится, быстро сбежал в дом и вернулся с бутылкой красенькой.

— Ну, ты уж сам распорядись! — и протянул бутылку шофёру.

Витёк быстро огляделся по сторонам, как вражеский разведчик в шпионском фильме, буквально выхватил бутылку из рук моего дяди, и она моментально исчезла в бездонном пространстве его широкого пиджака. Как по военной тревоге, запрыгнул в кабину машины, завёл движок и был таков.

Дядя Толя сел покурить на брёвна у сарая. Вывески “Место для курения” здесь не было, но раз один человек тут две пачки папирос искурил, стало быть, курить нужно именно здесь.

— Айда, Анатолий, айда! Чать, в избе покуришь, — торопит его дядя Валя.

— “Ямщик, не гони лошадей...” — поёт дядя Саша, намекая на торопливость своего младшего брата, — помыться бы перед ужином не мешало, ведь как негры чёрные.

В начале лета соорудил дядя Валя душ: поставил четыре столба и на них водрузил бензобак, прикрутил рассеиватель для воды.

— Давай, давай, братик! Всё у нас есть: и душ, и вода тёплая в душе — чать, за день-то нагрелась? Всё, что вашей душе угодно, — это нарочито-услужливое обращение на “вы” к своему брату, с которым только недавно и ругался на чём свет стоит, и спорил круто, говорило о том, что дядя Валя доволен, всё благополучно закончилось — самая тяжёлая сельская работа теперь пусть подождёт годик.

Братья скоро помылись. Дядя Толя отказался — дома помоюсь. Но, скорее, не захотел разводить всякие туалеты — застеснялся.

Мужики вошли в избу. Дед всё ещё ходил около омета.

— Ну, что, мам, всё готово? — дядя Валя оглядывает стол, заглядывает краем глаза, что творится около печки — там бабушка всегда готовила еду — и, чего-то не находя, робко так спрашивает: — А где это? Ты, чай, не забыла?

— “Это!” Вот без “этого” никак нельзя! — с напускной строгостью говорит бабушка, но по интонации её голоса тоже заметно, что она рада завершению работ — корова и овцы будут с кормом.

— “Мама, милая мама, как тебя я люблю!” — поёт популярную тогда песню дядя Саша. — Мама, это же самое основное на столе должно быть! — Дядя входит в комнату довольный, румяный, в новой светлой рубашке. Он садится в красный угол комнаты. Над его головой божница. На ней икона со Святой Троицей. А чуть рядом, посередине стены, как раз напротив стола висит картина с изображением Ленина. Ильич сидит за столом, читает газету и пьёт круто заваренный чай.

— Ну, слава Богу, сделали дело. И дело большое! — говорит дядя Саша. Он умыт, свеж и доволен жизнью — молодой и радостный мужчина.

Да и бабушка с дедушкой в те годы ещё не старые — им по шестьдесят лет. Боже! Как давно это было! Мне уж седьмой десяток пошёл, а всё равно помню тот вечер, словно это было вчера...

Дядя Саша за столом, вроде, и на правах гостя, но в то же время и на правах самого старшего сына. Бабушка его любит, язык не хочет говорить, что сильнее других сыновей, но что-то было в её любви к нему особенное, — может, потому, что первенец. Свою любовь к нему бабушка очень искусно маскировала.

— Ого! Глазунья! — радуется и словно удивляется дядя Саша (как деревенский мальчишка, впервые попавший в цирк, когда видит живого слона).

На огромной чугунной сковороде десятка полтора яиц: красно-оранжевые желтки; сковородка раскалена — только сняла её бабушка с примуса, — и глазунья на ней шкворчит и аппетитно пахнет.

Дядя Валя сбегал с фонариком на огород и принёс свежих, с грядки, огурцов, таких же помидоров, лука. В печи млеет баранина с картошкой — по случаю сенокоса “решили” ярочку. Наконец, появилось на столе и “это”. Пришёл с улицы дед. Степенно сел за стол. И вот что обидно: деду врачи запретили и пить, и курить. А как дед вкусно пил! Какие разговоры вёл! Но про эти дела в другом рассказе напишу, Бог даст...

Все окна в избе открыты. С улицы тянет свежестью, запах сухой травы мешается с запахами, приносимыми ветерком с пруда: свежестью воды, поймой, зелёными ветлами. Пыль на улице улеглась. Изредка пройдут молодые люди: разговаривают, смеются. И стихнет всё. Тишина. Деревенская тишина. Слушаешь её, слушаешь и не слушаешься!

Окна открыты. А комаров в избе нет. Этот факт меня удивлял. Вот мух полно. Но с наступлением темноты они садятся на потолок и не шибко надоедают своим жужжанием и укусами. Да летние мухи и кусаются-то не сильно...

— Давай, Сашк, разливай, — говорит дядя Валя.

— А ты что, маленький? Не умеешь? — шутит дядя Саша.

— Долго вы рядиться будете?! Так вас, растак! — ругается дед, он в своё время этим делом командовал звонко!

На его резкое замечание сыновья не обращают внимания. Дядя Толя сидит и улыбается.

— Дак, ты старший — тебе и разливать! — это дядя Валя стремится соблюсти регламент. Было заведено так: разливает старший мужик, который либо хозяин в семье, либо самый главный родственник, но только не старик — старики не разливали по рюмкам спиртное. Очень мудрый был, на мой взгляд, порядок.

— Эх! Хорошая бутылочка! Жалко, маленькая! — говорит дядя Саша и ловким, заученным движением руки срывает с горлышка бутылки алюминиевую пластинку.

— Ну, родные мои, с окончанием сенокоса! Отмаялись и до следующего года!

В избе становится тихо. На несколько секунд. Дядя Валя скоро, чуть ли не одним глотком выпивает водку и запивает холодной водой. Дядя Саша, напротив, долго тянет из рюмки горько-сладкую влагу и, выпив, наконец, закусывает; для начала каким-нибудь овощем — опускает небольшую сочную луковичу в солонку и с удовольствием её поедает, производя аппетитный хруст. Дядя Толя берёт рюмку в руку и на несколько секунд вроде бы замирает, словно готовится к ритуалу, таинству. Потом подносит рюмку ко рту, слегка запрокидывает голову назад и тремя глотками вливает водку в пищевод. Большой, острый кадык его при этом делает три возвратно-поступательных движения, как какой-то механизм. И, едва поставив рюмку на стол, тут же закуривает папиросу.

— Анатолий, ты закусывай, закусывай! Накуришься ещё, — уже с набитым ртом говорит дядя Валя и пододвигает к нему сковороду с яичницей поближе. Гостю неудобно такое избирательное отношение к своей персоне, и он двигает сковородку на прежнее место.

Какое-то время за столом тихо. Без разговоров, не спеша и с достоинством мужики едят.

— Вы что, жрать, что ли, собрались! — И дядя Саша решительным жестом, словно кому-то назло, наливает по второй.

— Уж больно ты прыткий, Сашок! — говорит бабушка, она не участвует в застолье: не принято, чтобы женщины в данном случае сидели за столом.

— “Мама, милая мама, как тебя я люблю!” — снова поёт Сашок. И этого достаточно бабушке, чтобы снова растаять и заулыбаться.

А за окном становится прохладнее, свежий ветер из леса, что за прудом, дует в окна, наполняя комнату прохладой и не передаваемыми никакими словами запахами именно этой округи, этого села.

А мужики, разгорячённые водкой и закуской, не чувствуют прохлады и распахивают рубашки. Дядя Валя вытирает живот тряпкой и с большим чувством выдыхает:

— Хорошо-то как!

Потом немного помолчав, словно что-то вспомнив:

— Мам, баранину-то давай!

И не дожидаясь, когда бабушка подаст жаркое, сам уже его несёт к столу.

— О! Да тут можно веселиться до утра! И сколько угодно водки можно выпить! — Это дядя Саша.

— Ох, и избаловался ты, Сашка! — попрекает его дед.

— Ну, дай бог, не последнюю! — раздражается тостом дядя Валя, хотя в ораторском деле он супротив старшего брата никак не тянул.

— А Кольке-то что не наливаєшь? — вспоминает обо мне дядя Толя. И его вопрос правильный, многие мальчишки в селе лет с десяти знали запах самогона.

— Он у нас ещё маленький, — говорит дядя Валя. И все за столом смеются: мне пятнадцать лет, и рост сто восемьдесят сантиметров. Да, уж, маленький!

— Дед, ты медовуху-то достань. Она, вроде, ещё не дошла — сладкая, шипучая.

И я пью медовуху. Она холодная — из подвала. Пузырьки щекочут язык. Ноги тут же наливаются сладкой тяжестью и словно отнимаются. Разговоры мужиков за столом приобретают для меня большую остроту и солонуватость. Они и меня вовлекают в разговор: знают, что я читаю газеты и журналы, интересуюсь политикой и историей.

Из соседней комнаты выходит бабушка. В руках, прижимая к груди, она что-то несёт, завёрнутое в тряпку.

— О! Мама! Что такое для человека мама? Это же самый дорогой человек! — Дядя Саша вытирает платком пот со лба. И он, и все за столом понимают — бабушка принесла ещё одну бутылку водки.

Как хорошо сидели мужики! И если Бог есть, то глядя на них, Он воскликнул бы: вот таких людей Я и хотел создать! И создал! А потому что только добро шло от этих людей: они жили на своей земле, и земля, словно в награду за уход и ласку, щедро кормила и поила их. И каждый из этих людей был на своём месте, каждый знал цену себе, своему труду, своим поступкам...

Мужики снова опорожнили рюмки и стали закусывать молодой бараниной. Считай, с марта и по декабрь не едят мяса сельские жители. Ну, разве петушка зарубят да побалуются мясной пищей. А тут молодая баранина да в печке млевшая! Яичница уже давно усвоилась молодыми, здоровыми мужицкими организмами, а доза сорокаградусных капель вновь возбудила аппетит до немислимых высот. Едят мясо мужики, улетають за обе щёки. И тут дядя Валя неожиданно изрекает:

— Да в гробу я видел этот город!

Все, кто сидел за столом, бросили жевать и уставились на него. Дядя Саша, обгладывая кость, сказал спокойно, будто давно ожидал этой реплики от брата:

— А я тебе про это всегда и говорю — нечего в этом городе делать!

А дядя Валя продолжал, не забывая про картошку с бараниной:

— Я у Петьки в прошлом году в гостях был, дня три, вроде, жил, и ни одну ночь нормально не спал: духота страшная, асфальт днём раскаляется и даже ночью не остывает; окно откроешь — комары или эти, длинноволосяные оболтусы, на гитарах “бацают” до утра на скамейке у подъезда, а Петька на втором этаже живёт. Я говорю ему: давай, Петьк, их разгоним на хрен. А Лорочка: не надо — они красиво поют. Тьфу! Я им говорю, как вы тут спите. Это летом, говорят, плохо спать, а зимой хорошо. Я и зимой как-то у них ночевал и тоже не спал. За стеной всю ночь музыка громко играла. Я говорю, что это за праздник у них такой среди рабочей недели, они что, на работу не ходят? А Лорочка говорит: они аппаратуру музыкальную из Англии привезли и вот слушают. А здесь у нас тишина, никто нервы не треплет английской музыкой, а если какой оболтус на гитаре будет у меня под окном бацать, я ему живо башку оторву.

— Да. В городе покоя нет, это ты прав, — подал голос дядя Толя. Он немного поел и в задумчивости курил.

А дядя Валя продолжал:

— Утром кое-как проснулись, голова болит не хуже, как с похмелья. Позавтракали по-бешеному — Петька на работу опаздывал — и пошли на остановку автобуса. Петьке на работу, а мне к тётке Лене надо было. Ну, и что вы думаете? Подходит автобус, а в него войти нет никакой возможности. Люди в дверях висят, ну, как бы вам сказать, как пчелиный рой на ветке — вот-вот свалятся, а всё прут, ещё цепляются. Автобус уж тронулся, Петька ухватился рукой за что-то внутри автобуса и побежал, потом подскочил и ногу одну просунул в автобус, другая на воздухе болтается. Акробат! Я ему кричу: Петьк, не убейся, ну её на хрен с этой работой! А люди кругом стоят, смеются. На автобус к тётке Лене я и садиться не стал — спросил, как дойти, и пешком пошёл. За два часа дошёл. Во город! На фиг мне сдалась такая жизнь!

— И всё же в городской жизни есть и свои прелести, — вступил дядя Саша и, понизив голос, чтобы бабушка не слышала, словно по секрету, выдал мужикам: — Ты вот здесь в деревне как к любовнице пойдёшь? На следующий день все будут знать — и нет, считай, семьи. А в городе куча возможностей.

Дед угрюмо молчал, дядя Толя молча посмеивался и качал головой. Это означало: прав дядя Саша.

— Не знай, тут так накана... тыришься, что не до любовниц, — дядя Валя так сказал, чтобы не потерять мужское достоинство, а на самом деле у него была красивая жена — куда от неё ходить!

— Нет, братик, не всё в городской жизни так просто, как тебе показалось.

— Ну, конечно, если ты не работяга, жить можно в удовольствие. — Дядя Толя сам когда-то был жителем города, но судьба так сложилась, что жил он теперь в деревне, — а ты ещё не видел, как Петька работает. Он же

в литейном. А там жара, как в парной. Он солёной воды за смену выпивает ведра два, да ещё и болванки раскалённые таскать надо. А они по пуду весят — не меньше.

— Вот это ни фига! А он мне особо не рассказывал про работу-то свою. Ведь это вредно для здоровья?

— Вредно!.. А без денег жить ещё вреднее. Тут у нас курорт по сравнению с литейным цехом.

— Эх, город, город! — Дядя Валя задумчиво глядит в тёмное окно. — Сашк, что задумался, о любовницах? Наливай! А что по половинке?

— “Ямщик, не гони лошадей...” — Дядя Саша всё песнями да стихами отвечал на вопросы младшего брата. — Окончание сенокоса надо как положено отметить — посидеть, поговорить, а то за полчаса выдудем всю водку. Правильно я говорю, Анатолий?

Дядя Толя стал открыто улыбаться, а то всё какой-то зажатый сидел, не то стеснялся чего-то?.. А теперь стало заметно, как хорошо и уютно ему в этой компании, что ему нравится дружеская атмосфера за столом, юмор дяди Вали и едва заметная ирония дяди Саши. Он принимался курить, но тут же гасил папиросу, — видимо, без курева он не мог, но и воздух в избе табачным дымом не хотел отравлять. Он среди мужиков один курящий: мои дяди не курили, а дед недавно бросил и курить, и выпивать. Врач в районной больнице ему сказал: будешь пить и курить — умрёшь. В этот же день дед вредные привычки оставил в прошлом. А как он курил самосад! Бывало, так зачадит на пару со сватом, не то что топор, кувалду вешать в избе можно было. Ну, и под выпивку разговорчивый был: да всё с шутками-прибаутками, да всё в рифму старался связать предложения. Приехал как-то дядя Саша зимой, сели обедать, и говорит он: вот, мол, дескать, сейчас бы жареной рыбки! На что дед тут же парировал: “Рыбки? Зенки будут притки!” Сказал бы это дед мальчишке маленькому — не смешно было бы, а тут — взрослому человеку и потому прозвучало комично.

Медовуха меня совсем расслабила и расквасила. И весело мне, но и тоска непонятная, может быть, ещё ранняя для моего возраста, вдруг тихонько заглядывала в душу. Нет-нет, да и бросал я взгляд на печку: не сидит ли там прабабка Варвара, наблюдая за нашим застольем? Ведь я в глубоком детстве частенько на пару с прабабушкой сидел на печи, свесив ноги. Мой взгляд заметил дядя Саша:

— Да, Коля, вот так жизнь устроена — никуда от неё не уйдёшь!

И он принялся разливать по рюмкам остатки водки.

Я посмотрел на бабушку, что постоянно ходила между столом и кухней, и выступил за равноправие женщин:

— А почему бабушка с нами окончание сенокоса не отмечает? Она побольше некоторых работала!

— Коля! Дорогой мой племянник! Хоть ты и большой уже стал, можно сказать, юноша, но не всё ещё в жизни понимаешь. Ты думаешь, мы тут за сенокос пьём? Нет! Это только повод. Мы тут с мужиками ритуал совершаем, таинство. Расслабляемся и после тяжёлой работы, и вообще. Вот возьми какая, не дай бог, неприятность случится: и бабушка, и мама твоя — они и поплачут, и попричитают, а некоторые городские нервные дамочки в обмороки падают. А нам, мужикам, нельзя, не положено нам слёзы лить. А нервы... у нас ведь тоже нервы! И наши слёзы — вот они где, — и дядя Саша постукал ногтем указательного пальца по бутылке. — Правильно я говорю, Анатолий?

Как самый молчаливый и задумчивый человек, дядя Толя за столом был в явном авторитете.

— А ты заметил, Сашк, Петенька никогда отпуск в сенокос не берёт. Приехал бы, помог, — поддержал разговор дядя Валя.

— И правильно делает. У него на работе, считай, каждый день сенокос, тяжёлая у него работа, — тихо, покуривая папиросу, сказал дядя Толя.

— Да это я так — к слову, — сконфузился дядя Валя и, уже обращаясь ко мне, хлопывая меня своей тяжёлой рукой по плечу, говорит: — А вот мы завтра с племянком на рыбалку пойдём. С бредешком.

— Какая тебе рыбалка! — восклицает дед и острым взглядом пытается поставить младшего сына на место. Потом начинает перечислять дела, что надо завершить до зимы.

— Эх, бать! Да эти дела за всю жизнь не переделаешь, а жизнь-то и пройдёт! — неожиданно по-философски выразился дядя Валя.

И вроде бы уж обо всём поговорили мужики: и про сенокос, и про колхоз, и про город, и про международную политику — а как же без неё! — а разговоры всё не кончаются и не кончаются. И чем меньше жидкости остаётся в светлой бутылке с зелёной этикеткой, тем сильнее желание у каждого, сидящего за столом, поделиться своим самым сокровенным и тем, что душу теребит. Вот и дядя Толя начинает неспешный рассказ о своей непростой судьбе, но чувствуется, что он всё же скрытен — всю душу нараспашку не открывает, но за намёками и жуткими фактами из своей жизни, и паузами, недоговорками чувствуется его горькая, непростая судьба...

Первым засобирился дядя Валя — семья-то его у тестя и, видно, его заждались уже там. За ним поднялся и дядя Толя.

А я пошёл в другую комнату, не раздеваясь, прилёг на кровать. Медовуха сильно меня разморила, да и устал за день.

И тут дядя Саша стал чудить. Он надел пиджак, на голову фетровую шляпу и вышел на улицу.

— Ты что, Сашк? — спрашивает его бабушка.

— Да вот, хочу сходить к Елене Павловне.

— Куда? Ты что? С ума сошёл? Скоро уж коров выгонять. Иди спи, ради бога!

— Так ведь это моя первая любовь! Говорят, овдовела Елена Павловна, одна живёт.

Тут дед не выдержал, высунулся из окна и покрыл старшего сына многоэтажным матом. Дядя Саша никак не отреагировал на выпады деда и всё стоял около дома. Я встал с кровати, чтобы поглядеть на него. Из окон шёл свет и было видно: дядя Саша стоял прямо, он как-то старательно выпрямлял спину и смотрел в ту сторону села, где, по его словам, жила сейчас одиноко его первая любовь. Дядя улыбался с сожалением и лёгкой грустью. И что меня удивило: под мышкой он держал кожаную деловую папку для бумаг. Я подумал: для солидности решил прихватить. Чем закончилось это намерение моего дядя, я так и не узнал: снова лёг на кровать и провалился в глубокий сон. А когда проснулся, дяди Саши уже не было — на попутной машине он уехал домой в райцентр.

Вот этот день мне надолго запомнился — день завершения сенокоса в семье деда. А теперь нет прежних сенокосов в селе. Тяжёлый это труд — сенокос. Может, и правы те, кто говорят: слава богу, больше спину не ломаем. Я, наверное, соглашусь с ними. И всё же вместе с сенокосами что-то ушло из жизни человека. То, что селян объединяло: ведь вместе делили паи, рядом, бок о бок, косили и убирали сено, бывало, и помогали друг другу. Нету этого теперь. Все по избам сидят и телевизор смотрят. Сейчас телеприём хороший — никаких метелей на экране. И американские танки уютжат арабские пустыни так, что пыль столбом, и нет там никакого снега...

А мне жаль, что ушли в прошлое сенокосы.

На рыбалку с дядей Валей мы всё же через день ходили. Вернее, съездили на его мотоцикле. После обеда мы взяли небольшой бредень и поехали за село вниз по реке, туда, где большие омуты и ямы, где большая рыба водилась. Я с собой позвал друга Женьку. Мы с дядей Валей тянули бредень, а Женька стоял на перекате и ботал — пугал рыбу, чтобы она за перекат не ушла. Наловили много больших пескарей и с десяток голавлей и язей, не шибко больших, но и не маленьких. После рыбалки дядя Валя по-честному разделил улов на три равные части. А перед тем как ехать домой, интригуяще сказал:

— А сейчас мы улов отметим! — и достал из мотоциклетной люльки сумку.

— Вы уж, чать, не маленькие, пора к мужским делам причучаться.

На свет появилась бутылка с красивой этикеткой. На этикетке был нарисован красный перец. Это была “Перцовка” — алкогольный напиток

28 градусов. В качестве закуски дядя Валя прихватил несколько кусков варёной курятины, хлеб, огурцы и варёные куриные яйца. Бутылку он предложил выпить разом в один приём и, достав три гранёных стакана (всё ведь предусмотрел), разлил напиток.

— Вы дурью не глотайте, но и не тяните, не принохивайтесь, — учил нас дядя.

Жидкость сначала обожгла пищевод, а после по всему телу, по каждой клеточке организма разлилось тепло.

— Что? Хорошо? Чтобы не простудиться, “Перцовка” — это первое дело. Мы стали поедать привезённую дядей снедь.

— Ну как? Не захмелели? Вы дома не рассказывайте, что я вас тут спивал!

Мы втроём сидели на берегу реки, на мягкой зелёной траве. Вдоль реки тянулась гряда высоких гор. Я лёг на траву и стал смотреть на синее небо. Боковым зрением я видел горы и лес на горах. Они вдруг тронулись с места и стали тихонько мимо меня двигаться. И так мне стало хорошо! Я закрыл глаза и почувствовал, что сам я тоже стал двигаться вместе с горами и лесом. Или это я почувствовал вращение Земли?..

БЕГИ, ДЕД, БЕГИ!

Летний дождь! Какая радость после жарких, изнуряющих, сухих дней! Радость людям, животным, растениям. Даже рыба, на что живёт в воде, и та дождю рада — сколько корма всякого для неё смоят в речку дождевые воды.

Я далеко не молод, но хорошо ещё помню “правильные” летние дожди, когда после потока вод с небес снова появлялось на чистом синем небе жаркое и яркое солнышко, а тёмная туча уходила к горизонту и уводила за собой гром и тёмно-красные вспышки молний.

А теперь после дождя день-другой пасмурно, холодно, сыро и неудобно.

Мне было десять лет. Стояло жаркое сухое лето. Наше село и другие окрестные сёла и деревни ждали дождя. Уж больше месяца прошло, а с неба ни капельки влаги не упало на землю. И вот неожиданно, словно из ниоткуда, появилась большая дождевая туча. Все домочадцы сидели в деревенской избе, с испугом и радостью слушали уханье грома и ждали, когда пойдёт дождь. Женщины искренне повздыхали о тех людях, которых гроза может застать в чистом поле.

Дождь полил с такой силой, что не стало видно домов соседей. Но через десять минут туча ушла, и снова выглянуло яркое июльское солнце. От нагретых солнечными лучами луж стал подниматься к небу пар. Все взрослые, что были в избе, принялись вспоминать, каким они запомнили свой первый летний дождь.

Дед мой тоже рассказал про свой дождь. Было ему в ту пору шесть лет. Сначала дождевые ручьи едва не смыли его в речку, да мать спасла, а потом уж, как дождь прошёл, бегал он по тёплым лужам и что-то кричал от радости.

Тогда я услышал эту историю как обычное воспоминание о годах детства, о которых, наверное, каждый сожалеет, что они уж больше не вернуться. А много позднее, когда и деда-то не стало на белом свете, вспомнив его рассказ, растрогался донельзя. Почему? Он рассказывал, как совсем маленьким бегал по лужам. А дед-то мой уже тогда был без ноги. Левую ногу чуть ниже колена раздробила колхозная молотилка. В том году в наших краях выдалась хорошая для земледельцев весна. Прошедшая зима была снежной, и земля вобрала в себя много влаги. После схода снега скоро подсохла пашня, и крестьяне быстро отсеялись. В конце мая выпало несколько дождей коротких, дружно взошли зерновые. Крестьяне радовались — в этом году будем с хлебом! А значит, всего вволю: и караваев-пирогов, и мяса, и самогонки. И праздники будут хмельными и весёлыми.

Но за весь июнь ни капли не выпало с неба. Огороды-то поливались — рядом река протекала, — а вот зерновые в полях начали хиреть, жухнуть.

Земле нужен был дождь! Позарез нужен! Уж и поп ходил с народом к большому роднику просить у Бога дождя, а всё без результата.

— Зря людей в заблуждение вводите, — говорил попу земский учитель, — барометр постоянно показывает на ясную погоду, и его стрелку жеребцом не сдвинешь.

— Да знаю я про твой барометр! — в сердцах отвечал батюшка. — Но ты сам подумай — это же немислимо: в соседних уездах прошли дожди, а у нас ну хоть бы капелька с неба упала!

Несмотря на юный возраст, дед мой помнил тревогу и растерянность своих родителей в начале того лета. Не будет хлеба — голод, а может, и смерть. У родителей помимо Ганьки — так деда моего звали — ещё двое детей имелось: сын трёх лет и дочка — той и года не исполнилось, материнским молоком питалась.

Днём жара стояла невыносимая, и сельские ребятишки с утра и до ночи из речки не вылезали. И дед мой на мелководье купался — плавать ещё не умел. Мать его этих купаний боялась — а вдруг поскользнётся на покато-м глинистом дне и в глубину уйдёт? Были такие случаи. Но разве в такую жару удержишь мальчишку от речки?

А солнце всё сильнее и сильнее раскаляло землю. Уже и ночью не наступало прохлады. Не только люди, но и домашняя скотина заволновалась. Лошадей и коров донимали слепни и доводили до бешенства, кошки и собаки бегали, как маленькие скелеты.

И спохватился, наверное, Господь: зачем я испытываю эту землю, чем провинились пред небесами эти трудолюбивые мужи и жёны? И вот в самый обычный день, в полдень, вдруг как-то по-особенному стало жарко. Жарко, как в бане, когда на каменку водой плеснут, — вроде пар сухой, но и влага чувствуется.

— Да, парит! — говорили промеж собой селяне, с надеждой глядя на безоблачную муть синего неба. И втайне надеялись на дождь, но вслух об этом никто не говорил — боялись сглазить. И не зря надеялись. Из-за дальнего леса, что располагался за широким зерновым полем, на село стала двигаться туча. Сначала она имела вид бесформенной пепельно-серой массы, занимающей весь горизонт. А через некоторое время, почти незаметное для глаз, произошло превращение бесформенной массы в густое чёрно-синее облако. Стали видны изломанные линии вспышек молний, и вдоль долины реки уже доносился звук их разрядов. Загромыхало!

Начались сильные порывы ветра, влажного, сырого. Подставишь лицо этому ветру — и словно кто водой прохладной на него плеснёт. С шумом прижималась к земле трава, воздушные струи рвали ветви деревьев и кустарников, что росли вдоль реки. Куры и гуся с кудахтаньем и гоготом, помогая своим ногам крыльями, устремились под навесы.

С сенокоса, погоняя лошадей, громыхая телегами, спешили под кров своих изб мужики и бабы, а также их помощники — подростки ребятишки, старики, которые ещё в силе. Только лошадь под ноги и смотрела, а люди поднимали глаза к небу и тёмной туче радовались.

— Не зря вчера учитель говорил, что прибор его мудрёный на дождь показывает, — говорили одни.

— Это всё с молитвы, — говорили другие.

Наверное, и те, и те были правы — кто их разберёт, эти природные законы, не человеком задуманные.

Сначала крупные одиночные капли упали на землю, на пыльной дороге поднимая маленькие серые взрывы. Затем на какое-то время всё вдруг стихло: и капли перестали падать, и ветер стих. Но люди-то знали, что означает это затишье.

И упал на истрадавшуюся от месячного зноя землю летний проливной дождь! Снова затарабанили о пыльную дорогу большие редкие дождевые капли. Но теперь с каждым мгновением их становилось всё больше и больше, и словно кто-то невидимый сильной своей рукой открыл на небе большую занавеску — сверху водопадом обрушилась на землю долгожданная влага.

Задержавшаяся во дворе старушка древняя подняла к небу тонкие сухие руки и прошептала со слезой в глазах:

— Слава Те, Господи...

Дети тут же выбегали на улицу и, поднимая к небу руки, кричали:

— Дождик, дождик! Пуще! Пуще! Дам тебе я гущи!

И дед мой Ганька тоже выбежал. Матери не спросился. И тоже кричал дождю со всеми ребятишками, и радовался. Мать хватилась:

— Ганька-то где?

— Где?! Небось, на улице стервец! — незлобно выругался отец.

Был отец у Ганьки молодой, но уже степенный, знающий себе цену мужик. Пovyше среднего роста. Аккуратный, подтянутый. Если, случалось, выпьет самогонки лишку — не буянил и не дурачился, на пример некоторых деревенских мужиков, а как-то загадочно и хитро улыбался самому себе.

Выругался незлобно отец и снова спокойно в окно смотрел, а мать извела вся: окно открыла и через завесу дожда, увидев своего сына, закричала:

— Ганька, а ну домой! Уши оборву! — но не смогла перекричать грохота грома и шума ливня. А вода дождевая по улице меж домов потекла рекой мутной — не успевала земля впитывать её всю. Ребятишки, кто постарше, быстро сообразили себе развлечение — они бросались в эту “реку” и, бултыхая руками и ногами, плыли по течению. А Ганька плавать не умел — маленький ещё был.

Выбежала мать из избы под дождь, зачем-то платок второпях на голову повязала — он через мгновение мокрым стал. Ганька увидел мать и первым метнулся домой, забежал в избу и в закуток забился.

— А что, всем можно, а мне нельзя? — захныкал, предвидя экзекуцию.

— Сиди у меня! — только и пригрозила мать.

Платье мокрое передела и снова к окну — на дождь смотреть. Отец молчал. Что тут скажешь? Всем можно — нынче праздник! Мать что-то продолжала выговаривать Ганьке, но чувствовалось, что из глубины души, от сердца радость и теплота шли с этими словами. Любила она своего первенца и радовалась, что ничего худого не случилось с ним. И дождю радовалась.

Долго падала влага с небес, вдоволь напоила землю; вздула ручьи и речку, протекли соломенные крыши крестьянских изб. Туча дальше пошла — как раз на то село, откуда поп приезжал: надо же было Господу и батюшкины старания как-то оправдать, и веру его в слово сокровенное упрочить. А то возвеличится учитель земский, возгордится наукой своей, а не всё у человека по науке выходит.

Как ушла туча дождевая, так сразу и солнышко показалось. Да так ярко и яростно засияло, словно обрадовалось, что из заточения вырвалось. И получаса не прошло — лужи посреди села так нагрелись, что от них пар густой к небу стал подниматься. Вода дождевая в лужах тёплая стала. Как парное молоко. Вот уж радость детям! Стали бегать они по лужам — брызги во все стороны от них летели — и кричать от радости.

И дед мой, Ганька, тоже не удержался. Не спросясь родителей — видел, добрые они сегодня — шмыгнул из закутка и снова на улице оказался. Вместе со всей ребятней тоже по лужам стал бегать.

...И теперь, спустя почти сто лет с того дня, представил я зримо, как маленький мальчик, босой, в коротких штанишках и в домотканой рубашке навыпуск, с радостным криком бегаёт по тёплым лужам дождевым, что между избами деревенскими тёплый пар в небо пускают. И этот мальчик — будущий мой дед. И было это в далёком теперь июле 1914 года. Ганька бежал по тёплой дождевой воде, нарочно высоко не поднимал ноги, чтобы побольше брызг было за ним — неуёмным озорником. Шлейфом нестойким взвиривалась за ним вода миллионами брызг, образуя на короткий миг разноцветную радугу.

И как мне хочется через года, да что там года — столетие, крикнуть:

— Давай, дед, беги!

Радуйся дождю, солнцу, детству своему радуйся! Беги, пока не устанешь, а устанешь — всё равно беги!

Пройдёт совсем немного времени — и месяца не пройдёт — и всё изменится в жизни вашей семьи, в твоей жизни, дед. Начнётся империалистическая война, и заберут твоего отца в солдаты, и пойдёт он на фронт немца воевать. И будет плакать мать, а за ней и вы — все её дети будете рыдать, не понимая, почему мать слезами умывается. Но раз мать так плачет, значит, совсем плохо... Вместе с матерью впряжешься ты в тяжёлую мужицкую работу — кто же о вас позаботится? Конечно, не кончились совсем уж твои ребячьи забавы, но больше по лужам ты не бегал.

С той поры сохранилась фотография. Почему я думаю, что “с той поры”? На фотографии — три женщины и три их сына. Женщинам лет по двадцать пять, сыновьям по семь — восемь. А мужей нет на фотографии — на фронтах Первой мировой они, бьются, не щадя живота своего, за царя и отечество.

Твоя мать в центре стоит: красивая, спокойная и статная. Её стать не от гордости, не от мнимого величия, а от радостного сердца и спокойного ума. Ты, дед, стоишь впереди неё с книжкой в руке. Взгляд твой сосредоточен и умён. Это взгляд и мальчишки, но и уже мужчины. И мужественности тебе придают, — я думаю, что и тебе так казалось, — большие блестящие отцовские сапоги, что ты обул для торжественного мероприятия — фотосъёмки. Сапоги велики тебе сверх меры. Голенница их на четверть выше твоих коленок.

Но всё это будет не сейчас. А немного позже. Но пока ещё твоё время!

Беги, дед, беги! Взвихривай брызги до небес, как на невидимой верёвке тани за собой радугу!

Мать твоя надорвалась от непосильного труда, и, не выдержавши нужды, безнадеги, разорвалось её тревожное сердце. Умерла мать в начале декабря семнадцатого года. На улице холод, ветер и грязь непролазная. А в ночь перед похоронами выпал долгожданный чистый белый снег.

— Значит, душа у твоей мамки светлая была, — говорили Ганьке односельчане на похоронах.

Отец матери — дед твой — сказал: “Собирайтесь, внучата, к себе вас заберу”. А значит, переезжать за пятьдесят вёрст, в соседний уезд. Но переезда не потребовалось. На следующий день после похорон матери пришёл с войны отец Ганьки. Три года не было от него вестей. Уж как они его ждали — и дети, и жена! И сейчас, как только увидел Ганька отца своего в дверях, кинулся к нему, схватил руками его холодную с мороза шинель и так расплакался — не уймётся никак. Как будто всё выплакать хотел разом: и нужду, и обиды, и, главное, мамкину смерть — силился он на похоронах, не плакал. “Мужики не плачут”, — про себя говорил.

Отец похлопал его по спине, в избу прошёл, за стол сел. И увидели дети, что хмурый их отец, недовольный, неуютный — не родной какой-то. Они ласки от него ждали, улыбок; думали — поплачет он по жене своей, уж как она его любила и ждала! Но и по жене не поплакал отец, и детей своих не приласкал, не приголубил. Посидел за столом, помолчал. Потом вышел во двор, оглядел оскудевшее хозяйство и по селу пошёл. Ночью вернулся пьяный. Спать на печку лёг. Поворчал: почему плохо протоплена.

На следующий день гости в их дом заявили — сельские мужики. Ганька на краю печи лежал вместе с сестрой и братом — слушали и смотрели с любопытством, как мужики самогонку пили, самосад курили и беседы вели. Сперва мужики у отца спросили: где воевал, в каких частях, какое настроение сейчас у солдат, будет ли мир с германцем, что про землю говорят?

Отец неторопливо скрутил сигарку, закурил, взглянул на мужиков исподлобья и с полу-усмешкой сказал:

— Да я, можно сказать, и не воевал. В плену немецком был.

Ну, тут мужики стали его жалеть: издевались, мол, там над тобой, и всё такое прочее. А отец сидит довольный и чуть не со смехом говорит:

— В таком плену я бы на всю жизнь остался! В батраки меня определили к одной молодой немке, а я с ней, мужики, как с женой жил.

Мужики примолкли. А отец окинул высокомерным взглядом застольников и говорит:

— Вам такой бабой, мужики, вовек не владеть!

И стал говорить такие срамные слова, что Ганька уши закрыл ладонями. Жалко было мать, стыдно было слушать отца. Ненавидел он его в эту минуту и мужиков пьяных, что гоготали, ненавидел. Невзлюбил с того дня Ганька отца своего.

А вскорости привёл отец в дом новую жену — детям велел её мамкой называть. И не стало тепла в этом доме. Как только пошёл моему деду восемнадцатый год, сосватал он в соседней деревне девушку (мою будущую бабушку) и ушёл в её семью “примаком”. А в той семье людей-то много, да все женского полу. Из мужиков только мой дед да тесть его.

Случалось, я спрашивал у деда: как жилось при царе, при нэпе, а дед отвечал, что, кроме работы крестьянской, в ту пору ничего не помнит...

Тут вскоре стали колхозы организовывать. Механизмы всякие в селе появились. Один такой механизм и отрезал у деда левую ногу. Вернее, измочалил её донельзя чуть ниже колена. На тарантасе (дело было летом) приехал доктор из района. Привёз медицинскую пилу и анестезию — чистый спирт. Выпил дед стакан спирта и от “радости” стал вить дико, пока доктор пилой орудовал...

Как тебе, дед, ногу-то отрезали — взревела семья. Тесть к тому времени едва ходил — отнимались ноги, а у вас с бабкой потомство: четыре сына. Старшему семь лет, а младший два месяца назад родился. Старший сын — это мой дядя. Старший брат моего отца. Дядя рассказывал, какое горе свалилось на вашу семью. И ты, дед, лежал со слезами. Было тебе всего двадцать пять лет.

Приободрил доктор из района. Он приезжал через две недели. Сказал, что рана хорошо зарастает, и пообещал заказать деду хороший протез в городе:

— Как с родной ногой будешь бегать!

Не стал дед ждать протеза. А мастерил себе из лёгкого дерева — сухой осины — деревянный костыль, и через месяц ходить приспособился, и работу домашнюю, что на нём была, стал всю делать, боль превозмогая...

Вспоминаю я, дед, как мы с тобой траву косили. Мне было десять лет, а тебе уже шестьдесят доходило. И косили мы в самую жару. Сенкосный пай наш в редком ельнике. Кругом лес — и ни ветерка. Ёлочки были ещё маленькие. А между ёлочек высокая трава. Но жёсткая — подсыхать стала на корню. Плохо шла коса. Умаялись мы с тобой, дед! В траве и не заметишь кочки земляные — их землеройки наделали. Задел ты, дед, своим костылём за кочку и не удержался — упал. Я к тебе подбежал, поднимать стал, а ты мои руки отстранил — сам встану. Лицо у тебя мокрое от пота, он ручейками грязными к шее стекал. Но разглядел я в твоих глазах и другую влагу — прозрачную и хрустальную. Хоть я и маленький ещё был, понял я, дед, почему у тебя на глазах эта влага появилась. Но только влага. На лице ни один мускул не дрогнул, чтобы твои чувства обозначить. Ах, как стало мне тебя тогда жаль, дед! Чуть не расплакался. Удержался. Это сейчас пишу, вспоминаю и плачу...

— Ты посиди, дед! Я один докошу, — уговаривал я тебя.

А ты поднялся с земли, костыль подправил, крепко сжал в своих сильных руках косу, острым взглядом посмотрел на остаток нескошенного пая и твёрдо сказал:

— Ничего! Айда! — и опять замахал косой.

И не траву ты уж косил, дед, ты свою беду косил, что никакой ты не калека, а работающий, крепкий мужик. А я шёл за тобой. Не отставал. Не имел я права отставать. И видел я, как разболтался у тебя костыль, как тяжело ты припадал всем телом на левую сторону, но всё равно махал и махал косой...

А вечером дома, когда ты снял тряпку-обёртку с колена левой ноги — колено упиралось в костыль — мне страшно стало: всю кожу на колене ты содрал до мяса. Одеколоном стал обгирать колено и мычал от боли. А потом лёг на кровать, обнажив свою культю, и молча в потолок смотрел.

На следующее утро смазал колено вазелином, снова тряпкой обмотал. Бабушка говорит:

— Ты что, Ганьк, с ума сошёл? Куда тебе с такой ногой! Сиди!

Дед бабушку не послушал, а мне сказал:

— Собирайся, Кольк! Кто за нас косить будет?

И послал меня к соседу дяде Лёше — тот должен был на лошади ехать на свой пай, а это рядом с нашим. Выехали поздно, почти в полдень. Опять жара невыносимая. Ещё не доехав до сенокоса, увидели — туча большая на-двигается, полгоризонта заслонив. Дед настаивал ехать на пай, но сосед повернул лошадь домой. Под гору до дома быстро доехали. Только в избу вошли — дождь пошёл.

Вот тогда, дед, я и услышал, как ты по лужам шестилетним мальчишкой бегал; и не придавал я особого значения твоему рассказу. Я уже говорил, почему. А может, кто-то более интересную историю рассказал. Но её я не помню, а вот твою историю вспомнил.

Вспомнил, когда в жаркое прошлое лето ливень наблюдал из своей квартиры, что на десятом этаже дома городского находится. Смотрел я на дождь и ни о чём не думал. И вдруг в память ворвался летний дождь моего детства и ты, дед, со своим рассказом. И словно каким ветром перенесло меня сначала на пятьдесят, а потом на сто лет назад. И до самых родовых глубин поразил меня твой, дед, рассказ, как ты маленький под дождём бегал.

На тебя небесная благодать лилась, как из ведра, чтобы ты, тогда ещё молодой росточек, быстрее рос и силы набирался. Рос на радость родителям, жене своей будущей и всему твоему потомству. И не зря ты бегал под дождем, умываясь влагой небесной, что послал тебе Господь, — сохранил ты до конца дней своих и умудренную голову, и радость в сердце, и любовь к близким и родным тебе людям...

Придумали люди закон про скорость света. Вот если бы я, дед, сумел оказаться на далёкой-далёкой планете, свет от которой идёт до нас сто земных лет, то, глядя оттуда в мощный телескоп на тебя, маленького Ганьку, бегающего по лужам, не удержавшись, крикнул бы во всю силу с таким жаром и чувством, что разнеслось бы по Вселенной:

— Беги, дед, беги!

Фантазии это всё мои. Далёко сейчас ты, дед. Где-то в неизмеримом пространстве и бездонном колодце времени. А если проще сказать: высоко-высоко над землёй, в занебесной вышине душа твоя.

И я, широко распахнув балконное окно, пьяный то ли от дождя, то ли от нахлынувших воспоминаний, высунув голову под дождь, захлёбываясь прохладными струями, кричу тебе в небеса:

— Беги, дед, беги!

Я верю — ты слышишь меня, дед.

АНДРЕЙ ЗЕЛИНСКИЙ

УКРАИНА КАК ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

Основную историческую заслугу украинского народа перед “цивилизованным миром” мы, евразийцы, видим не столько в овладении пригодной для земледелия частью евразийской степи, а в мужественной обороне Православия против натиска латинского Запада.

Князь Н. С. Трубецкой

После гибели коммунизма единственным врагом Америки осталось русское Православие.

Збигнев Бжезинский
(после расстрела Белого Дома в 1993 году).

1. ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА УКРАИНУ

Глядя на то, что происходит сегодня на Украине, невольно задаёшься вопросом: а не видим ли мы всё это в страшном “гоголевском сне”? Да что тут Гоголь! Я думаю, что такое не могло бы присниться даже и ему, всю жизнь влюблённому в свою Малороссию. И для того, чтобы попытаться осмыслить то, что не поддаётся разумному осмыслению, невольно обращаешься к прошлому, ища в нём ответ у тех, кто является опорой нашей исторической памяти. К числу таких людей относится русский мыслитель, филолог с мировым именем, основоположник евразийского направления русской исторической мысли князь Николай Сергеевич Трубецкой.

Вынужденный эмигрировать в эпоху революционной катастрофы со своей любимой Родиной, он выпустил в Париже в 1927 году работу “К украинской проблеме” в сборнике “Евразийский временник” (Н. С. Трубецкой. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 362–380). С той поры прошло уже без малого сто лет, однако высказанные там мысли и затронутые проблемы не канули в былое, и на них следует остановиться сейчас.

Непосредственным поводом к этой работе Н. С. Трубецкого явилось потворствование советской властью на Украине в тот период (1920-е годы) культурному сепаратизму для того, чтобы обезоружить сепаратизм политический. Но эта близорукая политика, которую проводил в то время на Украине нарком Л. М. Каганович, разрушала единство русского мира. Однако как русского

мыслителя и теоретика культуры Н. С. Трубецкого интересовали фундаментальные проблемы, не связанные напрямую с сиюминутной игрой политических сил. **Эти проблемы касались общерусских задач и судьбы славянства, связанного историческими узами православной веры, языка, культуры и государственности.** Нам хотелось бы осмыслить всё то, что было продумано, выстрадано и высказано Н. С. Трубецким, в свете реалий не только сегодняшнего дня, но также близкого и далёкого прошлого, ибо в минувшем таятся корни теперешних и грядущих событий.

2. “НАША ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАШНОЙ”

Так высказывался главнокомандующий Украинской повстанческой армией, капитан СС, греко-католик Роман Шухевич.

“Немецкие солдаты, ожидавшие приказа о наступлении, с ужасом освобождали дорогу... “Нахтигалеццы” взяли в зубы длинные кинжалы, засучили рукава гимнастёрки, держа наизготовку автоматы. Их вид был омерзителен, когда они в 23:00 29 июня 1941 года бросились в город... словно бесноватые, громко гикая, с пеной на устах, с вытаращенными глазами неслись украинцы улицами Львова... Каждый, кто попадался им в руки, был жестоко казнён”. Так писал германский историк Брокдорф об украинских легионерах батальона “Нахтигаль” (в переводе на русский язык “Соловей”), сформированного перед войной абвером, – батальона, чья кровавая агрессивность ужаснула даже видавших виды германских военных (Сергей Щёголев. “История “украинского” сепаратизма”. М., 2004. С. 466). Всё, описанное выше германским историком, походит на коллективную бессодержимость. Невольно вспоминаются некоторые кровавые эпизоды киевского майдана декабря 2014 года, ввергнувшего Украину в геополитическую пропасть. На ум приходят известные слова Фридриха Шиллера: “Но что всех ужасов страшнее – твоё безумье, человек!” Н. А. Бердяев называл это состояние умов, применительно к некоторым событиям современной ему Европы первой половины XX века, “бестиализацией сознания”.

Украинские легионеры и не подозревали о существовавшем уже тогда немецком плане “Ост”, согласно которому после победоносной войны над СССР предусматривалось выселение в Сибирь 65% малороссов, а остальные подлежали “онемечиванию” как исполнители чужой политической воли. Но ничто не могло остановить ослеплённых ненавистью к России идеологов украинского национализма.

3. ОТ УКРАИНОФИЛЬСТВА К РУСОФОБИИ

Эти экстремистские взгляды имели свою предысторию, восходящую ещё к первой четверти XIX века, когда в известных кругах малороссийской интеллигенции стала созревать идея о культурной и даже политической независимости Украины от России, что привело к созданию в 1847 году славянского, украинофильского “Кирилло-Мефодиевского братства”. Главными его организаторами были знаменитый украинский поэт Т. Г. Шевченко, крупнейший историк Н. И. Костомаров и создатель украинской азбуки П. А. Кулиш.

Одним из ведущих лидеров этого направления уже в конце XIX века стал известный историк, профессор Львовского университета М. С. Грушевский, выходец из греко-католической семьи и первый председатель Украинской Рады в 1918 году. Он пытался доказать, будто русские и малороссы – народы разных исторических корней, и утверждал, что Киевская Русь принадлежит только истории Украины (М. С. Грушевский. Очерк истории украинского народа. Львов. 1905). Ему вторил будущий переводчик на украинский язык “Майн кампф” Адольфа Гитлера Д. И. Донцов (1883–1973), который ещё в начале Первой мировой войны в воззвании “К украинскому народу России” писал: “В полном сознании своей исторической миссии защищать свою древнюю культуру от азиатского варварства московитов. Украина всегда была открытым врагом России, и в своих освободительных устремлениях она всегда искала помощи у Запада, особенно у немцев... Мы, украинцы России, соединившиеся в “Союз освобождения Украины”, употребим все силы для окончательного расчёта с Россией” (Сергей Щёголев... С. 457).

История, увы, повторяется. И геополитические причины, связанные с кровавым разделом мира на “великой шахматной доске истории”, породившие две мировые войны и расчленение Советского Союза, не ушли в небытие. **То, что происходило, происходит и будет происходить на Украине, можно предвидеть и понять только через призму многовековой истории этого многострадального края, волею исторической судьбы поставленного между Россией и Европой.**

4. ГРАНИЦЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙ

В 1927 году, когда в Париже вышла упомянутая работа Н. С. Трубецкого, в Берлине была опубликована монография “отца геополитики” Карла Хаусхофера “Границы в их географическом и политическом значении”. В ней Хаусхофер вводит понятие “религиозно-географических” границ, или “границ мировоззрений” (Карл Хаусхофер. О геополитике. Работы разных лет М., 2001. С. 123). Для мировой истории культуры эти понятия имеют гораздо большее значение, чем географические, экономические и даже геополитические представления. Они дают нам возможность рассуждать о “духовной географии мира”, о планетарных центрах духовного взаимного тяготения и отталкивания. О невидимой огненной лаве человеческого духа, до поры до времени сокрытой в подспудных глубинах коллективно-бессознательных эмоций. Они могут быть мгновенно трансформированы под воздействием эндогенных и экзогенных факторов с помощью религиозно-культурного кода в соборно-осознанные коллективные действия или обрушиться вовне неуправляемой лавиной бессознательного хаоса. **Незримая “геопсихотектоника” периодически делает явными линии геоментального разлома между странами и народами.** И никакие сверхценные идеи глобализации и американского “плавильного котла культур” (melting-pot) не могут ни скрыть, ни затушевать этот процесс.

На протяжении тысячелетий Великая Китайская стена на Востоке служила водоразделом двух геокультурных пространств: кочевого океана степей и оседлого земледельческого Китая. Веками стратегически продуманная система римских укреплений по Рейну и Дунаю служила геокультурной границей между Римской империей и германо-славянским миром. Отсюда рождается представление о пограничном сознании, связанном с процессом взаимопроникновения и взаимоотталкивания этнокультурных традиций, лежащих по обе стороны от линии раздела. Но пограничное самосознание – это не только сознание своей и чужой культуры. Это одновременно и вечная борьба за жизненное пространство на Земле.

5. ЗБИГНЕВ БЖЕЗИНСКИЙ И УКРАИНСКИЙ ВОПРОС

Вернёмся к Украине, которая мечтает стать ещё более “демократичной”, чем обманутая, обворованная и униженная, но не вставшая ни перед кем на колени Россия. Почему Западный мир, особенно в лице Америки, прилагал и прилагает столько усилий, не жалея средств, для окончательного отделения Украины от России? Ответ на этот вопрос пытался дать Збигнев Бжезинский – теоретик и практик глобального разрушения нашего великого Русско-евразийского государства. “Украина, – писал он, – новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само её существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей... Однако, если Россия вернёт себе контроль над Украиной с её 52-миллионным населением и крупными ресурсами, а также выходом к Чёрному морю, то Россия автоматически превратится в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии” (Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. М., 1998. С. 61-62). Значит, Бжезинский признавал, что Украина, по крайней мере западная её часть, находится в Европе. А это, в свою очередь, означает, что психологически для него, как, впрочем, и для любого среднего европейца реальная граница между Европой и Азией проходит все не по Уральскому хребту, а к западу от того географического пространства, которое с XVIII века по недоразумению именуется “Восточной Европой”.

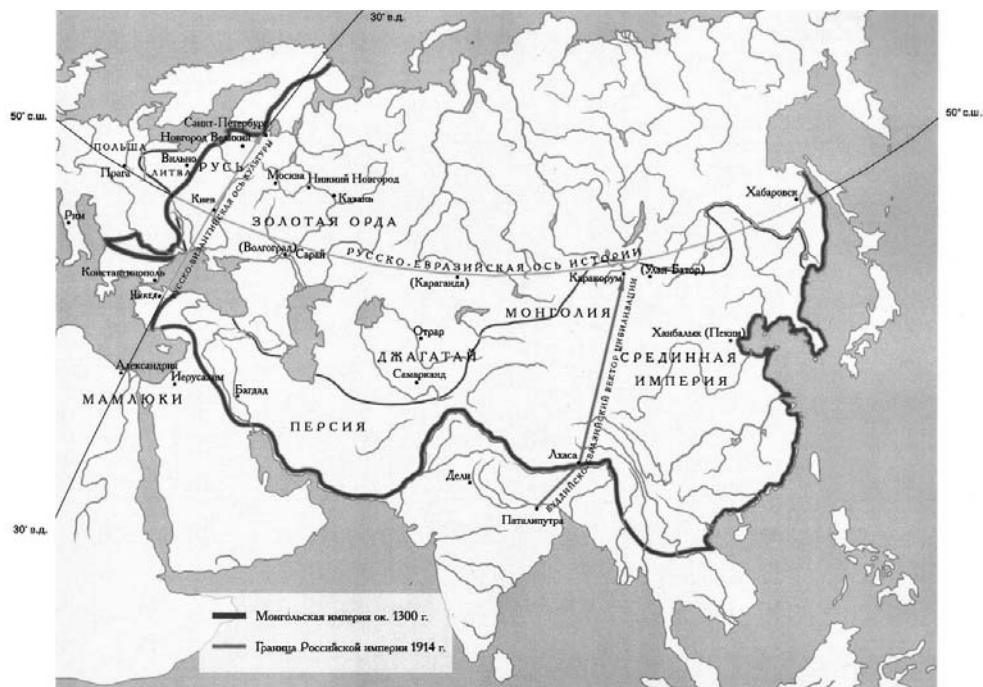
“Одно только слово “Европа”, – писал Освальд Шпенглер, – с возникшим под его влиянием комплексом представлений, связало в нашем историческом сознании Россию с Западом в некое ничем не оправданное единство” (Освальд Шпенглер. Закат Европы. М., 1998. С. 145). И в самом деле, если Россия – уже Европа, то зачем же надо было “прорубать в неё окно”?

6. ВИЗАНТИЙСКО-РУССКИЙ “ДУХОВНЫЙ МЕРИДИАН”

Вспомним, что названия “Азия” и “Европа” восходят к представлениям древних ассирийцев, столица которых, Ниневия, находилась в междуречье Тигра и Евфрата, где недавно было государство Ирак, разгромленное и разграбленное американцами. Вероятно, названия эти происходят от индоевропейских корней “асу” и “эреб”, означающих “свет” и “тьму”, “восход” и “закход” и, соответственно, “Восток” и “Запад”. С этой точки зрения Европа могла бы начинаться уже к западу от Евфрата. Геродот (V век до н. э.) проводил эту границу ещё западнее, по восточному берегу Средиземного моря и далее на север. Во времена знаменитого греческого астронома и географа Клавдия Птолемея (II век н. э.) эта граница между Азией и Европой ещё сместилась к западу и стала проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, что сохранилось по традиции и до сегодняшнего дня.

Если от Александрии – древнего международного центра, где в эллинистическое и римское время происходила встреча культур Запада и Востока, – начертить прямую линию через Никею на азиатском берегу Босфора к устью Дуная, а затем провести ее мимо Киева до Санкт-Петербурга, то линия эта почти совпадёт с меридианом Пулково (30° восточной долготы), что наводит нас на некоторые важные умозаключения.

Византийско-русский “духовный меридиан” культуры и Русско-евразийская ось истории



Карта-схема “Русско-евразийского континентального пространства” (Монголосферы) из монографии Г. В. Вернадского “Начертание русской истории” (Прага, 1927). На карту-схему А. Н. Зелинским нанесены: “Русско-евразийская ось истории” (50° с. ш.), “Византийско-русский духовный меридиан культуры” (30° в. д.) и вектор “буддийско-евразийской” цивилизации.

Русско-евразийское континентальное пространство отделено самой природой климатической границей от Европы, соответствующей средней температуре (изотерме) января и проходящей меридианально с севера на юг через Прибалтику, Белоруссию и Украину до Чёрного моря. “К востоку от этой границы, – отмечал мой учитель и друг Л. Н. Гумилёв, – средняя температура января – отрицательная, зима холодная, морозная, часто сухая, а западнее преобладают влажные тёплые зимы, при которых на земле слякоть, а в воздухе туман” (Л. Н. Гумилёв “От Руси к России”. М., 2002. С. 20). Но гораздо важнее другое: с каждым шагом к западу от Пулковского меридиана мы входим в другую, не только климатическую, но и геокультурную сферу. Псков ещё со времён Ливонского ордена (то есть рубежа XII–XIII веков) воспринимался на Руси как пограничный город. К западу от него и теперь уже явственно начинает ощущаться смена ментальностей, нравов, характеров, стереотипов поведения, “коллективной личности”, народа. Следовательно, **область Пулковского меридиана можно рассматривать как область перехода, как религиозно-географическую границу или как “границу мировоззрений”**. Если же применить более точную психологическую терминологию, то следует говорить о различном “психическом климате” по обе стороны от этой границы, о разных средних “психических температурах”, то есть о различных “психотермах” коллективной личности. На протяжении веков эта граница служила духовным водоразделом между Православием и Католицизмом. С эпохи так называемого Просвещения, то есть с XVIII века и, особенно, после Французской революции 1789 года, – окончательной переоценки всех прежних европейских ценностей, – этот водораздел в сознании среднего европейца стал обозначать границу между “цивилизированной Европой” и “нецивилизированной Россией”. Эта мифологема почти без изменений сохранилась и до сегодняшнего дня! А то, что сознание живёт мифологемами, было блестяще показано без малого сто лет тому назад выдающимся русским мыслителем А. Ф. Лосевым в его знаменитом труде “Диалектика мифа”. Этот невидимый водораздел можно ещё назвать в исторической ретроспективе **византийско-русским “духовным меридианом” веры и культуры**. Со времён Крещения Руси в 988 году он символически соединял по меридиану с юга на север Царьград (Константинополь) – первую христианскую столицу “Второго Рима” – и первую христианскую столицу Древней Руси – Киев – с последней христианской столицей императорской России – Санкт-Петербургом – почти прямой “вероисповедной осью”. С другой стороны, в широтном направлении он подчёркивал духовную границу между Западом и Востоком, то есть своего рода линию православной обороны от многовековой агрессии католичества.

7. ЗАПАД ПРОТИВ ВОСТОКА

Вся первая половина XIII века, начиная с разгрома и разграбления крестоносцами Константинополя (1204) и кратковременного образования на месте Православного царства Латинской империи (1204–1261), проходит в непрекращающихся попытках Папской курии насадить любой ценою Католичество на Руси. В середине XIII века происходит окончательный раскол на пролатинскую (Даниил Галицкий и Андрей Владимирский) и промонгольскую (Александр Невский) группировки. О том, что само папство способствовало этому, свидетельствует тот факт, что Папа Иннокентий IV на Лионском соборе (1245), **перечисляя “пять скорбей” Католической Церкви, на первом месте упоминает татар и православных**. Пролатинская группировка была разбита с помощью татарских сил, и в 1252 году Александр Невский получил от внука Чингисхана Батая ярлык на великое княжение. Время рассудило, на чьей стороне была правда в этой трагической исторической коллизии. **“Православие или смерть”, – мог бы так выразить своё духовное кредо благоверный князь Александр Невский** вместе с современными монахами греческого монастыря Эсфигмен на Афоне, при входе в который на камне выбиты эти слова (ορθοδοξια η θάνατος).

Когда Монгольская империя при другом внуке Чингисхана, великом хане Хубилае, ставшем китайским императором, в апогее своего могущества раскинулась от Тихого океана до Средиземного моря, образовав государство, не имевшее по своим масштабам прецедентов в мировой истории, Папа

Бонифаций XIII, которому Данте в “Божественной комедии” уготовил ещё при его жизни место в восьмом круге ада, в своей знаменитой булле “*Unam sanctam*” провозгласил в 1302 году в качестве программы, что **“для всякой человеческой твари безусловно необходимо для спасения подчиняться римскому престолу”** (Д. С. Робертсон и И. И. Герцог. “История христианской церкви от Апостольского века до наших дней”. Пг., 1916. Т. 2. С. 159). Следует отметить, что **буллу эту Римская Церковь не отменяла никогда.**

Принятие русскими князьями Католицизма (в добровольной или принудительной форме) означало бы уничтожение православной веры и культуры, привитой от великого византийского древа. **Православие (на примере Византии и Руси) оказалось духовно, психологически и исторически несовместимым с католицизмом, а “русскость” с латинством. Как бы ни относиться к этому факту, его надо принять как историческую реальность, как глубинное различие духовных архетипов, проявляющееся в стереотипах коллективного поведения.**

8. ЗАЩИТА ВЕРЫ В БОРЬБЕ АРХЕТИПОВ

Если, следуя Карлу Густаву Юнгу, понимать архетип как первообраз божественного начала в “коллективном бессознательном” индивида и общества, то, с нашей точки зрения, только в “коллективно осознанном” он кристаллизуется в свою законченную форму, освящённую традицией. К. Г. Юнг отличал архетип от “архетипического представления”, прошедшего обработку воспитанием сознания (Карл Густав Юнг. “Архетип и символ”. М., 1991. С. 98-99). Именно воспитание архетипических представлений, согласно “матрице культуры”, рождает уникальную неповторимость религиозных традиций человечества. Иными словами, стремление к воссозданию образа Бога в человеке и социуме есть единственная подлинная задача культуры, вырастающей из сердцевины религиозного культа (Павел Флоренский. Из богословского наследия // “Богословские труды”. Т. 17. М., 1977. С. 89). Поэтому, в известном смысле, **можно говорить о “католическом сознании” и о “православном сознании”, выращенных из разных архетипических представлений.** Отсюда рождается мысль о принципиальной неосуществимости объединения (унии) Католической и Православной Церкви, о чём некогда грезил наш выдающийся религиозный философ и предтеча русского религиозного ренессанса Владимир Соловьёв.

В качестве примера несовпадения религиозного сознания католиков и православных обратимся к иконе, которая фактически отсутствует у католиков. Православно-византийская иконография, не пустившая корней на Западе, наглядно демонстрирует глубинную разницу в “Боговидении” восточного и западного христианства. Православное богословие иконы покоилось на древних христианских принципах, связанных, в частности, и с учением о Божественных энергиях, которое было и осталось чуждым католицизму. Это учение было, как известно, окончательно сформулировано великим православным богословом и духовидцем митрополитом Солунским св. Григорием Паламой и утверждено на Константинопольском соборе 1341 года. Интересно, что современником и свидетелем богословских споров православных с католиками, отрицавшими учение о “Божественных энергиях”, был знаменитый предтеча гуманистов Франческо Петрарка (1304–1374), который называл империю греков “седалищем заблуждений” и жаждал, чтобы она была низвергнута руками итальянцев (Е. Ч. Скржинская. “Петрарка о генуэзцах на Леванте” // “Византийский временник”. Т. II, (XXIV), М.-Л, 1949. С. 260-261). После гибели Византии (1453) “традиция” такого отношения к православным в западном мире перешла на русских, которых пять веков спустя известный французский писатель и путешественник, русофоб маркиз де Кюстин в своей нашумевшей книге “Россия в 1839 году”, вызвавшей возмущение императора Николая I, называет “византийцами времён упадка” (Маркиз де Кюстин. “Николаевская Россия”. М., 1930. С. 139).

Идея превосходства европейской культуры, подменившей в новое время теократический принцип папской гегемонии общедоступной концепцией “мирового прогресса”, получила в середине XIX века своё научное обоснование в известной работе графа Жозефа Артура Гобино “Опыт о неравенстве человеческих

рас”, в которой автор выступил основателем расовой историософии (Gobineau M. A. Essai sur l'inegalite des races humaines. Т. I-II. Paris, 1853). Гобино определял расы как различные групповые “биопсихические единицы”. Новация Гобино заключалась лишь в том, что он применил старую, как мир, идею “избранного народа” к народам романо-германской Европы, то есть стал основоположником “еврорасизма”! Прямо противоположную позицию занял во второй половине XIX века выдающийся русский мыслитель К. Н. Леонтьев, одна из работ которого носила пророческое название: **“Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения”** (К. Н. Леонтьев. Восток, Россия и Славянство // Собрание сочинений К. Леонтьева. М., 1912. Т. 6). А о “среднем американце” задолго до Леонтьева пророчески писал А. С. Пушкин: **“С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нетерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё, возвышающее душу человеческую, подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort)”** (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в одном томе. М., 1949. С. 1235). Самое страшное, если современное **“комфортобесие”** станет превращаться в национальную идею.

Нашумевшая книга Гобино вышла в год начала Восточной, или Крымской, войны (1853–1856). Войны, которая носила характер мировой войны Европы (Англии и Франции при негласном содействии Австрии) и Турции с Россией. Характерно, что перед самым вступлением в эту войну архиепископ Парижа Мария-Доминик-Огюст Сибур возвестил со своей кафедры в соборе Парижской Богоматери всей Франции, что “война, в которую вступает она с Россией, **не есть война политическая, но война священная**; не война государства с государством, народа с народом, но единственно **война религиозная**...” То есть война со схизматиками (раскольниками), отказавшимися подчиниться Римскому престолу. К слову сказать, к началу Крымской войны со времени окончательного церковного раскола между Православием и Католичеством (1054) прошло 800 лет! Однако время бессильно перед метафизикой человеческого духа, перед “архетипами соборного сознания”, перед невидимой архитектоникой духовных пространств, обогрённых кровью мучеников за веру. Теперь уже под знаменем “общего рынка” осуществляет объединённая Европа свой вечный натиск на Восток. Но Католичество тоже не опустило своего духовного и политического оружия в борьбе за земли и души своих “восточных собратьев”, где первенствующее место отдаётся Украине.

9. УНИЯ И ЕЁ ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Мы должны вернуться к XIV веку, когда в Западную Русь пришло господство Польши и Великого княжества Литовского, девять десятых земель которого было занято тогда православным русским населением. Но после династической унии Польши и Литвы в 1385 году римский Католицизм был объявлен государственной религией, и гонение на Православие начало набирать силу. Но православное русское население с трудом поддавалось латинизации, отстаивая свою веру. В этом его всегда поддерживало казачество, которое само было порождением Украины в первоначальном значении этого слова, то есть “окраины”, пограничной земли. Именно от этого слова и произошло сначала неофициальное название Украины (Г. В. Вернадский. Россия в средние века. М., 2001. С. 64). Литва и особенно Польша прекрасно осознавали, что наиболее надёжный путь – психологически приспособить западнорусских крестьян и часть православного дворянского сословия к новому порядку с помощью подрыва традиционной независимости Западнорусской Церкви и подчинения её владычеству Римского Папы. Однако время показало, что такое обращение не только трудно, но и вовсе невозможно. Поэтому в Риме решили подготовить переход православных в католичество путём постепенных различных уступок. На этой почве и созрела у католиков ещё в XIII веке идея унии – слияния православного и католического исповеданий при полном догматическом и каноническом господстве последнего, но с уступкой православным в отмене целибата (запрещения на брак), в богослужении на родном языке и сохранении восточных обрядов.

При этом католики не посчитались с тем, что **нельзя насильственно ломать старую форму отношений человека с Богом и навязывать новую**.

И справедливо писал в своём знаменитом труде “Россия и Европа” Н. Я. Данилевский, говоря о психическом строе европейских народов: “Одна из таких черт, общих всем народам романо-германского типа, есть **насильственность** (gewalt-samkeit)” (Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. СПб, 1889. С. 191). Насилие есть и остаётся донныне фундаментальной чертой психического склада романо-германской Европы. Насилие же в области веры есть высшая форма такого духовного и психического насилия. Вера — это главная, таинственная и глубоко сокрытая, личная, интимная сторона души верующих, которая проявляет себя в определённом духовном и церковном алгоритме, сформированном веками соборного опыта религиозной жизни. Насильственное вторжение в налаженный ритм этой жизни можно назвать, используя терминологию Владимира Соловьёва, “религиозным палачеством” (В. С. Соловьёв. Собрание сочинений. Т. 8. С. 133) со многими непредсказуемыми последствиями. Эти последствия могут быть названы если не “духовной кастрацией”, то, во всяком случае, “духовной мутацией” национального “психо-ментального” поля, искажающей траекторию традиционной религиозной жизни народа. И изменения эти сказываются на всей социальной жизни людей в их новых межконфессиональных взаимоотношениях друг с другом, которые рождают не существовавшие ранее негативные стереотипы коллективного поведения, часто не поддающиеся коррекции.

Принявшие унию были подобны “сидящим на двух стульях” — были одинаково чужды и католикам, и православным (хотя и ближе к католикам), — что расшатывало устои их коллективной психики. В итоге уния породила с годами такую ненависть и вражду между греко-католиками и православными, что известный униатский епископ Полоцка Иосафат Кунцевич был подвергнут народному самосуду в Витебске (1623) за свои многочисленные зверства по отношению к православному русскому населению. Несмотря на это, ничто не помешало Католической Церкви причислить его к лику святых. Невольно вспоминаются трагические события середины XVII века на Руси, когда церковный раскол внутри самого Православия разделил верхи и низы каждой из противоборствующих сторон русского народа в непримиримом религиозном противостоянии, следы которого до конца не изжиты донныне. И пусть нам не говорят, что религия не играет своей прежней роли в жизни людей. Перед лицом вечности каждый рано или поздно становится верующим, часто даже не сознавая этого. Следовательно, **“религиозный нерв народа”** есть главная точка приложения тех сил, которые могут возродить или погубить нацию.

Здесь важно подчеркнуть, что сам никонианский раскол в Русской Церкви был тесно связан с процессом, который Н. С. Трубецкой назвал “украинизацией великорусской духовной культуры” на рубеже XVII и XVIII веков. **Надо помнить, что западнорусская редакция богослужения на церковно-славянской языке была при Патриархе Никоне признана единственно правильной!** “Единая русская культура послепетровского периода, — считал Н. С. Трубецкой, — была западно-русской — украинской по своему происхождению, но **русская государственность была по своему происхождению великорусской**, а потому и центр культуры должен был переместиться из Украины в Великороссию. В результате и получилось, что **эта культура стала не специфически великорусской, не специфически украинской, а общерусской**” (Н. С. Трубецкой Ук. соч. С. 367). Для этой “общерусской культуры” было характерно, что все, кто попадал в поле её тяготения, рано или поздно до известной степени “обрусевали”, становясь в той или иной мере русскими. Таковыми были “русский грузин” и любимец Суворова Пётр Багратион, “русский армянин” великий маринист Иван Айвазовский, “русский еврей”, певец русской природы, великий пейзажист Исаак Левитан, “русский бурят” и легендарный врач, крестник Александра III Пётр Бадмаев, “русский украинец”, великий писатель земли русской Николай Васильевич Гоголь. И примерам этим несть числа. Есть ещё одно свойство русского характера, которое Ф. М. Достоевский называл “всемирной отзывчивостью”, а Л. Н. Гумилёв — “комплементарностью”, то есть дружелюбием по отношению друг к другу и к чужеземцам. Стремлением понять другого человека, посочувствовать, помочь ему, попытаться постичь его душу. “Ибо что такое сила духа русской народности, — сказал Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине, — как не стремление в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности”.

Ведь не случайно же Александр Блок в своей последней поэме “Скифы” о себе и о своих соотечественниках писал:

*Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...*

Всё сказанное свидетельствует о том, что “гравитационное поле” общерусской православной культуры Святой Руси обладает уникальными и неповторимыми духовно-энергетическими свойствами планетарного масштаба.

Навязанная Римом Византии Флорентийская церковная уния 1439 года, осуждённая на Константинопольском соборе 1450 года, просуществовала всего десять лет. Это случилось накануне падения Царьграда под ударами турок. Многими православными современниками эта произошедшая катастрофа расценивалась как Божье наказание за унию. В самый день гибели Православной столицы “Второго Рима” (29 мая 1453 года) последним свободным волеизъявлением греков был клич: “Лучше рабство мусульманам, чем соглашение с латинянами” (В. С. Соловьёв. Собрание сочинений. Т. IV, б/г. С. 96).

Но Флорентийская уния дала повод латинским властям в Литве и Польше преследовать православных, что уже полностью осуществилось в эпоху католической контрреформации и при активном содействии иезуитов. 9 октября 1596 года, несмотря на протест Православной Церкви, униатский собор в Бресте торжественно провозгласил Унию Западнорусской Церкви с Римом и отлучил от Церкви всех епископов, священников и монахов, отказавшихся принять её. Это было уже генеральное наступление на Православие в западнорусских землях. Но на протяжении всего XVII века большинство украинского крестьян сохраняло Православие, и давление униатов вызывало у них сильное возмущение и придавало религиозный характер всем социальным потрясениям. Началась эпоха жесточайших гонений на Православие, которая закончилась для Левобережной Украины её присоединением при Богдане Хмельницком к России в 1654 году. В своей “Оде” к 300-летию воссоединения Украины с Россией “русский еврей” поэт Наум Коржавин писал:

*Поляки и турки застлали пути,
И нет ни числа им, ни меры.
И если уж волю никак не спасти,
Спасём православную веру.*

Для Западной Украины гонения на Православие закончились лишь в 1794 году после окончательного “третьего раздела” Польши при Екатерине II, когда ею был издан указ, разрешающий свободное и добровольное воссоединение униатов с Православием — к концу её царствования число “воссоединённых” составило свыше двух миллионов человек. Но почти двухсотлетнее гонение и насильственное внедрение унии не могло не оставить тяжёлых следов и незаживающих ран в коллективной психике народа.

10. ЭХО КРОВАВОГО ПРОШЛОГО

Украина сегодня — это трагический отголосок старой религиозной борьбы за землю и за человеческие души, но уже на новом эсхатологическом витке истории. Ещё раз вспомним кровавый майдан декабря 2014 года, с которого начался процесс “сатанизации” Украины. Лиха беда начало! В августе того же года в селе Пастырское Черкасской области открылась завезённая из США церковь сатаны. Это была первая подобная “структура” на постсоветском пространстве. Поклонниками этой церкви в Америке были такие ненавистники России и Православия, как экс-президент США Рональд Рейган, экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер и экс-претендентка на пост президента США сенатор Хиллари Клинтон. Как говорится, комментарии излишни.

На фоне активизации сатанистов идёт и реанимация Греко-Католической Церкви — порождения Брестской унии 1596 года. Происходит самовольный и часто насильственный захват греко-католиками православных храмов,

переходящих в подчинение Ватикану (храмы Харьковско-Полтавской епархии). Под угрозой оплот Православия – Киево-Печерская лавра, находящаяся в канонической юрисдикции Московского Патриархата. Начался процесс “унизации” Украины. И это несмотря на то, что из сорокамиллионного её населения около тридцати миллионов – православные, и только около восьми миллионов – униаты, если верить современной статистике. “Майданная пассионарность”, подпитываемая Западом, позволяет греко-католическим активистам продолжать своё разрушительное дело по расколу “психо-ментально-го” поля украинского народа. Как будто начинает сбываться мечта одного из идеологов уни, известного папского нунция Антонио Поссевино, посланного Папой Григорием XIII в 1582 году к царю Иоанну Грозному в безнадёжной попытке обратить его в католичество или склонить к уни.

11. ЕВРОРАСИЗМ И РОССИЯ

Сейчас с внешней стороны конфессиональные вопросы как будто отошли на задний план. Но именно они создают тот устойчивый пассионарный фон непримиримой борьбы и внутреннего напряжения массовых страстей, что все мы можем наблюдать сегодня. Это невидимое поле конфессионального “психо-ментального” фронта эксплуатируется всеми теми, кто хочет ещё больше углубить трещину между двумя родственными народами великого славянского древа и приватизировать Украину.

“За беспорядками в Киеве стоят американцы” – так называлась статья известного журналиста Изна Трейнора, опубликованная около двадцати лет тому назад в газете “Гардиан” от 26 ноября 2004 года, где он писал: “Эта кампания – творение американцев, утончённое и блестяще спланированное учение по массовому маркетингу и продвижению западного бренда, которое было использовано в четырёх странах за четыре года для спасения фальсифицированных выборов и свержения непривлекательных режимов”. Ничего не изменилось с тех пор, только всё усугубилось и накалилось до предела. Теперь объединённая “Новая Европа” выступает уже не под католическим флагом, а под лозунгом “мирового рынка”. Здесь надо вспомнить “Конституцию Европейского Союза”, подписанную в Риме двадцатью пятью странами 29 октября 2004 года. **Среди её “ценностей” нет даже упоминания христианства** – многовековой основы европейской цивилизации, на что в своё время с прискорбием обратил внимание приснопамятный Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Люцифер расправляет над объединённой Европой свои сатанинские крылья.

Вхождение в орбиту “рыночной цивилизации”, провозгласившей рынок в качестве своей идеологии, означает духовную и национальную гибель для всякого народа, вступившего на этот путь. “Европа – не человечество”, – скажем мы, перефразируя заглавие эпохальной программной работы князя Н. С. Трубецкого “Европа и человечество”, где он фактически говорит о евро-расизме как о “вандалистическом культуртрегерстве великих держав Европы и Америки” (София, 1920. С. 43). Итак, если Европа – не человечество, то, действуя заодно с Америкой, она грозит превратиться в антицивилизацию “постчеловеческой эпохи”. Вспомним Ирак, Югославию, Ливию, Афганистан... Кто следующий? “Общество потребления” превращается на наших глазах в “общество истребления”. Людей слишком много, и у мирового сообщества есть свои “гуманитарные” средства бороться с этим. Два рухнувших небоскрёба в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года стали “хорошим” поводом для “легитимного” завоевания мира. Какую же созидательную идею несёт благополучная Америка миру обездоленных и голодных людей? В “золотой миллиард” попадает лишь одна шестая часть населения планеты. Эту американскую идею озвучил всё тот же традиционный ненавистник России и Православного мира Збигнев Бжезинский. “Стремление к личному богатству – сильнейший социальный импульс в американской жизни и основа американского мифа”, – заявлял он в одной из своих последних книг (Збигнев Бжезинский Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство М., 2004. С. 231).

Но может ли отнестись всерьёз к такой идеологии русское религиозное сознание? **Ведь не случайно писал Освальд Шпенглер о русских, что их**

“всецело мистическая внутренняя жизнь воспринимает мышление деньгами как грех”.

Н. С. Трубецкого иногда называют “русским Шпенглером”. В самом деле, ни у кого из его предшественников не было такого последовательного фундированного и глубинного отрицания западной технократической и “техно-денежной” цивилизации. Но, в отличие от Освальда Шпенглера, Трубецкой был русским православно-евразийским мыслителем в высоком значении этого слова, для которого религиозно-государственные идеалы становились аксиомами культуры и основой жизненного поведения. Характерна и сама преждевременная смерть его в сорокавосемилетнем возрасте от разрыва сердца. Она произошла в 1938 году в Вене, где он ведал в Университете кафедрой славистики, во время обыска, который проводило в его кабинете гестапо.

Ещё более радикально о европейской цивилизации высказался “арьергардный боец русской культуры” Алексей Фёдорович Лосев: “Отрицать Бога имеет смысл только тогда, когда человек сам хочет сесть на место Бога, когда он сам хочет стать Богом... Отсюда, **если средневековое мировоззрение все называют теологией, то новое мирозерцание точно так же все должны называть сатанологией**, если бы не вековое ослепление либеральными побрякушками” (А. Ф. Лосев. Диалектика мифа. М., 2001. С. 256)

12. ЗАЩИТА ДУХОВНЫХ ГРАНИЦ

Россия и Украина должны объединиться, прежде всего, для охраны своих нравственных и духовных границ, ибо мутные воды западной массовой культуры с пропагандой сатанизма, наркотиков, гомосексуализма, лесбиянства, содомии и педофилии захлестывают последние островки нравственного сознания заблудшего “еврочеловечества”. В этой связи особенно важна мысль Н. С. Трубецкого о том, что украинская культура “ценна для нас вовсе не своим “европеизмом”... вовсе не воспринятыми в ней элементами гуманизма и реформации, с одной стороны, и католической схоластики – с другой, а тем, что, несмотря на все эти вынужденные и исторически неизбежные уступки Западу, **культура эта всё-таки сохранила верность Православию и сумела, использовав орудия врагов, облечь Православие в защитную броню. А потому ту часть украинского народа, которая не удержалась в Православии, мы считаем культурно и духовно изуродованной**” (Н. С. Трубецкой. Ответ Д. И. Дорошенко // В кн.: История. Культура. Язык. С. 394).

Всё сказанное надо попытаться осмыслить и понять, лишь исходя из многовекового религиозного культурно-исторического контекста. Этот контекст предполагает такой взгляд на мировые процессы, который уходит в наиболее глубокие и устойчивые пласты исторической памяти, в архитектуру “коллективного сознания”, в аксиоматику человеческого духа, формирующего в каждой культуре свои стереотипы “коллективного понимания” и “коллективного поведения”. **Хотим мы этого или нет, но современная эпоха катастрофической переоценки всех прежних ценностей вновь возвращает нас к религиозным вопросам, которые не только не потеряли своей остроты в переживаемом нами апокалиптическое время, но, напротив, приобретают всё более грандиозные масштабы.** В этом ключе мы и попытались рассмотреть глубинные причины “психотектонических сдвигов”, происходящих на Украине как области многовекового болезненного и трагического соприкосновения Православия с Католичеством, Востока с Западом, России с Европой.

России грозит гибель, если она не вернётся к идеалам Святой Руси! Идеалам, поддержанным всей мощью возрождающегося великого Русско-евразийского государства, связанного вековыми узами исторической судьбы с близкими и родственными ему по духу другими народами Евразии. Залогом этого возрождения служит **“духовный иммунитет”** государствообразующего русского народа, выработанный веками его трагической героической истории. **Только русский народ способен выстоять перед шквалом “сатанинской пандемии” с Запада, грозящей уничтожить последние нравственные опоры жизни на Земле.**

22 ноября 2021 года

АНДРЕЙ БЫКОВ

ИНФЛЯЦИЯ КАК ФЕНОМЕН ЭКОНОМИКИ

*Ибо какая польза человеку,
если он приобретёт весь мир,
а душе своей повредит?*

(Марк, 8;36)

В России и в большинстве стран мира набирает скорость инфляция. Это видно невооружённым глазом и тревожит многих. Инфляция часто подаётся как неизбежное и неуправляемое явление. Но не могут цены сами по себе расти, как лишь только в головах людей, придерживающихся теории прибыли. Инфляция сама по себе – это понятие ментальное, но реализующее себя в экономических категориях в системе прибыли. У И. В. Сталина в СССР и у Хяльмара Шахта в Германии цены снижались.

18 ноября 2021 года Государственная Дума создала рабочую группу для защиты вкладов населения от инфляции. Центральный Банк предложил в этой связи разработать механизм антимонопольного регулирования для того, чтобы вклады населения в банках приносили людям процент выше инфляции. Хорошо бы разобраться в этой насущной теме.

Войны и кризисы – это инструмент политики. А политика обслуживает инфляцию. Инфляция же всегда рукотворна. Инфляция это, прежде всего, инфляционные деньги. Юридически это чистые деньги. За них не надо отчитываться. Они не облагаются налогами. Они направляются по разным адресам, которые не нужно декларировать ни Госсовету, ни депутатам. Это никому не подконтрольные деньги. Эти деньги выводятся из рамок государственного бюджета и “пропадают”. Говорят: “Инфляция сожрала деньги”. Попробуем

БЫКОВ Андрей Юрьевич — российский экономист, историк и юрист. Экономiku начал изучать в Германии в 1975 году. Окончил МГИМО МИД СССР и МГЮА. Работал в МИД СССР и Минатоме РФ, а также за рубежом в 60 странах. Учредитель и председатель правления Благотворительного фонда святителя Николая Чудотворца. За тридцать лет с 1991 года вместе с иеромонахом Михаилом (Чепелем) реализовал свыше тысячи благотворительных проектов в 65 регионах России и за рубежом. Принял участие в строительстве 156 православных храмов. Член Поместного собора РПЦ 2009 года. Почётный гражданин города Майкопа. Почётный гражданин Павловского района Краснодарского края. Общественный омбудсмен по защите прав иностранных инвесторов в г. Москве.

понять, что это означает. Инфляция — это чистое изъятие денег в пользу государства. Деньги изымают из оборота, называют это инфляцией и начинают допечатывать.

Классик сказал: *“Денег нет, но вы держитесь”*. А куда делись деньги? Разберём на конкретном примере. Государственный бюджет России за 2010 год был исполнен в объеме 10 117 миллиардов рублей. При этом доходы федерального бюджета составили 8 305 миллиардов рублей. Инфляция в 2010 году составила 8,8%. Это было эквивалентно 890 миллиардам рублей, которые просто допечатали. Как раз это и есть инфляционные деньги.

29 октября 2010 года начальник Контрольного управления доложил президенту России, что по самым консервативным оценкам из бюджета был украден один триллион рублей. При среднегодовом курсе 30,3692 рубля за доллар это равнялось 32,928 миллиарда долларов. Вывоз капитала в 2010 году составил 38,3 миллиарда долларов. То есть чистый вывоз капитала в 2010 году составил 5,3 миллиарда долларов, а остальное — это были деньги, украденные из государственного бюджета России. Все приведённые цифры — официальные данные.

Инфляцию производит государство, если оно живёт в идеологии прибыли. Самодостаточным государствам инфляция не нужна, и её там нет. Примерно 10% бюджета России централизованно изымается государством и “исчезает” на неизвестных счетах. В Российской Федерации совпадают три показателя: а) объём денежной массы, допечатываемой Центральным Банком в соответствии с уровнем инфляции, которую сам Центральный Банк и генерирует своей ключевой ставкой; б) объём средств, уворовываемых из государственного бюджета, и в) объём вывезенной из страны за год валюты. Согласно официальной статистике, например, в 2010 году эти три показателя были внутри коридора 29–38 миллиардов долларов.

Придумана эта лихая схема была в 1864 году банковским лоббистом Александром дель Маром из команды издателя газеты “Нью-Йорк трибюн” Горацио Грили. В целях реализации этой модели в России в том же 1864 году два других сотрудника “Нью-Йорк трибюн” учредили в Лондоне I Интернационал инфляции. Звали их Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они больше известны как отцы политэкономии, которая внедряет примат политики над экономикой в интересах политики и против интересов экономики и народа.

Актуальным поводом была организация помощи польскому восстанию 1863 года против царской власти. Это восстание решало задачу резко увеличить военные расходы Российской империи, вернуть её к начатой ещё императрицей Екатериной II жизни не по средствам и практике брать займы за рубежом. Собственно, именно для этого Екатерину II и выдали замуж в Россию. Её правнук Александр II, хоть и брал займы за рубежом, но в 1864 году перед давлением устоял и инфляцию не ввёл. Его взорвали бомбой.

В 1872 году Горацио Грили баллотировался с программой государственной инфляции на пост президента США. Александр дель Мар шёл в его команде на пост министра финансов. Тогда они провалились.

В 1913 году в США был введён подоходный налог. В бюджете появилась приличная дельта, которой американская политика могла распорядиться по своему усмотрению. Следует отметить, что политика в тот период имела только в США, Англии и Франции. В абсолютных монархиях, которых тогда было большинство, политики нет. В 1905 году политика появилась в России в форме выборного органа законодательной власти — Государственной Думы. Произошёл отход от принципа русской соборности. Общество разделилось на части, названные партиями. Именно политика нарушила единство нашей нации и привела к поражению страны в практически выигранной первой мировой войне.

Но вернёмся к вопросу о политике и налогах. Для отношения политики того периода к налогам показательны слова Уинстона Черчилля, сказанные в 1907 году: *“Налоги хороши сами по себе, и их следует собирать просто для того, чтобы собирать. А затем, собрав налоги ради развлечения, нам нужно оглянуться и найти привлекательные способы трат, чтобы поддержать этот проект”*.

Благодаря возникшей дельте от подоходного налога американские банкиры смогли преодолеть сопротивление протестантского большинства США, которое в 1791-м и в 1816 годах давало им лицензии на выпуск бумажных, не обеспеченных золотом и серебром денег сроком только на двадцать лет.

Теперь же, в 1913 году частная Федеральная резервная система была учреждена в США на неограниченный срок. Точно так же, как и в 1694 году на неограниченный срок был учреждён частный Банк Англии. Кстати, при активном участии Джона Черчилля, герцога Мальборо, знаменитого предка Уинстона Черчилля. Вполне возможно, что в обоих частных центральных банках Великобритании и США были одни и те же учредители.

Уже на следующий, 1914 год в США появилась инфляция. С целью запуска инфляции в Европе была начата Первая мировая война. Очень важно отметить, что никогда до 1914 года инфляции в мире не было.

В XIX веке ряд стран, в частности, Германия и Россия в экономической науке после Адама Смита пошли не за Давидом Рикардо (Великобритания) в идеологию прибыли, а за Фридрихом Листом (США и Германия) и Генри Чарлзом Кэри (США) в **мировоззрение самодостаточности, которое свойственно христианской экономической идеологии**. Они создали мощную государственную науку. Она так и называлась “государственная наука”. В университетах были кафедры государственной науки, издавались учебники.

В 1924 году доктор государственных наук Хьяльмар Шахт всего за шесть месяцев обнулil гиперинфляцию в Германии. Совсем обнулil. Инфляция стала равна нулю, и в Германии началось бурное экономическое развитие. За пять лет был достигнут довоенный уровень развития народного хозяйства (об этом подробнее в статье автора “Экономические причины поражения Германии во Второй мировой войне”). Советская Россия против инфляции шла похожим путём.

Бенефициары новой системы мировой инфляции решили наказать Германию и Россию за отказ платить им инфляционные деньги, столкнув их во Второй мировой войне. Об угрозе новой мировой войны и об угрозе большой эпидемии предупреждала Пресвятая Богородица в португальской Фатиме в 1917 году. В шести посланиях человечеству Она прямо предостерегала от нападения на православное христианство в России. При шестом явлении Пресвятой Богородицы трём пастушкам присутствовало сто тысяч человек.

Так Бог предупредил человечество о недопустимости свергать Своих помазанников – монархов, о скорбях, которые ждут человечество, если оно не покинет этот путь. Заметим, что никогда в истории Бог не делал таких шагов в отношении избранных людьми президентов. Ватикан засекретил послания Пресвятой Богородицы. Человечество не услышало предостережение Бога, и мировая эпидемия “испанского вируса” и Вторая мировая война стали реальностью. А ведь их могло и не быть.

История не линейна. Чтобы она была линейной, необходимо, чтобы вся Вселенная расширялась только в одном направлении. Но этого нет. А вся человеческая история идёт по спирали. *“Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем”*, – говорил Экклезиаст (Экк. 1, 9). Сегодня надо на коленях молить Бога вразумить нас так, чтобы человечеству никогда вновь не наступить на грабли вирусов и войн.

Ведь предупреждал же нас пророчески американский классик Збигнев Бжезинский о том, что в 2018 году будет готово к применению биологическое оружие. Все знают, что ружьё, висящее на стене, иногда стреляет само по себе. Примечательно, что предупреждал ещё в 1972 году, причём в книге “Технотронная эра”. В ней он пятьдесят лет назад поставил задачи тому, что сегодня называют цифровизацией. Совсем недавно, в декабре 2016 года она пришла в Россию. А вскоре за ней пришли и вирусы. И многие вспомнили шесть предупреждений Пресвятой Богородицы в Фатиме и поняли, что **мы идём, ну, совсем не туда**.

Политэкономы знают из истории и из практики таких стран, как Япония или Таиланд, где инфляции нет, что инфляция всегда рукотворна, но убеждают нас в том, что инфляция – это объективное явление. Они лукавят в обмен на струечки от выводимых из России 33 миллиардов инфляционных долларов в год (есть данные, что в 2021 году размер выводимых из России через инфляцию средств может быть уже вдвое больше).

Лукавство политэкономов не случайно. Политэкономия была создана Карлом Марксом именно ради инфляции, для придания научности банальному воровству бюджетных денег, восполнение которых инфляция перекладывает на всё население страны.

В условиях монархии это было бы невозможно сделать. Ибо в таких странах господствует менталитет хозяина. Хозяин не станет воровать сам у себя. Именно поэтому заказчики и бенефициары инфляции идут путём кризисов, революций и войн. Там, где они устанавливают примат политики над экономикой, на место менталитета хозяина приходит менталитет временщиков от политики. Но представьте себе, что было бы, если бы племена дикарей стали бы решать вопросы своего жизнеобеспечения средствами политики?..

Политика народ не накормит. Ни в одной стране мира. Народ накормит экономика. В демократиях экономическая стратегия зависит от правящей партии. Но проиграла или исчезла партия – и исчезла экономическая стратегия. Именно поэтому экономика, как и экономическая наука, может быть рядом с государством, но должна быть вне политики.

Сейчас в целом в мире, на Западе и в России растёт ВВП и растёт инфляция. Но это невозможно! В СССР при И. В. Сталине, у Хьяльмара Шахта в Германии при росте промышленного производства не было инфляции. Был рост производства и снижение цен. Ещё раз: если действительно имеет место рост промышленного производства, то должно непременно происходить снижение, а никак не рост цен.

Когда генерирующий инфляцию Центральный Банк России соглашается принять участие в защите вкладов населения от инфляции, то надо ему помогать. На протяжении последних 3 631 года от отлития первосвященником Аароном золотого тельца как бога для поклонения в мире идёт собирание золота как средства мировой власти. Именно с этой целью в 1914 году и была создана инфляция. Она уже более ста лет собирает золото со всего мира. В охватившей США и многие другие страны экономике госмахинаций из государственных бюджетов воруются деньги, на которые скупается золото. Уже почти всё золото планеты собрано в руках бенефициаров инфляции. А население планеты с 1971 года живёт в системе бумажных и электронных денег, которые совсем ничем не обеспечены. Но дело в том, что **воровство, в том числе и казнокрадство, это тоже экономика.** Негативная, но экономика.

В прошедшие тридцать лет Центральный Банк России мало покупал добываемое в стране золото, вытесняя его на экспорт. С началом в 2019 году вирусной инфекции Центральный Банк почти совсем перестал покупать золото. За 2020 год купил всего 29 тонн. Хотя золотом никакие вирусы не передаются, даже цифровые. В результате всё остальное золото, добытое в 2020 году, 307 тонн, было вывезено из России в Великобританию, на родину I Интернационала инфляции. Себе Россия оставила всего-навсего 10% от годовой добычи. Так, дамам на брошки.

Продажа почти всей годовой добычи самого ликвидного в мире товара в обмен на ничем не обеспеченные цифры ставит под вопрос квалификацию руководителей, принявших такое решение. Возможно, нужна их переаттестация. Ну, элементарно проверить у людей наличие базовых знаний.

Такой шанс предоставляет прошедший в тот же день, 18 ноября 2021 года в Москве ежегодный форум “Российский рынок драгоценных металлов Bullion 2021”. Там было отмечено, что доля золота в золотовалютных резервах РФ на 1 октября 2021 года составила 21% – 128,7 млрд долларов, или 2298 тонн золота. В 2021 году Центральный Банк вновь позволяет вывезти из России 300 тонн золота. А ведь эти два раза по 300 тонн золота как раз и могли бы обеспечить сохранение вкладов населения России в банках, которым занялась Государственная Дума.

Золотопромышленники страны обратились к Центральному Банку России с предложением довести долю золота в золотовалютных резервах до 25%, для чего купить у них 591 тонну золота. Посмотрим, что ответит Центральный Банк.

На форуме также отмечалось, что Фонд национального благосостояния проводит так называемую “дедолларизацию” через покупку на “металлические счета” виртуального золота, которое ровно ничем не отличается от ничем не обеспеченных долларов.

Виртуальное золото было создано в 1975 году, после отмены в США обмена долларов на золото в 1971 году и мирового нефтяного кризиса 1973 года для манипулирования ценой на золото и через это – ценой на нефть, газ и всеми остальными ценами на мировых рынках.

1 августа 2014 года сайт Zerohedge.com опубликовал миллисекундный электронный протокол торгов золотом на чикагской фондовой бирже продолжительностью 0,1 секунды 6 января 2014 года от отметки 10 часов 14 минут 13 секунд 890 миллисекунд. За одну десятую долю секунды было заключено несколько тысяч контрактов в 9 сессиях. В первой сессии участвовало 211 игроков, во второй – 186, в третьей – 120, в четвёртой – 193, в пятой – 97, в шестой – 193, в седьмой – 137, в восьмой – 112, в девятой – 109. Однако в каждой (!) из 9 сессий было подписано по 338 контрактов. В результате цена на золото на мировом рынке снизилась на 30 долларов за тройскую унцию.

В книге автора “Цифровая экономика и будущее золотого стандарта” данный случай подробно разобран. Это классический пример практической манипуляции ценой на золото с использованием заранее составленных компьютерных программ и виртуального золота с “металлических счетов”. Вот это и есть “цифровая экономика”, о которой Россия впервые узнала через три года после данного случая. Она многократно подавляет мировые цены на экспортируемые Россией природные ресурсы и продукты их переработки.

Растущая инфляция усиливает спрос на физическое золото во всём мире. При этом манипулируемая цена поддерживает курс золота на искусственно низком уровне. Совмещение этих двух факторов неизбежно обрушит “металлические счета”, ибо ни для кого не секрет, что они являются фикцией и обеспечены реальным золотом намного меньше, чем на 1%.

По данному вопросу за прошедшие 20 лет свыше 8 000 реальных золото-промышленников и торговцев золотом из 40 стран, управляющих десятками миллиардов долларов, опубликовали более 20 000 научных статей на сайте американского антимонопольного общества GATA.org. То есть в США, как и во всем мире, тема прекрасно изучена. Может быть, Государственная Дума предложит Фонду национального благосостояния инвестировать в реальные, а не виртуальные ценности? Иначе возникает вопрос, о благосостоянии какой именно нации заботится этот Фонд?

Ещё один американский классик мог бы помочь рабочей группе Государственной Думы решить задачу защиты сбережений населения от инфляции. Алан Гринспен четыре раза возглавлял Федеральную резервную систему США. Он блестяще владеет этой темой. В статье “Золото и экономическая свобода” Алан Гринспен пишет:

“В отсутствие золотого стандарта не существует механизмов защиты сбережений от инфляции. Комфортное сохранение накоплений становится невозможным. А если бы альтернативные средства накопления существовали, государству пришлось бы объявить владение ими незаконным, как в случае с золотом. Финансовая политика социального государства требует, чтобы состоятельные граждане ни в коем случае не могли защитить себя и свои накопления.

Вот в чём заключается неприглядный секрет, вызывающий к жизни пламенные тирады против золотого запаса, провозносимые сторонниками социального государства. Дефицитный бюджет – это всего лишь метод скрытого отъёма накоплений. Золото преграждает путь этим коварным планам. Оно защищает право собственности. Поняв это, любой без труда осознает причины ненависти государственников к золотому стандарту”.

На практике для сохранения банковских вкладов населения целесообразно сделать следующее.

Отменить инфляцию. Слава Богу, в мире в настоящее время нет гиперинфляции, как в России и в Германии после Первой мировой войны. **Сегодня инфляцию можно просто отменить.** Это позволит правительству тут же снизить налоги с бизнеса на сумму, эквивалентную выводимым из России десяткам миллиардов инфляционных долларов. Пусть эти деньги работают в нашей экономике.

Государственная Дума могла бы **законодательно запретить экспорт золота.** Для развития внутренних инвестиций необходимо также принять давно обсуждаемую отмену НДС на золото. Китай так поступил ещё в 2004 году, быстро вышел на первое место в мире по добыче золота и стремительно наращивает активы населения в золоте. И мы так можем.

Центральный Банк России ведёт дело о ликвидации частной банковской системы России, для чего в 2022 году запускает так называемый цифровой рубль. Так поступают почти все центральные банки в мире. 28 июня 1983 года

президент США Рональд Рейган подписал указ №12468 “О создании президентской комиссии по промышленной конкурентоспособности”. Этот документ положил начало работе правительства США по созданию цифровой экономики. Её целью является установление для всей планеты одной-единственной цифровой валюты одного-единственного частного банка. Иные частные банки цифровой экономике не нужны. Как и любые частные криптовалюты, тот же биткоин. Для населения России это означает, что частные банки, возможно, и дальше будут исчезать, унося с собой вклады наших граждан. Поэтому людям надо честно сказать, чтобы переводили свои вклады в государственные банки.

Приватизация государственных банков должна быть запрещена в Конституции России. Её придётся принимать ещё раз, ибо **цифровая Конституция 2020 года просуществовала всего только один месяц и была отменена Законом об обязательных требованиях.** Следует признать, что этот закон был ошибкой. Нанесённый им удар по легитимности государственной власти России используется теперь в США для заблаговременного оспаривания итогов президентских выборов 2024 года.

Образовавшийся у нас правовой вакуум недопустим. **Не позднее середины 2023 года необходимо принять новую Конституцию России.** Как во всей континентальной Европе, надо, наконец, составить реестр права РФ и по нему привести в порядок нашу правовую систему. **России необходим примат экономики над всем. Государства нет без экономики.** Право должно защищать российскую экономику, а не разрушать её. Сегодня быть малым и средним предпринимателем в России стало кабалой от государства. Нашей стране нужна **система нравственной защиты бизнеса.** Разработать её – первоочередная задача для Общественной палаты и Совета по правам человека.

Предлагаем восстановить в России винную монополию. В 1904 году она давала 43% бюджета Российской империи. Выпустить высокодоходные облигации государственных займов для населения. Подчеркнём, что других экономических инструментов для наполнения государственного бюджета, кроме двух названных, у правительства России сегодня нет. За тридцать лет политэкономию разрушила все остальные.

Сбор налогов – это не экономический инструмент, а провокация против экономики. Государство, живущее только от налогов, обречено на гибель. **Налоги надо снижать.** Они не могут быть источником экономических реформ даже теоретически. **Нигде в мире никогда в истории экономические реформы не проводились на деньги от сбора налогов.**

При отсутствии инфляции цены снижаются, по этой причине растёт потребление по низким ценам. А чем выше спрос, тем больше товарное производство, тем выше занятость и зарплаты у людей. Так растёт товарное производство. Этот рост даёт возможность последовательно и неуклонно снижать налоги. Налоги допустимы только тогда, когда они стимулируют создание рабочих мест. Например, в модели автоматизированной налоговой системы стимулирования товарного производства белорусского экономиста Александра Орловского.

Предлагаем **создать мощный государственный сектор экономики** с упором на региональную и муниципальную экономику и ручной труд. Так **постепенно придём к экономической модели концентрации производства, которая в 1947–1953 годах позволила Советскому Союзу снизить все потребительские цены в три раза.** Если завтра на рубль можно купить больше, чем сегодня, то это и есть та цель, которую себе 18 ноября 2021 года поставила Государственная Дума в отношении сохранения вкладов населения.

Концентрация производства – это наша исконная экономическая модель. В ней не может появиться инфляция, поскольку она построена в мировоззрении самодостаточности. Самодостаточным людям не надо воровать у других людей, ибо им всегда, в любой момент времени достаточно того, что они имеют. Самодостаточность – это добровольно выбранная человеком теснота в материальном, которая открывает ему возможность безграничного роста в духовном. Бог, Который есть Дух, создал материальный мир. Духовное первично, а материальное вторично. Всё материальное предельно просто. Сложна только духовная работа. По её итогам оцениваются все материальные успехи или неудачи человека. Объяснение феноменальных экономических успехов русских старообрядцев и П. А. Столыпина лежит именно в их высокой духовности. Эти успехи выражались в гигантском товарном производстве. Нынешняя

экономическая статистика, выраженная в ничем не обеспеченных деньгах, – это в определённой степени фикция, призванная скрывать реальное хозяйствование экономики прибыли, упорно возвращающей человечество в состояние египетского рабства.

Мировоззрение самодостаточности – это философия жизни. Оно присутствует во всех мировых религиях, об этом мы говорили в докладе “Экономика самодостаточности” в Казани 29 июля 2021 года. Концентрацию производства создали русские старообрядцы, мощно развил П. А. Столыпин и довели до совершенства А. И. Рыков, И. В. Сталин и Г. М. Маленков. Все они жили в экономике самодостаточности. Схема восьми этапов экономической истории России от Крещения Руси есть в докладе автора на IV Столыпинском форуме в МГИМО “Исторический взгляд на экономику простых вещей” 9 сентября 2021 года. Интересно, что победитель инфляции Хяльмар Шахт самостоятельно пришёл к модели концентрации производства ещё в 1901 году. Ему тогда было всего 24 года, он вырос в мировоззрении самодостаточности немецких протестантов. Кемаль Ататюрк, к которому был близок Хяльмар Шахт, не зря учился у великого татарского экономиста Мусы Акъегетзаде. Сегодня концентрация производства в Турции, хоть и отстаёт от концентрации производства в Саудовской Аравии и Беларуси, но на порядок опережает концентрацию производства в США.

Инфляция появилась в России в 1914 году и бушевала при В. И. Ленине до 1924 года. При И. В. Сталине её не было. В 1961 году Н. С. Хрущёв вернул в СССР инфляцию, начал трансформацию экономики самодостаточности в экономику прибыли. Ему ассистировал участник Копенгагенского и Базельского конгрессов II Интернационала инфляции, секретарь ЦК КПСС О. В. Куусинен. В том же 1961 году он составил новую Программу КПСС, заверившую обеспокоенный советский народ в том, что всё будет хорошо и коммунизм наступит уже в 1980 году.

Кто-то вспомнит, что рядом с О. В. Куусиненом в Карелии трудились М. С. Горбачёв и Ю. В. Андропов. У нас принято списывать имеющиеся у народа проблемы и скорби на конкретных руководителей, на политику и на идеологию. Но это глубочайшее заблуждение. **Люди, политика и идеология никакого значения не имеют.** Ход событий определяется только национальной экономической парадигмой. Она описана в одноимённой статье автора. Конкретные руководители в конкретный исторический момент всегда являются заложниками обстоятельств, которые сложились задолго до них, как правило, не менее, чем за 30–60 лет.

Поэтому и **менять действующих политиков на оппозиционных не имеет никакого смысла.** Любой вчерашний оппозиционер в сложившихся обстоятельствах будут действовать точно так же. Даже если будет говорить обратное. Если пришло понимание того, что мы движемся в ошибочном направлении, то менять необходимо национальную экономическую парадигму. Она состоит из нескольких компонентов и строится мыслью экономистов. Для того чтобы национальная экономическая парадигма нацеливала вектор экономики вверх, экономисты должны быть независимы от государства и от политики. Национальная экономическая парадигма меняется путём упорного, мотивированного труда одного-двух поколений. Государства нет без экономики. Чтобы государство было сильным, его экономика должна быть вне политики.

Политика – это модель жизни без труда в поте лица своего, то есть жизни за чужой счёт. Это с точностью до наоборот противоположно тому, что Бог-Отец заповедал человеку: *“В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься”* (Быт. 3;19).

Политика связана с идеей построить рай (коммунизм) на земле. В современном виде она началась с построения Патриархом Никоном “Нового земного Иерусалима” в местечке Истра под Москвой. Это произошло в середине XVII века, когда при царе Алексее Романове идеология прибыли стала в России государственной, объявила войну семисотлетней экономике христианской самодостаточности русского старообрядчества и превратила наш народ в крепостных рабов. Именно Никон был первым политиком в нашей стране. Не случайно он требовал именовать себя Великим Государем, ну, если хотите, “президентом”.

Строительство “Нового земного Иерусалима” – это строительство призрака. Спаситель зовёт нас в Небесный Иерусалим, который строить не надо, потому, что он есть. Патриарх Никон построил себе новый земной Иерусалим на целых сто лет раньше создания Эммануилом Сведенборгом церкви “Нового Иерусалима”. И задолго до написания английским поэтом Уильямом Блейком под влиянием Сведенборга поэмы “Милтон”. В ней Блейк ровно сто раз упомянул сатану.

Цифра 100 в каббале означает “занятие политикой, деятельность, направленную на достижение личной выгоды”. Первая часть поэмы “Милтон” под названием “Новый Иерусалим” была опубликована в 1804 году. Сатанисты закладывали модель своего мирового господства через установление в отдельных государствах власти политики. Политика, мамона, кризис – это синонимы понятия прибыль. **В 1848 году в “Манифесте Коммунистической партии” Новый Иерусалим Никона-Сведенборга-Блейка упоминается дважды.**

В 1916 году “Новый Иерусалим” Блейка стал народным гимном Великобритании. Исполняя этот гимн, жители Соединенного Королевства клянутся построить в Англии новый земной Иерусалим. В тексте гимна прямо упоминается сатана. Любой гимн – это присяга на верность. На верность кому приносится присяга, упоминающая сатану? Большинство жителей Великобритании не задумываются над этим вопросом. Хотя наследие Блейка глубоко изучено, откровением стала статья “Шесть уроков одной пандемии” в “Российской газете” 1 ноября 2021 года. Из неё мы узнали, что Уильям Блейк и вирусными эпидемиями тоже занимался.

Политика разделила нации на политические партии. В результате парламенты состоят из партий, исповедующих разные оттенки одной и той же идеологии прибыли. Между этими партиями нет никакой разницы. А вот партий мировоззрения самодостаточности в мире не так много. В Европе самодостаточны белорусы и скандинавы. В Арабском мире – Саудовская Аравия и Кувейт. Японцы самодостаточны. Тайскую нацию можно назвать нацией самодостаточности, особенно после семидесяти лет правления Его Величества короля Пхумипона Адульядета Рамы IX, который создал в Таиланде “экономiku достаточности”.

Буддизм вообще глубоко самодостаточен. Вспомним “Очерки буддистской экономики” и “Малое прекрасно” Э. Ф. Шумахера. Их ещё недавно знал каждый американец. Соединённые Штаты Америки были созданы протестантами – последовательными сторонниками самодостаточности. Дурь коммунистической политэкономии помешала продолжению широкомасштабного сотрудничества между самодостаточными США и самодостаточным СССР, которое имело место в 30-е годы XX века. Американцы построили тогда в СССР большинство из девяти тысяч новых промышленных комбинатов.

Разделение на политические партии отвлекает от существующего разделения человечества на область самодостаточности и область прибыли. Граница между самодостаточностью и прибылью проходит через душу каждого человека. Смысл жизни человека состоит в достижении совершенства и святости и полном истреблении в своей душе греха и даже самой памяти о грехе. Ничто греховное не может войти в рай. Ибо святое и греховное несовместимы. Стать совершенным и святым может только самодостаточный человек.

На пути к совершенству и святости стоит грех, в том числе и в форме поиска прибыли – того, что человеку вредно. Поэтому путь к совершенству и святости лежит через постепенное перемещение границы между самодостаточностью и прибылью в душе человека в пользу области самодостаточности вплоть до полного исчезновения области прибыли.

Экономика прибыли существенно затрудняет человеку достижение личной самодостаточности, совершенства и святости. Но даже сталинская экономика самодостаточности не препятствовала движению человека к духовному совершенству. Были единство нации и мощный духовный подъём, были выдающиеся достижения советских учёных, рост промышленного и сельскохозяйственно-го производства и экономическая стабильность для всех профессий и возрастов. И, как следствие, был неуклонный рост уровня жизни советского народа. **Да и война – это, прежде всего, война экономик.** Танки и снаряды – это тоже товарное производство. Экономика самодостаточного Советского Союза победила экономику Германии, перешедшую в 1937 году из стремительного

развития в самодостаточности в идеологию прибыли и распыление концентрации производства.

Бог не создал ни одного государства. Государство есть продукт изменённого грехом сознания человека. Перед любыми экономическими действиями человеку необходимо взять под контроль своё мышление. Это может сделать только отдельный человек и только в отношении самого себя. Иначе результатом всех усилий отдельного человека и даже всей нации будет прах. **Любое действие человека, которое заранее сознательно не посвящено Богу, заканчивается прахом.**

Политика и идеология могут нарушать законы экономики. Мы это видим в России уже 60 лет. Но **отменить законы экономики политика и идеология не могут никогда.** Политэкономика никогда не понимала законов экономики, ибо она не наука, а идеология. Политэкономы часто на протяжении всей своей жизни занимаются не экономикой, а политикой. Как правило, они даже не понимают этого.

В основе нарушения законов экономики лежит то обстоятельство, что многие люди живут одним днём. Одним библейским днём. Идёт 7530 год седьмого библейского дня. Этот день может продлиться и миллион земных лет. К примеру, первый библейский день, как считают учёные, длился сорок миллиардов земных лет. А впереди нас ждёт восьмой библейский день – Царство Небесное, обещанное Иисусом Христом. В седьмой библейский день Бог почил от трудов. Это библейский день радости, счастья и отдыха. Но первоначальный грех превратил этот день для человечества в череду скорбей.

И только те люди, которые живут в Боге, живут радостно и счастливо. Им совершенно безразличны так называемые “испытания”, которые, как считают некоторые, сегодня проходит Россия. Эти люди, по Серафиму Саровскому, занимаются только одной-единственной задачей – спасением своей души для жизни вечной. Остальное их просто не интересует. Таковы русские старообрядцы. Они есть во всём мире. Старообрядцы живут в Промысле Божиим. **А в Промысле Божиим кризисов не бывает.** Возвращения России в Промысл Божий могут добиться только конкретные россияне, одержав победу каждый над своим личным грехом.

Но вернёмся к инфляции. Инфляция – это современный инструмент доветхозаветной идеологии прибыли. Эту идеологию вынес из египетского рабства выведенный Моисеем народ. Система рабовладения другими людьми – это форма прибыли. Идеология прибыли всегда ведёт народы в рабство. Сегодня она ведёт планету в цифровое рабство. Благодаря вирусам, о которых ещё в 1972 году предупреждал Збигнев Бжезинский, человечество начинает понимать, что стоит на пороге цифрового рабства.

По всему миру люди сегодня выходят на демонстрации. Но к кому они апеллируют? Если к политикам, которые во лжи живут на баснословные доходы от инфляции, то это совершенно бессмысленно и бесполезно. **Апеллировать надо только к Богу.**

Чипы, против вживления которых в тело идут массовые протесты, – это современная форма цепей для рабов. Многие первые христиане были рабами и вынужденно ходили закованными в цепи. Можно чипировать тело человека. Но чипировать душу человека невозможно. У первых христиан тела нередко были закованы в цепи, но в душе у них всегда была горница Христова. В ней они спасались. Вспомним, как Бог чудесным образом освободил от цепей апостола Петра:

“Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, – тогда были дни опресноков, – и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем Церковь прилежно молилась о нём Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Пётр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: “Встань скорее”. И цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: “Опяшьяся и обуйся”. Он сделал так. Потом говорит ему: “Надень одежду твою и иди за мною”. Пётр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам,

ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним” (Деян. 12; 1-10).

Как в случае с цепями апостола Петра, так и сегодня Бог может обнулить действие любого вживленного чипа. Надо идти на исповедь в храм и каяться. Главное – это иметь к Богу полное доверие. Идеология прибыли ведёт народы в рабство. Но мы сами поддались на посулы комфорта вместо труда в поте лица своего, лёгкой жизни в долг за счёт будущих поколений. Мы приняли деньги, не обеспеченные ничем. Только Бог может вывести человечество из этой ситуации в жизнь, свободную от греха, и в свободу самодостаточности. Надо просить прощения и молиться. *“Богу же всё возможно”* (Мф. 19; 26).

В теоретической матрице национальной экономической парадигмы мировоззрение самодостаточности и идеология прибыли противостоят друг другу. На практике они никогда не совместимы. Или самодостаточность, или прибыль. Самодостаточность есть свойство Бога. Бог самодостаточен и ни в чём и ни в ком не нуждается. Бог учил людей самодостаточности, посылая им в пустыне манну небесную только на один день. Гимном самодостаточности является молитва *“Отче наш”*: *“Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого”* (Лука, 11; 2-4).

Повторим, что **в экономических моделях, построенных в мировоззрении самодостаточности, инфляции нет**. Повторим: до 1914 года в мире не было инфляции. Она родилась в США, где была политика, которая взялась её обслуживать. В последующие 107 лет инфляции большими периодами не было в Германии, в СССР, в большинстве стран Азии, а в отдельные годы и в США.

Человек, прочитавший Библию и увидевший историю мира от первого до восьмого библейского дня, понимает, что **идеология прибыли исповедует конечность человеческой истории**, а мировоззрение самодостаточности с точностью до наоборот предлагает путь стабильного и не ограниченного временем развития. Ещё хоть и миллион земных лет. Бог живёт вне времени в вечности.

Инфляция уже 60 лет разрушает нашу экономику и снижает уровень жизни наших граждан. Хватит жить в погоне за мифической прибылью, измеряемой в ничем не обеспеченных денежных знаках: страна вконец обнищала. Сорока пяти миллионов человек на жизнь не хватает зарплаты. Они живут в долг у банков. Ещё тринадцать миллионов человек имеют по два, три и более кредитов. Вместе это почти семьдесят процентов от трудоспособного населения страны. Инфляция ведёт к удорожанию кредитов, к которому мало кто готов. Население России оказалось в ловушке инфляции. В то же время прибыль банков достигла двух триллионов рублей. С инфляцией пора заканчивать. С прекращением инфляции прекратятся казнокрадство и вывоз валюты. Деньги завтра будут стоить столько же, сколько и сегодня, и начнут работать на Россию. Появится смысл инвестировать в реальное производство.

У нас есть успешный опыт 1924 года. Тогда в Германии всё решило именно золото. Золото – это важная тема для всех органов федеральной власти России. Можно довести долю золота в золотовалютных резервах не только до 25%, но и до 100%. Ибо при необходимости золото конвертируется в любую валюту с ликвидностью, равной одной секунде.

Тем, кто, возможно, возразит, что мол, курс золота колеблется, можно сказать следующее. Обратите внимание на то, что бенефициары инфляции упорно работают над сбором физического золота на протяжении уже многих поколений. Они поклоняются золотому тельцу как богу. Весьма вероятно, что их цель состоит в монопольном владении золотом на всей планете. Оно могло бы дать возможность установить для золота совершенно любую цену. Например, двадцать миллионов долларов за унцию. То есть в десять тысяч раз больше, чем сегодня. Для мирового монополиста с этим никаких проблем нет.

Возможно, именно для этого золото и собирается при помощи инфляции. Дело в том, что монополист мировых золотых денег смог бы устанавливать цены на природные богатства мира по своему усмотрению. Всё это для сведения тех, кто напрасно продаёт золото. И для тех, кто сегодня владеет ресурсами и производствами. И особенно для тех, кто имеет в банках много ничем не обеспеченных денег и ошибочно считает себя обеспеченным человеком.

Масштаб кажущихся сегодня даже очень большими состояний может измениться вектором вниз даже и в десять тысяч раз. Ведь сто лет назад изменение было ещё бóльшим. Так может быть у тех, кто не держит, скажем, 10% своих активов в физическом золоте. А у тех, кто держит те же 10% своих активов в физическом золоте, если мы правильно понимаем задумку бенефициаров инфляции, активы могут вырасти и в тысячу раз. GATA.org пишет об этом с 1999 года.

Но золото — это не богатство, а такой же прах, как всё земное. Всё сказанное — это научные гипотезы и теоретические допущения в отношении золотопоклонства, которое противно Богу. А фактор Бога решает в экономике абсолютно всё. Бог гордым противится. Например, климатическими катастрофами. Гордым будет сильно не до золота. Всех своих золотых идолов они сами бросят кротам и летучим мышам. Пророк Исайя говорит: *“Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: “Придите, и взойдём на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копьё свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем. Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его; и наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, — и Ты не простишь их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядёт день Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное и на всё превознесенное, — и оно будет унижено, — и на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли Фарисские, и на все вожделенные украшения их. И падёт величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им”* (Исайя 2; 1-20).

Если досточтимый читатель при словах пророка Исаии о золотых идолах, которые окажутся у летучих мышей, подумает о китайском городе Ухань, то да вспомнит он о том, что исторически в Китае никогда не было золотой ереси. Экономика Китая даже и в средние века стояла на гигантском товарном производстве и обходилась совсем без золота. Как и экономика СССР при И. В. Сталине. И это правильно. Ибо догматами экономической науки являются только товарное производство и стабильность. Стабильность же есть только в экономике самодостаточности. В экономике прибыли стабильности не может быть по определению. Только кризисы, революции, войны и нескончаемое множество иных турбулентностей.

При оценке исторической перспективы принципиально важно понимать, что **жаждущим прибыли никогда не хватает обеспеченных денег.** Поэтому для нас есть только один выход — вернуться в противоположное идеологии прибыли мировоззрение самодостаточности.

Широко распространено представление о том, что Апокалипсис неизбежен, так как он является догмой. Это не так. Все пророки и апостолы только предупреждали о том, что может быть в случае, если человек не станет соблюдать Заповеди Божии. **Бог находится в постоянном творческом развитии.** Если человек встаёт на беспощадную борьбу со своим личным грехом, то его жизнь приобретает смысл. И это даёт смысл продолжению человеческой истории хоть и на миллион лет. Страшного суда могло бы и не быть во все. Но когда-то он будет, и человечеству, несомненно, будет дан урок.

У кого-то может возникнуть чувство безысходности. Но история учит, что безысходности в жизни человека не бывает в принципе. Бог никогда не допускает в жизни человека трудностей, которые выше его сил, и ситуаций, из которых нет выхода. Надо только встать на колени, покаяться перед Богом и попросить указать путь. **Библейская Ниневия ясно увидела, что по грехам своим будет уничтожена, встала на колени, в строгом посте молила Бога о прощении. И была прощена. И нам следует поступить точно так же.**

В последние два года в мире зримо увеличилось количество зла. Разговоры о “золотом миллиарде”, о насильственном сокращении населения планеты на несколько миллиардов человек приобретают зловещие очертания. Перспектива цифрового рабства видна не на горизонте, а невооружённым взглядом. В эту точку человеческой истории нас привела господствующая в мире идеология прибыли и в ней – феномен инфляции, обслуживающей золотую ересь. Мы оказались здесь вовсе не потому, что идеология прибыли сильна, но исключительно потому, что позволили себе утратить нашу самодостаточность. И началось всё это в XVII веке. Как говорил А. И. Солженицын, без семнадцатого века не было бы семнадцатого года. Останься Россия старообрядческой, не было бы никакой революции.

В книге автора “Экономическая история России. Краткий курс” дана следующая формула рабства. Рабство – это насильственное удаление у человека свободной воли, дарованной ему Богом, в том числе и права на свободное волеизъявление. Формы рабства могут быть разные. Есть известные исторические формы, включая работорговлю, то есть торговлю людьми. Ныне этой форме рабства соответствует вживленный в человека чип. Могут быть прерии, огороженные колючей проволокой. Есть рабство от Бога. Христиане – рабы Божии. Это условно принятое рабство в результате осознания человеком своих грехов. А от мира и от государства – рабы сего мира. Вся история человечества, и экономическая история России в том числе, есть история рабства человека греху и государству как плоду повреждённого грехом сознания человека. Нет никакого прогресса человечества. Даже если есть прогресс в науке и технике, то это не освобождает человека от рабства государству.

Единственные люди, кто выходит из этой системы, – это святые и люди, желающие жить святой жизнью через Таинства Исповеди и Причастия. Весь мир есть не что иное, как мозаичные формы единого рабства от дьявола, а мозаичность определяется совокупностью преобладания тех или иных грехов в сознании каждого человека или общества, в котором он живёт. В племенах преобладают одни грехи, а в развитых странах – совершенно иные грехи.

Но все – рабы именно греха. Сознание каждого без исключения человека от Адама и Евы искажено грехом. Жизнь верующего в Бога человека состоит в борьбе с грехом, в стремлении к исправлению своего искажённого грехом сознания. В итоге многолетней работы над собой немногие с помощью Святого Духа достигают видения окружающего их мира и событий почти без искажений. Таковыми являются, например, православные монахи-старцы святой горы Афон, России, Греции, Грузии и других стран. Среди мирян такой силы веры в Бога, доверия к Богу, смирением и дисциплиной часто достигают русские старообрядцы.

Рабство всегда рождает ответное зло. Ни в коем случае нельзя допустить дальнейший рост зла на нашей планете. Эту задачу призвано решить мировое христианство. Только христианство может сократить количество зла в мире. Только в христианстве есть любовь к врагам. **Только христианство отвечает на зло не злом, а любовью и тем сокращает количество зла в мире.** Бог любит каждого человека на планете и долготерпеливо ждёт его к Себе. Бог видит целомудренную душу человека такой, какой она была при его рождении, отдельно от греха, приобретённого в течение жизни. Христиане подражают Богу, живут в Боге, и это позволяет им любить своих врагов. Ни один человек на планете без Бога ничего из себя не представляет. **Человек без Бога – никто.** Христиане почитают себя никем, худшими из худших, а своих врагов – безгрешными праведниками.

Русские старообрядцы повторили подвиг первых христиан, которых в Риме распинали на крестах. В XVII веке они нанесли сатане сокрушительное духовное поражение. Они не ответили злом на зло. Они ответили своим врагам любовью и победили. Их перед смертью зверски пытали, как соловецких монахов, морили насмерть голодом, как боярыню Феодосию Морозову, сжигали

заживо на кострах, как протопопа Аввакума Петрова, а они прощали своих убийц. Сатана опозорился, откатился в Европу и занялся революциями.

Дело в том, что у христианина нет врагов. Есть только друзья, которые формируют путь христианина к Богу. Любое нарушение Закона Божия формирует будущие скорби человека. Человек формирует программу своих жизненных скорбей сам. Правило простое: если не было покаяния по конкретному нарушению Заповедей, то приходят скорби. Скорби приходят через друзей. С покаяния начинается духовная жизнь человека, из которой вытекают все его материальные успехи и неудачи.

Очень полезен пример русских старообрядцев, всю жизнь живущих в состоянии ежесекундного покаяния перед Богом. Они неотступно, не прерываясь и даже во сне читают Иисусову молитву *“Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!”* Между этими молитвами практически нет промежутка, и бесам попросту не удаётся втиснуть в голову старообрядца свои идеи. Как видим, всё просто. **У Бога всегда всё просто.** Любая сложность свидетельствует о слабости и ущербности.

У человека нет ведения. Ведение есть только у Бога. Поэтому на протяжении двух тысяч лет христиане живут в Боге, и Святой Дух ежедневно ведёт их. В том числе и в экономике. А тем, кто считает, что уже живёт в раю, тем, кто строит “Новый земной Иерусалим”, короткая земная жизнь навсегда останется раем. Но это их свободный выбор. Они имеют на него полное право. И не надо обращать на сатану и его воинство ровно никакого внимания. Слишком много чести. Люди просто не знают, что такое ад. Люди не знают, что их ждёт. **Если бы люди знали, что их ждёт, все бы пошли за Иисусом Христом.**

Чтобы реально защитить уровень жизни наших людей, тем, кто имеет отношение к сложившемуся за 60 лет казнокрадству, не надо оглядываться назад. Стоит покаяться перед Богом, получить от Него прощение и забыть. Отменить инфляцию и не повторять. Деньги, полученные от инфляции, лучше отдать на тайную благотворительность. Она отменяет власть денег над человеком.

“Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно” (Мф. 6; 1-4).

Очень нужна широкая, но в то же время никому не видимая тайная благотворительность. Она будет видна только Богу, и Он исправит исторический путь России, а может быть, и всего человечества. Тайная благотворительность уважаема во всех мировых цивилизациях. **Благосостояние и историческая судьба любого государства определяются исключительно духовным использованием материальных богатств. И уже наступает время, чтобы вокруг тайной благотворительности и против потуг идеологии прибыли, направленных на окончание человеческой истории, объединились все верующие люди планеты.**

В Евангелии сказано: *“Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше”* (Мф. 6; 19-21). На Небесах есть Духовный банк добрых дел. В нём каждый человек имеет свой личный счёт. Каждое доброе слово и дело превращаются в нём в духовное золото. Тайная благотворительность даёт максимальное пополнение этого счёта. Она приятна Богу.

Святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, известен многими чудесами и своей тайной благотворительностью. Во всём мире его знают как Санкт-Николауса или Санта-Клауса. А в СССР сложился образ Деда Мороза. Человек, разделяющий **идеологию Деда Мороза**, делает добро другому человеку так, что тот никогда не узнает, кто именно ему сделал добро.

Получивший анонимную помощь человек понимает, что добро ему сделал Бог, и горячо благодарит Бога. Многие навсегда сохраняют это добро в сердце и всю оставшуюся жизнь изобильно делают добро окружающим их людям.

Бог хорошо знает тайного благодетеля, ибо этот человек работает не ради благодарности от людей, но во славу Бога.

Тайная благодетельность – это магистральный путь выхода России из сложившегося положения. В том числе для борьбы с тайной благодетельностью придуманы цифровые деньги. Поэтому в интересах нашей нации ни при каких обстоятельствах нельзя допустить отказа России от металлических и бумажных денег. Надо сильно молиться о том, чтобы Бог вразумил нас и власть.

Полезна книга “Вот она, жизнь вечная. Жизнь и чудесные видения святого Василия Нового и святителя Григория, архиепископа Эфиопского”. В ней подробно описано, как тысячу лет тому назад после своей смерти блаженная Феодора прошла двадцать одно воздушное мытарство. Дело в том, что в Книге Жизни записано каждое слово и дело человека. На мытарстве каждого греха в отдельности бесы предьявляют душе умершего её конкретные нарушения Закона Божия, в которых человек не покался при жизни. Грехи, в которых при жизни принесено покаяние, из Книги Жизни стираются, и бесы их уже не могут предьявить.

Только духовное золото из Небесного Банка добрых дел, которое имеет ангел, сопровождающий душу на мытарствах, даёт возможность оплатить нераскаянные при жизни грехи. У тех, кто в земной жизни использовал возможности для добрых дел, в особенности для тайных добрых дел, духовного золота на мытарствах, скорее всего, будет в достатке. А у тех, кто занимается глубокой духовной самоанатомией, регулярно и тщательно кается, на мытарствах будет намного меньше нераскаянных грехов.

Ещё в той книге подробно описаны **Грядущий суд и вечное воздаяние.** Становится понятным, как важны ежедневные молитвы за свои роды, за своих умерших предков и кровных родственников. У старообрядцев и на Кубани они очень сильны. Они отсекают нас от груза ответственности за грехи наших предков.

Мировая экономика вступила в парадигму резко сжимающихся рынков. В этих условиях предельно важно вернуть в нашу экономику ручной труд в поте лица своего, завещанный человеку Богом-Отцом. Для этого необходимо прекратить импорт простых вещей и восстановить в России товарное производство. Только предприятия ручного труда могут сегодня быстро дать людям работу рядом с местом жительства и зарплату, и тем спасти их от нищеты и голода. Муниципальные предприятия ручного труда надо создавать повсеместно. Каждый район и каждый город России должен стать самодостаточным. Людям нужна простая работа по месту жительства и заработная плата. Надо находить деньги для создания в России муниципальной экономики ручного труда.

Сложившуюся в нашей стране за последние 60 лет экономику прибить надо спокойно, без суеты и спешки перевести в экономику самодостаточности. **У России есть христианская экономическая идеология и самая успешная в мировой истории экономическая модель самодостаточности трёх “С”:** концентрация производства Старообрядцев-Столыпина-Сталина. Разумеется, следует максимально использовать современные информационные технологии, оправдавшие себя экономические алгоритмы и учитывать социальный фактор. Как показала недавно вышедшая книга “Кристалл роста”, в нашем обществе на это существует огромный запрос. Надо строить экономику самодостаточности человека, семьи, компании, района, города, региона и всей России. Это, может быть, не просто вместить, но другого пути у нас нет. **Не идти же нам дальше за идеологией прибыли к концу человеческой истории!**

Стандартный период в истории экономики для того, чтобы оценить, как работает та или иная модель, – это не менее пятидесяти лет. За сто лет эксперимента с политической властью в Европе и в России стало понятно, что она себя не оправдала. Можно не спеша начинать возвращаться к экономической власти. Она может быть в разных формах. Главное – примат экономики над всем и менталитет хозяина.

Вспомним, как на Венском конгрессе в 1815 году абсолютные монархии Европы, жившие в системе экономической власти, даровали Швейцарии демократическую конституцию. В этом не было никакого противоречия. **Экономическая власть подразумевает примат экономики над всем.**

А ему совершенно всё равно, какая у страны форма государственного устройства. Важна экономика самодостаточности, в которой только и возможна экономическая стабильность. Образованным на Венском конгрессе Священным Союзом было установлено, что международные отношения строятся на основе Евангелия Иисуса Христа. Составили Священный Союз христианские монархи православной России, католической Австрии и протестантской Пруссии. К нему присоединились все монархии Европы, кроме Великобритании. Почти на сорок лет в Европе установился мир, а попытки расшатать его революциями 1830 и 1847–1849 годов провалились. Страны и люди жили в достатке самодостаточности. Поэтому идеи передела собственности от идеологов социализма и коммунизма тогда мало кого заинтересовали.

Принять решение о том, нужна ли России цифровая экономика в её нынешнем виде, можно никак не раньше 2033 года, когда ей исполнится пятьдесят лет. Семидесяти процентам населения России цифровые технологии не нужны ни одного раза в жизни. Вот в оборонной промышленности, в космосе – другое дело. **В экономике всё решают не технологии, а алгоритмы материальной заинтересованности.** Кроме того, экономика – это всегда цикл. Роботизация его разрывает, чем делает современную концепцию построения цифровой экономики несостоятельной.

Представьте себе, что на планете живут сто человек. Они сами производят всё необходимое, в рамках разделения труда обмениваются излишками, используя при этом деньги как инструмент для эквивалентного обмена. Они сами потребляют все произведённые товары и продукты питания. Допустим, роботы заменили двадцать человек и стали производить необходимые товары без их участия, потребляя сырьё и энергию. Однако потребителей товаров осталось сто. Вот только зарплата для приобретения товаров теперь есть только у восьмидесяти из них. То есть двадцать процентов произведённых товаров, на которые были потрачены сырьё и энергия, не найдут своего покупателя. А двадцать человек останутся без зарплаты, без еды и необходимых товаров. Такая система не учитывает социальный фактор, она быстро рухнет. Роботизированная модель допустима, только если она будет полностью государственной или общинной и в ней будет учитываться социальный фактор. Назовём её цифровой экономикой старообрядческого типа в современном прочтении.

Прошло сто лет с той поры, как царь Николай II подготовил Поместный собор 1917 года для преодоления русского раскола. Ему не дали этого сделать. И тогда исполнилось предостережение Пресвятой Богородицы духовнику царя Петра I преподобному Иову Анзерскому 18 июня 1712 года о том, что Соловецкий монастырь вновь может стать Голгофой для православного духовенства. Соловки, где в 1676 году с расправы царскими стрельцами над монахами-старообрядцами начался общенациональный русский раскол, в 1923 году стали концлагерем для многих тысяч священнослужителей Русской Православной Церкви.

Бог по нашим молитвам и покаянию может не дать родной земле ещё раз стать для россиян скорпионом, не допустить создания в России цифрового ГУЛага. В жизни каждого человека есть место подвигу. Молитва есть самый трудный подвиг для человека. **Всё по молитвам. Если нет покаяния, всегда прилетает бумеранг.**

Исполнилось пятьдесят лет Поместному собору Русской Православной Церкви 30 мая – 2 июня 1971 года, который признал преследование старообрядцев и русский раскол XVII века ошибкой. Это было историческое событие. Духовное определяет материальное. Уже 16 августа 1971 года в США рухнул золотодолларовый стандарт 1944 года. США получили шанс вернуть золоту и серебру статус денег, как этого требует десятый раздел первой статьи действующей Конституции США. Биметаллический стандарт золота и серебра вернул бы миру экономическую стабильность, как до 1914 года.

3 сентября 1971 года США, Англия, Франция и СССР подписали соглашение по статусу Берлина, возобновив своё полномасштабное стратегическое сотрудничество. Тогда у всех были живы в памяти пророческие слова президента Франции Шарля де Голля, сказанные в 1965 году, о том, что подмена золота бумажным долларом и жизнь США в бесплатный долг у всего мира и за счёт всего мира может привести к “величайшей катастрофе в истории человечества”. Как это актуально и понятно всем сейчас! И как жаль, что в 1971 году мы не вошли в ту дверь исторических возможностей.

Пришло время вернуться к задаче преодоления русского раскола. Русская Православная Церковь и Русская Православная Старообрядческая Церковь разделены только административно. Православные христиане России причащаются крови и плоти Христовой из единой чаши, которая на Небесах. Ничто не препятствует двум православным церквям начать преодоление раскола с того, чтобы **взаимно почитать прославленных в лике святых угодников Божиих**. Как член Поместного собора Русской Православной Церкви 2009 года предлагаю начать диалог православных христиан на эту тему. “Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падёт” (Лука, 11; 17). Необходимо восстановить в России народное единство. Пусть День народного единства 4 ноября станет нашим круглогодичным праздником. Вся Россия – это один православный монастырь. И игумен у нас один – преподобный Сергий Радонежский.

С нами Бог, разумеете, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!

Данная статья, за исключением цитат из первоисточников, не защищена авторским правом. Используйте её во славу Божию.

ВЛАДИМИР КИПРИЯНОВ

ЭПИЗОД ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

*Самый опасный враг не колонизатор
и оккупант, а твой соотечественник,
прикормленный оккупантом.*

Махатма Ганди

На территории России идёт война нового поколения – гибридная. Её действия не видны, но разрушительные результаты вполне очевидны всем. Наши потери в населении и во всех отраслях народного хозяйства сравнимы с потерями в Великой Отечественной войне. Об этом говорят многие независимые эксперты, в том числе депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров, неоднократно заявлявший в СМИ, что Россия находится в оккупации.

В стране идёт противостояние двух сил: прозападных и патриотических, разрушительных и созидательных. Российская природоохрана на деньги западных спонсоров создаёт всё больше и больше различных ООПТ (особо охраняемых природных территорий), режим которых тяжким бременем ложится на плечи людей, чьи поселения оказались на этих территориях. Там останавливается социально-экономическое развитие и огромные площади страны навечно изымаются из хозяйственной деятельности. Таким образом, Россия теряет свои территории. Создаются невыносимые условия жизни для местного населения, которое вынуждено покидать давно обжитые места или постоянно находиться под угрозой различных санкций.

ПРИРОДООХРАНА И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Начнём с главного: для чего человек охраняет природу? Как утверждают ярые апологеты этой концепции, мы охраняем природу для последующих поколений. Вроде бы всё правильно, но... А куда деваться нам самим? Для того чтобы родились следующие поколения, мы должны обеспечить приемлемые условия существования поколениям, живущим сегодня. Это аксиома. А что мы видим на самом деле?

В начале “лихих” 90-х годов в Россию под флагом трогательной заботы о нашей природе внедрился Всемирный фонд дикой природы (WWF). Его корни говорят сами за себя: в клубе “1001”, основателе WWF, состоят члены

КИПРИЯНОВ Владимир Михайлович — биолог-охотовед, научный руководитель гагачьего хозяйства о. Вайгач. В 1981 году окончил факультет охотоведения Кировского сельхозинститута. Работал в центральной проектно-изыскательской экспедиции Главохоты РСФСР и затем более 20 лет — экспертом WWF России. Автор двух сборников рассказов и целого ряда публицистических статей по природоохранной тематике.

кланов Ротшильдов и Рокфеллеров, высочайшие особы королевских домов Европы, богатейшие люди из стран Ближнего и Среднего Востока.

WWF внедрился в Россию как иностранная организация и потом, через некоторое время заявил, что он уже свой, родной, хотя основная часть его доноров как были, так и остаются за границей. А, как известно, кто платит, тот и музыку заказывает. Все наши природоохранные проекты постепенно попали в зависимость от этой влиятельной организации. WWF поэтому и вывеску свою не сменил, прикинувшись родным, – какой же иностранец будет вкладывать свои деньги в чуждую ему Россию? Как сказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, WWF вовсе не является независимой общественной организацией, а поддерживает политику США и Великобритании.

WWF является ведущей организацией, инициирующей и спонсирующей создание всё новых и новых ООПТ. Советская школа охотоведения учила нас вдумчиво сочетать интересы и задачи природопользования и природоохраны и вести их в гармонии друг с другом. Охотоведы одновременно заботились как о рациональной хозяйственной деятельности человека в дикой природе, так и о сохранении среды и условий обитания диких животных и птиц.

Было также отдельное направление ООПТ – заповедники, где природа была предоставлена сама себе. Это уже раздел чистой науки, хотя надо сказать, что одни из первых заповедников в Советской России Кандалакшский (1932) и “Семь островов” (1938) были созданы специально для отработки методик ведения гагачьего хозяйства. Именно так и назывались эти заповедники: “опытное гагачье-промысловое хозяйство”, “опытное гагачье пуховое хозяйство”.

К 2014 году WWF и его проектировщиками, не понимавшими истинных целей заказанной им работы, было создано 140 заповедников, национальных парков и прочих ООПТ общей площадью 54 млн га. Это больше, чем площадь Германии. Одна только Якутия “подарила Земле” 30% своей огромнейшей территории. С одной стороны, это, казалось бы, хорошо, но есть и другая сторона, которую знают только люди, проживающие на ООПТ.

В начале ноября 2019 года в Общественной палате г. Москвы состоялись общественные слушания на тему: “Особенности проживания граждан в границах особо охраняемых природных территорий”.

Мнения выступающих были диаметрально противоположны. Люди, проживающие на территориях ООПТ, выступали категорически против ООПТ, а функционеры из Минприроды и прочих администраций, для которых природоохранные функции являются их непосредственной работой, за которую они получают зарплату, иностранные гранты и прочие поощрительные призы, отстаивали другое мнение.

Так, их представитель Потёмкин А. А. сказал: “Мы ни в коем случае не должны бороться с национальными парками, так как они занимают всего 3% нашей территории. А 19000 различных ООПТ занимают всего лишь 11% территории России. Это очень мало, так как в мире ими занято до 16%, а нам надо довести эту цифру, согласно международным соглашениям, до 20% как минимум”.

Заместитель губернатора Вологодской области Зайнак Э. Н.: “Национальный парк “Русский Север” подмял под себя 247 населённых пунктов области, в которых проживает 13 тыс. человек, или 80% всего Кирилловского района. Здесь, согласно Положению о национальном парке, запрещено любое строительство, даже в зоне хозяйственного назначения, а это 55% всей территории нацпарка. В результате в районе остановлено все социально-экономическое развитие. Люди не могут получить право на земельные участки для ведения подсобного хозяйства. Стоящие в очереди на улучшение жилья остались ни с чем, так как строительство жилья запрещено. Арендаторы земли оказались в подвешенном состоянии. Здесь всегда жили и трудились люди, и нет никаких редких растений и животных, из-за которых якобы создан национальный парк. Идут протестные митинги”.

Мэр Ольхона: “На территорию Байкала лёг тройной слой запретов: 1) Центральная экологическая зона; 2) Национальный парк; 3) Наследие ЮНЭСКО, причём границы этих ООПТ конкретно не определены. Здесь теперь прекращено всякое строительство, включая очистные сооружения. Так, в посёлке у одного жителя сгорел дом, он готов построить другой, но разрешения на строительство ему не дают. Человек не пустил в свой жилой дом представи-

теля национального парка – ему дали год условно... Байкал всегда был все-российской здравницей, теперь здесь запрещён палаточный туризм, в том числе и летние пионерские лагеря. Мы закрываем глаза на размещение этих лагерей, но получить документальное разрешение из Москвы в течение вот уже нескольких лет не можем”.

Данилина Н.: “Кенозерский парк Архангельской области – лучший пример национальных парков. Культурный ландшафт без людей и посёлков немислим. Местные люди рады, что брошенные деревни теперь охраняются (от них самих, и теперь их будет уже не восстановить. – В. К.), а они сами могут работать гидами, делать и продавать предметы народного творчества, устраивать экологические гостиницы для туристов. Им завидуют те, кто не попал в границы нацпарка. (Ну, прямо детский сад! – В. К.) ООПТ – это объект национального достояния, и здесь по закону запрещена любая деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов. Мы защищаем право будущего поколения на хорошую экологию”.

Современная тенденция развития общества спровоцировала антагонистические отношения между, казалось бы, очень близкими направлениями человеческой деятельности, такими как охрана окружающей среды и рациональное природопользование. Причём пальма первенства отдаётся природоохране. Международные природоохранные организации, тесно связанные с финансовыми структурами, активно взялись за “охрану природы России” и “гуманное отношение к животным”. В результате этого международный пушно-меховой аукцион отказался от закупок или сильно ограничил работу с большей частью дикой пушнины России, нанеся тем самым смертельный удар охотничье-промысловым хозяйствам страны, в которых была задействована огромная часть населения Севера.

Прекратились заготовки псаца, на которых держалась многовековая, хорошо поставленная экономика охотничьих хозяйств, и люди, живущие здесь, потеряли основную статью дохода, а возникший социально-экономический кризис быстро обезлюдил огромные северные территории. Этому процессу, напрямую или косвенно, содействовал перевод бывших промысловых территорий в статус различных ООПТ, количество которых растёт с большой скоростью. При этом бюджетное финансирование их деятельности идёт по остаточному принципу, и выполнять в полном объёме научные задачи эти ООПТ чаще всего не в состоянии. Но данные территории выведены из хозяйственного природопользования, что, в конечном итоге, напрямую бьёт по экономике страны и её социальным аспектам.

WWF России и институты РАН живут во многом за счёт западных грантов, которые щедро отпускаются на создание новых ООПТ якобы для охраны и изучения краснокнижных представителей флоры и фауны России. Те виды, которые не входят в Красную книгу России, Западу не интересны, и основная масса финансовых вливаний направлена исключительно на краснокнижных. Следовательно, грантополучатели напрямую заинтересованы, чтобы в России было как можно больше краснокнижных видов и особо охраняемых природных территорий. Они и стараются работать в этом направлении.

И в то же самое время WWF России настойчиво продвигает идею сохранять популяции редких и исчезающих видов животных путём организации на них коммерческих охот. Как правило, это касается крупных млекопитающих, имеющих высокую трофейную ценность (белый медведь, амурский тигр, зубр).

Резюмируем сказанное. Современная тенденция природоохраны такова, что какие-то неопределённые права природы поставлены выше конституционных прав человека. В Положениях основного числа ООПТ так или иначе допускается хозяйственная деятельность проживающего здесь человека (иначе как ему жить?), но на практике режим даже простого заказника по желанию администрации приравнивается по строгости режима к заповеднику.

Если называть вещи своими именами, Россию всякими путями, а теперь вот ещё и через природоохрану лишают возможности нормально жить и развиваться, вести народное хозяйство и проводить своё традиционное природопользование, ведущее к приумножению природных ресурсов, а вовсе не к их оскудению, что обычно и происходит при слепых охранно-запретных мерах. Здесь нам как соиздательному началу поставлен жёсткий заслон.

Полностью уничтожены достижения советского охотоведения в производственной охотхозяйственной отрасли страны. И речь уже идёт о нашей

национальной безопасности. Наш народ стремительно вымирает, бросает сельские населённые пункты и концентрируется в городах в поисках хотя бы какой-либо работы. Этим как раз и пользуются проектанты WWF, создавая большое количество ООПТ, чтобы здесь уже наверняка не возродилась жизнь, а там, где она ещё теплится, под видом защиты природы организуют местному населению такие проблемы, чтобы постепенно выдавить его в другую местность.

Огромные территории страны, становясь ООПТ, навечно исключаются из народно-хозяйственной деятельности. Оставаясь де-юре нашей территорией, таковой уже де-факто не являются, и этот антигосударственный процесс активно продолжается по всей России. Человек, теряя автономию, теряет свои корни, чувство Родины, становясь безродным космополитом, полностью зависящим от тех, кто им жаждет управлять.

О ПОЛЗУЧЕМ ПРОНИКНОВЕНИИ WWF НА НОВУЮ ЗЕМЛЮ

Давайте сначала зададимся вопросом: а что это такое – WWF? Если коротко – это иностранный айсберг в территориальных водах России.

Основная часть нашего населения, которой знаком аббревиатура WWF, свято верит, с подачи всех СМИ, что эта организация занимается исключительно охраной природы, как она и заявляет о себе во всех рекламных проспектах. Но если копнуть чуть глубже, как это сделал журналист Артём Войтенков в своих аналитических видеороликах “Кому служит WWF?” и “Глупость часа Земли”, то становится очевидным, что основная задача WWF в России – контроль за нефтегазовой отраслью страны. Особенно явно это стало после выступления WWF России против “Северного потока-2”. Для тех, кто желает повнимательнее вникнуть в данную тему, становится понятным, что охрана природы для этой организации – только вершина айсберга, сияющая в лучах рекламных юпитеров, призванная отвлечь на себя всё внимание племса (доноров, как их тут называют). Истинное же лицо WWF, его цели и задачи спрятаны очень глубоко и никак не афишируются. Лишь время от времени в интернет просачивается разрозненная информация, проанализировав которую можно сделать достаточно интересные выводы.

Что такое Новая Земля для России? Стратегический объект особой секретности, ядерный полигон, где проводятся, надо полагать, неведомые нам разработки для укрепления ядерного щита державы. Но работают-то простые люди, которых в отпуске на материке и незаметно, а тут они все в куче...

Для начала разрушения железного занавеса Советского Союза, за которым мы все хорошо знали, что такое социальная защищённость, Западу нужно было, как в бою, для перехода на ближнюю дистанцию найти хоть какие-то точки соприкосновения, нейтральные и взаимноинтересные. “Врачи-без-границ”, “Экологи-без-границ” и прочие подобные затеи – это всё звенья одной цепи, бьющей по суверенитету любой страны. И вот этой точкой оказалась “охрана и изучение окружающей среды”. Ну, и понемногу таких контактных точек становилось всё больше, в результате чего наша великая империя СССР была ими легко разрушена. На очереди, согласно Гарвардскому проекту, Россия.

Создание огромной массы различных ООПТ на её территории, которые проводят наши граждане под непосредственным руководством иностранных структур, и тем более щедрая оплата в виде “научных” грантов и прочих невинных способов, которая тоже в основном вполне легально поступает отсюда, усыпляет наших проголодавшихся учёных и природоохранников и закабальет их. На первый взгляд, ООПТ остаются в составе нашего государства, но они по большей части выпадают из хозяйственного использования и тем более управляются людьми, живущими, в какой-то мере, на иностранные гранты. Им негласно позволено осуществлять скрытую хозяйственную эксплуатацию захваченных территорий в личных целях (тот же турбизнес и пр.), но они должны насмерть стоять за соблюдение “режима особоохраняемой территории” перед всеми остальными местными жителями.

Они ищут любой способ, чтобы зацепиться за ту или иную территорию, и, прикрываясь “зелёными” лозунгами, подмять её под себя.

На наших глазах это происходит с Новой Землёй.

Северный остров отдан им без особых раздумий, как не представляющий собой никакого интереса, под национальный парк “Русская Арктика”. Кем он создан? Это целиком и полностью детище WWF, хотя они говорят лишь только о своём “участии”. Для чего создан? Заявлено, что “для сохранения биоразнообразия”. А от кого сохранять, если там никто не живёт и простому смертному туда так просто не попасть? Администрация, назначенная туда при полном контроле WWF, сидит в Архангельске. Учёные, оторвавшие в конкурсной борьбе западный грант, приезжают туда на 1,5–2 летних месяца. А больше там и делать нечего. Но стратегический интерес WWF заключается в том, что этот нацпарк явился его опорной базой, плацдармом для дальнейшей экспансии. Именно оттуда они начали подминать под себя ЗФИ: “Русская Арктика” – это один из самых молодых национальных парков в России. Под его управлением находится образованный 23 апреля 1994 года государственный природный заказник федерального значения “Земля Франца-Иосифа”, площадь которого превышает 7 миллионов гектаров, из которых 80% – морская акватория” <https://www.rgo.ru/ru/regiony/osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/nacionalnyy-park-russkaya-arktika>.

И вот речь идёт уже как о чём-то само собой разумеющемся – захвате южной оконечности Южного острова. “На прошедшем научно-техническом совете нацпарка также было одобрено предложение создать на Новой Земле заказник “Карские ворота” (южная часть архипелага пока свободна для посещения) (<http://murman.tv/news/78524-russkaya-arktika-perehodit-na-solnechnuyu-energiyu-hochet-razvivat-aviasoobshenie-s-materikom-i-zagotavlivat-puh-gagi.html>).

Эти ребята говорят уже о налаживании тут турбизнеса, чтобы любой желающий мог легко сюда попасть: “Кроме того, сегодня активно ведётся обсуждение развития авиасообщения с архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа с точки зрения развития туризма. Это удешевит путешествия в Русскую Арктику в разы и позволит сэкономить массу времени туристам”, – заявил Александр Кирилов”.

А для чего им это надо? Вот тут как раз к “зарыта собака”: для создания ООПТ, которые будут охранять бедных животных от туристических орд. Сейчас там никого нет, поэтому охранять и не от кого. Поэтому для начала и надо организовать поток туристов (вот он, частный коммерческий интерес), чтобы иметь повод требовать создания новых ООПТ, которые также станут частью той же “Русской Арктики”. “Кроме выполнения функции упорядочивания туристской деятельности, развития науки на Новой Земле, именно здесь можно в опытном порядке начать работы по рациональному использованию природных ресурсов, например, традиционного некогда сбора пуха обыкновенной гаги”, – сказал замдиректора по научной работе нацпарка “Русская Арктика” Иван Мизин”. (Вот ОН, ещё один частный коммерческий интерес под благовидным прикрытием. Кстати, И. Мизин является экспертом WWF. Он приезжал на Вайгач в составе делегации WWF с целью запретить там деятельность гагачьего хозяйства под предлогом, что это не является традиционным природопользованием ненцев.) Запретить в 2018 году не удалось – возбудили уголовное дело на членов Общины за то, что они собрали гниющий по тундре пух гаги и казарки послегнездового (!!!) периода. А в 2019 году усилиями WWF запретили возрождение гагачьих хозяйств в НАО).

Если бы проектировщики назвали этот нацпарк “Американская Арктика”, который, по сути, таковым и является, получили бы они разрешение на его создание? Вряд ли. А тут родная “Русская”, ей можно и другие территории добавив, не задумываясь о последствиях. Так, президент Якутии 30% её земель влёгкую “подарил природе” – читай WWF.

Ну, хорошо, подмяли самый север Новой Земли, уже почти подмяли самый юг “с прилегающей акваторией”(!), теперь пора браться и за ядерный полигон центра. Как? Элементарно! Читаем прессу: “Режим чрезвычайной ситуации ввели на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населённых пунктов. Однако медведи уже не реагируют на световые сигналы и попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак. При этом Росприроднадзор отказался выдать разрешение на отстрел наиболее агрессивных медведей, нападающих на людей и преследующих их. На архипелаг направят оперативную группу из четырёх человек – им предстоит оценить обстановку на месте и выполнить мероприятия по предотвращению

нападения этих краснокнижных животных на людей. Специалисты рассчитывают, что белых медведей всё же удастся прогнать без применения оружия” (<https://www.vesti.ru/doc.html?id=3114343>).

Отстрел бедных краснокнижных запрещён, и вызваны специалисты, которые смогут уговорить их уйти. Кто эти “специалистыг – вы догадались? Правильно, WWF и те, кому он подкидывает гранты. Других специалистов, способных разобраться с хищниками, в России нет. Кстати, за рубежом, на том же соседнем Шпицбергене, человек находится более в Красной книге, чем медведь, поэтому любой имеет полное право применить при необходимости оружие, не опасаясь последствий. И ещё, кстати, одно замечание: WWF добивается открытия в России коммерческой охоты на редких животных: зубра, тигра, леопарда, белого медведя, чтобы “иметь деньги на их охрану”. Однако жители Новой Земли никогда не могут позволить себе такой роскоши – у них нет столько денег. Их роль – быть подкормкой для медведя, чтобы тот продержался до встречи с богатым охотником.

“Названы причины нашествия белых медведей на Новой Земле

Причиной нашествия белых медведей в населённые пункты архипелага Новая Земля стало изменение климата и сокращение площади льдов, сообщил координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов. Эксперт отметил, что белых медведей также привлекает мусор возле посёлков, который местные службы не сортируют и не убирают.

По мнению Михаила Стишова, одним из вариантов решения проблемы, пусть и недешёвым, может стать усыпление и вывоз хищников подальше от населённых пунктов. Но, по словам эксперта, увезти удастся только “особо наглых”, а не всех”.

(https://ran24.ru/main/society/3337-nazva_nv-prichiny-nashestviia-belyh-medvedei-na-novoi-zemle.html)

Асфальтовый специалист свято верит, что “особо наглые”, если их вывезти куда подальше, заблудятся в тундре и уже никогда не найдут дороги к человеческому жилью. Эти защитники жителей Новой Земли, воспользовавшись случаем, показали своё умение работать с медведем: на нескольких особей повесили ошейники с чипами, которые будут передавать куда-то какую-то информацию... При этом их совершенно не волнует, что эти ошейники, очень туго охватывающие шею медведицы, несут ей постоянный стресс, а снять его она самостоятельно не может.

Ну, и в конце от этих радетелей за беззащитных военных на Новой Земле прозвучало то, что и должно было прозвучать:

Медвежий патруль на Новой Земле

<https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-novov-zemle-nuzhen-medvezhiv-patrul/>

Эксперты, посетившие Новую Землю, пришли к выводу, что на архипелаге необходимо создать “медвежий патруль”, чтобы в будущем сократить число конфликтных встреч человека с хозяином Арктики – белым медведем. Специалисты WWF России готовы поддержать эти инициативы (то есть столичные мальчики и девочки, великие знатоки и укротители белых медведей, готовы защищать военных (!) – **В. К.**).

“На Новой Земле должна быть создана отдельная профессиональная структура, которая бы занималась предотвращением и урегулированием конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем. Она должна обладать всеми необходимыми полномочиями и техническими средствами для ведения этой деятельности. Без этого эффективное разрешение сложившейся ситуации в будущем не представляется возможным”, – рассказал заместитель директора по научной работе национального парка “Русская Арктика” Иван Мизин”.

Вот и озвучена цель, к которой они стремятся: спецгруппа с особыми полномочиями доступа ко всем объектам для защиты там бедных военных от “конфликтов с белым медведем”. Больше российских воинов секретного объекта никто, кроме WWF, не защитит, ну, разве что “голубые каски” ООН (с прочими голубыми) или небольшая база НАТО.

КУКУШКИНЫ ДЕТИ НА ОСТРОВЕ КОЛГУЕВ

Как хорошо быть столичным орнитологом! Удовлетворять собственные интересы за счёт государства, получать за это учёные степени и звания, ездить на халяву в дальние командировки, в том числе и за границу, получать оттуда гранты (совершенно не сопоставимые с зарплатой научного сотрудника), писать научные отчёты (которые никому не нужны) и, самое главное – никакой ответственности ни перед кем за эту свою писанину! Живи да радуйся! Более того: если правильно себя поставить, то можно стать законодателем, не имея на то никаких полномочий и прав, прикрывать высосанными из пальца законами свои коммерческие интересы и оставаться при этом совершенно безнаказанным.

Вот совсем свежий пример, произошедший недавно в Ненецком автономном округе на острове Колгуев.

Великая, социально ориентированная держава – СССР – предоставила всем малым народностям, проживающим на её территории, много различных возможностей и льгот (на зависть другим), которые законодательно до сих пор, даже после уничтожения СССР никто ещё не посмел отменить. Одной из таких привилегий явилось разрешение на традиционные виды природопользования в местах проживания этих народностей, вне зависимости от статуса территории.

Так, само собой разумелось (законодательно!), что ненцы, проживающие на острове Колгуев, могут свободно в любой сезон заниматься охотой, рыбалкой и различным собирательством, не обращая внимания на законодательство, писанное для всех остальных. Ещё вчера такое положение дел не вызывало ни у кого никаких вопросов: ну, стреляют они гусей, собирают их яйца для собственного питания, но объёмы этих заготовок такие смешотворные, что никакого влияния на популяции охотничьих птиц, гнездящихся здесь, они оказать не могут. Но сегодня вдруг оказалось, что на международном рынке очень высоко ценится брошенный в тундре гнездовой пух этого самого гуся и сброшенные в той же тундре старые рога северного оленя. Ненцы Колгуева никогда раньше этот мусор не собирали за ненадобностью, а тут вдруг появился спрос, и местные жители собрали в минувшем сезоне около полутора тонн гнездового пуха и какое-то количество рогов.

Умные столичные орнитологи включили свои “куркуляторы” и мгновенно просчитали, что теперь все эти местные, на которых они привыкли смотреть свысока, вдруг ни с того ни с сего все станут мультимиллионерами! От волнения и обиды, что счастье проходит мимо, дыхание в зобу у этих друзей пернатых совсем спёрло, и они стали лихорадочно размышлять, как бы отодвинуть аборигенов в сторону и подмять весь этот сладострастный процесс волшебного превращения в мультимиллионеров под себя? Рога их не интересовали: они хоть и дорогие, но по тундре за ними набегаешься, а вот вожделенный гусь гнездится очень большими колониями, и бегать далеко и искать каждого не надо – все они в куче. Одна беда – эти жадные аборигены наверняка не захотят делиться и просто так свои заработки не отдадут, тем более что оленеводство, на котором до последней поры жили островитяне, из-за катастрофического падежа оленей прекратило своё существование, и местные жители остались совсем без работы и, соответственно, без заработков.

Сообразив, что своими силами данный вопрос не решить, эти сообразительные ребята предложили войти в долю своему хозяину – серому кардиналу, имеющему иностранные корни в чёрных недрах мирового правительства.

Благодаря этим корням, закордонный экологический спрут, называющий себя WWF, обрёл такую силу в России, что подчинил себе много чего и кого. Если по его команде ежегодно гаснут одновременно все кремлёвские звёзды, и огромная масса различных структур и ведомств тупо и бессмысленно на целый час обесточивает все свои энергопотребители, если по его команде во Владивостоке, например, все праздные обыватели дружными многотысячными рядами, раскрасив свои физиономии в тигриные цвета, одновременно выходят на демонстрацию якобы для того, чтобы поддержать бедного амурского тигра, то только эти факты о многом могут поведать вдумчивому наблюдателю. А таких фактов в России и по всему миру великое множество...

Так вот, посоветовавшись в своих кулуарах, орнитологи РАН и их покровители пришли к следующему умозаключению. Надо каким-то образом вывести

сбор пуха на Колгуеве из традиционного природопользования местных ненцев и разрешить его собирать любому, кто больше за это разрешение заплатит. Эта идея была опубликована, но нашлись те, кто её раскритиковал и назвал вещи своими именами.

“Ах, так!” – сказали столичные соискатели несметных богатств и родили хитрую шахматную многоходовую комбинацию. В один прекрасный (для них) день 21 июня 2019 года, который они обозначили в своих календарях красным праздничным цветом, остров сокровищ с его несметными богатствами стал принадлежать только им. Ну, а островитяне, соответственно, лишились в этот день всех своих прав, гарантированных им великой державой, и молча утёрлись, запутавшись в этой искусной многоходовке.

В дикой природе нет такого понятия как “конституционное право”, отсутствует также понятие “совесть” и прочие атавизмы, выдуманные человечеством, там действует только одно право – ПРАВО СИЛЬНОГО. Так, кукушка в природе не обременяет себя выводением потомства, а просто подбрасывает своё яйцо в гнездо любой другой птички. Та, не подозревая смертельного подвоха, высидит это яйцо наравне со своими, а вылупившийся кукушонок тут же инстинктивно, будучи ещё слепым и голым, выталкивает из гнезда весь приплод бедной птички и остаётся единственным потребителем чужих материальных благ. Этим благ хватало бы на всех, но в него вбито то, что всё должно принадлежать только ему, и для этого он убивает всех, кто находится рядом. Именно так, по законам дикой природы, столичные орнитологи, привычно выступив в роли кукушат, вытеснили из родного гнезда родившихся здесь доверчивых островитян.

Вот для этих самых островитян и для тех, кто до сих пор органически не принимает эти новые “демократические” законы джунглей на территории нашей Родины, мы объясним, каким образом на относительно “законных” основаниях у ненцев острова Колгуев было отнято их конституционное право на традиционное природопользование на родной земле и передано столичным крючкотворам.

Последовательность проведённой хитрой комбинации такова.

1. Для начала необходимо было поменять статус территории острова (или хотя бы его небольшой части), для чего там был срочно спроектирован региональный заказник “Колгуевский”. Мотивация крайней необходимости заказника стандартная – местные жители своим варварским отношением к бедным птичкам могут причинить им большой вред. Причём данный блеф никакими научными выкладками (тем более что их не существует) подтвердить не надо: у нас свято верят, что научники нагло врать не могут.

2. Коренные малые народности Севера имеют конституционное право на традиционное природопользование на территории своего проживания, вне зависимости от её статуса. Поэтому в Положение о заказнике “Колгуевский” была включена антиконституционная поправка, прямо запрещающая местным жителям сбор пуха.

3. В результате предыдущего пункта гусиный пух остался безхозным, поэтому появилась возможность тут же подобрать ему нового хозяина. С этой целью в Положение о заказнике “Колгуевский” был включён пункт о том, что пух разрешено собирать только в НАУЧНЫХ целях с разрешения Департамента природных ресурсов. Таким образом, столичные умники влёгкую стали единственными хозяевами пухового сырья острова и готовы в НАУЧНЫХ целях собирать там от одной до нескольких тонн пуха ежегодно.

4. Для того чтобы закрыть доступ всем местным жителям в места гнездовий, когда там будет проходить НАУЧНЫЙ сбор пуха, понадобилось заодно запретить им собирать яйца любого вида птиц (!!!) на питание, чем они занимались всегда на протяжении тысячелетий и без каких-либо оговорок. Для этого уговорили одну, переехавшую с острова в город местную тётку громко заявить, что сбор яиц никогда не входил в список традиционного природопользования её соотечественников (!!!), и на этом основании запретили собирать им яйца вообще.

5. Теперь эту антиконституционную преступную многоходовку нужно было законодательно утвердить. Во времена СССР это было бы немыслимо, чтобы власти НАО вдруг решили оставить свой народ, за благосостояние которого они несли полную ответственность перед государством, без права на его тысячелетнее традиционное природопользование. Ой, сколько слуг народа

полетело бы тогда со своих высоких постов! Однако в нынешней России многое изменилось, и нам остаётся только догадываться, что было дальше. Можно с большой долей вероятности предположить, что WWF убедительно “попросил” руководство Минприроды РФ об одной мелкой услуге, мотивировав свою “просьбу”, как обычно, исключительно интересами дикой природы. Минприроды РФ, в свою очередь, так же убедительно “попросило” своих подчинённых в Департаменте природных ресурсов Нарьян-Мара, те привычно “взяли под козырёк” и, составив необходимый документ, принесли его на подпись губернатору. А у того других более серьёзных забот всегда “выше крыши”, поэтому не подмахнуть поданный пустяковый документ “за природу” было почти невозможно. Вот как он выглядит в конечном итоге: в заказнике “Колгуевский” запрещена *“деятельность по сбору пуха и яиц птиц на территории заказника, кроме научных целей после согласования с Департаментом”*.

А в заказнике “Вайгач” запрещён “сбор пуха и яиц птиц”. Вот такая кукушкина история приключилась нынче в НАО, и весьма интересно – будет ли у неё какое-то продолжение, или народ, включая всевозможных депутатов, привычно утрётся на радость вконец оборзевшим от безнаказанности кукушатам и позволит им беспрепятственно воплощать в жизнь свои хватательные инстинкты и рефлексы? Природа есть природа, и она признаёт лишь право сильного. Поэтому и в нашей среде Homo sapiens те, кто недалёк от природы, и те, кто близок к ней, иного права, к сожалению, не признают.

P. S.: На острове Вайгач сложилась примерно та же самая ситуация. Но в связи с тем, что у WWF к жителям Вайгача есть личные счёты за то, что те не разрешили этому монстру перевести их остров в статус национального парка, понимая, какие проблемы это им сразу же принесёт, там пошло всё гораздо жёстче. Общину острова начали активно прессовать различные московские марионетки WWF, вплоть до фабрикация уголовного дела и т. д. Вдобавок ко всему тем же приказом № 173-п и 174-п от 21 июня 2019 г. у жителей Вайгача так же отобрали право на традиционное природопользование, но уже без всяких оговорок о “НАУЧНОМ” сборе пуха, мотивируя это исключительно интересами дикой природы. Причём надо сказать, что заказник “Вайгач” занимает не всю территорию острова, а только часть её (так же, как и на Колгуеве), но по умолчанию считается, что все запреты распространяются не только на захваченные ООПТ, но и на всю остальную территорию островов.

Я пророчить не берусь, но абсолютно уверен, что нынешнее безвременье в России рано или поздно закончится, и всем, творящим беззакония на территории нашей Родины, придётся отвечать перед её законами и народом.

P. P. S.: Этот текст был написан полтора года назад, но и на сегодняшний день не потерял своей актуальности. Гибридная война подошла уже к своему основному этапу: физическое уничтожение основной массы человечества, и в первую очередь – населения России, то есть нас с вами, и от нашего здравомыслия зависит, есть ли у нас, наших детей и внуков будущее.

Я помню, как в 70-х годах один из наших преподавателей говорил нам, студентам, что те структуры, где присутствует обозначение “всемирный”, работают против нас: Всемирный банк, Всемирный фонд дикой природы, Всемирная организация здравоохранения и т. д.

Учредители этих структур одни и те же: Ротшильды и Рокфеллеры, королевский дом Англии и прочие заклятые друзья России. Именно они озвучили идею “золотого миллиарда” и приступили к её реализации, открыто заявляя, что надо кардинально сокращать население планеты. Обычная война может нести для них непредсказуемые последствия, поэтому давно уже идёт гибридная война – война на физическое уничтожение основной массы населения земного шара другими методами.

Но что бы там ни было, а противостояние идёт. Идёт духовная битва с силами зла, которая и определит, в конечном итоге, продолжение или конец истории человечества.

Берегите себя и друг друга, так как сегодня мы только соотечественники, а завтра, даст Бог, будем ещё и соратниками.

ВЛАДИМИР ЧАРСКИЙ

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Вот он, легендарный Мадрид! Я иду по его улицам и древним площадям, наслаждаюсь неповторимыми и разнообразными по архитектуре зданиями, дышу воздухом, как будто настоящим на старине. Многоязычные толпы туристов, съехавшихся со всего света, усиливают интерес к этому удивительному и прекрасному городу, сохранившему дух времени.

Наша экскурсионная программа очень насыщена и разнообразна. С утра мы побывали на самой оживлённой площади города – Пуэрта дель Соль (Врата Солнца). Это центр Испании. Здесь находится нулевой километр всех испанских дорог. От площади отходят десять улиц. В центре площади возвышается конная статуя короля Карла III, а чуть поодаль расположен постамент с медведем, обнимающим земляничное дерево – мадроньо, который является гербом Мадрида. По существующей традиции каждый побывавший здесь непременно должен погладить медную пятку медведя, который приносит счастье. Эта пятка, отполированная прикосновением множества людей, блестит и играет на солнце, как “зайчик” от зеркала.

Неизгладимое впечатление произвёл великолепный Королевский дворец, выполненный во французском стиле, с тронным залом, изумительной росписью золотом по потолку и инкрустированными ценными породами древесины входными парадными дверями. Дворец окружён чудесным парком с многочисленными мраморными статуями и прекрасным зелёным газоном.

Нельзя не упомянуть о всемирно известном крупнейшем художественном музее Прадо. Более 7000 картин, настоящих шедевров Гойи, Веласкеса, Эль Греко, Брейгеля, Тициана и многих других знаменитых художников экспонируются в этом храме искусств. А сколько замечательных памятников и фонтанов

ЧАРСКИЙ Владимир Викторович родился в 1940 году в Москве. Окончил Московский лесотехнический институт. Работая на изысканиях лесовозных дорог, побывал в различных уголках нашей страны. Затем перешёл в систему Государственного комитета по внешнеэкономическим связям, продолжая заниматься объектами лесной и деревообрабатывающей промышленности, построенными и строящимися при техническом содействии Советского Союза за рубежом. После окончания Всесоюзной Академии внешней торговли и получения второго высшего внешнеэкономического образования был направлен в длительную заграничную командировку в Эфиопию, где проработал пять лет. Затем более трёх лет работал в Уганде. По возвращении на родину работал в корпорации “Российские лесопромышленники”. Публиковался в журналах “Московский вестник”, “Воин России”, “Наш современник” и в издательстве “Альвис”.

в испанской столице, каждый из которых неповторим и оригинален! Например, каменная скульптурная группа с фонтанами в честь богини плодородия Кибелы с двумя мраморными львами на Пласа де ла Сибелес или памятник Сервантесу и его героям Дон Кихоту и Санчо Пансе на площади Испании. Но настоящий дух Испании ощущается на Пласа Майор. Мощённая булыжником площадь окружена со всех сторон старинными зданиями с неперменной конной бронзовой статуей короля Филиппе III в центре. Причудливые галереи и арки, колонны и башни создают средневековый колорит. Поразил меня и железнодорожный вокзал Аточи. В огромном зале, покрытом прозрачным стеклом, среди металлических конструкций расположен тропический лес с пальмами, лианами и бассейнами с черепахами, плавающими в них.

Гостиница, в которой мы остановились, находилась недалеко от памятника всемирно известным литературным героям Сервантеса Дон Кихоту и его славному оруженосцу Санчо Пансе. Мне особенно понравился этот памятник: в нём было что-то такое особенное, что притягивало к нему. У меня была возможность, и я трижды в течение дня: утром, в полдень и вечером – посещал его, и в каждое время дня он был разным. Утром, когда только восходило солнце и его первые лучи освещали памятник с одной стороны, копьё высокого Дон Кихота отбрасывало тень на улыбающегося хитрого плута Санчо Пансу. В полдень, когда светило было в зените и равномерно освещало памятник со всех сторон, герои казались озабоченными и уставшими от знойного летнего солнца. А вечером, после заката солнца памятник резко контрастировал с белым облицовочным камнем. Взгляд Дон Кихота казался суровым и неприступным, а улыбка Санчо Пансы исчезала с его круглого пухлого лица. Это только игра света, но талантливый скульптор это, видимо, знал, поэтому памятник так притягивал не только меня, но и множество других людей, толпящихся вокруг него. Своим наблюдением я поделился с нашей экскурсоводшей. Она очень удивилась и сказала, что обязательно проверит мои наблюдения.

После насыщенного экскурсионного дня появилась потребность привести в порядок мысли и впечатления от увиденного. До ужина оставалось два с половиной часа, и я решил прогуляться вдоль по набережной реки Мансанарес до первого сквера. День клонился к вечеру, но жара всё ещё не спадала. Солнце плавно заходило за горизонт, и длинные тени от деревьев, которых здесь великое множество, скользили по дорожке. Не случайно Мадрид считается одним из самых зелёных городов в мире.

Незаметно я подошёл к небольшой церкви и решил её осмотреть. Скромная маленькая белая часовня была окружена зелёным кольцом аккуратно подстриженного декоративного кустарника, а у входа на клумбах росли великолепные красные розы. Как оказалось, это была часовня Эрмита (скит) де Сан Антонио де ла Флорида, известная тем, что в ней сохранились фрески Франсиско Гойи и там находится его могила. Великий испанский художник умер во Франции, и когда его тело перевезли на родину, он был похоронен без головы, которая была похищена не известно кем во Франции. Существуют версии, что её похитили якобы французские учёные или какие-то религиозные фанатики. Войдя в эту церковь, я увидел вверху под куполом удивительно хорошо сохранившиеся фрески с изображением Святого Антония. Внизу, строго под куполом, для удобства их рассматривания посетителями стоял стул с прикрепленным большим зеркалом, в которое, наведя на купол, можно было, не поднимая головы, спокойно любоваться фресками. Напротив этой часовни через дорогу находится памятник Гойи. На высоком пьедестале знаменитый художник изображён сидящим на стуле.

Выйдя из церкви, я увидел скамейку, на которой сидел пожилой человек. На вид ему можно было дать не больше 85 лет. На лице и левой руке у него просматривались хорошо заметные шрамы. Одет он был в светлую рубашку с коротким рукавом и такие же светлые брюки, а на ногах у него были простые кожаные жёлтые сандалии. Рядом со скамейкой стояла трость старинного вида с набалдашником, выполненным в форме головы быка. Видимо, этот человек был большим поклонником корриды. Самым привлекательным в незнакомце были глаза, удивительно ясные, не затуманенные пеленой времени.

Так как близости не было ни одной скамейки, я попросил разрешения сесть рядом. Он, дружелюбно улыбаясь, утвердительно кивнул головой. Затем спросил, говорю ли я на испанском языке. Я отрицательно покачал головой.

– Парле ву франсэ? – опять спросил незнакомец, и я снова отрицательно закивал головой.

– Шпрэxen зи дойч? – приятным баритоном быстро задал он вопрос.

– Нихт ферштейн, – ответил я, и тут же, в свою очередь, спросил его, говорит ли он на английском языке, и сразу получил от него положительный ответ. Сеньор Мигель, мой новый знакомый, попросил меня рассказать о себе. Я сообщил, что я из Москвы и сейчас нахожусь в экскурсионной поездке по Испании. Далее я поделился с ним своими первыми впечатлениями о стране. Он заинтересовался, что меня больше всего здесь поразило и удивило. Немного подумав, я сказал, что это захоронение королей в грандиозном дворце-монастыре Сан-Лоренцо в Эскориале и, конечно, Долина Павших. Этот огромный мемориальный комплекс расположен в 15 километрах от Мадрида. В скале, окружённой живописным лесом из средиземноморской сосны, вырублен тоннель длиной в 260 метров, в котором находится подземная базилика. Внутри базилики на стенах висят красивые гобелены размером 10 x 5 метров. А в конце этого длинного зала под высоким алтарём находятся могилы двух известных испанских фашистов: Хосе Антонио Примо де Риверы – идеолога фашизма и основателя и лидера фалангистов и диктатора – генерала Франко. Кроме них, в боковых штольнях базилики захоронено несколько тысяч погибших в гражданской войне 1936–1939 годов как фалангистов, так и республиканцев. Поэтому это место называли “Долиной Павших”. У входа в эту базилику возвышается гигантский крест высотой 150 метров и весом 200 тонн. В основании креста находятся 8 скульптур евангелистов из чёрного гранита. Надпись на кресте: “Павшим за Бога и Испанию”. Этот грандиозный и помпезный памятник воздвиг себе ещё при жизни диктатор Франко.

Сеньор Мигель поведал мне, что в 1936 году, когда началась гражданская война в Испании, ему едва исполнилось 18 лет. А сейчас ему 94 года! Внешне он выглядел гораздо моложе своих лет. Яркая, быстрая темпераментная речь с активной жестикуляцией сопровождала его рассказ о прошедшей боевой молодости. В ходе беседы он так увлекся, что я несколько раз просил его говорить помедленнее.

Он рассказал мне, что Хосе Антонио Примо де Ривера был сыном генерала, диктатора Испании в 1920 году. Хорошо образованный, не лишённый поэтического таланта, Примо де Ривера в 1933 году основал “Испанскую фалангу”, политическую партию фашистского толка, и даже сам написал гимн фаланги “Лицом к солнцу”. За активную пропаганду фашизма и массовые публикации против республиканского строя он был заключён в тюрьму. После выхода из тюрьмы Примо де Ривера снова продолжил свою активную политическую деятельность. В 1936 году в Мадриде произошёл мятеж, в котором он был одним из главных организаторов. Республиканцы были вынуждены снять с фронтов значительные силы для подавления мятежа. У франкистов в плену было несколько влиятельных республиканцев, поэтому правительство Республики попыталось обменять их на руководителя фалангистов Примо де Риверу, но фашисты вероломно, без всякого суда расстреляли пленных. Франко считал, что только ему подвластна судьба людей. Он был уверен, что республиканцы не посмеют расстрелять такого известного деятеля, как Примо де Ривера. Однако народный суд республиканцев приговорил его к смертной казни за организацию кровавого военного мятежа. 17 ноября 1936 года приговор был приведён в исполнение. После падения Республики и прихода к власти диктатора Франко тело Хосе Антонио Примо де Ривера было захоронено в Эскориале, а затем перенесено в подземную базилику. Рядом с ним Франко при жизни зарезервировал себе место. Долгое время Долина Павших была закрыта для посещения, и только после прихода к власти нового правительства стал осуществляться доступ всех желающих и иностранных туристов. Сейчас Долину Павших испанцы воспринимают как памятник всем жертвам гражданской войны 1936–1939 годов.

Сеньор Мигель глубоко вздохнул, видимо, воспоминания давно минувших дней глубоко взволновали его. Он достал из кармана несколько таблеток и быстро проглотил их. Я спросил его, как он себя чувствует и не нужна ли какая-либо помощь. Он отрицательно покачал головой, встряхнулся и продолжал рассказывать о гражданской войне. По мнению сеньора Мигеля, важнейшими причинами поражения республиканцев является предательство в войсках, штабах и в правительстве, недисциплинированность и неорганизованность,

нехватка вооружения и самое главное – роспуск интербригад, которые в основном и сдерживали наступления фалангистов. Для них интербригады республиканцев были как кость в горле, и они предложили правительству Республики распустить их, а взамен предложили отозвать всех иностранных наёмников, в основном немцев и итальянцев, воевавших на стороне Франко. Это была самая настоящая авантюра и провокация. Несмотря на убедительные обоснования и предупреждения советских советников (о которых Мигель отзывался с большой теплотой) ни в коем случае не распустать интербригады, а, наоборот, увеличить их численность, республиканское правительство, вопреки здравому смыслу, всё-таки приняло это решение, подписав себе тем самым смертный приговор. Республиканцы выполнили договор, а фашисты, отправив уставших легионеров, тут же заменили их свежими силами, причём значительно увеличив их количество, что сразу же резко отрицательно повлияло на ход войны.

Сеньор Мигель рассказал также о негативном влиянии советских советников по контрразведке (сотрудников НКВД) на испанских республиканцев и бойцов интербригад. Состав интербригад был очень разношёрстным. В них были католики из Польши, коммунисты из Франции и США, немецкие социал-демократы, шведские, норвежские и прочие троцкисты, различные анархисты и просто авантюристы. Все они добровольно, без каких-либо особых требований, сражались за республиканцев. Но советские советники по безопасности особое внимание в интербригадах почему-то уделяли троцкистам. Несмотря на то, что большинство из них честно и героически сражались в окопах на передовой, их считали “пятой колонной”, то есть предателями и изменниками, засланными врагом в ряды республиканцев, и отправляли в тюрьмы и на расстрелы, фальсифицируя их поступки и действия. Я думаю, что это были отголоски большого террора 1937 года в СССР или же какие-то нелепые указания из Москвы. Необоснованные репрессии против троцкистов и даже социалистов вызывали протест и недовольство среди испанцев и других бойцов интербригад. В целом же отношение к другим советским военным специалистам и советникам было великолепное. Без вооружения, которое поставлял Советский Союз, республиканцы не продержались бы и месяца. Советские торговые суда с танками, бронемашинами, самолётами, стрелковым оружием и прочей военной техникой всё шли и шли в Картахену, Барселону и другие порты республиканской Испании. Советский Союз объявил на весь мир о безвозмездной помощи воюющей Республике. Однако, несмотря на эту помощь, положение на фронтах складывалось не в пользу республиканцев. Опасаясь, что фалангисты могут захватить Мадрид, а вместе с ним и золотовалютные запасы страны, республиканское правительство дало указание своему казначейству перевести из банковских хранилищ Мадрида весь золотой запас в специально оборудованную пещеру в скалах недалеко от порта Картахены. Как показали дальнейшие быстроразвивающиеся события, эти меры были недостаточными и поэтому правительство Республики приняло решение обратиться к Советскому правительству с просьбой принять на хранение весь золотой запас Испании, который насчитывал в то время свыше 500 тонн золота в слитках. Советское правительство ответило согласием и дало личное указание Главному военному советнику по внутренней безопасности и контрразведке при республиканском правительстве Испании Александру Орлову (Лейбе Фельдбину – резиденту НКВД) о проведении строго секретной операции по вывозу золота в СССР. Это была уникальная операция, и о ней знало только ограниченное число участников. Сеньор Мигель в то время работал в казначействе Испании. Он один из немногих знал об этой операции, и она проходила у него на глазах и при его непосредственном участии. Поэтому сеньор Мигель так подробно о ней рассказывал. Вся операция была проведена в течение трёх суток, с 22 по 25 октября 1936 года. Вот как изложил дальнейшие события сеньор Мигель.

“Утром 18 октября меня, ещё четверых сотрудников и руководителя нашего казначейства срочно вызвали в министерство финансов. Совсем недавно мы все участвовали в перевозке золотого запаса Испании из подвалов Центрального Банка в бывшие оружейные казематы, расположенные в огромной пещере в скале недалеко от порта Картахены. В своём большом кабинете нас встретил сам министр финансов сеньор Хуан Негрин. Он рассказал нам, что принято решение о транспортировке в Советский Союз спецщипков, в которых

хранилось золото, и предупредил, что это государственная тайна, о которой никто, кроме присутствующих здесь, не должен знать. Он также предупредил о персональной ответственности, вплоть до расстрела, за разглашение важнейшего государственного секрета.

— Родина или смерть! Они не пройдут! Победа будет за нами! — напутствовал нас министр.

Нам поручалось ещё раз тщательно проверить наличие и состояние всех ящиков и подготовить их к отправке. По документам в пещере хранилось 7800 ящиков со слитками золота и антикварными золотыми монетами времён Христофора Колумба. Каждый ящик весил 65 кг, что в итоге составило 507 тонн.

На следующий день мы уже были на месте и принялись за работу. В то время я был физически крепким, но работа была очень тяжёлой, мы сильно уставали и спали там же, на ящиках, подстелив кое-какую одежду. Хочу заметить, что у нас у всех было при себе оружие. У меня был большой тяжёлый пистолет, с которым я не расставался ни днём, ни ночью. Во вторую ночь, несмотря на сильную усталость, я вдруг проснулся, почувствовав какой-то шорох. Штольни хранилища освещались довольно тускло. Я открыл глаза и увидел почти рядом с собой двух больших крыс. Я тут же вытащил пистолет и выстрелил, убив одну из них, а вторая мгновенно исчезла.

Утром следующего дня, как нас предупредили, к нам приехал мистер Блэкстоун. Впоследствии я узнал, что это был советник по безопасности при нашем правительстве Александр Орлов. Он подробно рассказал нам, как планировалось осуществлять операцию. Вывозить ящики будут на автомашине только ночью. Охранять их должны были советские танкисты и военные, переодетые в испанскую форму. Я не знаю, для чего был нужен этот маскарад, так как советские военные не знали ни слова на испанском языке.

В следующий вечер я услышал гул и рокот приближающейся техники. На площадке у входа в хранилище остановились несколько танков и автомашин, вокруг которых тёмными силуэтами сновали вооружённые люди. Внутри пещеры я и все наши сотрудники грузили ящики на тележки и отвозили их к выходу, а там их какие-то военные перегружали на автомашины. Загруженные машины отъезжали, а их место занимали всё новые и новые автомашины. Такая карусель продолжалась, пока не был загружен последний, четырнадцатый автомобиль. После этого автомашины выстроились в колонну и в сопровождении танков, под усиленной охраной двинулись в порт Картахену, до которого было около 13 километров. С первым рейсом на последней машине отправился и я, так как мне необходимо было организовать временное хранение ящиков в пороховых складах порта до окончательной их погрузки на транспортные судна. Ночь была тёмная, без луны, дул порывистый шквальный ветер, обдавая нас мелким холодным дождём. Через некоторое время, когда горная дорога довольно круто поворачивала вниз, я услышал крики и выстрелы. Машины, не останавливаясь, пошли дальше. Как потом стало известно, небольшая группа иностранцев, то ли французов, то ли итальянцев, попыталась перейти дорогу во время движения нашей колонны. Охрана приняла их за фалангистов и расстреляла всех на месте. Жалко было людей, так глупо принявших смерть! За ночь мы сделали четыре рейса и перевезли весь груз. В порту ящики, как я уже говорил, были сначала помещены в бывшие пороховые склады, а затем, по мере подхода транспортных судов, их грузили в трюмы.

Перед отправкой первого судна наш руководитель казначейства попросил у мистера Блэкстоуна расписку в получении груза, но тот, к нашему всеобщему удивлению, отказался выдать и подписывать какие-либо документы и сообщил, что все необходимые бумаги будут оформлены и переданы нашему послу сеньору Паскуа после прибытия всего груза в пункт окончательного назначения, то есть в Москву. Мы были в полной растерянности, так как такого неожиданного вероломства никто из нас не ожидал. Наши повторные попытки получить хоть какие-то документы не увенчались успехом. Назревал серьёзный скандал. И тогда мистер Блэкстоун предложил неожиданное компромиссное решение: отправить на каждом судне вместе с грузом по одному представителю из нашего казначейства. У нас не было выбора в создавшейся обстановке, и мы согласились. Вот так я и трое моих сослуживцев неожиданно отправились в далёкую и неизвестную страну, построившую социализм. Отъезд был

такой стремительный, что я даже не успел попрощаться с отцом, которого больше никогда не увидел. Через несколько дней он был убит фалангистами. А все четыре судна с грузом, который мы сопровождали, благополучно дошли до Одессы. Там все ящики с золотом были перегружены в поезд и отправлены в Москву. Вот так завершилась эта легендарная операция”.

Сеньор Мигель закончил свой удивительный рассказ, опять глубоко вздохнул и добавил: “История не терпит сослагательного наклонения, но если бы мы тогда не отправили вам своё золото, то его бы непременно захватил генерал Франко, и мы бы не продержались так долго. Всё, что мы имели, мы отдали для борьбы за нашу свободу”.

Я был глубоко потрясён неожиданным рассказом этого удивительного человека, прожившего такую длинную, полную невероятных событий жизнь. Почему именно мне, постороннему незнакомому человеку, иностранцу, туристу из России, сеньор Мигель доверил государственную тайну, которую он хранил больше семидесяти лет? Казалось, что сама история открыла передо мною ещё одну свою неизвестную страницу в этом замечательном старинном городе. Мы тепло попрощались, и он, слегка прихрамывая, опираясь на трость, медленно зашагал по ночному Мадриду.

КОМАНДИРОВКА В АНГОЛУ

По утрам, гуляя со своей маленькой домашней собакой в подмосковном дачном посёлке Кратово, я неоднократно встречал на улице пожилого человека, тоже прогуливающегося с большой чёрно-рыжей немецкой овчаркой. Мужчина был небрежно одет, но всегда тщательно выбрит и слегка пьян. Как все собачники, мы вскоре начали здороваться и обмениваться несколькими фразами по поводу поведения и привычек наших собак. Выглядел он неважно. Красные глаза, серое морщинистое лицо, большие одутловатые мешки под глазами и постоянный запах алкоголя выдавал в этом человеке закоренелого пьяницу. Я не люблю эту породу людей, и чтобы с ним не встречаться, я стал ходить с собакой в другое время, немного позже, чем раньше. Тем не менее через некоторое время я вновь встретил его. Он был, как всегда, с утра пьян. Подойдя ко мне, он с обидой сказал, что напрасно я его избегаю и что он совсем не такой, как я о нём думаю, и неожиданно начал рассказывать о своей жизни. Чувствовалось, что у него есть настоящая потребность с кем-то поделиться и снять с себя постоянный тяжёлый груз. Выглядел он усталым, с поникшим взглядом и сутулой спиной, но по мере своего рассказа, вспоминая свою молодость, он буквально преобразился, глаза его загорелись азартом, щёки порозовели, весь он выпрямился, и даже изменился его голос. Передо мной стоял совершенно другой человек. Его рассказ потряс меня до глубины души и заставил вспомнить некоторые события в моей жизни, произошедшие двадцать восемь лет тому назад. Вот как это было.

Придя на работу пораньше, чтобы с утра сделать неотложные дела, я неожиданно услышал телефонный звонок. Это звонил мне главный специалист по Анголе и Мозамбику и просил меня срочно к нему явиться. Я был в полном недоумении, так как никаких дел у меня с этими странами никогда не было. Пройдя по длинному коридору и найдя нужный кабинет, постучавшись, я вошёл в него. За столом сидели три человека: председатель моего объединения, начальник отдела Западной Африки и главный специалист этого отдела. В ходе беседы выяснилось, что на днях было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Народной Республике Ангола долгосрочного кредита, в рамках которого предполагалось осуществить ряд проектов. В связи с этим отделу было дано срочное поручение по реализации этого соглашения. В перечень объектов сотрудничества были включены предприятия деревообрабатывающей, пищевой и молочной промышленности Анголы. Мне поручалось подобрать специалистов по каждой отрасли и вместе с ними вылететь в Анголу сроком на тридцать дней. Предстояла серьёзная и ответственная работа и в то же время приятный подарок судьбы – побывать в юго-западной Африке! О такой поездке я даже и не мечтал.

Об Анголе у меня были самые смутные представления. Я, конечно, знал, что в этой стране большие запасы таких полезных ископаемых, как алмазы,

марганец и нефть, что это сельскохозяйственная страна с развитой в небольших объёмах пищевой, текстильной, нефтедобывающей и перерабатывающей промышленностью, что на протяжении долгих лет в стране идёт гражданская война. Чтобы пополнить багаж своих знаний, я открыл Большую советскую энциклопедию и кое-что выяснил об этой стране.

По территории Народная Республика Ангола, как она тогда называлась, а ныне, с 1992 года – Республика Ангола, провозглашённая в ноябре 1975 года, входит в десятку самых больших государств Африки. Площадь её составляет 1246,7 тысячи квадратных километров с населением только в 11967 тысяч человек. Расположена Ангола на юго-западе африканского континента. На севере и частично на востоке она граничит с Демократической Республикой Конго, ранее называемой Заиром, на востоке – с Республикой Замбия, на юге – с Республикой Намибия, а с запада страна омывается водами Атлантического океана. Столицей Анголы является город Луанда.

Вскоре вся организационная и подготовительная работа была закончена. Из разных проектных институтов городов Москвы и Краснодара была подготовлена и оформлена группа из десяти квалифицированных специалистов и двух переводчиков португальского языка. Нам предстояло ознакомиться, сделать обмерные чертежи и составить технико-экономическое обоснование (ТЭО) по реконструкции и расширению восьми различных небольших предприятий пищевой и молочной промышленности, мебельной фабрики и маслоэкстракционного завода по производству пальмового масла, а также согласовать всё это с местным руководством. Объём работы предстоял очень большой, и всё это надо было успеть выполнить в предельно сжатые сроки, то есть в течение тридцати дней. Кроме Луанды, мне предстояло побывать на предприятиях в Бенгеле, Лобиту, Уамбо и в других городах страны.

И вот, наконец, все волнения и хлопоты позади, и мы вступаем на борт лайнера Аэрофлота, направляющегося из Шереметьева в далёкую неизвестную страну Анголу. Нас ожидал многочасовой перелёт через весь африканский континент.

Каждый раз, когда мне приходилось осуществлять какой-либо перелёт, входя в самолёт, я ощущал необыкновенное чувство восторга и гордости за людей, сумевших создать такое чудо! Мы привыкли к самолётам и воспринимаем их как обычное, необходимое средство передвижения. Но если посмотреть на это другими глазами. Ведь что такое полёт? Это одновременный перенос некой человеческой субстанции в совокупности с другими человеческими субстанциями из одной точки земной поверхности в другую. И этот перенос осуществляется в кратчайшие сроки многотонной могучей машиной, созданной умом и гением человека. Если раньше знаменитому английскому миссионеру и исследователю Африки Давиду Ливингстону потребовалось свыше трёх месяцев, чтобы совершить переход из водораздела реки Замбези до Луанды, преодолевая невероятные трудности, то мы покорили это пространство в течение нескольких часов, причём с комфортом, который даже не снился первому исследователю Африки.

Эти мои размышления прервал голос командира корабля, раздавшийся из динамика. Всех присутствующих на борту лайнера он поздравил с пересечением экватора и пожелал всяческих успехов на южной половине земного шара. Из динамиков полилась настоящая живая ритмичная африканская музыка с грохотом тамтамов, под звуки которой стюардессы принесли пассажирам по стакану красного сухого вина и вручили каждому памятные значки. Такого сюрприза от Аэрофлота никто не ожидал, и все были приятно удивлены. На небольшом квадратном значке на голубом фоне был изображён Нептун с бородой и большим трезубцем, по периметру была выбита надпись: “Перелетевшему экватор на самолёте”, а внизу изображена эмблема Аэрофлота. Этот незамысловатый алюминиевый значок я храню до сих пор как память о том перелёте. Жаль, что вскоре после нашей поездки эта хорошая весёлая традиция в Аэрофлоте была отменена.

Наконец, после долгого полёта наш самолёт начал снижаться, и в иллюминатор я увидел сказочную картину. Без конца и края светло-синий Атлантический океан, сливающийся вдали с небом. Белые барашки волн лениво набегали на песчаный берег. Его подковообразная лагуна далеко вдавалась в сушу, по краю которой было проложено шоссе, обсаженное пальмами.

С другой стороны были видны бесчисленные разнообразные дома, крыши которых покрыты красно-коричневой черепицей. Кое-где возникали островки зелени, а дальше до самого горизонта можно было видеть сплошной изумрудно-зелёный ковёр леса, прорезаемый отдельными тонкими полосками дорог. При развороте самолёта я увидел голубую ленту реки Кванза, плавно несущей свои воды в океан. Так с высоты птичьего полёта выглядела столица Анголы – Луанда. Она была основана португальскими колонизаторами в 1575 году и первоначально называлась Сан-Паулу-ди-Луанда. А просто Луандой она стала ровно через 400 лет, то есть в 1975 году, с момента провозглашения независимости страны.

После приземления самолёта в аэропорту нас уже ожидал микроавтобус АЭС (Аппарата советника по экономическим вопросам Посольства СССР в Анголе). Нашу группу встречал Володя, мой знакомый по совместной работе в Москве, находящийся здесь в длительной командировке уже почти два года. Разместившись в гостевых комнатах дома АЭС, мы стали ждать окончания сиесты – так называют в большинстве жарких стран длительный послеобеденный отдых в самое знойное время дня, после которой нам была назначена встреча с советником. Два часа свободного времени во время сиесты предоставили нам возможность погулять и познакомиться с центром города. Следует отметить, что сказочная картина, открывшаяся нам с самолёта, совсем не совпадала с первым впечатлением от города на земле. Красочные дома, увиденные нами сверху, оказались в довольно плачевном состоянии. Грязные, с отвалившимися кусками краски и штукатурки стены, кое-где выбитые стёкла в окнах, сорванные с петель входные двери и самое главное – повсюду на улицах столицы горы мусора, доходящие в некоторых местах до второго этажа, – всё это создавало удручающее впечатление. Проходя по одной из таких улиц, я чуть не стал жертвой выбрасываемого из окон верхнего этажа мусора. Относительно безопасно можно было идти только по середине улицы. Помимо этого, в сорокаградусную жару лежащие вокруг кучи мусора издавали ужасное зловоние, сопровождаемое тучей гудящих и жужжащих мух и мелкой мошкары. В общем, создавалось впечатление полной запущенности и антисанитарии. Кроме того, почти год в городе не работали водопровод и канализация, так как португальцы, уходя из страны, забрали с собой имеющиеся чертежи и схемы на прокладку всех коммуникаций, а местные специалисты разобраться в запутанных сетях пока не смогли. Наследие, оставленное португальцами, было ужасающим. Чувствовалось, что в городе нет хозяина, который должен был убрать весь этот мусор и привести в надлежащее состояние дома, улицы, площади и скверы. Единственным чистым местом, расположенным в центре города, куда мы случайно забрели, было старинное португальское кладбище. Целые величественные мавзолеи, склепы и усыпальницы, сооружённые из мрамора, гранита и другого полированного камня, выглядели очень впечатляюще. На некоторых могилах были воздвигнуты монументы с изображением ангелов с большими белыми крыльями, скорбящих женщин и других фигур. Это был целый город в городе. Заброшенные, неухоженные, но чистые аллеи из посаженных деревьев, аккуратные дорожки, выложенные камнем и заросшие по краям густой травой, – всё это выглядело очень солидно.

После этой экскурсии пора было возвращаться в реальный мир, где нас ждал советник. Готовясь к поездке, я узнал, что советник в Анголе до этой командировки длительное время работал на такой же должности, но в Монголии. Он уехал из страны за месяц до моего приезда туда. Поэтому при встрече с ним я решил поздороваться с ним традиционным приветствием на монгольском языке:

– Сайн байна уу дарга! Сонин юу байна уу? (Здравствуйте, начальник! Какие новости?)

– Сайн, сайн байна уу! (Здравствуйте!) – ответил он удивлённо-радостным голосом. Советник не ожидал встретить в далёкой Африке человека, тоже, как и он, долго работавшего в Монголии. Для него это было приятным сюрпризом, и он сразу же пригласил меня к себе на вечер для разговора и воспоминаний о “золотых годах”, как он выразился, проведённых в Монголии. Так я сразу установил неофициальные дружеские отношения с третьим человеком в нашем Посольстве, что в дальнейшем способствовало успешной работе для всей нашей команды.

Далее мы рассказали о тех задачах, с которыми прибыла наша группа, а он, в свою очередь, проинформировал нас о политической ситуации в стране на данный момент, слегка коснувшись истории этого вопроса.

Национально-освободительная борьба ангольского народа велась на протяжении многих лет. В ходе этой борьбы в Анголе сформировались три основные политические партии. Это МПЛА — партия марксистского направления, провозгласившая некапиталистический путь развития, национализацию всех природных ресурсов страны и прочее, возглавлял которую Агостиньо Нето, пользующийся поддержкой Советского Союза и Кубы. ФНЛА, лидером этой партии был Холден Роберто, являющийся родственником президента Заира Мобуту Сесе Секо, оказывавшей ему совместно с США всестороннюю военную помощь, и партия УНИТА во главе с Жонасом Савимби. Эта группировка оснащалась оружием из ЮАР и Китая. Первоначальная борьба этих военно-политических группировок против португальцев привела к тому, что Португалия была вынуждена предоставить Анголе независимость. Четырёхстороннее Алворское соглашение с участием трёх группировок было подписано в Португалии в январе 1975 года, по которому предусматривалось создание коалиционного переходного правительства на период до проведения выборов и провозглашение независимости Анголы, намеченное на 11 ноября 1975 года. Опасаясь победы МПЛА на предстоящих выборах, ФНЛА и УНИТА при поддержке США начали широкомасштабные военные действия, направленные на захват Луанды и уничтожение МПЛА. Таким образом, Алворское соглашение было сорвано, и в стране началась гражданская война с участием иностранной интервенции.

С юга, через территорию Намибии, являющейся оккупационной территорией ЮАР, вступили войска, оказывающие поддержку УНИТА, а также отряды португальской армии освобождения. С севера, при поддержке Заира, к Луанде подошли отряды ФНЛА. В этой ситуации председатель МПЛА А. Нето обратился за помощью к Кубе и СССР. В Анголу были направлены отряды кубинских добровольцев, а Советский Союз поставил значительное количество различного вооружения и направил ввести военных специалистов-советников, которые помогли сформировать вооружённые силы, способные противостоять интервентам. В результате принятых мер агрессоры были разбиты и отброшены за пределы страны, а в ночь на 11 ноября 1975 года была провозглашена независимость Народной Республики Анголы, и первым президентом страны стал Агостиньо Нето. В сентябре 1979 года он умер и был похоронен в специально сооружённом мавзолее в Луанде. Новым руководителем МПЛА и президентом Анголы стал его преемник, бывший министр иностранных дел страны Жозе Эдуарду душ Сантуш.

После провозглашения независимости военные действия в стране продолжались. Проиграв открытое военное противостояние с МПЛА, Ж. Савимби был вынужден объявить о переходе УНИТА к партизанской войне. Если в светлое время суток значительную часть территории страны, а также Уамбо, Бенгелу, Лобиту и другие города контролировала законная власть, то ночью в них хозяйничали отряды УНИТА. Даже в Луанде почти каждую ночь можно было слышать автоматные очереди, а иногда и взрывы, несмотря на патрулирование города. Вот такая обстановка была к моменту нашего прибытия в Анголу.

Далее советник сообщил, что, учитывая существующее положение в стране, и необходимость нашего посещения предприятий в разных городах, в целях безопасности, нам будет выделена военная охрана в сопровождении бронетранспортёра, о чём он договорился с президентом страны.

На следующий день, о чём было заранее согласовано до нашего приезда, я как руководитель группы вместе с советником должен был нанести визит президенту. Для меня это стало полной неожиданностью. У меня с собой не было выходного костюма, но мне помог Володя, одолжив один из своих выходных костюмов с соответствующим галстуком. Рано утром Володя, выполняющий и роль шофёра, и роль переводчика, отвёз нас в резиденцию президента, которая находилась в бывшем дворце губернатора в старинном здании, построенном португальцами в типично колониальном стиле, но с временным национальным красно-чёрным флагом Анголы наверху. Охрану президентского дворца осуществляли исключительно кубинцы, весёлые красивые парни в тёмно-зелёной камуфляжной форме, с автоматами Калашникова на груди. Тщательно проверив наши документы, они открыли ворота,

и мы въехали на территорию дворца, обсаженную пальмами вдоль центральной аллеи. Перед главным входом можно было видеть клумбы с какими-то не известными мне красивыми белыми и розовыми цветами. У входа в здание у нас ещё раз проверили документы, и по широкой красивой лестнице мы поднялись на второй этаж. Дверь, за которой находился кабинет президента, была инкрустирована кусочками древесины ценных тропических пород, составляющими цветочный орнамент. Несомненно, эта роскошь тоже осталась от португальцев.

Войдя в кабинет, я увидел человека средних лет с большим лбом и ослепительной белозубой улыбкой, резко контрастирующей с чёрным лицом. Это был президент Анголы Жозе Эуарду душ Сантуш. Одет он был в белоснежную рубашку с короткими рукавами без пиджака и без галстука, что было естественным в сорокаградусную жару. Тепло поздоровавшись с нами, продолжая улыбаться и глядя нам прямо в глаза, он представил трёх людей, сидящих рядом с ним. Двое гражданских лиц являлись министрами пищевой и деревообрабатывающей промышленности, а третий присутствующий человек был военным, о чём нетрудно было догадаться, глядя на его полевую военную форму с камуфляжем. После представления началась беседа, за которой я рассказал о целях и задачах прибытия нашей группы и попросил оказать содействие в работе нашим специалистам. Президент поблагодарил нас за приезд, в полном соответствии с дипломатическим этикетом — ведь не зря же он был министром иностранных дел — заверил в оказании любой помощи, необходимой нашим специалистам на предприятиях, где они будут работать, пообещал обеспечить надлежащую охрану и выразил надежду в успешной плодотворной работе на благо наших стран. После беседы подали кофе с галетами и какой-то сок зелёного цвета, как потом выяснилось, из гуавы. Во время беседы Володя был задействован в основном в качестве переводчика с русского на португальский язык коллегам президента, так как Эдуарду душ Сантуш вёл беседу с нами на хорошем русском языке. Он получил высшее образование в СССР, окончив институт нефти и газа в городе Баку. До того как стать президентом, он участвовал в партизанском движении и основал молодёжное отделение МПЛА. Как позже рассказал Володя, президент неплохо пел и играл на гитаре.

На следующий день вся наша группа специалистов разбилась по отраслям и приступила непосредственно к работе, посещая предприятия, предусмотренные к реконструкции и расширению. Перед работой все желающие в шесть часов утра выезжали купаться на океан. АЭС предоставлял свой микроавтобус, и через 15–20 минут мы добирались до загородных песчаных пляжей на Атлантическом побережье океана.

Ночь, ещё совсем темно, кругом ни огонька, а мы одни на берегу Атлантического океана. Какой вокруг простор, ну, просто фантастика! Купол неба с незнакомыми звёздами буквально нависает над океаном, только известное ещё из романов Жюль Верна созвездие Южный Крест едва мерцает на небе. При подъезде к берегу душный тяжёлый воздух, обволакивающий всё тело, сменяется лёгким прохладным бризом, дующим с океана. Его свежесть облегчает дыхание, наполняет лёгкие и каждую клетку нашего тела. Через некоторое время на восточной стороне неба появляется тонкая, едва заметная светло-розовая полоса. Она довольно стремительно расширяется и постепенно захватывает край, а затем и всё небо, одновременно уходит темнота и ярко проступают облака. Устоявшуюся тишину нарушают сначала отдельные робкие голоса птиц, а затем их сменяет радостное многоголосье. И вдруг на небе из-за горизонта появляется огненно-красный шар солнца, и картина природы резко меняется. Только что была ночь, и вот уже наступил день! Это преобразование происходит у меня прямо на глазах в течение каких-то тридцати минут! В океане отлив, и вода отошла от берега метров на пятьдесят. В оставшихся ямах на месте временно ушедшего океана плещутся разнообразные рыбы, лениво ползают по песку крабы и изредка встречаются крупные морские черепахи и лангусты, а в огромных перламутровых раковинах, словно в зеркале, отражаются лучи восходящего солнца. После отлива они лежат здесь в огромном количестве. Из них я выбираю самые крупные и красивые на сувениры.

После купания в тёплых водах океана, слегка освежающего тело, собираемся в автобусе и едем в офис, а затем, позавтракав, едем на работу, каждый на свой объект. И так почти каждый день до отъезда в другие города мы

проводим утренние часы на побережье Атлантики. Незабываемые утренние омовения в ласковых водах Атлантического океана надолго остались в моей памяти.

А в первый выходной день, который у нас единственный — воскресенье, — мы едем на экскурсию в Национальный музей рабства. Он находится за городом, в двадцати километрах от Луанды на побережье Атлантического океана, в районе впадения в него реки Кванза. Это белое, внешне ничем не примечательное одноэтажное здание с красно-коричневой крышей из черепицы. Экспозиция музея посвящена возникновению работорговли и её истории. На стендах музея можно было видеть примитивное оружие того времени: мушкеты, ружья, копья, стрелы и различные дротики и даже арбалеты. На огромных крюках висели деревянные колодки, которые надевали на шею рабов, плётки и бичи из жёсткой кожи носорога, кандалы и цепи для несчастных невольников. Были представлены также макеты невольничьих судов, в трюмах которых перевозили рабов через океан для работы на плантациях в Бразилии и других странах Латинской Америки. На стенах висели старинные гравюры, изображающие португальских работорговцев, угоняющих чернокожих людей в рабство, сцены покупки людей как товара, с осмотром зубов, как у лошадей, и голых тел рабов. В подвале этого музея находилась пыточная с соответствующими приспособлениями, где пытали беглых негров. В конце XVI века произошло восстание, которое возглавила местная чёрная королева Нгола. Это восстание было жестоко подавлено португальцами, но имя королевы осталось в памяти народной, и было преобразовано в название страны — Ангола, ставшей заморской территорией Португалии. За 400 лет работорговли из страны было вывезено больше трёх миллионов чернокожих людей. Десятки тысяч семей были разрушены, а селения сожжены. Только в 1858 году рабство было отменено, и вместо него был узаконен принудительный труд. Последствия работорговли сказываются до сих пор. Вот почему в такой огромной по территории стране, занимающей двадцать второе место в мире, живёт относительно незначительное количество людей.

Во время посещения одного из действующих предприятий к нам подошла белая женщина среднего роста с красивыми чертами лица, голубыми глазами и светлыми волосами, хорошо говорившая по-русски. Она работала технологом на этом предприятии. Оказалось, что она русская из города Ярославля, вышла замуж за ангольца, который вместе с ней учился там в институте. После завершения учёбы они вместе уехали в Анголу, где она живёт уже больше десяти лет. У них трое детей, но на рынок за продуктами ходит только её муж, что весьма необычно для Анголы, так как там на рынок ходят исключительно женщины. Оказывается, в Анголе существует так называемый “расизм наоборот”. После получения независимости от Португалии в Анголе начался ползучий расизм против белых людей. Например, товары для белых на рынке продают в несколько раз дороже, чем для чёрных, а то и вовсе могут не продать. На предприятиях и в некоторых учреждениях зарплата белых ниже, чем у чёрных. В городе есть даже кафе, где белых обслуживают в последнюю очередь или даже вообще не обслуживают. Она рассказала нам множество примеров из своей жизни о притеснении белых. Так чёрное население мстит белым за тысячелетие рабства и работорговлю, где из всех стран Африки больше всех пострадала Ангола. Около половины населения было вывезено работорговцами в Южную Америку. Нарастающая тенденция против белых может иметь серьёзные последствия и захватить другие страны.

На следующий день я с группой специалистов по деревообработке и производству мебели должен был попасть в портовый город Бенгела. Сопровождающие нас ангольские военные сообщили нам, что по дороге ехать опасно, так как отряды Савимби, несмотря на очередное мирное соглашение с ним, вновь ведут военные действия в районе, где проходит дорога на Бенгелу. Поэтому было принято решение отправить нас на небольшом десятиместном самолёте, который ранее использовали на внутренних рейсах. Во время непродолжительного полёта на довольно небольшой высоте мы наблюдали панораму изменяющегося ландшафта: кофейные плантации с ярко-красными бусинками плодов кофе постепенно сменились жёлтыми пространствами саванны с редкими деревьями и небольшим кустарником, где мы заметили группу диких животных, похожих на красных буйволов. Затем жёлтый цвет плавно поменялся на зелёный. Мы пролетали над краем тропического леса,

а следом опять саванна, но уже другая, с болотами и озёрами, на которых мы видели множество птиц, среди которых выделялись бело-розовые фламинго.

В аэропорту Бенгелы нас встретил директор мебельной фабрики, где наша группа должна была работать, разместил нас в каком-то пустующем доме, напоил крепким ароматным кофе, и мы отправились на наш объект сотрудничества. По дороге на работу мы обратили внимание на очень красивую старинную католическую церковь с большой белой скульптурой святой Девы Марии, расположенной у главного входа. Небольшие, в основном старинные дома уютно разместились вдоль тихой неширокой улицы. Бенгела славится одним из самых лучших пляжей в Анголе, но ни одного человека, кроме нас, там не было замечено. Везде чувствовалось запустение и разруха как следствие недавно закончившейся гражданской кровопролитной войны. В городе мы посетили археологический музей, расположенный в здании, построенном в VII–VIII веке. Экспозиция удивила огромным количеством экспонатов, уцелевших во время военных действий.

Ярким впечатлением от пребывания в этом симпатичном приморском городе было посещение рынка. Здесь можно было видеть огромное количество различных знакомых и незнакомых фруктов и овощей. Горы жёлто-зелёных крупных ананасов с зелёными веерообразными султанчиками сменяли собой большие связки бананов. На импровизированных столах из ящиков и кусков картона с рекламой “Кока-колы” лежали грейпфруты, крупные бугристые серо-зелёного цвета гуавы, похожие на наши яблоки, и упругие плоды манго. Повсюду были корзины с чёрным, розовым и зелёным виноградом. Из множества различных овощей от авокадо до батата (сладкого картофеля), от жгучего красного перца (бербере), лука, кабачков до гигантских размеров тыкв, особенно выделялись ярко-красные мясистые помидоры. Вокруг стоял душистый запах каких-то трав и пряностей. Следующим был ряд, где продавали яйца и живых кур в специально сплетённых корзинах из каких-то прутьев. Далее меня поразило изобилие и разнообразие морепродуктов или, точнее сказать, продуктов океана. Крабы, морские черепахи, лангусты, различные моллюски, морские ежи, редкие морские коньки и, конечно, огромное количество разной рыбы как в естественном виде, так и уже разделанной и очищенной лежало, аккуратно завёрнутой в банановые листья. Весь этот калейдоскоп товара разворачивался рано утром, ещё до восхода солнца и через несколько часов куда-то быстро исчезал. Рынок был очень мобильным.

Вернувшись в Луанду, я, естественно, неоднократно побывал на всех предприятиях, где работали наши специалисты, не только в Луанде и Бенгеле, но и в других городах. Удобно и приятно было общаться с ангольскими специалистами, которые учились в учебных заведениях нашей страны и достаточно прилично освоили русский язык. Одним из таких специалистов, хорошо говоривших по-русски, был директор завода по производству хлебобулочных и макаронных изделий. Он производил очень приятное впечатление. По отзыву наших специалистов, директор был не только хорошим администратором, но и обладал достаточно глубокими знаниями и большим производственным опытом. Рабочие беспрекословно слушались и выполняли все его требования, что было удивительным для большинства ангольцев, которые не привыкли добросовестно трудиться. Этот человек в один из выходных дней показал нам Луанду, в которой он родился. Мы побывали в старинной крепости Сан-Мигель, построенной на красивом скалистом мысе в 1575 году для защиты от вторжения кораблей, посетили несколько католических церквей, в том числе церковь Мадонны Назаретской, построенной в XVII веке, иезуитскую церковь XVI века и храм кармелиток XVII века. В центре города он обратил наше внимание на тротуары, вымощенные изумительной мозаикой, показал нам старинное здание университета, возведённого в типично колониальном стиле, носящего имя первого президента Анголы Агостиньо Нето. Следует отметить, что в других городах, где я побывал, архитектура зданий примерно одинаковая, очень красивая, за небольшим исключением.

Изучая страну, я узнал, что в Анголе находятся шесть замечательных национальных парков и заповедников. Расположены они в разных концах страны и на значительном расстоянии от Луанды. Самый близкий парк Кисама находится в семидесяти километрах от столицы. Там в чащах тропического леса обитают слоны, обезьяны, красные буйволы, различные виды антилоп и уникальный гигантский чёрный соболь. Правда, животный мир в национальном

парке во время войны сильно пострадал от браконьеров. Мне очень хотелось побывать в этом парке, но, к сожалению, разрешение на его посещение по условиям безопасности из-за продолжающихся военных действий нам получить не удалось.

Незаметно в трудах и заботах прошёл почти месяц нашего пребывания в Анголе. Оставалось несколько дней до завершения командировки. Мне предстояло ещё раз посетить маслоэкстракционный завод по производству пальмового масла, расположенный в небольшом городке в пригороде Луанды. Наш джип, в котором, кроме местного шофёра, находилась Елена Ивановна, кандидат химических наук, ведущий специалист одного из научно-исследовательских институтов пищевой промышленности нашей страны, и я, в сопровождении бронетранспортёра с бойцами охраны, сидящими на нём, медленно двигались по дороге. Неоднократно мы уже туда ездили в таком же сопровождении. Чтобы доехать до пункта нашего назначения, нам требовалось примерно около часа времени. Впереди, метрах в тридцати от нас, ехал бронетранспортёр, изрыгая на нас зловонный запах солянки и вздымая клубы красноватой пыли из-под колёс. Обогнать его мы не имели права по условиям безопасности, да и узкая извилистая дорога не позволяла этого сделать. Слева от дороги рос густой кустарник, а справа на склонах холмов – небольшой лес. Дорога, извиваясь, то круто поднималась вверх на холмы, то резко сбегала вниз по ложине между холмами. Темп движению задавал бронетранспортёр, и мы из-за него довольно медленно двигались вперёд, дыша дорожной пылью и обливаясь потом в сорокаградусную жару под палящими лучами солнца. Небольшой отрезок за поворотом с двух сторон был покрыт лесом, который дальше заканчивался и плавно переходил в саванну, дающую возможность увидеть вдаль строения городка, куда мы направлялись. Этот участок дороги был очень узкий и наиболее опасный, так как слева были глубокие рытвины и канавы, а справа возвышалась стена холма, сплошь поросшая густым подлеском. Как только мы приблизились к этому месту, а бронетранспортёр повернул за холм и на какое-то мгновение исчез из поля зрения, за поворотом раздался оглушительный взрыв, и вслед за ним послышались автоматные очереди. Наша машина по инерции продолжала движение, тоже повернула за холм, резко остановилась, и мы увидели следующую картину: бойцы охраны резво соскакивали с бронетранспортёра и быстро разбегались в разные стороны. Мгновенно наш шофёр открыл дверцу машины, прыгнул влево и так же моментально исчез в лесу. А в этот же момент навстречу нам уже бежали, крича и стреляя на ходу, какие-то люди в камуфляжной форме. Елена Ивановна, сидевшая в машине одна на заднем сиденье, упала на пол и забилась в истерику. Я был в полной прострации, сидя на переднем сиденье и тупо глядя вперёд. Вдруг неожиданно слева от машины раздалась длинная автоматная очередь, и люди, бежавшие к нам, упали на землю. Всё происходило как при замедленной съёмке в кино. Внезапно в нашу машину с распахнутой левой дверцей вскочил человек, как мне показалось, огромного роста, с автоматом Калашникова на груди. Он схватил большими крепкими, испачканными землёй руками руль, повернул ключ зажигания, громко по-русски матерясь, включил заднюю скорость, и мы как змея по извилистой дороге помчались назад, мгновенно скрывшись за поворотом. Так мы ехали “задом” метров сто, потому что узкая дорога и препятствия по сторонам не позволяли автомобилю развернуться и ехать нормально. Я никогда так не ездил и не видел, чтобы так искусно, профессионально, на предельной задней скорости, лавируя из стороны в сторону, почти не глядя назад, можно было управлять машиной. Это был высший класс! Отъехав таким образом довольно далеко от места происшествия, наш ас-водитель и спаситель в одном лице, наконец, лихо развернулся на крохотном пятачке расширившейся дороги и, проехав ещё немного, остановился и спросил меня, могу ли я управлять машиной. Я утвердительно кивнул, а незнакомец сказал, что пока мы будем ехать, он некоторое время ещё побудет здесь на всякий случай. Увидев лежащую на полу сзади в машине испуганную Елену Ивановну, он громко захохотал, извинился за мат в присутствии дамы и, спрыгнув с машины, тут же исчез, словно его и не было. Я был в шоке и даже не успел поблагодарить его за спасение и не узнал, как его зовут. Как стремительно он появился, так же стремительно и исчез. Я пересел на водительское сидение и дрожащими руками повёл машину дальше. Через некоторое время мы уже были в Луанде.

Вернувшись в город, я доложил советнику о происшествии, и он сказал, что нам очень повезло, потому что как раз в это время разведгруппа ангольской армии при участии советских военных советников возвращалась из рейда. А наш ангел-спаситель был одним из советских военных советников, сотрудником ГРУ. Я попытался узнать его имя, но в посольстве, где наверняка были списки наших военных советников, мне отказали. Тогда это было большой военной тайной, ведь наши военные, как везде официально сообщалось, в Анголе не воевали.

Итак, я возвращаюсь к началу моего рассказа. Мой собеседник, стоящий напротив меня, поведал мне следующее:

“Я – кадровый военный, окончил в своё время институт военных переводчиков и академию генерального штаба, служил в самых разных местах, побывал в “горячих” точках, принимал участие в военных конфликтах за рубежом, побывал в Афганистане и в Латинской Америке – в Никарагуа и на Кубе, в Африке – в Эфиопии, Мозамбике и Анголе и в некоторых других странах. Эти командировки не были туристическими поездками, но на службе всё складывалось благополучно. А вот в семейной жизни не везло. Учась ещё в Академии, я встретил прекрасную девушку, долго ухаживал за ней, и, наконец, она согласилась выйти за меня замуж. Но мои длительные командировки тяготили её, и, промучившись пять лет, мы расстались. Детей у нас не было, поэтому я почувствовал некоторое облегчение, словно снял с себя груз. Я опять был холостым и ушёл по горло в работу. Но когда появилась пауза, и был длительный отпуск, я подумал, что мне не хватает семьи. Вот тут я встретил свою новую девушку по имени Татьяна. Я впервые по-настоящему влюбился и вскоре вновь женился. Она окончила институт и работала геофизиком. У нас было всё хорошо, но её постоянные командировки на полигоны и участие в полевых изысканиях не давали мне покоя. Я очень переживал и с нетерпением всегда ждал её возвращения. В конце концов, я устал от постоянных разлук и настоял на том, чтобы она сменила работу и была каждый день со мной. Отказаться от любимой работы и сидеть восемь часов в ненавистной конторе – для неё это был стресс, который, как мне теперь кажется, сильно повлиял на её здоровье. Она менялась буквально на глазах. Я показал её врачам, но они сказали, что это нервное расстройство скоро пройдёт, а её состояние становилось всё хуже и хуже. Я отвёз её на обследование к лучшим врачам военного госпиталя. И тут я получил удар ниже пояса. Врачи поставили страшный диагноз – быстро прогрессирующий рассеянный склероз. Я пытался бороться с болезнью, лечил её самыми лучшими новейшими препаратами, возил на курорты и в лечебницы за границей, но ничего не помогало. Ей стало всё безразлично, она не узнавала меня и перестала понимать простые вещи. Я не выдержал и начал понемногу пить, а дальше – больше. Алкоголь очень помогает мне, снимает с души тяжесть и облегчает жизнь. На моих глазах Таня превращается в растение. Я не могу этого пережить и уже пытался застрелиться, но её жизнь пока удерживает меня от этого. Ужас происходящего держит меня за горло, и только виски спасает”.

Он закончил свой монолог, а я под сильным впечатлением от услышанного как-то попытался отвлечь его от мрачных мыслей и перевёл разговор на другие темы, рассказал несколько драматических и курьёзных случаев из своей жизни. Мне показалось, что он отвлёкся, и ему стало чуточку легче. Я вспомнил об инциденте, случившемся со мной в Анголе, и о незнакомце, внезапно появившемся и спасшем мне жизнь. После этого рассказа он искренне заинтересовался, глаза его заблестели, улыбаясь, он спросил:

– А это не у вас в машине сзади на полу лежала белокурая дамочка?

Я в полном удивлении подтвердил и задал вопрос:

– Неужели это были вы?

– Похоже, что я, – ответил он и расхохотался также громко и раскатисто, как и тогда, много лет тому назад.

– Вот так встреча! – Я в изумлении смотрел на него и не верил, что такое может быть! Какой-то сюр, да и только!

– Ну что, крестник, по этому случаю надо выпить. Пойдём ко мне, у меня кое-что осталось, – предложил он. Мне было жаль его, но и согласиться идти к нему я был не готов.

– Сегодня я не могу. Может быть, как-нибудь в другой раз, – ответил я.

– Жаль, другого раза может и не быть, – сказал он, явно расстроенный и, не прощаясь, мы разошлись, каждый в свою сторону. Больше я его не встречал, видимо, ему было стыдно или неудобно за проявленную минутную слабость, когда он открыл душу постороннему человеку, и, сожалея об этом, теперь уже он стал избегать меня.

Судьба предоставила мне второй шанс, а я им не воспользовался. Я так и не поблагодарил своего спасителя и не узнал его имени.

А спустя некоторое время, проходя мимо его дома, я увидел большое скопление дорогих иномарок. Водители, собравшись в кружок, о чём-то тихо беседовали. С любопытством я подошёл к ним и спросил, чем вызвано такое скопление машин. Мне объяснили, что умерла Татьяна, любимая жена Ивана Егоровича, полковника ГРУ, и поэтому все его друзья и коллеги сейчас здесь. Вот так я узнал имя и отчество моего героя. Осталось только поблагодарить его, что я непременно и сделаю.

АННА НУЖДИНА

ПОСМОТРИТЕ НА ВОРОНЕЖ

“Воронежская поэтическая школа” в лицах

Подводя итоги 2020 года в январском номере “Дружбы народов”, Евгений Абдуллаев вдруг переходит с темы казахстанской поэзии на перечисление поэтов Воронежа: “Рахметов вообще ближе к, условно говоря, “воронежской школе” – хотя как школу они себя и не декларировали, да сегодня это и не нужно. Там у них, в Воронеже, случилось что-то интересное, сразу несколько молодых поэтов; может, дух Мандельштама постарался. Наиболее известен Василий Нацентов, но есть и Сергей Рыбкин, и Аман Рахметов, который жил в Воронеже несколько лет...”*

Самое здесь интересное – слова о “воронежской школе”. Что некое объединение (причём не просто в формате ЛитО, а на более серьёзном уровне) в Воронеже существует, это факт известный**. Однако понятие школы – условно, никаких критериев для её точной характеристики не называется. Но это вовсе не значит, что их нет. В своей статье я постараюсь поговорить о наиболее ярких молодых авторах Воронежа: Василии Нацентове, Сергее Рыбкине и Амане Рахметове, выделить то, что является общим для их поэзии и позволяет в какой-то степени подойти к понятию “школы”.

Самым известным из трёх поэтов Евгений Абдуллаев справедливо назвал Василия Нацентова: он печатался во множестве толстых журналов, стал финалистом “Лицея” и лауреатом “Звёздного билета”. Его первая поэтическая книга “Лето мотылька” (АО “Воронежская областная типография”, 2019) вышла довольно давно. А к чему поэт пришёл сейчас, можно увидеть на примере недавних публикаций – в февральской и майской “Юности”.

Композиционно “Лето мотылька” состоит из трёх частей – “Речь становится талым снегом”, “Игольчатый свет” и “На птичьем языке”. Первая воссоздаёт зиму, сначала безраздельно властвующую над героем, а потом смеющуюся “несбывшейся” весной. Снег, который появляется в первом же стихотворении книги, как бы препятствует закономерному развитию жизни. Бездействие отравляет душу лирического героя, принося ему мысли о собственном одиночестве и, хуже того, об абсолютной беспомощности.

В этой атмосфере “без-...” появляется “безъязыкость”, отсутствие правильной и понятной речи (“И слова в темноте я ищу, как твои ладони”). Не без

* Абдуллаев Е. В. Год перечитывания. Литературные итоги 2020 года. “Дружба народов”, № 1, 2021.

** “Чтобы вместе идти в неизбежно холодное завтра”: есть ли будущее у воронежской поэзии. <https://www.kp.ru/best/vrn/poeti2021/>.

обращений к Мандельштаму, разумеется, потому что лирический герой воспринимает “неправильную речь” не только как печальный факт собственной неопределённости, но и как неотданный Мандельштаму долг, невыполненную просьбу поэта: “это жил на земле поэт // и просил сохранить речь”.

За зимой-забвением наступает весна-смерть. Весна Нацентов — не то, о чём говорят, а то, о чём умирают (“так умирают о весне”). Пробуждение природы лирический герой воспринимает как собственный неминуемый конец:

*Шумит весна. Не чувствую весну.
Так чувство смерти слабым не даётся.*

В противовес первой части книги вторая — “Игольчатый свет” — пронизана жаром и жаждой действия. Герой теперь — потенциальный носитель особой “речи птицы и Мандельштама”. Здесь же он впервые осознаёт этот язык как “ясный и простой”, как средство наиболее точного и полного описания мира, познания тайны бытия:

*...о том, что человек — не человек, но птица,
не птица, но строка на птичьем языке.*

В “Игольчатом свете” Нацентов явно выбирает будущее, а не прошлое. Боязни смерти больше нет, для поэта смерть теперь не сакральна, а закономерна и легка, потому что познаётся через любовь:

*...и всегда говорит о любви,
и во всём говорит о любви —
чтоб и я умереть не боялся.*

Образ ангела — опять-таки символ жизни, света, добра. Поэт пробует ощутить в себе силу, достаточную для обретения свободы жить в ногу со временем. Казалось бы, вторая часть книги пронизана этой свободой, наделена невообразимой лёгкостью движения и мысли — полётом. Однако и полёт в конце “Игольчатого света” неожиданно обрывается, как обрубаются выросшие крылья нацентовского героя. Он осознаёт, что оказался крепко привязан к Воронежской земле — месту, где остались его воспоминания. Впервые осмысливается идея памяти как человекообразующей категории мироздания, и “родное место” определяет отношение лирического героя к другим географическим местам:

*Я сошедший с ума возле Белого моря южанин.
Мне бы спелого сада, и солнца, и верной жены.*

“На птичьем языке”, третья часть книги, изображает переход из ранней осени обратно в зиму, с новым появлением ощущения неизбежности смерти (“я осенний цветок голубой, // говорящий о смерти”). Несмотря на это, образ ангела приобретает здесь всё большую значимость. Теперь ангел — символ древнейшей благодати, небесного смирения. Птичий язык здесь уже знаком герою (“я её изучил, будто птичий язык” — и в этом есть не только природное, но и, конечно, филологическое), однако мир, который надлежит описывать этим языком, вдруг стал иным:

*...не к свету тянешься, а в тень уходишь,
в чудную истончившуюся ять,
как в довоенный мандельштамовский Воронеж.*

Герой отчётливо понимает, что зима опять наполняет его стремлением к смерти, но теперь уже он вступает в неё с опытом чувственного осмысления реальности:

*...я лежу — рассыпан и растерян,
как бусы на полу
или синица в страшном тёмном царстве.*

Вся книга – не переход из одного состояния в другое, как могло бы показаться, а поиск верного пути. Лирический герой пробовал оставаться в небытии, пробовал смотреть в будущее, пробовал жить настоящим и, наконец, оглянулся в прошлое. И жизнь манила его, и смерть. “Лето мотылька” – описание всех возможных попыток поэта определить своё будущее направление. И на момент 2019 года путь ещё не обрётён окончательно. Автор – странник, пришедший с душевной болью и пониманием того, что ему необходимо существовать иначе. И потому в поисках ориентира Нацентов обращается к множеству поэтов разных веков. Тютчев, Фет, Бальмонт со своим “чуждым чарам чёрным чёлном”, Мандельштам, Окуджава, Слуцкий, Рейн, Казарин – к каждому поэт присмотрелся и в каждом в итоге не смог отыскать ключа к разрешению своих волнений. Эта книга – большое перепутье.

Однако в ней были сделаны важные выводы о сущности поэзии. Способ прикоснуться (но в то же время – и побороться) со смертью – это именно поэзия. Она здесь определяется как высшая мера:

*Приходит в мир иное вещество,
и слог его, и музыка его
во всём — слегка касаясь белой смерти;
.....
став другим веществом, вещество
возвращается словом назад.*

Поэзия у Нацентова не что иное, как бессмертие: “стихи сегодня пишут дураки – // счастливые и вечные, однако”. Определив особенность своего дела и степень его важности, поэт находится в трепетном ожидании момента, когда он будет “значить правильное что-то // помимо слов о смерти и любви”. Но в “Лете мотылька” он скорее констатировал свою проблему, чем действительно пытался её решить: “Я говорю о том, что снег пошёл. // О том, что он растаял, скажут после”. В поэтике Нацентова осталось однозначно чувственное познание мира: многие стихи начинаются с описания природного явления и продолжают его осмыслением через чувство. С помощью природных образов и сравнений раскрывается линия повествования – конкретные цвета и ощущения заменяет их природный эквивалент. Даже в городе у Нацентова нет абсолютно ничего городского – виден тот же лес, те же травы, птицы, цветы.

Однако менее чем за два года Василием Нацентовым был сделан уверенный шаг по определению пути. В “Лете мотылька” поэт только заявляет о перепутье – устремиться к жизни или к смерти, в прошлое или в будущее. В новых же стихах поэт твёрдо обращён во тьму веков, и свет грядущего бесцельно льётся у него за спиной. Ушла наивная жажда жизни. Поэт окончательно занял позицию созерцателя и мыслителя с ориентацией в прошлое.

Нацентов ощущает себя там, где ничто живое и реальное долго существовать не может – оно лишь в движении преодолевает этот рубеж, вырывается из прошлого в будущее. А поэт не вырывается, и потому остаётся один:

*...а весной подумает, что в раю,
И улетит. И не вернётся:
батюшки-бай-баю;
.....
Всё — огромный пустой вокзал
и часы, застывшие, как слеза, —
блюдец, с которого всё слизал,
всё, что было.*

В “Лете мотылька” есть стихотворение, посвящённое Сергею Рыбкину, а в книге Рыбкина “Вдали от людей” (Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2020) – несколько посвящений Василию Нацентову. Эти два поэта, два друга схожи.

Они оба познают мир чувственно, причём Рыбкин тоже использует в основном визуальные метафоры. Ему так же свойственно ощущение одиночества поэта в мире, полного его отторжения этим миром:

*...я живу, как и прежде, один на один
с облаками спокойного сада,
где мне места уже не найти.*

Некоторые языковые средства тоже сходятся, в частности, это касается ритмической организации текста:

*...трава уже мертва наполовину,
и ты уже мертва наполовину...*
(Рыбкин);

*...ты сидишь, а дом
качается и летит,
ты сидишь, а дом...*
(Нацентов).

Оба автора размышляют о поэзии. Оба они вслед за Мандельштамом сходятся в понимании самой сущности поэзии, как музыки, а музыки – как высшей меры бытия: “молиться о том, // что музыка опять состоится”. Кроме того, Рыбкин тоже видит в этой музыке способ борьбы со смертью, единственную земную форму бессмертия, приближающую человека к Богу:

*...и дышим словом,
только словом,
пытаясь смерть перешагнуть.*

Один из важнейших мотивов лирики Нацентова – мотив поэтического языка как иного – есть и здесь. Правда, Сергей Рыбкин считает свою неведомую речь не птичьей, а небесной. Это язык Бога, прямой путь к Нему:

*...о своём говорить на небесном Его языке;
.....
...я речь поднимаю и к небу за руку веду.*

Как только появляется речь, появляется и немота как её обратная сторона. Причём говорение и молчание странным образом совмещаются у Рыбкина: “в молчание закутанную фразу”, “речь молчанием претворилась”. Поэзия в принципе насыщена алогизмами, и Сергей Рыбкин намеренно сталкивает противоположные понятия друг с другом: “в невинное небо опустим глаза”; “хочется снега летнего”; “у звука в основании беззвучье”.

Есть ещё одна важная вещь, которая роднит рыбкинскую поэтику с нацентовской. Это тотальная обращённость в прошлое: “всё реже и мельче живу – обернулся назад, // и сил не хватает вернуться обратно”. Однако Рыбкина ориентация на былое скорее тяготит, а не вдохновляет, как Нацентова. Поэт боится будущего, называемого “холодным завтра”. Оно явно угнетает его своим неизбежным приходом: “только будущность тянет к земле”.

Если герой Нацентова справлялся со всеми тяготами выбранного пути в одиночку, то герою Рыбкина нужна поддержка и опора, чтобы “вместе идти в неизбежно холодное завтра”. Его героя отличает не упорство и смелость, а мягкость, чувствительность и сострадание, в которых он часто видит нечто сакральное:

*...чтобы листья жалеть,
будто их никогда до меня не жалели.*

В отличие от Нацентова, Рыбкин уверен в своём пусть и не азартном, а тихом и умиротворённом, но твёрдом стремлении к жизни: “даже если мне жизнь показала – совру, что была // только здесь и, наверное, значила что-то”. Именно внешне нестойкий герой смог вместить в себя ту свободу и жажду действия, с которой не справился герой Нацентова в “Игольчатом свете”. Он претворил жаркое страстное пламя жизни в ровный огонёк, дающий тепло и свет, но не сжигающий дотла.

Конечно, подобному герою-умиротворителю свойственно поклонение и служение. На первом месте, разумеется, Бог (“будем Богу служить”), в достижении которого Рыбкин видит высшее жизненное благо. Божественному, нечеловеческому, иному рыбкинский герой отдаёт всего себя. Он не стремится завладеть, как герой Нацентов, а хочет, чтобы им самим владели ради высшего блага: “я себя не берегу, // я спасаю храм последний”.

К Богу также приближает и владение “небесной речью”, поэтому одиночество и бездействие выступают у Рыбкина как невозможность преодолеть предел между нею и собственной, человеческой речью:

...это стекло ни одна ещё тварь не пробила влѣжку;

.....

*Небо, жалься и прости
постучавшихся в тебя.*

В книге “Вдали от людей” много любовных стихов. Любовь для Рыбкина тоже наделена божественной силой. Вся она – поклонение жестокому, неидеальному божеству (“сама себе верна, себе вольна”), автоматическое прощение всех его прегрешений, пусть и через боль. Поэт пишет: “столько женщины ушло от меня”. Именно ушло, то есть герой, привязанный к каждой своей женщине, даёт ей, как богине, власть над собою и над своей судьбой:

*...к тебе, чтобы на край любовный встать
и без раздумий сброситься оттуда.*

.....

*и верил я, не зная правды,
что небо в губы целовал...*

Здесь женщина приравнивается к небу, то есть к Богу, автоматически наделяясь нечеловеческой силой: и любить, и прощать, и карать, и судить.

Рыбкинский герой полностью принимает собственное бытие и не пытается его изменить, отсюда нет у него метания между поэтами разных лет, а если он кого и выбирает (Ольгу Седакову, например, в качестве собеседника, а Мандельштама в качестве учителя), то существует с ним в гармонии.

Эта поэзия сродни ивовому пруту, который легко согнуть, но тяжело сломать. На долю рыбкинского героя приходится немало тягот, испытаний и духовных мучений, но все их он выносит, сохраняя в сердце надежду не на холодное, а на тёплое завтра и на верное плечо, на которое можно опереться.

Аман Рахметов, с которого начал разговор Евгений Абдуллаев, жил в Воронеже несколько лет и именно там издал свою первую книгу “Почти” (Воронеж: издательство “Цифровая полиграфия”, 2019). В неё вошли ранние стихи. Кроме того, нам будут интересны и последние подборки поэта – “В глубине моей памяти” (Гостиная, 110, 2021) и “Свойства и обязанности” (Новый Берег, 72, 2020).

Главное свойство книги “Почти” – её завораживающая лёгкость. Дело даже не в коротких строках и облегчённых метафорах, на фоне которых поэзия Нацентов и Рыбкина выглядит намеренно уплотнённой, а в способности Рахметова создавать стихи как бы мазками – немногочисленными, но яркими деталями. Он не нанизывает метафоры, а даёт им перетекать друг в друга:

Пёс облизывает ладони

Луны,

худощавые и холодные, как ребёнок

в застывшие дни —

железо.

Аман Рахметов описывает бытовые предметы бытовым языком, в котором нет ни рыбкинских алогизмов, ни нацентовских аллюзий и реминисценций. Как отмечает в предисловии к книге Вячеслав Лютый, “поэт тянется к умению взять предмет и рассмотреть его пристально на ладони”. Однако эта поэзия всё равно открывает перед читателями принципиально новый мир. Это происходит за счёт нестандартного мировосприятия поэта, в котором человек и природа сливаются в одно, становятся тождественны друг другу: “И мы, шатаясь, как деревья, // могли прощаться и прощать”.

Если у Рыбкина поэзия наполнена служением Богу и всем его земным проявлениям, то герой Рахметова служит природе. И отдаётся своему служению до допустимых пределов, не иссушая себя до конца на этом пути. Природа воспринимается не как объект прямого поклонения, а как высшая сущность, которая определяет границы бытия и частью которой является весь живой и неживой мир. Это первоматерия, во имя гармоничного существования которой и стоит жить: “Я нарушу законы природы // ради новых законов природы”.

Так что герой Рахметова скорее просто живёт по законам мира, в котором всё имеет одинаковое происхождение и бесконечно перерождается. Это знание не может не накладывать отпечатки на восприятие многих этапов жизни человека. Например, старение воспринимается не как неизбежный рок, а как ещё один, понятный и необходимый биологический процесс. Именно биологическим процессом старение и является в принципе, поэтому можно говорить о его десакрализации:

*Струилось время
по морщинкам
рекой, длиною в океан.*

В поэтике Рахметова куда более сакральное значение носит смерть. Понимание смерти у поэта скорее языческое, а не христианское: для него нет никакого рая и ада, а есть лишь круг жизни – цикл перерождений:

*...это мы
ещё до человеков
обыкновенная пыль.*

Взгляд на мир как на множество частей целого позволяет Аману Рахметову замечать детали, которых не видит никто больше, обнаруживать индивидуальность каждой вещи так, как можно было бы обнаружить индивидуальность домашнего животного: “как у трещинки каждой своя губа, // прошлогодний асфальт или поза”.

Замечательно, как поэт говорит о любви. Здесь по восприятию чувства он становится близок к Рыбкину тем, что не упорствует и не добивается, но, в отличие от него, при этом не экзальтирован. Место экзальтации занимает спокойная уверенность в том, что если что-то случилось, то так оно и было необходимо. Но при этом всё та же лёгкость пронизывает его стихи, уподобляет их нацентовским манифестам бессмертия и несокрушимости любви:

*Мы целовались через годы,
и годы шли, как облака...*

Отражение внутренних ощущений от события становится важнее общего слова, которым можно его охарактеризовать.

Интересен мотив отношений со словом. Оно здесь – партнёр поэта, а не инструмент (Нацентов) или властитель (Рыбкин). Слово так же самодостаточно, как и личность поэта, поэтому о природе слова он рассуждает в тех же категориях, что и о человеческой природе.

“Всё больше повода уйти от слова” – поэт пишет о слове так, будто бы это живой человек и от него действительно можно уйти – в прямом смысле. Взаимодействие со словом далеко от канонического, оно принимает бытовые формы: “Заменяя дверные замки, // запасаемся словочлениками”.

Периодически слово оживает и начинает действовать произвольно, без какого-либо намерения со стороны поэта:

*Так душно в комнате, так душно,
что иссушаются слова,
соприкоснувшись вдруг с подушкой,
не завершаясь у стола.*

И такое изменчивое, непокорное, даже буйное слово Рахметов принимает, не теряет контроля над собой, что позволяет ему “за каждым дымом или строчкою // спокойно вглядываться в цепь”.

Молчание столь же важно для поэтики, сколь и само слово. Пускай слово наполняет бытие, но “молчаньем строился весь мир”, то есть в художественном мире Амана Рахметова слово не первостепенно, оно является не источником, а лишь ещё одной производной. Поэтому вся возможная речь имеет для поэта примерно одинаковую ценность (“Как привычно учить языки”). Однако Рахметов хочет отстраниться от языка и вернуться к состоянию перворечи, природной речи: “я стану говорить на птичьем – // среди людей”. В контексте конкретной поэзии – это стремление к изначальному состоянию слова, а в контексте всего исследования – поиск особого языка, роднящий всех трёх поэтов.

“Почти” – это книга, поэзия которой уже сформировалась на смысловом и мировоззренческом уровне. В недавно опубликованных подборках мы качественно изменили и не увидим. Любимая лирика ушла, и на её месте оказались стихи, в которых метафизически осмысливается бытие:

*Ты идёшь о дома!
Ты идёшь и не трёшься о идёшь о дома!*

В этом осмыслении Рахметов пытается прийти к самым древним (и самым совершенным, по его мнению) состояниям человеческой души – и пишет “Библейские мотивы”, стихи-притчу, пишет строки “Твоя странная мама – от слова страна!” Его занимает также “довременная” память природы (поскольку природа первоначальна, она, по Рахметову, обладает самой глубокой памятью) как средство, через которое можно увидеть процесс творения:

*А мы уснём. Раскроются ладони,
и выпадут, как ливни, имена
гостей несуществующего дома
у длинного открытого окна.*

Поворот поэта в прошлое окончательно состоялся. Как состоялся он в новых стихах Нацентов и в последнем стихотворении книги Рыбкина. То есть каждый из них обращён назад, а не вперёд, стремится вернуться к уже бывшему.

Заметен также тематический крен в философскую лирику: поэты берут на себя грандиозную задачу – исправление “вывихнутого” мира. Для этого каждый создаёт собственный уникальный мир из привычного. Василий Нацентов – силой воли, Сергей Рыбкин – стремлением к новаторству формы, Аман Рахметов – особым видением мира. Но все они в этом сотворении иного ищут и используют “иную” речь.

Не зря Евгений Абдуллаев пишет: “Может, дух Мандельштама постарался”. Это действительно так, потому что не только Нацентов отсылает читателя к “поэту, который просил сохранить речь”, но и Рахметов (“Воронеж тихо обнаружил // во мне бесшумность Мандельштама”), а Рыбкин следует его принципам музыкальности поэзии.

Значимый для Воронежа поэт оказался впамят глубоко внутрь современного воронежского поэтического текста. Не без влияния наставника, Зои Колесниковой, которой Нацентов и Рахметов посвящают стихотворения. Аман Рахметов напрямую указывает на роль Колесниковой в принятии им “воронежского наследия”:

*Воронеж, я — противоречье.
И ты — единственный наставник.*

Бесспорно, у поэтов разное отношение к сущности поэзии, слова, природы, любви. Однако взгляд в прошлое, создание иного мира с помощью иной речи и колоссальное влияние поэтической истории Воронежа – вот что роднит их и объединяет в уникальное явление, которое мы можем назвать “воронежской поэтической школой”.

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ — ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ГОВОРИТЬ

29 января свой юбилей празднует поэт, литературный критик, педагог Нина Александровна Ягодинцева. Поэт Юрий Татаренко взял у неё интервью для “Нашего современника”.

Ю. Т.: Когда начались ваши стихи?

Н. Я.: Очень рано, ещё в начальной школе, но, конечно, это были не стихи ещё, а детская интуитивная потребность выразить свои чувства этим странным способом. По-настоящему они начались в Литинституте, после второго курса, хотя написано к этому времени было уже довольно много.

Мы ожидали рождения дочери, я очень много читала и писала, словно впрок на сложный период, когда в семье появится малышка, и впервые прочла тогда поэтические суры Корана. Там я и обнаружила потрясающую вещь: оказывается, в священной книге мусульман раздел этот даёт понимание, что такое человек в масштабе Мироздания. Это, собственно, неизменная суть поэзии, на все времена: человек по меркам Вселенной. Вот с этого момента всё и началось по-настоящему.

Ю. Т.: Что изменилось после первой публикации?

Н. Я.: Первая публикация стихов состоялась, когда мне было 11 лет. Я смотрела на своё стихотворение “Что такое счастье”, а в 11 лет я точно знала, что это такое, и было нормальное детское ощущение, что вот ты сказала миру что-то очень важное, и теперь он точно станет лучше. Когда в 9-м классе я пришла в городское литературное объединение, нас воспитывали публикациями, ведь литературную страничку читал весь город, в том числе родные и дорогие мне люди, её обсуждали — Магнитогорск буквально дышал воздухом поэзии, — и сразу появилось чувство ответственности, которое осталось со мной на всю жизнь.

Первая настоящая журнальная публикация, оформленная редакционным художником, была в журнале “Уральский следопыт”, я училась тогда в 10-м классе. И я помню не восторг, а почти страх — получилось ли, и что получилось? Это были сильные чувства.

Ю. Т.: Интересна ли вам как поэту новая территория — критика, драматургия, переводы, проза?

Н. Я.: Как руководитель Литературных курсов ЧГИК и редактор я сейчас постоянно работаю с этими жанрами. Но у меня есть и собственная практика. Литературно-критические материалы начала писать ещё в конце 1980-х, сразу после окончания Литинститута. Была замечательная, жёсткая профессиональная школа в газете “Деловой Урал”: на полтора страничках нужно было рассказать о хорошей книге, привлечь к ней внимание читателей. В 2001 году пришла в ЧГИК преподавать основы драматургии и сценарное мастерство,

и с этого момента сценарная практика стала постоянной: по моим сценариям проходили городские праздники, какое-то время я преподавала в киношколе... Переводами активно занимаюсь с 2005 года, и только проза остаётся, пожалуй, неосвоенной территорией – хотя в качестве редактора прозаических произведений приходится выступать достаточно часто. Были мысли попробовать себя в прозе, но на это катастрофически не хватает времени.

Ю. Т.: Ощущаете ли такую субстанцию, как “предстихи”? Из чего она состоит?

Н. Я.: Да, эта субстанция часто ощущается очень явственно, но сформулировать ощущение сложно. Иногда это живая, острая тоска по общению – не бытовому, разумеется, но именно общению, – и в ответ на неё приходят стихи, особенно “заряженные” для меня, с глубокими ответами на мои неявные, невысказанные вопросы. Иногда это ощущение маленькой шаровой молнии, бьющей в кончики пальцев. Иногда – музыка, поначалу очаровывающая, а потом мучительная до того самого момента, когда становится стихотворением и счастьем... Наверное, и стихи при этом бывают разной природы: рассказываешь что-то, пересказываешь, как умеешь, услышанный ответ, создаёшь крохотную, но совершенно самостоятельную реальность... Но никогда не знаешь сразу, что скажется и почему, – во всей полноте понимаешь только через время, некоторые моменты – только через годы.

Ю. Т.: Что помогает вам “домолчаться до стихов”?

Н. Я.: Реальная жизнь. Я глубоко погружена в быт: семья, дети, теперь внуки, всегда много работы в вузе... Кроме того, большое место занимают редакторская практика, литературно-творческая педагогика и наука... Но стихи сами освобождают для себя время и место, и ни одно стихотворение не приходит просто из моего желания что-то написать. Хотя и не всё из приходящего удаётся записать верно, точно... Я искренне не понимаю, как может “нравиться” писать стихи, откуда берутся волшебная лёгкость письма и возможность мгновенно откликаться на внутренние и внешние события – для меня это всегда трудно: накопить силу для высказывания.

Ю. Т.: Когда стихи написаны, что происходит сразу после этого?

Н. Я.: Невысказанное становится сказанным, и эхо состояния звучит ещё долго. Я проживаю этот эмоциональный подъём, но радость не от того, что написано, а от самого состояния, в котором пишешь. Оно очень мощное. Перечитываешь стихи или, наоборот, захлопываешь ежедневник и погружаешься в быт (это чаще), а воздух вокруг звенит ещё очень долго. Но я приучила себя не выпускать стихи из тетради сразу – нужно понять, насколько удалось записать то, что слышалось, слово – не воробей...

Ю. Т.: Как различаете хорошие стихи и не очень? А хорошие и великолепные?

Н. Я.: Я не понимаю выражения “не очень хорошие стихи”, – возможно, это и не стихи, а некий продукт “со вкусом стихов”? Стихи – всегда аккумулятор эмоциональной энергии, этот заряд ощущается физически. Он питает, он перенастраивает, он даёт силы. Чем мощнее стихотворение, тем сильнее оно заряжает жизнью, и неважно, какая у него тональность – лирическая или трагическая... Великолепные стихи великолепно заряжают. Это, пожалуй, главное. Если аккумулятор пуст, стихотворение превращается в филологическую безделушку. Если наполнен по максимуму – он способен собрать вокруг себя и возвести в гармонию целый мир или значительную его часть.

Ю. Т.: Поэзия – это метафоры, неологизмы, афористичность, авторская интонация... А что ещё?

Н. Я.: Всё перечисленное – только средства выражения поэтического. Само поэтическое вещество – вот то самое главное “ещё”, и чем более оно концентрировано, тем менее нуждается в формальных изощрениях. Поэтому поэзия непредсказуема, а её отсутствие всегда очевидно, хотя все формальные признаки могут быть в наличии. А вот дать определение поэтического вещества я, пожалуй, не возьмусь... Если бы его можно было как-то определённо назвать, незачем было бы вообще писать стихи.

Ю. Т.: От чего свободен свободный стих? Роль верлибра в вашей жизни?

Н. Я.: Свободный стих свободен только от чёткой ритмической организации и конечных созвучий. Вместо них – глубокий и прихотливый внутренний ритм и звуковая переключка из самых разных точек стиха. Всё остальное в верлибре гораздо жёстче, чем в традиционном стихосложении. Свобода

верлибра обманчива, и, обманув автора, он легко превращается из вертикального поэтического текста в горизонтальный и уходит в дурную бесконечность, но сегодня это как-то не принято замечать.

Я бы не сказала, что верлибр в моей жизни играет какую-то роль. Мне ближе волновая, ритмическая организация речи, потому что самые удивительные вещи происходят, когда чувства подхватываются речевой волной, преобразуются в ней и совершенно меняют мышление. А ведь это сложнее всего — менять привычные способы мышления, это едва ли не самая сложная из всех творческих задач.

Ю. Т.: По наблюдению главного редактора “Литературной газеты” М. Зашвева, вербальное вытесняется визуальным. Как часто с этим сталкиваетесь?

Н. Я.: Постоянно. Это напрямую связано с развитием технологий манипуляции массовым сознанием. Вербальное в значительной степени лично, оно напрямую связано с развитием индивидуального творческого осмысления реальности, личного поступка, личной ответственности. Визуальное — данность, как ни странно, обезличенная, она вообще такая иллюзорная объективность, которая требует или принятия, или отторжения, — и в этой ограниченности выбора уже содержится возможность манипуляции, которая активно используется сейчас. И мы пока не можем этому вытеснению противостоять, поскольку вербальное требует личных усилий, направленной воли, а массовое сознание уже приучили не напрягаться.

Ю. Т.: С чем связано отсутствие новых архетипов в поэзии — со времён Дяди Стёпы?

Н. Я.: Вопрос — что понимать под архетипами? В строгом культурологическом смысле новый архетип — это такой же оксюморон, как юная старушка. Архетипы — фундамент культуры, а здесь скорее речь о модальных персонажах и образах, отражающих магистральные смыслы конкретной эпохи. И если подобные модальности не просматриваются в литературе, это тревожный признак атомизации общества. Писатели не конструируют реальность, а аккумулируют её и акцентируют главное. Чтобы подобные модальности появлялись, нужно общее поле культурного диалога, но у нас диалог скорее рассыпается, чем выстраивается, и порой становится очень уж заметно, что это целенаправленное рассыпание.

Ю. Т.: Что относите к системе табу в литературе — и искусстве в целом?

Н. Я.: В широком смысле — ничего. Право творения первично, законов творения множество, и в какой-то части они могут быть даже взаимоисключающими. Но в каждой конкретной культурной ситуации литература выполняет конкретную задачу, которая и выстраивает систему табу.

Настоящий художник поддерживает равновесие общества в его движении, предупреждает опасный крен и возможную катастрофу, именно это и определяет круг запретов, вплоть до табуирования. Не принимая систему табу, можно из созидателя превратиться в разрушителя, то есть изменить самой своей творческой сути. Но понимая эту систему как нечто безусловное и неизблемое, художник очень ограничивает себя в самой возможности осмысления жизни. Грань здесь очень тонкая, и её часто переступают, не задумываясь, в ту или иную сторону, и чаще — ради эпатажа, из желания быть замеченными почтенной публикой, падкой на подобные штучки.

Ю. Т.: Давно ли ваш читательский интерес переходил в читательский восторг? Успевае ли читать новинки? Что в приоритете — проза или поэзия, книги или журналы, бумага или “цифра”?

Н. Я.: Читательский восторг — прекрасное чувство, но в моей очень плотной работе редактора и литературного педагога времени для него всё меньше и меньше.

За новинками успеваю, увы, редко, да и осторожнее стала в выборе чтения, жаль тратить время на разрекламированные пустышки или идеологически заточенные штучки. Но вот семь лет я работала в жюри Всероссийской Бажовской премии и шесть лет была председателем жюри международной Южно-Уральской литературной премии, и в потоке конкурсных работ каждый раз находились такие, читая которые я была счастлива! Конечно, мы отмечали эти книги и публикации, старались выводить их в фокус общественного внимания, но сегодня это невероятно сложно, поскольку сама литература оттеснена на обочину общественной жизни и существует вне информационного потока.

Приоритетов в этом отношении нет — и поэзия, и проза, и книги, и журналы, а при необходимости и цифра — привередничать в жанрах и видах изданий не приходится, не те скорости жизни.

Ю. Т.: Ваше кредо руководителя поэтического ЛитО?

Н. Я.: В принципе, вы правы в определении “поэтическое ЛитО”, хотя и молодёжная мастерская “Взлётная полоса”, и Литературные курсы ЧГИК предполагают работу не только с поэзией, у нас представлены все жанры. Но в их основе — всё равно поэтический способ освоения мира. Я никогда не пыталась сформулировать для себя именно кредо, но, если всё-таки попробовать, наверное, оно будет выглядеть так: учить не писать стихи, а жить, чувствовать и мыслить в них. Проживать в них самые сильные состояния.

Ю. Т.: Что такое литературный Челябинск, по вашему мнению? Писательская разобщённость — миф или реальность?

Н. Я.: Литературный Челябинск — интереснейшее, разностороннее явление, здесь представлены все течения и направления литературной работы. А мы к этому добавили ещё и литературно-творческую учёбу...

Его невозможно охарактеризовать несколькими словами в рамках интервью. Литература началась здесь на революционной волне начала прошлого века, поднялась на волне модернизации 1930-х, и только в 1970-х город постепенно начал отходить от литературно-производственной прагматики... Думаю, собственно литературная точка опоры у Челябинска не в прошлом, а в будущем, если очень кратко.

Что касается разобщённости писателей — увы, она обусловлена самой спецификой профессии, одиноким трудом смысловотворения. Но есть блестящий пример Ассоциации писателей Урала, созданной Александром Керданом в годы, когда поодиночке многие писательские организации просто, наверное, не выжили бы. Уникальная ситуация и уникальный опыт самоорганизации, о котором я много писала.

Ю. Т.: Видите ли вы региональных авторов, способных продолжить ряд классиков: Шукшин, Вампилов, Астафьев, Распутин?..

Н. Я.: Да, конечно, они есть, они работают, но информационное поле сегодня крайне неблагоприятно для того, чтобы их имена звучали. Ну, вот хотя бы Пётр Краснов в Оренбурге, Арсен Титов и Александр Кердан в Екатеринбурге, Елена Крюкова в Нижнем Новгороде или — из другого поколения — Александр Пешков в Барнауле, Светлана Чураева в Уфе... Не могу не назвать Владимира Крупина, Виктора Потанина, Николая Дорошенко и Николая Иванова... Этот ряд можно смело продолжить, и я принципиально не противопоставляю здесь регионы и столицу, так как русская литература везде в ситуации примерно одинаковой.

Ю. Т.: Как вы думаете, возможна ли интеграция писательских сообществ? Когда, на какой платформе?

Н. Я.: Я думаю, необходима и возможна их ассоциация; она позволит, не обостряя существующих противоречий, сохранить литературу как инструмент самосознания общества. Подобная ассоциация была недавно создана, но пока она не определила позитивных тенденций в культурном поле, может быть, ещё недостаточно прошло времени? Общество, себя не осознающее, — это катастрофа, и по ощущениям она всё ближе. Я думаю, понимание общей большой профессиональной проблемы может стать основанием для объединения сил. Иначе очень скоро писателей вытеснят копирайтеры.

Ю. Т.: В прошлом году широко отмечался юбилей Бродского. Как ощущается воздействие его поэтики?

Н. Я.: Прямо сказать, Бродскому крупно не повезло. Он в своё время попал в эпицентр идеологической борьбы, и одна сторона до сих пор идеализирует и даже абсолютизирует его, а другая практически не признаёт. Помню период начала 2000-х, когда поэтов оценивали так: если ощущается влияние Бродского — ты эпигон, а если нет — вообще не поэт... И нужно значительное время, чтобы этот шум стих, и поэзия Бродского заговорила сама за себя. Отдавая должное его большому таланту, могу сказать, что он не мой поэт, он мне не близок.

Ю. Т.: В списке авторитетов современного общества поэтам отводится “...надцатое” место. Как относитесь к этому?

Н. Я.: Я к этому не отношусь. Авторитеты, выведенные в фокус общественного внимания, практически все искусственны, технологии их создания известны, и если в эту машину попадает поэт, поэтом он быть перестаёт.

Но зато у него появляется имидж. Прозаиков это, кстати, тоже касается. Не ищите авторитеты – ищите поэзию, она сегодня как самоспасатель в шахте, хотя бы несколько глотков воздуха, чтобы добраться до нужного выхода...

Ю. Т.: Сейчас популярна серия “ЖЗЛ”. Чья биография вам интересна для своего исследования?

Н. Я.: Людмилы Константиновны Татьяничевой. Я только краем коснулась в очерке “Третий путь” её женского, материнского подвига. А это личность глубокая и глубоко трагическая, и очень характерная для своего трудного времени. Женщин в поэзии до сих пор принято делить на ахматовок и Цветаевок, но был и третий путь – мы о нём знаем очень мало.

Ю. Т.: Современный подросток не знает годы жизни Лермонтова. А что и о ком ему знать необходимо, по-вашему мнению?

Н. Я.: Как минимум – что поэзия не способ ухода от реальности, а особый способ бытия в ней. Исходя из этого, наверное, и следует искать родственные души – и одной из них непременно окажется Лермонтов.

Конечно, историю родной литературы знать необходимо, но важно, в первую очередь, понимать – зачем. То есть мы сейчас возвращаемся к азам, к необходимости тщательно проговаривать вслух сказанное ещё в позапрошлом веке: литература – самая точная наука о жизни...

Ю. Т.: Осень 2021 года у вас выдалась весьма насыщенной – были поездки на фестивали в Липецк, Мурманск, Уфу. Поделитесь впечатлениями, пожалуйста!

Н. Я.: Осень была прекрасна. Все три фестиваля подготовили и провели молодые – собственно, какие молодые, они сейчас как раз в силе! В Липецке Анна Харланова вернула популярность замечательному русскому прозаику Александру Левитову, незаслуженно забытому. Это был не только фестиваль, но огромный (больше 2000 работ) конкурс на соискание премии Левитова, поездка в село Доброе, где у школы стоит памятник писателю, замечательный семинар, знакомство с городом, обширная программа Совета молодых литераторов... Целый букет ярких событий. Я была в Липецке впервые, но сразу почувствовала, что это литературный город!

С Мурманска, оказывается, началась традиция празднования Дней славянской письменности и культуры в России, а эстафету праздника им передали болгары. Весной я читала в Мурманске лекции по организации литературной работы, и как раз отмечалось 35-летие традиции празднования этого общеславянского праздника. А осенью прилетела ещё раз – для участия в фестивале “Капитан Грэй”, где вела творческие семинары, встречалась со студентами и читала стихи на берегу Северного Ледовитого океана... Организаторы фестиваля – Илья Виноградов и Дмитрий Коржов. Илья сейчас руководит писательской организацией, он первый из молодого поколения руководителей, набравших опыт в Совете молодых литераторов, подхватил эстафету масштабной литературной работы в регионе. “Капитан Грэй” – фестиваль с неповторимой северной романтикой, совершенно уникальный.

И уже в совершенно сложных условиях ограничений бесстрашно провела фестиваль “КоРифеи” в Уфе Светлана Чураева. Это было драгоценное общение, которого остро не хватает сейчас, такая отдушина, счастье быть вместе... И не только на лекциях, семинарах и концертах, но и в поездке в Аскынскую пещеру и на водопад на реке Инзер...

На каждом фестивале мы знакомимся с прекрасными городами, их литературными традициями, и после одной из таких поездок я почувствовала, поняла: я собираю Россию в своём сердце. Собираю прекрасную и сильную страну с прекрасными и сильными, необыкновенно талантливыми людьми. И эта страна из всех исторических испытаний выйдет обновлённой и светлой.

Ю. Т.: На фестивале в Уфе вы прочли лекцию “Книга как поступок”. В этом смысле большинство поступков трудно назвать благодетельными?

Н. Я.: Увы, книга перестала быть событием. Отчасти и потому, что выходит огромное количество книг, к литературе не имеющих отношения. Такой своеобразный компромат на автора, чистосердечное признание в 300 экземплярах: литературных способностей нет, формой не владеет, о существовании знаков препинания знал, но забыл, с русским языком вчера поспорил...

Хорошие книги теперь надо знать, где искать. Книга как минимум должна вывести читателя на разговор. Ещё лучше – когда она заставляет мир вращаться вокруг неё. И если автор всё сделает правильно, книга становится больше самой себя и обретает литературную ценность.

КАПИТОЛИНА КОКШЕНЕВА

ИСКУССТВО ПОМНИТЬ. ФИЛОСОФ АСТАФЬЕВ И НАША СОВРЕМЕННОСТЬ

Астафьев Пётр Евгеньевич. Избранные произведения: Философия. Психология. Культура (Классики русской философии). — М.: Институт наследия, 2021.

Конечно, речь идёт о сложном — о культурной памяти, которая проявляет себя в конкретных произведениях литературы, театра, кино, скульптуры. Память в культуре — акт творческий. Но не всегда. И не везде. И не у всех.

Часто бывает совсем напротив — акт категорически не творческий, в котором “искусство забывать” становится первым принципом, правда, и такое “искусство” часто хочется тоже забыть, а не помнить.

Сегодня, когда нам устанавливают в центре Москвы отвратительное “изделие из глины”, когда малолетний школьник-убийца становится героем спектакля, когда театральные скандалы стали популярнее светских новостей, мне бы хотелось поставить снова человека лицом к вечным и важным темам. И сделать это можно по-разному. Я же выбираю путь, который и постараюсь разъяснить здесь читателю.

Зачем читать Петра Астафьева?

Институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (Москва) выпустил книгу “Избранные произведения. Философия. Психология. Культура” Петра Евгеньевича Астафьева (1846–1893) — классика русской философии.

В 1889 году вышел первый номер главного философского журнала России — “Вопросы философии и психологии”. Он издавался московским Психологическим обществом и Философским обществом России, активным членом которого был Пётр Евгеньевич Астафьев, занимающий “видное место среди родоначальников самостоятельной русской мысли”.

Здесь каждое слово имеет огромную нагрузку: *родоначальник, русская мысль, самостоятельная.*

А соединение в его творчестве психологических и философских ответов на существенные вопросы о человеке, на мой взгляд, просто крайне важно именно современникам, которые не просто изобретают велосипед, но культурно руинированы — до полного непонимания себя. Прежде всего, я имею в виду тех, кто считает себя “творческими личностями”.

В книгу вошли статьи Петра Евгеньевича, одно перечисление названий которых просто вопиет о прочтении: “Страдание и наслаждение жизни. Вопрос

пессимизма и оптимизма”, “Идеал и страсть”, “Перерождение слова”, “Последние тени прошлого”, “Генезис нравственного идеала декадента (о Ф. Ницше)”, “Нравственное учение гр. Л. Н. Толстого и его критики”, “Чувство как нравственное начало”, “К вопросу о свободе воли”, “Национальность и общечеловеческие задачи”.

Книга снабжена роскошной статьей современного петербургского философа Николая Петровича Ильина “Метаморфозы души (основная линия в творчестве Петра Евгеньевича Астафьева)”. Эта статья Ильина, его книга “Трагедия русской философии” и монография “Истина и душа. Философско-психологическое учение П. Е. Астафьева в связи с его национально-государственными воззрениями” и будут нашими проводниками в искусстве понимания философа-классика.

Итак, зачем читать П. Е. Астафьева всем тем русским людям, которые хотели бы жить на иной культурной глубине, чем тик-токеры и поп-блогеры?

Я считаю, что у профессионалов, создающих культурную реальность, размышляющих о ней, и публики есть одна общая проблема. Это “проблема тела и телесности”. Тело и телесное – доминанты современного искусства, где физиология зачастую сугубо акцентируется и крайне эстетизируется.

Те, кто призван осмысливать культурные процессы (критики, исследователи), опираются на разные *мнения* (но не философские системы). В качестве таких опор-мнений выступают в равной степени как Павел Флоренский, так и французский феноменолог Морис Мерло-Понти. У первого обычно выделяют мысль, что “человек для нас дан в самых разных смыслах. Но, прежде всего, он дан телесно, как тело. Тело человека – вот что первее всего называем мы человеком”. У второго эффектно смотрится такая идея: “Стало быть, я есмь моё тело, по крайней мере, ровно настолько, насколько что-то имею, и, с другой стороны, моё тело есть своего рода естественный субъект, предварительный набросок моего целостного бытия”. После того как вы прочтёте статью Ильина и, тем более, книгу П. Астафьева – вернитесь к этим цитатам. Они не покажутся вам ни точными, ни глубокими.

А поскольку современный мир любит красивую формулу (которая в пределе становится брендом), то запросто возникает *философия тела* – примерно так же, как “мир диванов” или “философия парфюма”.

Оппозиция слова и цифры, души и тела в наши дни достигла серьёзного противостояния, когда сказаны груды слов, когда говорящие не понимают друг друга, когда нет общей культурной платформы, позволяющей договариваться.

Именно поэтому нужен, как никогда, философский фундамент, нужно возвращение к наследию века классиков – только они, умеющие мыслить философски и додумывать проблему до конца при описании всей её сложности, – только они позволят нам всё же не просто засорять мир словами, но ответственно думать о современности и человеке в ней. Русский философ-классик Пётр Евгеньевич Астафьев, как никто другой, сегодня актуален – его голос в современном споре о “философии тела” и душе является убедительнейшим, он продумал и сказал многое. Путеводителем же по его философскому творчеству станет статья Н. П. Ильина, в соответствии со структурой которой я и строю свой рассказ.

Душа и тело

Н. П. Ильин во вступительной статье говорит: “У всех настоящих философов есть заветное, глубинное убеждение”. Основную “философскую интуицию”, глубинное убеждение Астафьева он называет его же словами: “Душа всего дороже...” Ильин тут видит “главный принцип” всего философского творчества Петра Евгеньевича, а мы, обнимая внутренним взором русскую культуру “века классиков”, понимаем, что философ тут не просто выразил себя, но Пушкина и Баратынского, Гоголя, Достоевского, Тютчева, Толстого, Случевского... А вообще-то, по сути, всех нас, на ком есть “отпечаток” усвоения своей культуры.

“Душа выше и дороже всего” – это наша вечная ценность, наш внутренний сокровенный идеал, наша высокая культурная норма, наш якорь в современности. Ильин доказывает, что этот принцип по своему *фундаментальному*

смыслу” является “*философски-психологическим* принципом: его первоисточник — самопознание человека”.

Каждый из нас точно знает, что у него есть душа. Но как же по-разному пытаются отказаться от неё в культуре! “*Душа*”, “*жизнь человеческого духа*” (классическая “формула” К. С. Станиславского о сущности театрального искусства) — всё это кажется устаревшим современным режиссёрам, художникам, писателям.

Бессмертие души, которое ещё недавно так же было несомненно, в современном человеке больше не вызывает прежней веры. А вот *тело* — оно всё более и более видится *несомненным*.

Скажем сразу: ни христианская традиция (православная), ни русская философия *тела* не презирала, от *тела* не отказывалась. Тот же Н. Н. Страхов — современник Астафьева — прямо говорил, что человек в биологическом смысле есть животное, но человек имеет силу (духовную) отделить себя от природы. Физическая природа — не предел для человека, который именно в культуре проявляет себя творцом: “. . . животность не противоречит духовности, но даже что для духа необходима самая высокая степень животности” (Страхов). Биологическая природная жизнь достигает, таким образом, своего апогея в человеке, а *развитие* человека связано уже с культурой, а не с природой.

Какие же истины о душе высказаны Астафьевым и увидены Ильиным? Истина первая: “Несомненно, что душевная жизнь не имеет объективных признаков”, — то есть ни моя собственная, ни чья-либо душа не может стать предметом объективного познания. Никто из нас не может её предъявить как “объект”. Философы об этом говорят так: “*Душа познаётся не объективно, не как объект, но только субъективно, как субъект*”; “душа каждого человека известна только её обладателю; по существу дела, душа — это сугубо личная собственность человека, которой он не смог бы поделиться, даже если бы захотел” (Н. Ильин). Итак, каждый из нас, будучи субъектом, обладает и душой. Душа открыта только для меня самого. Она закрыта для всех других. А это значит, говорит Ильин, “что человеческое существование, *открытое* благодаря телесности, *закрыто* в своей душевной сущности” (выделено мной. — К. К.).

Тут заметим и первое, столь важное, неизбежное противостояние души и тела. Современные деятели культуры часто хорошо чувствуют именно “зверскую” природу человека, когда человек всё больше и больше напоминает “одичавшее животное” (что критики часто фиксируют). При этом в одном абзаце критик может утверждать, что в “Гамлете” все герои, в том числе и заглавный — сплошные “звери”, а в следующем предложении с той же недоказываемой активностью писать, что в этом спектакле “господствует личность”, несмотря на то что сам режиссёр выдвигает на первый (смысловой) план “низменные человеческие потребности”. И разрешить эту проблему “зверя с низменными потребностями и личности” (домыслить до конца) критик попросту не может.

Сегодня исследователи вновь вспоминают и М. М. Бахтина с его формулой “внутреннего тела”. То есть просто “тела” оказывается никак недостаточно для описания, например, театрального представления, даже если в нём очень много телесности (а в театральном искусстве благодаря актеру её действительно больше, чем в иных видах). То, что Бахтин называл “внутренним телом”, которое человеком осознаётся и которое представляет собой “совокупность внутренних органических ощущений, потребностей и желаний, объединённых вокруг внутреннего центра”, всё же много яснее и точнее выразил философ П. Е. Астафьев, показавший нам, что “внутри телесности есть только телесность”.

Мы все знаем, что наша душевная жизнь (которую Бахтин назвал “внутренним телом”) дана каждому из нас “*исключительно во внутреннем опыте*, и прямо наблюдению извне навеки и совершенно недоступна”, — разъясняет мысль Астафьева Н. П. Ильин. Но вот искусство тем и притягательно, что оно открывает и предъявляет для публики эти внутренние миры. Тут вечная и притягательная сила искусства — и тут его вечная проблема.

Кто и как предъявляет внутренние миры? Пушкин с Баратынским, Толстой с Достоевским или новомодный автор, которому доступна только зверская телесность? В русском классическом искусстве закрытый душевный внутренний опыт открывается во всей своей силе, человеческой проблемности, идеальности и сложном разнообразии!

Классики неисчерпаемы по определению; вопрос в том, что именно мы способны “почерпнуть” в их наследии. Тут уже наша мера действует – объём личности современного художника.

Философ П. Е. Астафьев говорит нам, что мир души – это мир внутренний, это мир психический (душе доступны самые разные состояния – печали, радости, горести, гнева, досады, любви, ненависти и так далее). *Мир души всегда достоверен*. Слёзы, которыми вы плачете во сне, и слёзы наяву равно достоверны в вашем душевном переживании. Исследование достоверности души позволило, говорит Н. П. Ильин, русским философам осознать важнейшее значение “фактов внутреннего опыта” человека или наличия субъективных истин.

Современное искусство, увы, под вывеской концептуальной “множественной субъективности” выдаёт нечто, что не имеет высоких смысловых и моральных регистров, что распадается на фрагменты и выглядит необязательным, то есть не воспринимается нами как “субъективная истина”, но чаще всего является совсем необязательным утверждением.

Следовательно, “душа как внутренний мир” связана ещё с чем-то, что её “дисциплинирует”.

Душа и сознание

“Стремление жить неотделимо от стремления *сознавать* свою жизнь, *быть сознательным*” – эту сжатую до формулы мысль Астафьева Н. П. Ильин назвал гениальной, поскольку именно она открывает философский путь в понимание “души как мира сознания”. И жизнь, и душа нами *осознаются* – и именно здесь Астафьев видит ценность самой жизни: “Поэтому можно уверенно утверждать, что для Астафьева в области философии (или философской психологии) *ценность души – это, в первую очередь, ценность сознания*” (Н. Ильин).

Для классиков русской философии было очевидно, что отделить душу от сознания (и наоборот) – значит пойти в сторону *нигилизма* (борьбе с ним много сил отдал Н. Страхов).

“Деятельность души”, усилия сознания известны нам своей достоверностью как проявления нашей психической жизни, и основаны они на “акте внимания человека к самому себе”. Этот акцент на сознательном, в котором “акты сознания” – это акты, которые “обеспечивают *устройство души*, наличие в ней естественного порядка, естественной гармонии”. И снова в центре оказывается человеческая личность, обладающая фундаментальной и *очевидной* способностью – “внимания к самой себе”. И снова возникает вопиющая сегодня проблема “другого” – современный постмодернизм, пост-театр и шаг не ступят без тотального требования внимания к *другому* (“другим” может быть кто угодно и что угодно – от чужой культуры до “семьи” нетрадиционной ориентации, потому как персонафицированного и единственного некоего Другого попросту нет в наличии). “Себя” напитывать, наполнять, окорачивать, воспитывать попросту некогда, потому что нужно успеть освоить всяческое “другое”, интерес к которому разжигается и подогревается коучами, режиссёрами, маркетологами.

Кроме того, нам всем очевидна актуальность “проблемы бессознательного” (фрейдизм вьелся прочно в психологические практики и в культуру).

Я дам читателю только вывод, на который русские философы тратили десятилетия жизни, чтобы его обрести. Это их щедрый подарок нам. Очень бы хотелось, чтобы мы *присвоили себе*, то есть обрели как личный внутренний опыт, убеждение, что “сознание является основным общим признаком всех душевных явлений”. “Говорить, что я что-либо *переживаю бессознательно*, – подчёркивает Ильин, – так же абсурдно, как “любить бесчувственно”, “мыслить бездумно”, “сострадать безучастно” и т. д.”.

Душа и вера

Свой внутренний мир для каждого из нас очевиден (потому что мы его переживаем), но мы почему-то знаем, что внутренний мир (субъективный) есть и у другого человека (людей), хотя он закрыт для нас. Астафьев говорит

о том, что “субъективность” как “ведомость себе” обладает ещё и таким особым потенциалом, который называется *верой*. Именно она позволяет взаимодействовать субъективным мирам, сближая одних как “своих” и разделяя с “другими” как с чужими.

Астафьев уверен, что именно самосознание и самопознание становится “естественной основой богопознания и почвой для религиозного верования”. У веры и у души есть общая почва – *невидимость*, но невидимость нам известная и для нас очевидная – наша душа. “Признав же существование этого невидимого мира, *поверив в себя как в живую душу*, – передаёт философскую доказательность Астафьева Н. П. Ильин, – мы тем самым уверенно вступаем на путь, ведущий к *незримому Богу*. Путь, который предполагает напряжённый внутренний опыт, углубление в свой внутренний мир, – предполагает самопознание”. Так душа преобразуется в духовную личность. Но преобразовать себя так или не так – это зависит от нашей личной свободной воли. В книге уделено достаточно много места проблеме свободы и свободной воли в понимании П. Е. Астафьева. Воля, по Астафьеву, движется идеалами. Идеалы, которые ты принимаешь (понимаешь, осваиваешь, присваиваешь) как свои собственные, становятся личностно-субъективными. Воля (свободная воля!) человека, способного выбрать идеал (то есть не полезное и не выгодное) и движимого им, и есть существенный момент в появлении личности.

Личность души – это ещё один её философский “образ”. Души “плодоносящей”, “цветущей”, то есть “зрелой”.

Философ Астафьев смог доказать, что настоящая философия считает “личность за самое реальное и ценное, а её развитие – за высочайшую задачу жизни; об этом свидетельствует всякая культура вообще и наша, христианская, в особенности”.

Душа как национальность

Следуя за Н. П. Ильиным в его философском видении наследия П. Е. Астафьева, мы подошли к самой немодной, неактуальной и практически презираемой “творческим сообществом” теме.

“Режиссёр вскрывает истинную суть не одного человека, но всего человечества, он мыслит глобально”, – прочитав такой пассаж можно сегодня во многих театральных статьях. Глобально, конечно, мыслить проще, чем не глобально. Но без усталости повторяющие слова о “человечестве” как маркере масштабного художественного мышления эти критики попросту не понимают, что нет, не было и быть не может никакой “истинной сути” у всего человечества. Такое “глобальное мышление” в корне порочно, ведь оно как раз лишает человека личности, а личность – особенности и глубины.

Если душа познаётся только субъективно, то “душа человечества”, “мировая душа” может быть или только философской спекуляцией, или туманно-болезненным декадентством (“Общая мировая душа – это я... я... – говорит Нина в чеховской “Чайке”. – Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню всё, всё, всё, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь”). Чехов довёл до полного абсурда идею “мировой души”. Но интерпретаторы часто этого не понимают. По той же логике некто Другой (как некая всемирная Пустота, Ничто) занимает воображение современных деятелей, трагически не просто свои, но и наши силы на “концептуальное понимание” того, что *не имеет* сути и ядра. Нет никакого Другого, говорит Н. Ильин, есть “свой” и “чужой”, и он же, в данном случае развивая наследие Астафьева, называет существенный критерий их разделения: “Свой действительно является для меня своим только тогда, когда вражда с ним является для меня *самоубийственной*, когда, враждуя с ним, я в действительности *вражду с собой*”.

Какое тонкое и точное умозаключение!

Ведь если обратиться к личному опыту, то каждый из нас вспомнит (а вспоминая, душа тут же *достоверно воспроизводит* эти чувства и эти настроения) – вспомнит это “*особенное чувство своего*” (родного). Чувство это (забитое потреблением культурного суррогата, неумением наслаждаться русским словом, задвинутое на обочину новым информационным сленгом,

чужебием и европейничаньем) вдруг явит себя с огромной силой (как в недавний момент возвращения Крыма домой).

Оно называется чувством своей народности (национальности). Вот к такому “философскому обоснованию” национальной природы человеческой души и приводят нас два философа – современник Николай Ильин и классик из русского “века классиков” Пётр Астафьев. “И так как всё значительное появляется и проявляется, прежде всего, во внутреннем мире, – заключает Ильин, – *национальность человека* – это, по своей сущности, *национальность его души*”. Там, где эта национальная душа являла себя во всей силе, в творческой воле своего таланта – там и рождалось гениальное произведение.

Все классики русской философии стояли на том, что “гениальные художественные произведения всегда *национальны*”. Это закон – закон природы души человека – человека творящего, обладающего таким даром как талант (“нет творчества без личности, но нет его и без национальности”).

Конечно, степень личности и степень национальности – они разные у людей, и далеко не всеми сегодня переживаются как “духовная необходимость”. “Дух времени” в лице армии адептов как раз всегда будет с ними бороться, доказывая, что без них жить легче, проще, приятнее во всех отношениях (да, легче – только *жизнь* ли это?).

Мне кажется, что на часто задаваемый сегодня вопрос – где великие произведения наших современников, где гении? Почему их нет? – ответ дан книгой П. Е. Астафьева и статьёй Н. П. Ильина.

ЛЮДМИЛА ВОРОБЬЁВА

ЕДИНАЯ ЗЕМЛЯ ПОБЕДЫ

Наталья Советная. Затаённое слово: повести, рассказы, очерки. — Минск: Беларусь, 2021.

Говорят, время притупляет и самые острые впечатления. Но страшный опыт войны свидетельствует об обратном. У человеческой памяти нет сроков давности. Для Беларуси, потерявшей в период немецко-фашистской оккупации каждого третьего, военная тема по-прежнему жива и современна. Война генетически вошла в быт, уклад жизни, в духовное мировосприятие белорусского народа. Память о трагедии, которая произошла на этой многострадальной земле в 41–44-х годах двадцатого столетия, будет жить вечно, потому что здесь уже подключается не только память природная, но память сущностная, народная.

Правдивый ужас оккупации — как живёт и побеждает дух человека в исключительно враждебной среде — основная идея книги Натальи Советной “Затаённое слово”. Книга посвящена землякам-городокчанам, — настоящим героям, мужественно перенёсшим войну и послевоенное лихолетье, заново восстановившим разрушенные, а зачастую и полностью стёртые с лица земли города, посёлки, деревни. Оккупация — безумие нацизма, рабство, страх, горе и одновременно великое сопротивление злу, ожидание спасения, Победы. Война на Городокщине будто соткана и насквозь прошита переплетением человеческих жизней и судеб. Повествование ошеломляет грандиозным размахом: сводки и письма с фронта, сведения о передвижении советской и вражеской армий, описание наступательных операций, архивные материалы и документы, фактологические данные, цифры. Эти небольшие произведения писателя вполне могли бы перерасти в роман.

Пожалуй, определяющими в книге являются авторские социально-публицистические очерки. Подчас в них даже теряешься в потоке фактической информации: армии, различные соединения, дивизии, наступательные операции, освобождение городов и посёлков, новые партизанские формирования и бригады... Но документальность не снижает эмоциональной силы очерков, а придаёт большей убедительности. Публицистичность и художественность органично соединены в книге.

Как известно, наиболее тяжёлым был начальный период Великой Отечественной войны. В первые месяцы войны вся территория Белоруссии была оккупирована германскими войсками. Уже 28 июня 1941 года немцы вошли в Минск. Целых три года белорусская земля находилась под жутким игом нацизма. Этому времени посвящена одна из повестей книги — “Канарейка”.

Раскрывая тему оккупации, автор показывает состояние человека в жёстких условиях войны. Юная Нина Слинькова, которую подпольщики наградили условным именем Канарейка, — главная героиня этой повести. Пятнадцатилетняя девочка передаёт партизанам сведения о немецких машинах, о боевой

технике и вооружении, о железнодорожных составах, о передвижениях и численности противника. “Руки их — в крови, в крови человеческой. Слыхала Марфа Слинкова, что бывало и так: одна семья разделялась. Одни — в полиции, другие — в партизанах. Ни дать, ни взять — Каины и Авели. Как разобраться? Кому верить?” — размышляет в повести мать Нины, решив доверить судьбу дочери подпольщику Константину, Костику, как его называли в отряде.

Автор предельно заостряет проблему добра и зла: герои или предатели, подпольщики-партизаны или каратели-полицаи. Предательство — сквозная повествовательная линия в книге Натальи Советной. Пожалуй, один из самых пронзительных эпизодов повести, а возможно, даже и всей книги — предательство деда Кузьмы, который из-за страха потерять свою хату выдаёт полицаям партизанскую связную Антонину вместе с её маленьким ребёнком: “Дед Кузьма стоял посреди вмиг опустевшей и онемевшей хаты. За окном выл ветер. Болтались на верёвке постиранные пелёнки. На полу валялась недочищенная бульбина, на лавке — чугунок с водой, который Антонина собиралась ставить в печь. Старик бросился к окну — половицы под ним непривычно гулко заскрипели, застонали, — обиженно заплакала, заголосила дедова хата. Сквозь заледеневшее стекло он увидел, как шагнула за калитку, в октябрьскую стужу его квартирантка. С непокрытой головой, с крошечным дитём — беззащитная, обречённая, окружённая полицаями, будто стаей волков. Хохлову вдруг почудилось, что это вовсе не Тоня Судьёва, а его Анютка, нежная, хрупкая, родная, с маленьким Ванюшкой на руках. Уходят! И если не вернутся назад, то никогда уже не увидит он своего Ваню. Дед Кузьма схватил лопот хлеба, метнулся в сени, достал со дна кадки кусочек сала, обмотал тряпичей, выскочил из избы:

— Стойте, стойте! — Ветер заглушал его крик. Он бежал и бежал, пока один из полицаев не услышал, не остановился, не окликнул остальных.

— Прости меня, дурака старого! — задыхаясь, взмолился Кузьма Иванович и повалился перед Тоней на колени”. Стараясь быть беспристрастным, автор не судит предателя, а всего лишь передаёт его душевное состояние, но сцена раскаянья представлена настолько откровенно, что старик сам себе становится судьёй и палачом.

Наталья Советная прекрасно знает народные традиции и обычаи белорусов. Она чувствует народное слово, будто зачерпнутое из чистых родниковых ключей, потому что в этом слове — и деревенская простота, и детская наивность, и неподдельная искренность, и естественная радость. “Гляжу — волк на краю дороги, впереди меня! Я — как вкопанная. И он сидит, не варухнётся. Назад бежать уже надумала, до сосны, чтоб забраться повыше. Сидит. Тогда осмелела я, шаг навстречу, другой — не варухнётся... Это ж камель берёзовый оказался! Берёзу повалило, снегом запырило, а камель торчит, что тот волк!” — слышим мы живую, красочную речь Нины, вздох рассказывающей о своих лесных приключениях. Сила и красота народной речи сосредоточивается в природном образе. Стигшая секреты народной культуры, Наталья Советная бережно сохраняет притчевое и пословичное любомудрие.

Другая повесть в книге — “Небеса на коромысле” — во многом автобиографична: встреча выпускников, и учитель истории Любовь Антоновна Курганович вдруг открывается своим бывшим ученикам с незнакомой стороны. Глава “Наставница” от начала и до конца проникнута воспоминаниями войны, внезапно нахлынувшими на Любовь Антоновну, которую память возвращала в военное детство, пусть безотрадное, но дорогое ей до боли. Никогда не забыть героине повести душераздирающую историю, как фашисты отнимали соседскую корову, единственную кормилицу, обрекая несчастных детей на голод. Спустя столько лет ей всё слышался их безудержный, наглый смех. “Тётя Аня упала не сразу. Голова её вдруг дёрнулась, наклонилась... Светлая косынка заалела, словно занялась пламенем, набрякла и, потеряв лёгкость, медленно поползла вниз. Всегда ласковые натруженные руки тёти Ани всё ещё крепко держали корову...” — зримо проступает перед глазами эта кровавая картина.

Итак, война — это потеря близких, родных, это разруха, голод, предчувствие беды, это слёзы, боль, страдание... Но внутренняя нечеловеческая напряжённость поразительно сочеталась в людях с верой, которая помогала им выжить и выстоять. У Натальи Советной темы веры и войны переплетены: “Прасковья Фёдоровна не помнила, как оказалась в хате, щёлкнула щеколдой, закрывая за собой дверь, рухнула на колени:

— Боженька, смилуйся! По велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих... — Дрожащей рукой она творила крест, а слёзы текли, текли по обветренным, обожжённым солнцем щекам. — Любушка, молись, молись, детка... Господь не оставит, Он не попустит! — Прасковья обняла перепуганную, застывшую рядом дочь. — Он же всё видит, всё... И дед мой, и бабушка учили, чтоб молились, просили... Спаси, сохрани нас от всяческих бед! И кормилицу нашу сохрани, Господи!”. Когда надеяться уже не на кого, лишь у Бога обездоленный человек просит спасения. Оказывается, что христианская струна в русском национальном характере не только не оборвалась в эпоху “железного” советского века; напротив, зазвучала святым молитвенным словом.

Рассказывая о судьбах людей, передавая чувства, которые испытывали они в условиях оккупации, Наталья Советная переводит восприятие военной трагедии из сферы персонального опыта и своего индивидуального переживания в область глобальных и трагических закономерностей мировой истории. Проблемы войны и мира, гражданской ответственности человека, его нравственности представляются в её произведениях в общей исторической взаимосвязи происходящих событий. Исходя из опыта прошлого и опыта современности, писатель никогда не теряет опоры на национальные духовные традиции. Всё возвращается на круги своя. И дороги войны возвращают нас к своим историческим корням. Ведь история никогда не умолкает в нас.

Целая вселенная изображена в книге “Затаённое слово”: леса, птицы, звери, озёра, реки, луг, поле, пашня... Завершающую главу в своей повести “Подранда” автор назовёт “Первая гроза” — гроза, которая несёт человеку внутреннее очищение, освобождение от страха, боли, поистине вызывает сильное эмоциональное потрясение — катарсис. Дождь как символ борьбы добра и зла, света и тьмы. Боль и вера, радость и страдание соседствуют в мире и в литературе — так должно быть: “Небо снова осветилось молнией. Стихло быстро, как началось. Свежо, ясно, знобка. Только после первой весенней грозы так сияет, переливается, играет солнце!”

Самую, может быть, любопытную страницу в книге открывает повествование, посвящённое партизанской войне, — “Мошканская медсестра”. В небольшом произведении автор пытается воссоздать военную хронику освобождения Беларуси, показывает историческую роль партизанского движения.

Уникальной особенностью партизанского движения на Беларуси было создание в тылу врага широкой и действенной информационной пропаганды. Находясь в зоне оккупации, народ не знал настоящей картины событий, зато умножались всяческие слухи, в которых порой нельзя было отличить ложь от правды. Одним из методов борьбы с врагом являлось массовое партизанское творчество: подпольные газеты-листовки, антифашистские письма. В главе “Иваново письмо” Наталья Советная представляет нам оригинальнейший способ такого народного творчества — ответное письмо партизан на немецкую листовку. Автору удалось передать самобытный магический характер этого письма, сражающего своим сочным народным словом. Пронзительно в пространных повести звучит и партизанская клятва. У врага не было подобной лирики, не было пронзительных песен и обжигающих сердце стихов.

Символичен финал повести “Мошканская медсестра”: прорыв блокадного партизанского кольца, кровопролитные сражения при освобождении белорусской земли, военная операция форсирования Березины. “Когда за Березину бои начались, река красная была от крови. Вода кипела, мутная, как в болоте. Раненые кони в конвульсиях бились. Танки шли, людей давили”, — свидетельствует наша героиня. 3 июля 1944 года была освобождена столица Белоруссии — Минск. Народ стал победителем истории. Но возможно ли быть победителем своей судьбы? Победители никогда не сдаются. Ефросинья Павловна Чиркова решительно подтверждает это песней — подлинной, о героях и временах минувшей войны: “Мы не кланялись пулям и жизни своей не щадили!..”

Книга “Затаённое слово” — история человеческая и военная, — начата давно, она не заканчивается и в наши дни, ибо остаётся боль, которая не проходит, остаётся память, которая продолжается... И пока горести будут властвовать над миром, не будет конца у этой книги.

ЕЛЕНА КРЮКОВА

СОТВОРЕНИЕ МИФА

Светлана Чураева. Шурале. — Уфа: Китап, 2020.

Роман Светланы Чураевой “Шурале” читатели ждали долго, и выходил он долго, частями, словно дразня. Теперь как младенец: его родили, и он — живёт. Что за роман? И роман ли?

Все привыкли относить литературное произведение к какому-либо жанру. Попытаемся определить. Фантастика? Исповедь? Театр абсурда? Чураева ныряет в пучины философии, чтобы внезапно вынырнуть оттуда под слепящее жестокое солнце беспощадного реализма. Эта вещь не локальна, а универсальна, ибо посвящает на запечатление универсума: роман исследует запретные zákрома и тайники Вселенной, чтобы привести насквозь грешного человека к внечеловеческому — Божиему, а значит, насущному для всех нас чувству любви.

А, скажете вы, ещё раз про любовь... Но ведь вся история — это любовь. В конце концов, дети, само продолжение человека, — это плоды любви.

Рождение человека сравнимо с рождением мира. Даже если этого человека, безвинную малютку-девочку, рождает девчонка, сама ещё несмышлёныш. Эта символика разгадывается легко: нового человека сотворяет та, что ничего не знает ни о вражде, ни об обиде, ни о кровной мести, ни о смерти. Она лишь чувствует, что живёт.

Рождение — уход. Жизнь — смерть. Свет — мрак. Добро — зло. Красота — уродство. Эти дихотомии не только эстетические категории — они и есть вечные архетипы: на них держится и искусство, и сама жизнь, великая наша и любимая жизнь. Это огромные, гигантские ноты бытия, и Бог играет по ним невероятную симфонию Свою. Именно по этим незримым нотам Светлана Чураева исполняет новорождённый миф: “Сначала исчез самый старший брат. Второй пошёл искать его и тоже пропал. Так один за другим все братья слиняли, и девушка осталась одна. Она пошла к ручью, нашла там камешек, положила за пазуху и — вопреки всем законам природы — родила. Ребёночек вышел тяжёлым, и назван был Каменным Мальчиком. С ним много чего случилось, но главное — дитя обожало охотиться ради забавы. Напрасно мать просила его не превращать охоту в забаву. В итоге все звери решили ему отомстить, началась великая битва, хлынул дождь, бобры навели плотины на реки, началось ужасное наводнение. Мать Каменного Мальчика и все люди погибли. Но сам Каменный Мальчик остался в живых. Тогда звери схватили его, закопали в землю до пояса и вынесли приговор: отныне не ходить по планете. Вот так, зарытый, он живёт до сих пор — смотрите на наши горы”.

Чураева бесстрашно выворачивает бытие наизнанку, чудовищным чувлом, по-босховски, чтобы мы через трагический гротеск и реальную боль ясно увидели прямо в лицо любовь. Обращение к самым пугающим и неприглядным сторонам жизни не есть только лишь изображение зла как архетипического объекта, вечной природной и нравственной субстанции. Живопись безобразия удивительно оттеняет вспыхивающую вдруг в тексте красоту. Отсылки к прекрасному становятся невероятным чудом. А что сама вся наша жизнь

в наисветлейшем её проявлении — людской любви, как не чудо посреди ада?

О мифе не скажешь: это не достоверно, так на самом деле не было. Миф на то и миф, чтобы воскликнуть: да, всё именно так и было! Всему — веришь. Всё — правда:

“Яблоки светились перед ней на тарелке, и Сашок предложил уверенно:

— Ешь.

Он не шутил и говорил голосом добрым — по-настоящему. И, как взрослый человек, понимал, что хорошо, а что плохо. И что значит “нельзя”.

— Можно, ешь. Они мытые.

— У меня аллергия.

— На яблоки не может быть аллергии. Тем более на зелёные. На.

Девочка взяла холодное яблоко, уточнила:

— Я не умру?

И съела.

...И с тех пор не могла больше есть обычную пищу. Ела только яблоки — тайно. Обрывала горькие городские ранетки, клячила у подруг, подбирала падалицу у фруктовых ларьков...”

Яблоки появляются в тексте печальным и светлым лейтмотивом, древним знаком, символом грешного познания. Яблоки вспыхивают, звёздно мерцают в тексте именно потому, что женщина-ребёнок, будущая мать Магдалины, носитель жизни, уже зачала, сама не зная об этом; она носит жизнь, она её родит.

Так в образе яблок сходятся рай и ад, и мы идём по ним — по безумному земному роддому, где на свет появляется Магдалина, по людским жилищам, где бормочут старые пьяницы в жажде новой бутылочки... Но почему всё так обычно? Или это наш родной неутолимый миф? И где граница между мифом и реальностью, между концом и началом мира... Ведь недаром одна из героинь романа, Шура, говорит однажды об Апокалипсисе — прямо, непредвзято: *“конец света... вот что больше всего волнует людей”*.

И конечно же, роман Чураевой — апология Женщины и женственности. Женщина-малышка, женщина-старуха, женщина-невеста, женщина-ребёнок — все грани одна за другой раскрываются нам.

Чураева владеет умением создать цельное произведение-монолит и одновременно любитесь тщательными подробностями: из поля её зрения не исчезают мелочи. Она мастер движения, стремительного повествования, и она умеет застывать в дрящейся, прозрачной медитации. Может шокировать дерзкими деталями, а может интонировать нежно и осторожно, петь слова, как простую песню. Это говорит о многообразии писательской палитры.

Роман Чураевой невероятно современен. И не потому, что в нём присутствует современный антураж — айпады, интернет, самолёты, жизнь огромных каменных мешков, именуемых городами. А потому, что человек часто живёт между жизнью и смертью, и часто он мёртв при жизни, и неведомые гномы его хоронят, а ему всё кажется, он жив, и он задыхается, гневается, ужасается, борется с неотвратимым:

“Шура отчётливо представила: люди — смеются, едят, целуются. По дорогам спешат машины, в домах сияют экраны... Жизнь!

И разглядела, словно из поднебесья, себя — крохотную, лежащую в темноте под огромной горой среди бескрайних лесов.

Заорала:

— Хватит дурью маяться! Кто-нибудь?

Пнула бревно. Вскрикнула. Заколотила руками, ногами, головой по невидимым незыблемым стенам.

Пещерный ужас скрутил её, выжал из крови кислород.

Воздуха не осталось нигде. За этими брёвнами — вакуум, полная пустота. Космос. Нет ни людей, ни машин. Нет света — абсолютно.

Она — на веки веков — одна.

Смерть.

Под горой Инэй и Ырыс слушали шелест воды, слушали движение воздуха. И — дикий, нечеловеческий вой странной твари, пришедшей в их деревню из леса”.

И тем не менее с нами остаётся бесконечность Вселенной. Природы. Радости.

Космос живой с нами остаётся.

И космос романа, воплощающий многообразный и таинственный космос самой жизни.

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

“ВОЗВРАЩЕНИЕ” АЛЕКСАНДРА КАЗИНЦЕВА

Александр Казинцев. Возвращение. — М.: Вест-Консалтинг, 2021.

Где-то в 2000-е годы в Дни “Сияния России” мы, иркутяне, впервые узнали об Александре Казинцеве. Его как гостя праздника представил Валентин Распутин и обратил наше внимание на “Дневник современника”, который вёл тогда Александр Иванович в журнале “Наш современник”. Это были очерки на самые острые темы перестроечной России — идеология и политика. Поражала глубина анализа в сочетании с блистательным публицистическим стилем.

В Иркутске он побывал не однажды, представляя журнал как первый заместитель главного редактора Станислава Куняева, а затем и как наставник молодых дарований, открывая их на семинарах и после публикуя на страницах журнала. Он стал и другом иркутских писателей, заинтересованно участвуя в подготовке спецвыпусков “Нашего современника”, больше чем наполовину заполненных их произведениями.

Неожиданная смерть Александра Ивановича в декабре 2020 года потрясла всех, кто его знал. Свыкаться с ней предстоит ещё долго. И вот до Иркутска дошла его последняя книга, посмертное издание, предпринятое вдовой Ниной Алексеевной Казинцевой. И словно бы Александр Иванович вновь появился здесь, среди нас, но уже не как сотрудник журнала, а как поэт и литературный критик.

* * *

В книге “Возвращение” всего шесть очерков разных лет (от 1983-го до 2017-го), по три в каждой из двух частей — “На фоне зарева” и “Возвращение”.

С первых страниц возникает редкое в наши дни ощущение: как легко читать умные, серьёзные книги на полновзвучном и понятном русском языке! Без привлечения иноязычной лексики, которая как будто для того и берётся, чтобы не прояснить, а затемнить, а то и переиначить смысл высказывания за счёт новых оттенков чужого слова. Здесь тот самый случай, когда чтение доставляет удовольствие.

А серьёзность в следующем: очерки подчинены одной большой теме: художник (поэт в нашем случае) и народ. Важно, что тема раскрыта на материале разных исторических эпох, национальных бедствий и творческих поисков.

Названия частей так и прочитываются: первая — это зарево революции, гражданская война, вторая — возвращение к ценностям культуры Золотого века.

* * *

Личность Александра Блока, по времени принадлежащая веку Серебряному, высвечивается с новой стороны — не только как символиста, призывавшего очистительную грозу революции, но и как представителя русской дворянской культуры. Важно и то, что у исследователя появилась возможность шире привлекать малоизвестные прежде источники, например, мемуары Андрея Белого, запечатлевшие дружбу-вражду между ним и Блоком: “Тут древние, родовые счёты. Рисуя друга типичным дворянином, Белый изобразил себя типичным интеллигентом”, — отмечает автор очерка, написанного к 120-летию со дня рождения поэта.

Через подмосковное имение деда по матери, А. Н. Бекетова, где прошло детство Блока и куда он стремился все годы, поэт оказался более крепко, чем другие из его круга, связан с родной землёй. Шахматово, помещичье-крестьянский уклад жизни, природа и поэзия стали почвой, питавшей его творчество. Говоря об этом, Казинцев уточняет смысл привычных слов “родная земля” применительно к миру поэта.

“Прежде всего, земля населённая — не наши обезлюдившие на много километров просторы. Земля соседних деревень и усадеб, сельских погостов и церквей. Согретая молитвой, одухотворённая песней в поле, оживлённая цоканьем копыт скакуна. И больше того, земля, которую объёмлет, берегает, украшает мысль о ней жителей этих усадеб и сёл. Мысль, рождённая ею же, почвой (разрядка его). Не этот ли образ стоял перед глазами Блока, когда он писал...: “Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотней представляешь её себе как живой организм... Родина — это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку, но бесконечное, более уютное, ласковое...”

В этом отрывке, кажется, заложено зерно всех дальнейших размышлений Казинцева о Блоке, о неизбежности его трагической судьбы. Обращаясь к стихам поэта о России, поэмам “Скифы”, “Возмездие”, статьям “Народ и интеллигенция”, “Интеллигенция и революция”, дневниковым записям и письмам, критик прослеживает полный противоречий и глубоких прозрений путь бесстрашно искреннего лирика и публициста. Этот путь вместили в себя “три заветных темы у русской культуры XIX века”: тему России и Запада, народа и интеллигенции, самоопределения личности. К ним критик присоединяет четвёртую, “пронзительно звучащую”, повторённую Блоком после Белинского и Достоевского, — тему невозможности счастья, если рядом существует мир обездоленных людей. У Блока эта тема звучит по-своему — от “пафоса вины” к “пафосу мести”, к категорическому неприятию буржуазности с её сытым самодовольством.

Аристократизм помещичьей России у Блока был ближе к народу, чем демократизм у бескорневой интеллигенции, считает критик. В очерке правомерна мысль о совестливости Блока, заставлявшей видеть в себе кровное начало и “крепостников”, и интеллигентов-“шестидесятников”, но в итоге поэт осознаёт: “Я — художник — следовательно, не либерал”, “Беспочвенности... я не принимаю”; “Нигде не жизненна так литература, как в России”.

Подмечено много деталей, раскрывающих внутренний мир Блока: выбор темы кандидатского сочинения по “Запискам” А. Болотова, философа-помещика, открывшего высокий смысл обыденной сельской жизни; неприятие европейской бездуховной цивилизации; отказ воспользоваться славой создателя поэмы “Двенадцать” и читать её за деньги в стиле поэта-куплетиста; предпочтение пути летописца эпохи, готовность “умалиться” до роли хрониста, что на деле, по мнению критика, означало стать больше себя...

Можно приводить и приводить тонкие наблюдения автора очерка, написавшего духовный портрет Блока. И он получился убедительным.

Но хотелось бы остановиться на последнем — жертвенности поэта, ещё в начале 17-го года верившего, что “Россия будет великой”, а в июле уже ощутившего страх за неё. Показательна приведённая критиком дневниковая запись: “... Если распылится Россия? Распылится ли и весь “старый мир”...”

уступая место новому... или Россия будет “служанкой” сильных государственных организмов...”

То, что пришло вслед за революцией, разочаровало. Запись об “отвратительном” Зиновьеве, правителе Петрограда, чувство, что гоголевская тройка “летит прямо на нас” — всё это тем не менее не заставило Блока снять ответственность с себя: “Нечестно говорить: это сделано не нами”.

“Ни одним словом упрёка Блок не оскорбил народ. А для распалившихся в жажде насилия множеств он, как и подобает поэту, находит точное слово — толпа”, — утверждает критик и подчёркивает добровольность его жертвы: “Заболевание от нервного истощения и голода, он не противился болезни”.

“Вечерняя жертва века”... Перекликается с библейской жертвой вечерней, которую приносили верующие в ветхозаветные времена...

По Казинцеву, эта жертва не во имя настоящего и не во имя прошлого: “Она — во имя вечности. Во имя вечного искусства, которое поэт не унижил приспособленчеством и ложью. Вечного стремления к справедливости и равенству людей”.

* * *

Тема “Художник и народ” продолжена в следующем очерке, названием которого стала строчка из стихотворения Бориса Пастернака “На ранних поездках” — “Я наблюдал, благодаря...”. Внимание критика отдано трём поэтам — Борису Пастернаку, Анне Ахматовой, Николаю Заболоцкому, их творчеству середины XX века.

Именно тогда, перед началом Великой Отечественной войны, но особенно во время неё произошло сближение этих камерных, как считалось, поэтов с народом, “слияние двух начал — личностного и народного”, “что с этой точки зрения, — по мнению Александра Казинцева, — почти не рассматривалось” критикой. Названа причина: их ранние произведения не были так проникнуты народной темой, как более поздние. Эволюция была бы невозможна, заметил он, если бы не было встречного движения — овладения широкими массами классической литературы. Также имело значение, что у наиболее талантливых поэтов начала XX века, в том числе и названных, был опыт отставивания классического искусства в борьбе нового со старым. Казинцев подчёркивает, что преобразование поэтов проходило без “всякой парадности”, это была “внутренняя перестройка, растянувшаяся почти на полтора десятка лет”.

Касаясь военных страниц биографии поэтов, автор показывает, как мужественно и терпеливо переносили они бытовые тяготы, как Пастернак вместе со многими другими москвичами дежурил во время ночных бомбёжек на крышах, а в осаждённом Ленинграде Ахматова рыла траншеи.

Приведены строки стихов Пастернака о безудержности русской судьбы:

*...И на одноимённой грани
Её поэтов похвала,
Историков её преданья,
И армии её дела.*

.....
*И вот на эту ширь раздолья
Глядят из глубины веков
Нахимов в звёздном ореоле
И в медальоне — Ушаков.*

И знаменитое “Мужество” Ахматовой — “Мы знаем, что ныне лежит на весах...”, строки которого были расклеены на улицах блокадного Ленинграда и звучали как клятва.

Очень важное направление отмечает автор очерка в послевоенном творчестве этих поэтов: осмысление исторического пути страны, когда “во всём... хочется дойти до самой сути... до оснований, до корней, до сердцевины” (Пастернак), когда в стихах-портретах Заболоцкого, лирике Ахматовой звучит сострадание к современнику, на долю которого выпали самые жестокие испытания века.

Выход поэтов к “моря простоты” приводит Казинцева к убеждению, что “выстраданное художниками и всем народом право называть добро добром, а зло — злом будущие историки назовут одним из важных завоеваний человека XX столетия”. И здесь критик обращает внимание читателя на стихи Заболоцкого “Казбек” и “Противостояние Марса”, восходящие к “грандиозным аллегориям поэтов XVIII столетия”, где образу бездушной ледяной вершины и “кровавой звезды” противопоставляются образы простых людей, живые человеческие души.

Автор не скрывает своего потрясения тем, как после огромных жертв, после “сотен... рвов, наполненных телами расстрелянных, забытых палками, замученных в первой половине XX века, с его Хиросимой и Нагасаки, рождаются стихи, в которых утверждается чужеродность зла по отношению к народу и его земле”. По его мнению, “это, пожалуй, самое поразительное и самое впечатляющее оправдание человека в истории мировой культуры”.

Через весь очерк проходит мысль о том, что слитность поэта и народа является огромной силой для преодоления всех бед и невзгод, утверждения лучших начал жизни. И это не что иное, как утверждение соборности — одной из главных традиционных ценностей Руси—России.

* * *

Грозовое время круто меняло пути поэтов, и, может быть, наиболее странной и трагичной предстаёт судьба Осипа Мандельштама. Очерк “Я — русский поэт!”, ставший вступительной статьёй к его книге “Стихотворения” (1991), Александр Казинцев начинает “с едва ли не комической ситуации”, когда поэт выкрикивает эти слова в приёмной директора Государственного издательства, так и не дождавшись, когда секретарша пропустит его в кабинет.

Последуем за автором очерка и вместе с ним обратимся к началу пути поэта. Само его появление в Петербурге в 1910 году не предвещало спокойного будущего, когда девятнадцатилетний Осип вышел из вагона третьего класса заграничного поезда без ничего — чемодан был потерян в дороге, “точно и впрямь свалился с какого-то Марса на петербургскую мостовую” (Г. Иванов).

И дальше Казинцев приводит свидетельства Георгия Иванова. Юноша из весьма небогатой еврейской семьи: отец — неудачник-коммерсант, тяжёлая тишина в мрачной квартире. Жизнь “столицы полумира” и манит, и пугает...

В первой книге “Камень” (1912) Мандельштам заявил о себе как поэт, возросший на историко-культурном слое разных эпох и народов, достаточно отчуждённый от русской культуры. За спиной ни семейных, ни иных, связанных с почвой преданий. Но чисто в творческом плане критик отмечает “доверчивость и задушевность его признаний”, чувство музыки (“Но музыка от бездны не спасёт!”); услышанный “внутренний крик”, с каким рождается ребёнок и который заглушается “общественными приличиями” — приметы уже настоящего таланта.

“Бешеный поток событий” в России вверх Мандельштама в процесс единения с людьми в годы революции “наглядно и грубо”. Не романтизируя насилия, поэт искал внутренней свободы в России, преображённой революцией. Но очень быстро в его стихи приходит прозрение грядущей трагедии.

*Кто знает? Может быть, не хватит мне свечи —
И среди бела дня останусь я в ночи...*

1917 год. Продолжая своё исследование, Казинцев показывает, как одновременно меняются культурные предпочтения поэта, филолога-романиста по образованию. В его статье “О природе слова” “звучит ликующая хвала русскому языку”, утверждается мысль: “Ни один язык не противится сильнее русского назывательному и прикладному назначению”. “В статье “Кое-что о грузинском искусстве” считает необходимым подчеркнуть: “Никогда русская культура не навязывала Грузии своих ценностей”. Попутно автор очерка упоминает и о том, как в заметке об А. Белом “с язвительностью отзывается Мандельштам о буржуазном мире”, как не приемлет “нечистого” благополучия сытой Европы.

Всё это можно понять: путь Мандельштама совпадает с путями других его современников-поэтов, уходящих из разного рода “измов” в классическую

традицию и реальную действительность. Удивляет другое: приятие всего, что есть Россия. И это был, по утверждению критика, сознательный выбор поэта.

Но больше всего удивляет в человеке, вышедшем из другого народа, ощущение русской трагедии как своей. Причём часть его народа поднялась на волне революции и вершила суды и расправы на стороне красных, но он не оказался среди них. Да, он оказался “около большевиков” — приводит цитату из воспоминаний Г. Иванова Казинцев, и это вполне могло быть, — возможно, с надеждой на защиту, когда почувствовал, как “с каждым днём слабеет жизни выдох”. Да, видно, они его не признали за своего. . .

А он не мог молчать о гибели крестьян от голода на Украине и юге России. “Сугубо городской поэт с фамилией явно некрестьянской, — пишет Казинцев, — притронулся к той запретной теме. Зная, что его ждёт”.

Стихи “Старый Крым”, “Квартира тиха, как бумага. . .”, “Мы живём, под собою не чуя страны. . .” стали доказательством на следствии его “преступной деятельности”. А после “Стихов о неизвестном солдате”, о “миллионах, убитых задёшево”, вскоре оборвалась и его жизнь.

Погружая читателя в судьбу поэта, считавшего себя русским, осуждённого и погибшего в 1938 году, Казинцев возражает тем мемуаристам, которые видели причину его гибели в отвлечённо-экзотических стихах, ненужных новому строю. Нет, он погиб за то, что в его “мы”, от имени которых он говорил правду, власти увидели протестное слово народа, убеждает автор очерка, ещё раз приближая нас к трагической эпохе и одному из самых ярких её выразителей.

* * *

Необходимое отступление.

У молодого читателя этих трёх очерков может возникнуть вопрос: почему именно обращение к народу оказалось столь значимым для людей искусства? Нет ли в этом утверждении натяжки и декларации, отражения народнических настроений, свойственных России как дореволюционной, так и постреволюционной?

С XVIII века со страниц печати не сходила тема народных страданий (Радищев, Некрасов, Достоевский). В советский период случилось так, что одна часть народа жестоко пострадала, а для другой открылись пути развития, возможность подняться с низов общества и достичь высот во всех сферах жизни. Этого противоречия мы не можем осмыслить до сих пор.

Но почему именно простой народ остаётся надеждой для всех? К нему взывают правители во времена войн, к нему приникают люди искусства, когда оказываются в жизненном и творческом тупике. Наверное, потому, что людям всегда необходима опора на идеалы не меньше, чем на силу оружия и успешную экономику. В Золотом веке литературы и искусства (само название отражает высокое качество) идеальное было закреплено в религии, и это общеизвестно. В начале XX века Православие было отброшено, его должна была заменить атеистическая вера в социализм и коммунизм, отвергающая наличие высших сил. Но поскольку без веры жить и строить невозможно, то воцарилась вера во всемогущество человека, то есть человекобожие.

Однако процесс не пошёл так быстро, как того хотелось преобразователям мира. И именно в народе затаились и продолжали жить старинные устои, прежде всего духовные, заложенные многими поколениями зачастую неграмотных, но воспитанных в Православии людей. Это вера в бессмертие души, борьба с грехами и совестливый подход ко всему, отзывчивость на беду ближнего и величайшее терпение.

Мне кажется, такое объяснение причины единения с народом людей искусства может быть принято к сведению.

* * *

Вторая часть — “Возвращение” — переносит нас назад, как раз в Золотой век российской культуры. Оказывается, уже тогда обозначились разные направления в литературе. Детали процесса несколько затуманились за прошедшие

столетия, как и само имя героя следующей главы книги, — Павла Александровича Катенина. Редкое издание его “Избранного” 1989 года предваряла вступительная статья Александра Казинцева под названием “Опыт беды” — о ней и речь.

Читая пушкинского “Евгения Онегина”, вряд ли кто обратил внимание на мимоходом оброненные строчки в строфе про театр:

*...Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый... —*

(то есть перевёл и подготовил для постановки пьесу французского драматурга Корнеля).

Между тем, это поэт и критик-полюемист, который был на виду, а также переводчик, театровед, полиглот, в самобытном творчестве поддержанный Пушкиным, Грибоедовым, Кюхельбекером, а ещё участник походов против Наполеона, дослужившийся до чина генерал-майора.

И при этом — “талантливый неудачник”, по выражению автора очерка. Почему?

На этот вопрос и отвечает Казинцев, как всегда, обстоятельно, воссоздавая образ своего героя в переплетении разнообразных связей — исторических, культурных, литературных, само собой, и человеческих, и всё работает на достоверность портрета и фона.

Прежде всего, автор сосредотачивается на переломных моментах, повлиявших на судьбу Катенина: в жизни — переход из военного времени в мирное; отъезд из Петербурга в ссылку, в костромское имение Шаево, где со временем обоснуется окончательно; утрата общества, одиночество; в литературе — смена классицизма на романтизм, которого поэт не принимал, полагая чуждым и всего лишь модным явлением для русской литературы; полемика с романтиками, поэтами-“карамзинистами” — В. Жуковским, К. Батюшковым, П. Вяземским — проигранная.

Вот в такой обстановке увиден Казинцевым этот представитель Золотого века.

Критикуемый многими за тяжеловесность стиля, ещё сохранявшего черты классицизма, Катенин продолжал идти своим путём, порой попадая в тупики и мужественно из них выбираясь. Автор очерка обращает внимание на ключевые моменты преодоления обстоятельств, упорный поиск решения творческих проблем.

Так, два начала, которые не мог примирить поэт и критик, — индивидуализм и народность — постепенно сошлись у него. Казинцев называет стихи “Софокл”, “Мир поэта”, “Ахилл и Омир”, “Идиллия”, “Элегия” “элегиями, в которых поэт оплакивает утрату воспоминаний” и утверждает, что ни у кого из современников “духовная активность памяти не имела такого звучания”.

Плодотворной названа и работа Катенина с балладой, когда “он отказался... от традиционной роли поэта-рассказчика и предоставил героям самим говорить о себе”. Прослеживается эта новизна на примере баллады “Убийца”, которую высоко ценил Пушкин, “где повествовательная ёмкость достигла предела...”

*..... То было летом,
Вот помню, как теперь,
Незадолго перед рассветом;
Стояла настезь дверь.
Вошёл я в избу, на полате
Спал старый крепким сном.*

Пристально проследив путь поэта с начала 1810-х до середины 1830-х годов, критик в конце XX века высоко оценивает поэму “Инвалид Горев” — о простом русском солдате, что в литературном обществе “показалось неожиданным и даже экстравагантным”. Но это было “возвращением к самому себе, к основам своего мировоззрения”, уже “во всеоружии мастерства, умудрённым опытом борьбы с литературными противниками, с самим собой”. Казинцев считает, что было отвагой сделать этот последний шаг в направлении народной культуры, которая притягивала всегда, “шаг, который до этого ни

он сам, ни какой-либо другой поэт его времени сделать не решался". И с уверенностью говорит: поэма — не только итоговое создание автора, ей "суждено войти в ряд значительных произведений эпохи десятых-тридцатых годов XIX века".

В образе старого солдата, преодолевшего многие невзгоды, воплотились и черты самого автора: "отождествляя себя с героем поэмы, автор отождествлял себя со своим народом", — делает вывод исследователь.

И ещё одно очень важное замечание по поводу ценности этой поэмы для последующих эпох: "Язык и образы "Горева" подготавливают поэзию Н. Некрасова, мысли о значении подвига народа в Отечественной войне близки мыслям Л. Толстого, высказанным в "Войне и мире".

Остановился Александр Казинцев и на масштабном труде Катенина-критика "Размышления и разборы", опубликованном в 1830 году в "Литературной газете" Пушкина, содержащем, по его мнению, "богатеишие, неизвестные широкому читателю того времени сведения об истории основных европейских литератур".

Не могу не добавить: этот труд в наше время малоизвестен даже узкому кругу литераторов, в чём можно не сомневаться. Поэтому советую молодым читателям, и писателям в особенности, найти в интернете "Размышления и разборы" Павла Катенина. И вы удивитесь громадной эрудиции автора и обширности тематики этого трактата! Не удержусь от пары цитат.

Из главы "О поэзии вообще": "Для знатока прекрасное во всех видах и всегда прекрасно; судить о произведениях высоких искусств по прихотям моды — явный признак слабоумия. Одно исключение из сего правила извинительно и даже похвально: предпочтение поэзии своей, отечественной, народной... Хорошее сочинение в этом роде может достигнуть большего совершенства, нежели всякое другое, своё ближе чужого..."

А вот перечисление остальных глав: "Об изящных искусствах", "О поэзии вообще", "О поэзии еврейской", "О поэзии греческой" и далее оглашаю весь список — "...латинской", "...итальянской", "...испанской и португальской"; большая глава "О театре", и каждая — с глубоким анализом, подробностями и примерами.

Всё звучит злободневней некуда, хотя бы фраза о том, что театр в упадке повсюду и "заставляет бояться, что все советы опоздали" (примерно то же звучит и в наши дни).

С сожалением автор замечает: уже действующие и в те далёкие времена законы конъюнктуры помешали оценить по достоинству этот "едва ли не самый зрелый эстетический трактат новой трети XIX века".

... Последнее, к чему обратился Казинцев — письма Катенина, в основном, его переписка с Н. И. Бахтиным (критик и видный госчиновник 1850–1860 годов). Высокий уровень, достигнутый автором в эпистолярном жанре, когда письма становятся "страстным, полным горечи монологом", позволил отнести их также к лучшим творениям Катенина.

Остаётся сказать одно: исследование проведено Александром Казинцевым тщательно, с горячим сопереживанием судьбе "независимого, отважно-го, талантливого человека", и возвращает читателю это имя из забвения.

Для современной творческой молодёжи личность писателя Павла Катенина — пример борьбы не только с обстоятельствами, но и с самим собой, настойчивости в поиске своего истинного предназначения. И он показывает: победы можно добиться.

* * *

Ещё одна вступительная статья ещё об одном малоизвестном широкому читателю авторе. Это провинциальный поэт из сибирского города Кемерово Игорь Киселёв. Название статьи — "Последний романтик", книга — "Под солнцем и ненастьем. Стихотворения", Москва, 1989 год.

Внимательный взгляд критика и сотрудника журнала "Наш современник" не только выделил Игоря Киселёва среди поэтов русской провинции, но и связал его имя с именем Николая Рубцова. Оба названы "последними романтиками". Но это не тот западный романтизм, с которым в своё время

боролся Павел Катенин. Романтик в представлении Казинцева — поэт, создающий “собственный мир, в котором больше тепла, мечты и душевности, чем в окружающем его мире”. И он уже становится защитником своего творения, своих идеалов, рыцарем, роль которого в современной действительности “не просто нелепа, она трагична”, — это было написано в конце 80-х годов ушедшего века.

Каков же мир Игоря Киселёва, что удалось ему сказать за короткий срок, ему отпущенный, если он вступил в литературу в конце 1950-х годов, а последнее прижизненное издание стихов вышло в 1980-м? Всего два десятка лет активного творчества...

Без биографической справки не обойтись, и она есть в очерке. Годы жизни поэта 1933–1981, родился в алтайском селе Павловское, окончил литфак Новосибирского пединститута, стал кемеровчанином, работал в местном книжном издательстве редактором. Помогал молодым поэтам становиться на крыло. Автор семи поэтических сборников, изданных в Кемерово, и лишь одного — в Москве, о котором и идёт речь.

Всё очень обычное, провинциальное. Но Казинцев подметил одну особенность. Она в том, что на совещании молодых писателей Сибири в начале 60-х стихи Киселёва отметил Ярослав Смеляков. “Дана была рекомендация, позволяющая обратиться в издательство “Молодая гвардия”. Киселёв не воспользовался ею. Ему казалось, что поэтический голос ещё недостаточно окреп, чтобы говорить, обращаясь ко всей России”.

Автор очерка увидел в этом не только “редкостную требовательность к себе”, но сознательный отказ “от соблазна ринуться на ослепительный блеск литературной жизни”.

Тем виднее для критика “обнажённая душевность” Киселёва, которая “озаряет... общий настрой стихов, вносит гармонию в причудливую смену интонаций”; отсутствие боязни показаться наивным и сентиментальным; мастерское владение сюжетом, идущее от удивительной свободы, переходящей в непреднамеренность стиха. В этой непреднамеренности Казинцев находит “свидетельство душевной чистоты и раскрепощённости” поэта, что есть, по его мнению, “высокий дар, отличающий настоящее искусство от декларативности”, называемый “прекрасным словом — моцартианство”.

Вот так: моцартианство в сибирском Кемерово!

Критика особенно привлекает в Киселёве исповедальность в соединении с простотой и то, что поэт любил своего читателя — человека обыкновенного, “живущего на фоне включённого телевизора”, и знал:

*Тебе осточертели —
Такая полоса —
И радио-, и теле-
И киночудеса...*

*И хочется простого:
Сиянья и простора
Предутренней звезды,
Колодезной воды.*

Очень созвучны поэтическому миру самого Александра Казинцева в пейзажных стихах поэта такие строки, как “Цветы упрямо ждали чуда, // А надо было ждать беды”, “Внезапно я вздрогнул от жажды, // Почувствовав жажду земли”, “Он к земле прикоснётся щекою, // И земля прикоснётся к нему”.

Критик много внимания уделил именно теме природы в книге Игоря Киселёва и через неё охватил, во-первых, жгучую современность экологических проблем, которую поэт “осознал... задолго до учёных”, во-вторых, боль за природу, которую губит человек, и боль за человека, не ведающего, что творит, “не предвидя тяжести расплаты”.

*Всё тревожней человеку стало
Ждать, откуда свалится беда:
Наводнения, оползни, обвалы,
Зной, землетрясения, холода.*

*Не предвидя тяжести расплаты, —
А она придёт, и поделом! —
Мы в природе словно оккупанты
В городе, что сдался нам в полном...*

Каждое слово звучит, будто написанное сегодня, а не тридцать с лишним лет назад!

Творческий портрет такого “простого-непростого” поэта вызвал желание поближе познакомиться с его наследием и биографией. Найденное позволило убедиться в верности оценок Александра Казинцева. Добавилось впечатлений от многих стихов, опубликованных в полном виде. Действительно, они не нуждаются в подробном комментировании критика, они без посредника входят прямо в сердце, и читатель обнаружит в них и разнообразие тематики, и как будто нечаянную философичность, и чуткую душу лирического героя.

Этот герой — из военного детства, из строгих правил жизни суровой эпохи, но с затаённым и немалым запасом доброты.

Приятно узнать, что земляки берегут память о своём поэте, осознают величину его дарования. Имя Игоря Киселёва присвоено кемеровской библиотеке, в ней находится литературно-мемориальный музей поэта, школьники пишут сочинения по его творчеству.

К слову, о провинциальности. Такая деталь. Игорь Киселёв родился в селе, но его отец был учителем литературы, а мать писала стихи. Это означает, что данный ему от природы талант, а он, как известно, прорикает и во дворцы, и в хижины, вдохнул воздух, насыщенный ионами творчества. И потому так естественно, без натуги зазвучал его голос в поэзии.

И сегодня хочется повторить строчку, давшую название предпоследней книге Игоря Киселёва: “Благодарю, земля, благодарю” и переадресовать её поэту — за стихи, автору статьи — за то, что открыл читателю тонкого лирика.

* * *

Завершает сборник сравнительно недавняя статья Александра Казинцева “Вдохновенная ошибка” (2017), посвящённая “Пушкинской речи” Ф. М. Достоевского. Сегодня, когда отмечается 200-летие со дня рождения русского гения, она вызывает особый интерес.

Критик высказал своё несогласие с несколькими положениями прославленной речи писателя, произнесённой на открытии памятника А. С. Пушкину в Дворянском собрании Петербурга. Именно тогда прозвучали наиболее часто цитируемые слова Достоевского, напомним: “...Мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание”.

И эта всемирность переносилась писателем на русского человека вообще, предназначение которого — “стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно”, вместить в русскую душу “с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии...” и т. д.

После выступления Достоевского, по воспоминаниям его самого и его современников, раздался гул рукоплесканий, люди рыдали, обнимали друг друга, кричали: “Пророк, пророк!” — один из студентов даже лишился чувств — такой невероятно бурной была реакция.

Казинцев объясняет эту восторженность двумя факторами: объективным и субъективным. К первому отнесена общественно-культурная обстановка тех лет, завершение Золотого века русской литературы, то есть эпохи Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тютчева. В обществе ощущалась значимость момента. На вопрос, кто подведёт итог, кто включит этот период в историю самых славных эпох всемирной литературы, ответил Достоевский в своей “Пушкинской речи”.

Второй фактор — ситуация вокруг открытия памятника Пушкину. Оно должно было состояться 26 мая по старому стилю, в день рождения поэта,

но торжество пришлось отодвинуть на несколько дней из-за смерти жены царя Александра II императрицы Марии Александровны. Но публика съехалась, устраиваются обеды (на одном чествовали Достоевского), встречи, литературно-музыкальные вечера, градус кипения общественной жизни, несколько поутихшей после реформ Александра II, повышается. “Прогрессивная” Россия ждала судьбоносного, пророческого слова... Вот в какой атмосфере прозвучала “Пушкинская речь”, отмечает автор.

После того как всё затихло, на “Пушкинскую речь” стали появляться отклики – в том числе и отрицательные. Например, известного юриста и либерального публициста А. Градовского, вступившего с Достоевским в острую полемику, публициста и славянофила, видного общественного деятеля по крестьянскому вопросу А. Кошелева; русского писателя, близкого к народническому движению, Г. Успенского.

Критик XXI века, можно сказать, продолжил дискуссию. Упрёки коснулись толкования Достоевским пушкинских героев, взгляда писателя на крестьянство “как единый монолит”, когда “шло активное социальное расслоение в деревне...”

Но особое возражение вызвал тезис речи о “служении” России Европе. Разве “служение” пошло на пользу русскому крестьянству, получившему “в благодарность” от Европы войну 1812 года, Крымскую и Первую мировую?

Чем ближе к настоящему времени, тем больше веских доводов против позиции Европы, устремлённой к “единению”, но на антироссийской платформе. Что тут можно возразить, когда основные угрозы шли и идут к нам именно с Запада?..

И всё-таки, всё-таки... Как жаль, что эта статья не прочитана мной вовремя! Когда можно было вступить в диалог с Александром Ивановичем относительно прозрений Достоевского. Да, всё верно, и верно особенно в эти дни, когда мы встречаем 200-летний юбилей великого писателя и вспоминаем его предсказания, соотнося их с сегодняшним днём. Какое единение, если через Украину, ещё недавно братскую, стекаются против России военные силы коллективного Запада!

Но здесь же, в этой статье, приведены другие слова Достоевского. Из “Дневника писателя”, в ответ оппоненту А. Градовскому: “Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно уже создававшийся в ней без Церкви и без Христа... с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим всё, всё общее и абсолютное, – этот создававшийся муравейник, говорю я, весь подкопан”.

А что, если и это тоже пророчество? И оно к тому, что нам придётся помогать Европе? Можем ли мы сегодня с точностью сказать, насколько подкопан муравейник? Сегодня Европа ещё стоит, но что будет завтра, через пятьдесят, сто лет? Время летит неудержимо, мир меняется молниеносно, и то, что сегодня незыблемо, завтра может рухнуть. Ну, а то, что ещё не устоялось, вдруг как раз окрепнет?..

Очень не хватает в нынешнем разногласии и разномыслии рассудительного голоса Александра Казинцева...

МАРИНА ПЕТРОВА

“ЕДИНСТВЕННЫЙ ГЛАЗ НА МАКУШКЕ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО УСТРЕМЛЁН В НЕБО, ГДЕ ЖИВЁТ БОГ”

Рождение профессионального светского искусства в России связано с созданием в 1757 г. Академии художеств. Вступившая на престол в 1762 г. Екатерина II уже через два года взяла Академию под своё крыло, прекрасно зная, что искусство может стать хорошим проводником важных государственных идей и в жизнь, и в общественное сознание. Живя уже много лет в православной стране, Императрица не забыла включить в программу обучения Закон Божий. При этом сама Государыня не была настолько набожной, но это была традиция, которую даже она не могла нарушить.

Откровенно заинтересованное отношение Екатерины II к Академии способствовало также пробуждению общественного интереса к ней. На страницах журналов, на заседаниях созданного при Академии общественного комитета “Вольных общников” разворачивались порой острейшие дискуссии о целях и задачах отечественного искусства, путях его развития, о назначении художника, идеях и задачах его творчества.

Характерно, что уже изначально все сходились на признании за искусством воспитательной функции. Эта точка зрения сама по себе далеко не нова. Ею определялась служебная функция искусства ещё в средневековой Руси.

Несмотря на всю остроту дискуссии, первым пунктом Программы была записана идея, предложенная Сумароковым, который на первое место ставил идею патриотизма. И поэтому задача искусства определялась сама собой: отражение истории народа, его славного, героического прошлого. Патриотическая идея, считал Сумароков, способствует, прежде всего, воспитанию любви к Отечеству и готовности отдать за него жизнь.

Многие, соглашаясь с этим требованием, тем не менее считали самой главной задачей государства воспитание человека нового типа: образованного, законопослушного с развитым сознанием общественного долга. Немало голосов раздавалось также в пользу откровенной, изобличительной критики пороков и прославления добродетели.

Тогда же, пожалуй, впервые прозвучали слова о том, что искусство должно принадлежать всему народу. Тем самым элита, просвещённые круги не только не выделялись в особую касту, но воспринимались как часть этого народа. И, следовательно, сам народ, независимо от социального положения, рассматривался как единое целое. Выдвинутый тезис имел принципиальное значение для русского общества, раскол которого, в связи с влиянием Запада, начался ещё в XVII в.

Вот почему при таком разногласии значимо было единое понимание предназначения художников как наставников и воспитателей своих сограждан. Отсюда мысль об особой ответственности художника не только за выбор темы или сюжета, но, прежде всего, за самую идею и её воплощение. Выдвигая этот постулат, русская эстетическая мысль предполагала не столько равенство, сколько художественное соответствие формы содержанию, сохраняя за последним всё же приоритетное положение.

Достаточно остро встал вопрос об отношении к европейскому историческому наследию. Речь не шла о полном отрыве от него. Напротив! Но как быть: подражать ему или, опираясь на него, искать свой путь в искусстве? Полностью следовать живописной стилистике знаменитых классиков, повторять уже пройденное или, опираясь на достижения прошлого, развивать свой метод, свою собственную стилистику, свой художественный язык, совершенствовать свою живописную манеру?

При всём разнообразии суждений, мер и предложений, в этих жарких спорах тем не менее звучала главная, объединяющая всех мысль: дабы найденная художественная форма была адекватной той высоте идей и идеалов, которые проповедует искусство, наставляя и воспитывая народ.

А это породило ещё один, крайне важный вопрос. Что важнее: полное самовыражение, независимо от того, понимают тебя или нет? Или в условиях эпохи Просвещения, главная цель которой – гуманизация, то есть расцерковление общественного сознания, самым важным для искусства, для самого художника оказывается проповедь как никогда актуальных, насущных идей о христианских добродетелях. Самое время напомнить обществу о его “крещении и правоверии”.

Примечательно, что первыми преподавателями в Академии были известные у себя на Родине иностранные художники. Тем не менее академисты выбирали для своих работ и даже дипломных большей частью не мифологические сюжеты и не события из европейской истории. Они избирали темы из русских летописей, из “Истории России” М. В. Ломоносова, из произведений М. М. Хераскова, Я. Б. Княжнина и др. Молодые выпускники Академии и стали открывателями национальной темы в русском искусстве, пробуждая историческую память народа и, прежде всего, его элиты. Именно эти молодые художники, и первый среди них А. Лосенко, стали создателями традиции обращения к историческому прошлому России. Но в своих произведениях, не отходя от исторической правды, главным для них была проповедь христианской любви, христианского братолюбия, идеи духовности как начала начал русской государственности, торжества духовных сил над страстями человека и т. д. Таким образом, с самого начала выявлялась религиозная природа русского светского искусства, формировалась его стержневая – духовно-нравственная основа. Так восстанавливалась порушенная Петром I духовная связь времён.

Так уже с самого начала закладывались основополагающие традиции русского искусства. И главная среди них – проповедь христианских ценностей.

Много позже А. Г. Венецианов, будучи человеком верующим, как, впрочем, и все русские художники, подвергнет сомнению сами идеи Просвещения. “Чёрта ли в том Просвещении, – говорил он, – если в нём нет веры” [1]. Венецианов – первый художник, героями портретов которого стали простые крестьяне. В своих крестьянских образах он подмечал не только характер, скромность, застенчивость и простоту. Он первым стал писать о крестьянском труде. Он первым воспел русскую природу такой, какая она есть: в её естественной простоте и скромности, с её ширью и открытостью небу. Именно он, не проучившийся в Академии художеств ни одного дня, обогатит отечественное искусство принципиально новым качеством – духовной созерцательностью. Качества, основанного на самой природе русского национального сознания, окормляемого верой. Это особое состояние души, которая верой возносится к небесам. И уже оттуда, из небесной выси, духовными очами художник созерцает окружающий мир, открывая красоту Божьего творения. Уже будучи академиком, Венецианов напишет: “Художник объемлет красоту и научается выражать страсти не органическим чувством зрения, но чувством высшим, Духовным, тем чувством, на которое природа так щедро бывает...” [2].

Венецианов первый, кто сумел выявить и отобразить в этих образах важную особенность, природу русского национального сознания – его созерцательность. Вообще созерцательность есть обозрение окружающего мира без всякого активного вмешательства в него. Для русского сознания, сформированного церковью, это имело не просто важное, а принципиальное значение, определившее отношения русского народа с миром, и восприятие его как совершенное творение Божие. Именно этим отличается природа русского национального сознания от рационального сознания европейцев. Поэтому для них главным становится вопрос КАК, то есть форма. В то время, как для русского художника таким всеопределяющим вопросом оказывается вопрос ПРО ЧТО. Имеется в виду не сюжетная, событийная сторона темы, а её осмысление религиозным сознанием, прочтение сквозь призму христианских ценностей. Венецианов – не открыватель, а продолжатель этой традиции, исторически сложившейся сразу в отечественном профессиональном искусстве. Но он дал импульс к развитию этой традиции, обогатив её принципиально новым явлением – духовной созерцательностью. Впоследствии многие художники и, прежде всего, пейзажисты, будут пытаться подняться на эту художественную высоту, но оказалось, что только одного мастерства, даже необычайно яркого, талантливого, мало. Очень важно, чем живёт художник, чем наполнена его душа, его мысли, что проповедует он своим искусством.

Россия, как известно, богата художниками разных национальностей. Некоторые из них принимали Православие и считали себя русскими, другие хранили верность своей нации и своей религии. Но все они жили в русском мире, возрастали талантом своим на русской почве, на русской культуре и посвятили служение искусства своему Отечеству – России. И уже неважно, что, например, Карл Брюллов был немец и лютеранин. Но он родился в России, мальчишкой пережил войну 1812 г., а позже, уже учась в Академии художеств, в классе “Исторического рода живописи”, педагоги помогали не только развитию его таланта, становлению личности, но и развивали его историческое мышление. Всё это спустя годы раскроется великим откровением в его знаменитой картине “Последний день Помпеи”. Поскольку Брюллов учился в классе “Исторического рода живописи”, где наряду с собственно исторической преподавалась ещё и религиозная живопись, то все студенты этого класса обязаны были знать язык христианской символики. На этом языке и творит художник столь важный в картине образ. Он влагает в руки священника всего два предмета, но очень многозначных для богослужения. А начинается оно всегда с каждения как символа Святого Духа, объединяющего всех прихожан вокруг священства, которое само ведомо Христом. А потир – чаша, из которой прихожане причащаются. И в момент причастия вершится таинство церковное, поскольку каждый уже индивидуально соединяется с Богом не только духовно, но и телесно. А в результате все прихожане, причастившиеся из одной чаши, по сути, становятся братьями и сёстрами во Христе.

При таком выявлении символики каждого предмета, отобранного Брюлловым, начинает раскрываться смысл креста на груди священника, свидетельствующего не только о его принадлежности к христианской Церкви. Ещё Апостол Павел говорил: “А мы проповедуем Христа распятого” (1 Кор., I, 23), поскольку, взойдя на крест, безгрешный Господь взял с собой все наши грехи и распял на кресте “похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую”. Тем самым он очистил, исцелил нас. Почему крест Христов и называют источником нашего спасения.

Соединяя воедино глубочайший смысл символики и церковных предметов, и самого креста, Брюллов впервые не только в русском, но и мировом искусстве создаёт собирательный образ Церкви Христовой.

Более того, именно Брюллов в своём полотне проведёт евангельскую мысль об идее спасения. Разворачивая в сторону священника группу бегущих, спасающихся людей на первом плане, художник тем самым выявляет в самой идее спасения не только её жизненную, событийную суть, но и раскрывает её духовный и даже нравственный смысл.

Именно Брюллов “в свой жестокий век” восславит Любовь – Великую стихию любви, готовую принести себя в жертву ради спасения дорогих людей: жену и маленьких детей, немощного, обезноженного отца, единственного сына, только что обрётённую жену и т. д. И всё это будет впервые и не только в русском, но и мировом искусстве. И далеко не случайно на приёме художника

в Академии после его возвращения в Россию его бывший педагог, мэтр исторической живописи А. Е. Егоров со слезами на глазах и трепетом в голосе произнесёт: “Ты кистью Бога хвалишь, Карл Павлыч” [3].

Но традиция не есть нечто однозначное и застывшее. Как явление она развивается во времени и пространстве. В частности, национальная тема, поднятая в XVIII в. и осмысленная с христианских позиций, в последующем оказалась способной раскрыть заложенный в ней потенциал: евангельскую глубину мысли, отобразить во времени границу между прошлым и будущим, воспеть любовь – эту наипервейшую заповедь Христову.

Мы уже говорили о том, что с самого начала историческая живопись была соединена с религиозной в едином классе “Исторический род живописи”. И не случайно. Сама религиозная живопись была воспринята русскими художниками в том виде, в котором она существовала в Европе ещё в XVI веке. Именно тогда как результат гуманистического мировоззрения Священное Писание было объявлено историческим источником. И если раньше художники, обращаясь к библейским темам, пытались в силу своей культуры, веры, а главное – воцерковленности раскрыть, хоть и безуспешно, божественный смысл избранного сюжета, то теперь ситуация меняется. Широкий доступ к священным книгам позволил художнику использовать избранный им фрагмент в своих целях. Он наполнял его своими собственными идеями и представлениями, утверждая свои мировоззренческие взгляды и установки.

В то время как для религиозно мыслящих русских художников, в отличие от их европейских коллег, сакральность темы оставалась традиционно непреложной и не зависела от их индивидуального понимания или видения. Но шли они к раскрытию тайной, божественной, то есть сакральной сути сюжета тем же путём, что и европейцы. Первый, кто понял всю несостоятельность этого пути, был А. П. Лосенко. И больше к религиозной живописи уже не обращался. Тем не менее ещё почти 100 лет художники продолжали создавать свои религиозные полотна, опираясь на мирские, земные мысли, чувства, состояния.

Эту традицию заземления, обмирщения религиозной живописи прервал Александр Иванов своей знаменитой картиной “Явление Христа народу” (1858). Художник не только не пытался давать толкование сцены Иоаннова крещения, но даже не ставил перед собой такой задачи. Блестящее, при этом обязательное знание христианской символики позволило художнику наполнить полотно религиозными мыслями, чувствами, переживаниями. Привнеси их в картину как откровение своей религиозной души.

Есть в этой композиции один персонаж в левом нижнем углу – старец, стоящий прямо в воде, в белой набедренной повязке, которая почему-то даёт красное отражение в воде. В экспозиции Третьяковской галереи есть первоначальный этюд, где на старце красная повязка. В сочетании с отражением этого ярко взятого красного цвета в воде, художник чисто колористически уравновешивает правый нижний угол, где активно присутствуют тёмно-коричневый, тёмно-красный, бордовый цвета. Но, сознавая необходимость композиционной ясности, Иванов тем не менее переписывает красную повязку на белую, оставляя красные разводы в воде нетронутыми. В своё время это объяснялось очень просто. Хотя художник работал над картиной почти 25 лет, но поменять красную повязку на белую, переписать отражение в воде не успел. Ему четверти века не хватило? А главное, оставался без ответа вопрос: а почему вдруг возникла такая необходимость? Ответ надо искать в самой вере художника, в блестящем знании языка христианской символики, где каждый цвет имеет несколько значений. Один из символов красного – страсть. А старец, покаявшийся, принявший крещенское омовение, в данный момент чист. Поэтому художник и пишет заново набедренную повязку белой краской как символом духовной чистоты человека. А красное отражение в воде становится символом той нравственной скверны, которую смыл с себя человек крещенским омовением.

Как видим, не сюжетная, не событийная сторона интересует художника. Он выстраивает свой ассоциативный ряд, наполненный откровениями, своего рода исповедью своей религиозной души.

Так впервые в русском искусстве зазвучала высокая исповедальная нота. И именно потому, что она не претендовала на интерпретацию и не определялась

ею, она была сразу же услышана и воспринята художниками, работавшими в самых разных жанрах.

Сам того не подозревая, Иванов открыл новое явление — исповедальность, создал, по сути, новую традицию, ставшую одной из фундаментальных опор русского искусства второй половины XIX века.

Хорошо известно, как начинал В. Г. Перов. С какой критикой он, двадцатилетний молодой человек, за душой которого — ни взглядов, ни принципов, ни тем более сложившегося мировоззрения, обрушивался на Церковь под действием веяний критического реализма. За свою программу “Проповедь на селе” он даже получил золотую медаль и в соответствии с Уставом Академии получил право на стажировку во Франции. Именно здесь начинающий художник пережил своего рода катарсис, нравственное преображение. Здесь, в Париже, язык, характеры, нравы, обычаи, традиции, сам образ жизни — всё чужое. Именно тогда он приходит к новому определению бытового жанра как “отображению характера и нравственного образа жизни народа” [4]. Он и в ранних своих работах никогда не был сторонним наблюдателем. Но теперь, по возвращении в Россию его интересует не житейский бытовизм, а состояние души человека, его самоощущение, его поведение в бедственных обстоятельствах судьбы. И впервые в русском искусстве рождается ещё одно новое качество — сострадание. Именно оно сближает героев картин Перова со зрителем, вызывая в душе сочувствие, сопереживание, сострадание. Начинает меняться и само искусство, становясь более человеческим, жизненно-правдивым, без той социальной остроты и направленности, к которой всё время призывал В. В. Стасов. В картинах Перова и горечь, и страдание, и даже трагедия поданы художником без крика, слёз и рыданий. Напротив, его герои страдают тихо, негромко. Смирненно.

Сформулированное ещё в Париже новое определение бытового жанра как “отображение характера и нравственного образа жизни народа” воплотилось практически во всех произведениях мастера, начиная с самой первой картины, созданной им в год возвращения в Россию. И потому не удивительно, что именно Перов является автором психологического портрета. И даже поднимет этот жанр на высшую ступень, став создателем духовного портрета, в котором получит своё отображение духовная сущность человека, что, по словам Достоевского, и определяет “главную идею его лица”.

Новое качество, обогатившее Перовым русское искусство, также получит своё широкое распространение. Особенно в картинах о природе. Именно состояние души, а не только и даже не столько впечатление от увиденного будет определять образный строй этих картин. И хотя тогдашняя критика ещё продолжит с иронией говорить о пейзаже как о декорации, о фоне и т. д., тем не менее не стремление к самовыражению, не утверждение своих идеалов, а душевный настрой, состояние души, потянувшейся к храму, будут определять духовную полноту пейзажного образа. “Живопись есть немая, — писал Шишкин, — но вместе с тем тёплая, живая беседа души с природой и Богом” [5]. Именно такие произведения сыграли свою неопределимую роль в формировании пейзажа как самоценного, самодостаточного жанра.

В дальнейшем ведущие мастера: Суриков, Васнецов, Шишкин, Нестеров и др., опираясь на базовый характер сложившихся традиций, развивали их, несмотря на наступавшие тяжёлые времена, когда Церковь словами св. Феофана Затворника предупреждала: “... мы на пути к революции” [6].

В 1912 г. Суриков создаёт своё последнее крупное произведение “Посещение царевны женского монастыря”. За внешним, почти сказочным сюжетом, изложенным на языке христианской символики, возникает образ картины-пророчества, картины-завещания.

И всё же, противостоя этим смутным временам, художники продолжали сохранять стержневую — духовно-нравственную основу русского искусства как его программную установку, защищая его от “духовного декадентства” [7]. Раскрывается совершенно иная история традиции в русском искусстве. Это проповедь христианских ценностей, что и определяет духовно-нравственную основу отечественного искусства. Ничего другого сознание, сформированное Церковью, религиозная душа народа, воспринимającego мир как совершенное творение Божие, создать не могла. И не случайно в первых рядах оказались художники, которые несли в себе Дух веры, Любви, наполняли свои

произведения проповедью духовных добродетелей и считали, как писал В. Г. Перов, что “счастье имеет единственный глаз на макушке, который постоянно устремлён в Небо, где живёт Бог” [8].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Венецианов А. Г. Статьи. Письма. Современники о художнике. М., 1980. С. 61.
2. Венецианов А. Г. в письмах художника и воспоминаниях современников. М.-Л., 1931. С. 210.
3. Мокрицкий А. Н. Воспоминания о К. П. Брюллове. “Отечественные записки”, 1855, № 12. С. 156.
4. Леонтьев К. Записки отшельника. М., 1992. С. 469.
5. Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике / Сост., вступ. ст. и примеч. И. Н. Шуваловой / Л., 1984. С. 45.
6. Стасов В. В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания / Акад. художеств СССР. Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств. Т. 2. М., 1954. С. 193.
7. В. Васнецов, великий русский художник, его жизнь и деятельность. СПб, 1905. С. 4.
8. Перов В. Г. Новогодняя легенда о счастье. “Художественный журнал”, 1882, № 1. С. 22.

ПАМЯТИ СКУЛЬПТОРА

13 декабря 2021 года не стало замечательного скульптора Николая Александровича Селиванова. Он ушёл от нас на 93-м году яркой и насыщенной жизни.

Николай Селиванов создал множество скульптурных портретов академиков, учёных, создателей атомного флота, моряков, героев войны, чернобыльцев, писателей и поэтов. Он – автор памятников Н. Римскому-Корсакову, князю Святославу, Ивану Грозному, Л. Н. Толстому... Но главная тема его творчества – Сергей Есенин и его ближайшее окружение.

“Есенина я люблю, как все, как русский человек, как крестьянский сын, – говорил Николай Александрович. – Он ведь тоже крестьянский сын. Есенина нельзя не любить. Я хочу, чтобы в моих работах Есенин был близок каждому русскому человеку. С 1948 года, с первого моего знакомства с поэзией Сергея Есенина, я ношу его образ в себе. Чем бы я ни занимался, делаю портреты или композиции, Есенин у меня – путеводная звезда... Свою жизнь он закончил в 30 лет, а публиковался с 1915-го по 1925 год. За десять творческих лет написать столько выдающихся произведений мог только необыкновенный человек”.

С 1957 года художником было создано более 20 портретов Есенина и множество портретов поэтов из его ближайшего окружения – Николая Клюева, Сергея Клычкова, Алексея Ганина, Александра Ширяевца, Петра Орешина, Сергея Городецкого, Ивана Приблудного... Он создавал и замечательные портреты своих современников: Михаила Шолохова, Василия Шукшина, Владимира Чивилихина, Николая Тряпкина, Юрия Бондарева, Анатолия Иванова, Василия Белова, Валентина Распутина, Георгия Свиридова, Станислава Куняева...

Мы, члены комиссии по творческому наследию Павла Васильева, полноправным участником заседаний которой был Николай Александрович, всегда будем помнить наши встречи в доброй и хлебосольной мастерской нашего друга (которая, увы, была отнята у него накануне 90-летия, что, конечно, подорвало его жизненные силы). Наши беседы и обсуждения под сенью его работ, среди которых выделялись скульптура Есенина в полный рост рядом с берёзой и монументальный бюст Василия Макаровича Шукшина, держащего на отлёте папиросу и, кажется, готового поделиться со зрителями крепким, солёным словцом.

Николай Селиванов создал мемориальную доску с барельефом Павла Николаевича Васильева, которая была установлена в Москве на доме, где жил поэт, на 4-й Тверской-Ямской улице.

Память о замечательном художнике и добром товарище навсегда сохранится в наших сердцах.

Члены комиссии по творческому наследию Павла Васильева:
Сергей Куняев, Наталья Васильева, Светлана Гронская,
Лидия Бунеева, Любовь Кашина, Валентин Сорокин, Владимир
Берязев, Валерий Латынин, Юрий Назаров, Нурислан Ибрагимов.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”, ПОСВЯЩЁННЫЙ ЮРИЮ КУЗНЕЦОВУ

26 ноября 2021 года в Ялтинском историко-литературном музее при поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялся “круглый стол”, посвящённый 80-летию со дня рождения одного из самых масштабных и самобытных поэтов второй половины XX века Юрия Поликарповича Кузнецова.

В “круглом столе” приняли участие директор Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России Алла Панкова, директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник, заместитель главного редактора журнала “Наш современник” Сергей Куняев, поэт, заведующая отделом поэзии журнала “Наш современник” Карина Сейдаметова. В онлайн-формате прозвучали выступления начальника отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры России Александра Воропаева и заслуженного работника культуры РФ Галины Михайловны Щетининой.

Начался “круглый стол” с видеосюжета, звуковым фоном для которого стало исполнение народным артистом России Валентином Клементьевым стихотворения Кузнецова “Я пел золотому народу...” Потом взяла слово Юлия Рудник.

— Наша прямая обязанность, — сказала она, — сохранить драгоценное культурное наследие и донести его до потомков.

Непосредственный разговор о поэзии Юрия Кузнецова начала Алла Панкова:

— Юрий Кузнецов — это поэт мирового уровня. И замечательно то, что мы проводим этот “круглый стол” на Крымской земле, с которой поэт связан кровной связью, ибо на этой земле во время Великой Отечественной погиб его отец, который так и не увидел своего сына. Он сам говорил о себе, что если бы не эта трагедия, он не стал бы поэтом, тем поэтом, которого мы знаем сейчас. Выдающийся литературный критик Вадим Кожинов отмечал: “В поэзии Юрия Кузнецова речь идёт не об отдельной человеческой жизни (хотя она и может предстать на поверхности образа), но о бытии целого народа или даже человечества. Речь идёт не о сегодняшнем дне, а о целостности эпохи или даже всего времени”.

Прозвучало выступление Александра Воропаева: “К сожалению, увлекаясь новомодными поэтическими течениями, мы забываем об истинной

литературе. Я очень рад, что Бюро пропаганды художественной литературы взяло на себя задачу донести творчество Юрия Кузнецова до крымчан, до всех наших зрителей. Он был выдающимся поэтом, выдающимся переводчиком. Его поэзия чрезвычайно современна, и нам очень не хватает его самого”.

“Это удивительно – чувствовать и понимать, что человек, который был твоим современником, стал классиком, – подхватила Галина Щетинина, – но мы всегда чувствовали, насколько это большой поэт... Он прожил всего 62 года – и неудивительно. Вся история страны, вся мировая история словно проехала по нему танком.

Он был великий молчалник – за него говорила его поэзия. Современники причисляли его к так называемому “почвенничеству”, к нему же причислили группу больших, талантливейших поэтов, группировавшихся вокруг издательства “Современник” и “Советский писатель”, журнала “Наш современник”, альманаха “Поэзия”...

Я впервые увидела его в мастерской художника – так же безвременно ушедшего – Юрия Селивёрстова. Там собирались такие люди, как Никита Ильич Толстой, Георгий Васильевич Свиридов, Валентин Григорьевич Распутин, Виктор Петрович Астафьев... И голос Юрия Поликарповича никогда не терялся в этой компании единомышленников, высоких талантов”.

– В этот круг я включила бы и Станислава Куняева, чьи многолетним соратником по “Нашему современнику” был Кузнецов, – продолжила Алла Панкова. После чего в разговор включился Сергей Куняев, который начал своё выступление стихотворением “Возвращение”.

– Кузнецов сделал всё возможное, чтобы из “столба крутящейся пыли” проявились черты отца. Немногие знают, что Юрий Кузнецов восстановил практически все имена погибших вместе с его отцом на Сапун-горе. Для него была нестерпима сама мысль о безымянности подвига, о безымянности героя... Он воспринимал Великую Отечественную войну как вечный бой “во вселенских сетях бытия” (одна из его книг так и называется – “После вечно-го боя”). Здесь у поэта происходит глобальное осмысление отечественной и мировой истории, которая осмысляется в контексте сражения “с невидимым злом, что стоит между миром и Богом”... – И далее прозвучали строки из поэмы “Дом”:

*Европа! Старое окно
Отворено на запад.
Я пил, как Пётр, твоё вино —
Почти античный запах.
Твоё парение и вес,
Порывы и притворства,
Английский счёт, французский блеск,
Немецкое упорство.
И что же век тебе принёс?
Безумие и опыт.
Быть или не быть — таков вопрос,
Он твой всегда, Европа.
Я слышу шум твоих шагов.
Вдали, вдали, вдали
Мерцают язычки штыков.
В пыли, в пыли, в пыли
Ряды шагающих солдат,
Шагающих в упор,
Которым не прийти назад,
И кончен разговор.*

От этого отрывка была протянута нить к стихотворению “Память” с его ключевым финалом: “Зачем вам старые преданья, когда вы бездну пережили?”

– У нас, к сожалению, на протяжении всего XX века и до сих пор привыкли резать историю на куски и противопоставлять один такой кусок другому, – добавил Куняев. – В поэзии Кузнецова история, по существу, едина.

...Снова зажётся экран, на котором — кадры 1991 года: спуск красного флага, их сменили кадры 1993-го. И прозвучали в исполнении Валентина Клементьева стихи Кузнецова, написанные на юбилей Станислава Куняева:

*Жизнь прошла, а значит, будь спокоен.
В общей битве с многоликим злом
Ты владел не рукопашным боем —
Ты сражался духом и стихом.
В этот день, когда трясёт державу
Божий гнев, и слышен плач и вой,
Назовут тебя друзья по праву
Ветераном третьей мировой.
Бесам пораженья не внимая,
Мы по чарке выпьем горевой,
Потому что третья мировая
Началась до первой мировой.*

Карина Сейдаметова прочитала финал поэмы “Четыреста” и перешла к “бездонной и неисчерпаемой”, как она сказала, теме Кузнецова — теме поэта и поэзии.

— В стихотворении “Поэт” (“Спор держу ли в родимом краю...”) слышна прямая переключка с пушкинским “Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон”... Поэт — “одинокий в столетье родном”, зовущий “в собседники время” — чувствует, как его отторгает и само время, и весь мир. И тогда он пишет:

*— Как он смеет! Да кто он такой?
Почему не считается с нами? —
Это зависть скрежещет зубами,
Это злоба и морок людской.*

*Пусть они проживут до седин,
Но сметёт их минутная стрелка.
Звать меня Кузнецов. Я один,
Остальные — обман и подделка.*

— Кузнецов стремился мифологизировать всё сущее вокруг себя. И всё, добытое им в отечественной и мировой культуре, всё, открывшееся ему в поэзии, пытался передать своим ученикам. — Карина Сейдаметова привела воспоминания о поэте Григория Шувалова, Марины Гах, особенное внимание обратив на рассказ Евгения Семичева, учившегося у Кузнецова на Высших литературных курсах:

— “Россия в пропасть летит. А о чём же сегодня пишут молодые поэты?” И тогда, в ответ этим словам, Семичев написал одно из лучших своих стихотворений — “Соколики русской земли”. И в завершение выступления снова прозвучали стихи Кузнецова:

*Когда кричит ночная птица,
Забывтым ужасом полна,
Душа откликнуться боится:
Она желает быть одна.*

*Но дико слышать ей от века
Рыданье ветра, хриплый вой
И принимать за человека
Дорожный куст, объятый мглой.*

— Обладая невероятными, энциклопедическими познаниями, — сказала Алла Панкова, — Кузнецов в конце жизни обратился к образу Христа, написав, точнее, сотворив триптих, основанный на канонических и апокрифических Евангелиях...

Естественно здесь же прозвучали в её исполнении стихотворение “Вина” и – в исполнении Сергея Куняева – “Стук над обрывом”.

– Карина Сейдаметова не просто руководит отделом поэзии журнала, – сказала Панкова. – Она сама – замечательный поэт. И мы попросим её прочитать свои стихи.

– Символична моя встреча с Крымом. – сказала Сейдаметова. – У Кузнецова была с этой землёй своя кровная связь, а у меня – своя. Здесь, в Белогорске, жил мой прадед. А я прочитаю стихотворение “Снег”, посвящённое памяти моего отца:

*...Ты теперь прохожий,
Ты теперь — снега...
У тебя под кожей
Колкая пурга.*

*Ну, а если в зиму
Снега намело —
Это, чтоб могли мы
Просто и светло*

*Вспоминать, приемля
Грусть земных сердец:
Снег целует землю.
Снег... и мой отец.*

...Слушателями “круглого стола” были ученики старших классов ялтинской средней школы. Они и завершили встречу своими краткими репликами:

– Обидно, что имя этого великого поэта мы узнали сегодня впервые.

– Говорят, что мы не читаем. Это неправда. Современная молодёжь читает, и читает много. И очень любит классику.

Все выступавшие от души поблагодарили Ялтинский историко-литературный музей за предоставление площадки для проведения этой крайне полезной и нужной и для хозяев, и для гостей встречи.

АНАСТАСИЯ КОБОЗЕВА

МОЛОДОЙ “НАШ СОВРЕМЕННОК”

Предисловие Карины Сейдаметовой к восьмому номеру “Нашего современника” настраивает читателя и на радость ожидания новых ярких имён, и на трагическую интонацию грусти. Конечно, уход из жизни Александра Ивановича Казинцева, создателя рубрики “Наши надежды”, не мог не отразиться на общем настроении первого “молодёжного” номера, выпущенного без его участия.

Одним из молодых прозаиков, чей творческий рост происходил буквально на страницах “Нашего современника”, была Елена Тулушева. Она дебютировала в 2014 году и с тех пор публиковалась в журнале постоянно, выпустила уже несколько книг, стала лауреатом многих литературных премий. В этом номере она представила не психологические новеллы в жанре автофикшн, которые уже полюбили читатели, а мистический рассказ “Посмотри на меня”. Можно сказать, эта история – гимн Александру Казинцеву, разговор о бессмертии. Писательница не только делится болью, она дарит своему персонажу надежду на будущее: “Жить будешь столько, сколько будешь кому-то нужен”. И сразу же отнимает: “Не быть тебе здесь больше героем. Работать будешь, до смерти уставать, но живых больше не жди – не найдёшь”. Притчевая интонация повествования, сочетание мифа и реальности – всё это неожиданно переплетается с социальной проблематикой. Объединяются два разножанровых сюжета: фантастическое спасение и бытовое повествование о “серой” повседневности. Даже в сцене поэтического олицетворения города Тулушева будто говорит нам о невидимом слиянии двух миров: “Март в этом году ужасно не шёл Москве, и она, словно женщина, стесняющаяся своих заштопанных колготок, вся будто робко съёжилась, глаз не поднимала, старалась стать незаметнее”. Познав же мифический мир, человек вынужден заплатить своей беззаботностью, взамен обретая гармонию с реальностью.

Этот художественный “вывод” Тулушевой перекликается с главной мыслью рассказа Алексея Комарова “Воробей”, где главный герой Михаил осознаёт, что все люди по сути своей невидимки, беспризорные воробьи. Такая правда его не устраивает, Михаил хочет бороться с реальностью, изменить её и делится своими мыслями с антагонистом Серёгой – примером современного человека, увлечённого только личным благосостоянием. Вдохновенная речь Михаила порой перебивается “голосом” самого автора: “Зачем так упорно замыкаться в своих раковинах? Почему при жизни деда ему не пожимали руку, не хлопали по плечу, не произносили ободряющих слов?” Герой, в отличие от своего создателя, не хочет менять окружающих, его задача – открыть им глаза, пробудить, но не ставить на свою сторону. И автор лишь к концу произведения понимает это, перестаёт “подсказывать” Михаилу собственные мысли,

а даёт ему спокойно вздохнуть и делиться с остальными героями той истиной, которую он сам недавно обнаружил.

Пожалуй, откровенность – одно из главных привлекательных качеств молодых писателей августовского номера “Нашего современника”. Их всех не назовёшь неопытными. У каждого свой голос и свой способ справляться с трагичностью окружающей жизни. Если герои Елены Тулушевой и Алексея Комарова как бы светятся изнутри, то в рассказах Дмитрия Зуева всё иначе. Автору свойственно болезненно переворачивать мировоззрение своих героев с ног на голову. В рассказе “У города за пазухой” боль героя от потери близкого человека оттеняется авторскими поэтическими размышлениями о “кусочках” детства, которые “собираются в короткий промежуток времени в начале каждого осеннего утра”, или о мимолётности фотографий, которые “можно безболезненно удалить, как неправильный узел на вязаном свитере”. Эти мысли отвлекают героя от столкновения с реальной жизнью, смертью брата, заставляют постоянно жить в воспоминаниях. Как до оголённого провода, до трагивается до настоящей потери главный герой центрального рассказа “Мат” и “надрезает свою совесть”, до этого плотно закупоренную от внешнего мира. Здесь нет рефлексии о высоком, только страх перед неприкрашенной реальностью. Дмитрий Зуев точно передал выход из состояния безразличия.

Прозаик Ксения Вежбицкая в качестве главной героини выбирает современную “инстаграммную” девушку, которая не способна воспринять что-либо за гранью тусовочной жизни. На протяжении рассказа “Сюрприз” Кристина, она же Криста, проходит три этапа “взросления”. Первый – поездка в деревню, которую в качестве сюрприза устраивает ей молодой человек Тим. Второй – трагичный, когда у Кристины умирает родная сестра, и она замыкается в переживании собственной боли. Тогда же она возвращается в деревню. Криста находится в состоянии “убаюкивания” своей боли, игнорирует окружающий мир, лишь пользуясь им в необходимые моменты. Окончательно героиня меняется после момента “узнавания” чужого горя, похожего на её собственное, когда баба Тоня рассказывает ей о потере своей сестры. Криста наконец осознаёт, что другие люди также могут чувствовать: “Она знала – дома её ждёт мама, горе которой ещё больше, ещё глубже, ещё неумнее и страшнее”. В концовке есть и нравственный “вывод”, скрепляющий рассказ, но и ограничение героини заданной поведенческой схемой, некоторое нарушение гармонии между авторской мыслью и установкой персонажа.

С этой точки зрения неожиданнее повесть Максима Васюнова “Кутига”, где автор-творец не всегда может справиться со своими подопечными персонажами. Главными действующими лицами становятся жители деревни Варино, атакованной жестокой вьюгой, местной “кутигой”. Прозаик использует классическую схему изоляции: машина застревает в степи из-за погодных условий, а власти не торопятся спасти граждан. Под крышей автомобиля собраны жители одной деревни с непохожими судьбами и характерами: шестнадцатилетняя роженица Ася, её брат Карим и тётка Фариза, водитель Вележев и медсестра Белова. Разнообразие действующих лиц позволяет автору свободно вплетать их истории в сюжетную канву, тем самым отвлекая читателя от событий реального времени и сохраняя интригу до развязки.

Постепенно раскрывается характер каждого действующего лица. Медсестра показывает себя мелочной и пустой бабой, боящейся лишней раз шевельнуться ради пациента, приютившая сироту, только чтобы избавиться от страха одиночества. Напротив, казалось бы, обычный мужик Вележев в стрессовых ситуациях ведёт себя разумнее и человечнее Беловой – не случайно Карим подметил, взглянув на Сергея Ивановича, “что человеческие глаза могут быть по-детски добрыми, а ресницы – седыми...” И у тётки Фаризы, безумно любящей племянницу, вырывается страшное признание в сожительстве с отцом Аси. Сама Ася и Карим остаются фигурами полумифическими, их поступки иррациональны для других людей: Карим обворовывает соседей и при первой же угрозе отдаёт всё награбленное, а потом рискует жизнью ради чужого ребёнка. Неоднозначна и личность Аси с её мистическим “даром принимать кем-то нашёптанные строчки” и странной беременностью от совершенно не знакомого парня. “Дикость” героев отнюдь не следствие их глупости, все поступки – результат осознанного выбора. Так, Ася отдаётся чужому человеку, чтобы заглушить в себе поэтическое вдохновение, а Карим хочет самому себе доказать полезность своего существования.

Противопоставление города и деревни автор переводит в противостояние человека и природы. Если медсестру Белову страшит кутига, то местные уже привыкли к вечной борьбе с природными силами: “Землю утюжили не мужики, а такие же, как она, матери, пожалеть бы им её, но нет, они будто отыгрывались и мстили за свою скомканную жизнь, за мужиков, уходящих за тысячи километров в суровые края, за все горемычные девяностые, что, казалось, решились окончательно изжить русскую бабу с белу свету”.

Извечные вопросы о жизни и смерти, о предназначении и долге ставит Максим Васюнов. Пожалуй, из представленных прозаических произведений повесть “Кутига” – лучший выбор для открытия юбилейного молодёжного номера “Нашего современника”. Она ориентирована не только на социальные проблемы: Максим Васюнов ищет “высшую” правду и создаёт свой полноценный художественный мир.

Авторы раздела “Наши надежды” намечают свой путь в литературе: кто-то делает первые шаги, другие ступают увереннее. Но в любом случае интересно наблюдать за каждым писателем и предвкушать его творческий рост в будущем.

.....

Дорогие читатели! В ситуации, когда журналу приходится залатывать дыры в бюджете, ваша материальная поддержка, пусть даже самая скромная, для нас поистине бесценна.

Редакция благодарит всех, кто помогал нам в 2021 году и публикует список наиболее активных жертвователей:

Еромолин М. П. (п. Первомайский Тамбовской обл.)
Железовский С. С. (Краснодар)
Журавский В. Б. (Минск)
Ларичева И. Б. (Волгоград)
Макаров А. А. (Нижний Новгород)
Макаров В. В. (Рязань)
Максименко С. Б. (Санкт-Петербург)
Машинская И. Ю. (Москва)
Мишин А. П. (Мончегорск)
Нестругин А. Г. (с. Петропавловка Воронежской обл.)
Самойленко Е. Н. (Тула)
Серебряков А. Г.
Стрекозов А. И. (Ставрополь)
Тетерев В. Г. (Санкт-Петербург)
Фролова Н. Б. (Псков)

.....

В КОНЦЕ НОМЕРА

ЛЕВ КОТЮКОВ

БАБОЧКА ВО ТЬМЕ

*Железной ночью, как в тюрьме,
лежу, едва живой.
Ночная бабочка во тьме
порхает надо мной.*

*А ночь безвидна и страшна,
как сон небытия...
И бабочка — моя душа,
а может, не моя...*

*И тихий шелест у лица...
Лежу, глаза открыв,
И слышу, как летит пыльца
во тьме с эфирных крыл.*

*Но страшен сон небытия
над бездной неземной.
И может, я совсем не я,
а кто-то неродной...*

*И озаряет дальний свет
незримые холмы,
И никого роднее нет,
чем бабочка из тьмы.*

*И вдруг становится легко,
как будто век не жил,
И опадает на лицо
пыльца с эфирных крыл...*

Редакция журнала “Наш современник” и правление Московской областной организации Союза писателей России поздравляют Льва Константиновича с 75-летием и желают ему многая и благая лета в добром здравии в окружении любимых и любящих людей и новых творческих достижений!

КОТЮКОВ Лев Константинович родился в 1947 году в г. Орле. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Автор более сорока книг стихотворений и прозы. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Председатель правления Московской областной организации Союза писателей России, главный редактор журнала “Поэзия. Двадцать первый век Новой эры”. Лауреат Международной Патриаршей премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, государственной премии Центрального федерального округа РФ I степени, Большой Литературной премии Союза писателей России, премий имени им. Г. Р. Державина Республики Татарстан, А. Фета, А. Твардовского, М. Лермонтова и др.

ОЛЕГ ДОРОГАНЬ

АФОРИСТИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ ИВАНА ПЕРЕВЕРЗИНА

Афористичность – лучшее доказательство мастерства писателя.

По блестящему афористическому слогу легко определить уровень подготовки писателя к профессиональной работе, увидеть, насколько широки и мощны его крылья для высшего творческого пилотажа.

Талант плюс богатый жизненный опыт – без них глубин афористических не достичь. И это только два кита. Третий кит, на котором стоит добротный афористический слог, – это неустанная работа, когда “душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь” (Н. Заболоцкий).

И если автор – поэт, то не удивительно, что он стремится к афоризмам, соответственно, облечённым в поэтическую форму. И это проявляется не только в тяготении к зарифмованности, но и в лирическом подходе к смыслам.

Иван Переверзин собрал все свои размышления-афоризмы, и они сложились у него в новую романную форму. Поэт, прозаик, романист – он стал собирать все свои афористические выражения в один цикл. Их набралось у него поначалу полторы тысячи. И он задался целью создать весомую добротную книгу, этапную для его творчества, включающую в себя все его сокровенные думы о любви и поэзии, о жизни и смерти, о путях России и месте поэта в её судьбе.

Известно, что без любви роман не может быть полон. И когда у поэта всё пронизано любовью, тогда и афоризмы – как маленькие планеты – вертятся вокруг основного смысла-солнца. И любовь у него именно то смысловое солнце, которое живёт в области сердца поэта.

Любовь к женщине – страстная и нежная, потаённая и явная – постоянно прорывается в афористических раздумьях Ивана Переверзина: “ещё надо крепко подумать, какая любовь сильней: та, что чувствуешь телом всем, или та, которой пылаешь душой всей”.

Однако прежде чем крепко подумать, надо пересилить страсть. “Любовь – зряча! Страсть – слепа!”. И далее: “Страсть настолько быстротечна, что не успевает укорениться в сердце, в отличие от сильной любви”. А вот ещё о слепоте любви совершенно по-своему: “Порой любовь такой слепой бывает, что смерть свою не замечает”.

Любовь у поэта – сакральное святотатство. “Совершив грех, я полюбил тебя такой сильной любовью, на которую не способен святой!” – пишет он как человек, одержимый безумством любви, уже зная из опыта, что без известной доли безумия не может быть ни любви, ни творчества. Собственно, и грех

у поэта особого свойства, он вовсе не их тех, за которые надо раскаиваться, отмаливая прощение перед Господом.

Понятие греха у поэта — тоже одухотворённая категория. И сам перед собой он остаётся честен: “Бороться с зовом мужской плоти, равно как и женской, всё равно что убивать жизнь!” А с другой стороны, он вполне изведаль, что “без духовной любви физическая не больше, чем работа”. И он старается не потерять контроль над своими чувствами: “Одержимость в серьёзном деле похвальна, если, когда надо, удержима”.

Конечно же, такие рассуждения не могли возникнуть без жизненного опыта, без пережитого. А “жизнь, как женщину, прежде чем всерьёз желать, надо сполна завоевать”. И завоевать право на женщину-избранницу — это вполне в духе лучших традиций жизни. Их и придерживается поэт.

Ну, а когда завоеешь, тебя могут подстеречь новые опасности. И размышления об этом не оставляют поэта. Ими он пытается убеждать себя, и всякий раз в его душе возникают противоречия. Их он преодолевает, и о любви у него уже вне всякого сомнения сказано: “Любовь не награда, чтобы её заслуживать”. Конечно, любовь — самое искреннее и бескорыстное чувство, и обычно любят не за что-то, не за какие-то заслуги или привилегии, а просто любят — и всё.

А сомнения всё равно возникают, и любовь-страсть в том мире, где законы диалектики в действии, обычно оборачивается своими противоположностями: то страсть затмевает любовь, ослепляет и оглушает все чувства, вызывая к жизни ревность (и тем самым изводит себя), то любовь гармонизирует страсть и становится целомудренной, внимательной и бережливой: “Ревность кричит: уходи! Собственничество просит: останься! И любви ничего не остаётся, как горько молчать!”

Вот и супружеская жизнь становится не столько счастливой судьбою для влюблённых, сколько жизненным испытанием для них. “Когда не отвечает больная жена — это вызывает тревогу! Когда не отвечает здоровая жена — это наводит на подозрение”.

И всё же в ней, в этой жизни вдвоём, “ощущение участливого присутствия любимого человека делает нас не менее счастливым, чем сама любовь”.

А в итоге, судя по жизненному опыту поэта, “чаще всего человек, горячо полюбив другого человека, в конце концов, получает не заветное счастье, а тяжёлое страдание, оборвать которое может лишь смерть”.

Как у многих рядовых людей, и у поэта любовь не без ревности, подозрений и измен, не без крестных мук. И всё же он старается быть выше других: и “если сердцем прощать измену, то так, чтоб и душой не помнить”.

Борьба внутри поэта не прекращается, а в любви не всё складывается. И, понимая, что над собой полная победа не достигнута, он невольно восклицает: “Прости, что не хватило сил простить!” И он на себе познал, что “когда ожидание прощения дорогого человека становится невыносимым, к нему зарождается если не ненависть, то равнодушие”.

Эти стороны, на первый взгляд, противоречат друг другу, но в итоге сливаются в единстве: “Есть в женской красоте такая нежность, что усмиряет всякую мятежность”.

А полной гармонии достичь уж очень непросто, почти невозможно. Ну, и абсолютная любовь, если она и есть, приводит к своей оборотной стороне. Очевидно, и поэт испытал это на себе: “Невыносимо стать для женщины рабом, которая тебя считала богом”, — это явно из пережитого и выстраданного, словно запёкшегося в слова.

Мы-то, мужчины, привыкли повелевать. И готовы считать свою женщину королевой, но при условии, если она не выше нас. Не потому ли до идеальной гармонии так далеко, как до горизонта, что вечно отодвигается, отдаляется? И недаром у поэта постоянное ощущение, что “когда любишь свою женщину страстно, то словно теряешь её ежечасно”.

Приобретенья таятся в потерях, — и поэту, пожалуй, это известно лучше других, вот он и пишет: “Человеку всегда чего-нибудь да не хватает, словно он только и делает, что теряет”.

В любви поэт не может не считать себя первым, иначе перестает себя чувствовать поэтом: “Не для того ли, чтоб сильнее любить, во всём хотел я первым быть”.

Время от времени он не забывает делать признания своей возлюбленной. Однако и в признаниях то и дело обнажаются обратные смыслы: “Прости, я

слёз твоих не стою, а ты не стоишь радости моей. Вот каждый и живёт собою на сквозняке и стуже дней”.

И здесь открываются, обнажаются бездны, под которыми по-тютчевски “хаос шевелится”.

Пережитое не отпускает, но поэт увещевает себя, убеждая освободиться от его груза: “Совсем не мудро жить горьким прошлым за счёт настоящего, которое можно сделать прекрасным”.

Диалектику чувств, когда противоречия разрывают душу, поэт пытается привести в гармонию. И разрешение противоречий делает его хоть как-то защищённым. “Не для того поёт душа, чтоб сердце плакало навзрыд!”

Душа у поэта ценится выше всего, она поистине бесценна: “Жизнь дорожает, смерть дорожает, но цену свою душа не теряет”.

Ещё Лев Толстой писал о диалектике души, явно понимая, что на земле до небесной метафизики ей далеко и высоко. Не оттого ли и был присущ ему такой глубокий и тонкий психологизм в его произведениях...

Вот и здесь афористичность служит раскрытию диалектики души, а “душа не имеет ни глаз, ни ушей, тем не менее – и остро слышит, и глубоко видит! Это не великое чудо, а одна из многочисленных тайн неба!”

И с этим таинством поэту приходится соприкасаться постоянно.

В нём каждый отклик на боль требует глубокого уяснения, чтобы хоть как-то облегчить для себя участь. Ведь он-то хорошо знает, что “страх потери близкого человека делает любовь к нему сильнее”. И только неустанное стремление к гармонии чувственного и духовного, телесного и небесного позволяет ему открыть вселенский код в любви: “Пускай Вселенная мгновенно сужается до наших губ”.

Концы смыкаются с началами, устья ведут к новым истокам – и рождаются новые вселенские миры в душах людей, одухотворённых любовью. Поэт как никто это знает, и душа поэта проходит через все тернии и выходит к своим звёздам. Вспомним А. С. Пушкина: “Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман”.

А что такое полная победа над собой? Особенно в любви. Не ведёт ли она к самоуспокоению, к тупику достигнутой вершины? Наверное, всё-таки ведёт. “Порой любовь заканчивается так, словно никогда и не начиналась”. Поэтому никогда нельзя признавать до конца, что ты полностью одержал победу, а вместе с тем и себя победил. И вполне нормально, когда стремление к полной победе сопровождается радостями маленьких побед и горестями мелких неприятностей и неудач. Главное, чтобы воля к победе не затухала – и не сходила с избранной стези. А то ведь бывает, что “ожидание любви бывает таким тяжёлым, что радоваться её приходу не остаётся сил”...

Так у поэта и в повседневной борьбе, и в любви, когда любовная победа намного многограннее и глубже, чем это обычно принято считать: “Любовь к тебе, накрывшая душу, как наводнение, на самом деле стала для меня спасеньем”.

В любом случае, любовь у поэта всегда настоящая, всегда прощающая: “В настоящей любви не может быть навек виноватых, поскольку она животворяща, как солнечный свет”.

Невзирая ни на что, он не теряет жизнеутверждающих чувств, и патетика у него обладает духоподъёмной силой: “Ни у одного чувства, которые присущи человеку, нет таких мощных крыльев, как у вечной любви!”

Ум без души, а душа без ума – эти изъяны зачастую проявляются в произведениях рифмоплётов. И, понимая это, поэт делает для себя вывод: “Считать себя умнее всех, конечно, можно, но как это в глазах людских ничтожно”.

И если максимы его могут быть категоричны, то ироничный контекст снимает с них налёт пафоса: “Не думать о создании благоприятных условий для работы гениального мужа может только жена, глубоко наплевавшая на будущее человечества”.

О знакомом поэте-собрате он пишет с лёгкой иронией: “Жил с ощущением своего невиданного взлёта! И стал бы великим, если бы ещё и работал”.

А если слишком высоко занестись и смотреть на всех свысока? Таких себялюбцев поэт видит насквозь: “Самолюбие, как яркая вспышка электросварки, так ослепляет человека, что он даже самого себя не видит”. Жизненный путь поэта – его стезя, и он обязан помнить, что её “жизнь не увидать из окна сквозь ночь летящего вагона”.

А вот мысли о психологии творчества: “Писатель от природы, как дитя материнским молоком, питается глубоко пережитым в прошлом, чтобы быть счастливым в настоящем!”

У честных мыслителей немало мыслей о молчании и одиночестве. Свои представления об их глубинных смыслах и у Ивана Переверзина. “Ну, почему в молчании глубоком душа от боли разрывается жестоко!”

Одиночество и молчание – неизбежные состояния, которые порождают всё новые и новые мысли, облакаемые в афористическую форму. “Одиночество глубокого молчания обрекает душу на страдания”. Откуда возникают? “Человек молчит не потому, что ему нечего сказать, а потому, что его, слушая, не слышат”.

Люди творческие особо остро переживают одиночество. Даже находясь в кругу семьи или в компании друзей, их может не покидать чувство потаённого одиночества. Добавляет одиночества им и тяга к уединению для творческой работы.

Творческий человек ищет одиночества для работы, но оставаться одиноким по судьбе, чувствовать себя никому не нужным сиротой, нелюбимым и невостребованным, выше наших сил.

“В таёжном долгом одиночестве любая птица кажется родной”. Не в таком ли одиночестве таёжном поэт ещё смолodu испытал свои “радости жизни”? “Северный сорокаградусный мороз отличается от южной жары тем, что заставляет во имя своего спасения двигаться, и ты невольно совершаешь такие большие дела, о которых на юге и не мечтал бы”.

Выход из одиночества возможен благодаря любимой женщине. И здесь очень важно не обмануться в ней, в противном случае одиночество будет ещё тягостнее, ещё невыносимее.

Иллюзия супружеской идиллии ещё тешит поэта мечтами и надеждами, но рано или поздно он, умудрённый жизнью, делает вывод: “В жизни уставших друг от друга супругов есть такая грань, за которой лучше молчать, чем говорить”.

Широк диапазон чувств поэта живущих временами года: осень – “когда опадают листья, похожие на сердца, то на душе словно ощущение конца”.

Осенняя настроенность сменяется более суровыми настроениями, которые будто вторят погоде, а погода им. “Когда в душе лишь снег и холод, то даже в двадцать звонких лет ты словно бы навек не молод, что верить в счастье смысла нет!”

Впрочем, и в мурастях непогоды поэт умеет разглядеть что-то для себя утешительное: “Сгребают снег с лица земли, и надо же – она не плачет. Как будто вьюги намели ей неизменные удачи”.

Но удары судьбы чаще всего исходят не из капризов стихии, а из рук человеческих. “Успешному человеку врагов заводить не надо, они сами, как грибы после дождя, растут”.

Мотив борьбы с недругами по мировоззрению не оставляет поэта в покое, так как схваток в жизни у него с ними было через край. И поэт убеждает себя: “Прежде чем с врагом схватиться в схватке, положи все опасенья на лопатки”.

Честной борьба далеко не всегда получается, она сопровождается интригами и кознями, через которые поэт проходит в своём хождении по мукам: “Нападать на лежачего – значит признавать, что он не только духом крепок, но и телом силён”. И неожиданно для себя он “переделывает” народную пословицу: “Счастлив не тот, кто смеётся последним, а кто никогда не плачет”...

О чём бы ни размышлял поэт, в основе его размышлений всегда любовь.

Любовь для него божественный сакральный дар. Она не возникает ниоткуда, а приходит неожиданно, незначай. И в свете любви его посещают мысли о божественном устройстве мира. В чём-то они связаны у него с кантовским нравственным законом, отразившемся в звёздном небе, что представляет собой образ вселенской справедливости.

“Как всякий человек, я родился с Богом в душе, но называется он совестью!” И разговор у поэта со своей совестью – это и разговор с Богом...

Только собственная совесть – увы, не для всех со-весть. Далеко не всегда добьёшься взаимопонимания в мире людей, особенно там, где в нём больше звериного, нежели людского.

Пока не прекратились войны, мы продолжаем жить в мире тревог и опасностей, и по достоинству оценивать жизнь, теряющую ценность: “Только заглянув смерти в глаза, можно понять, что жизнь бесценна!”

Раздумья о смысле жизни приводят поэта к самым неожиданным суждениям: “Человеческая жизнь, как велосипед, даётся нам напрокат, значит распорядиться ею мы вправе лишь в рамках этого”... И, по всей видимости, не случайна у него такая мысль: “Воевать с судьбой всё равно, что с собой”. Вероятно, воевать с судьбой и с собой у него может означать побеждать себя, а не покорствовать своим слабостям.

Кто-то из писателей может напрокат впустую прокатать всю свою жизнь, а кто-то написать и издать многотомное собрание своих сочинений, как это сделал Иван Переверзин.

И чувствуя, что наступает время подбивать итоги, он спешит: “Жизнь пронеслась, как пуля у виска, но ведь не в безызначность, а в века!”

Размышления о смыслах жизни и смыслах смерти у него не отвлечённые, не самоцельные, а вызваны горькими событиями жизни. “За двадцать секунд, пока не билось моё сердце, я ничего, кроме тьмы, не увидел в смерти”. “Говорят, что умереть можно только раз! Может, для кого-то это и так! Но мне, воскресшему, придётся умереть ещё раз”.

Все мытарства и страдания, болезни и операции, через которые пришлось пройти поэту, отражены в его заметках: “В смерть глупо верить перестал лишь потому, что она, когда он ждал её, не пришла к нему”.

Со смертью, вернее, со смыслом смерти у поэта, знающего цену смыслу жизни, свои счёты. У него неизменно побеждает жизнь, а посему: “Ждать смерть свою – быть трусом от рожденья”.

Сообщающиеся сосуды этих смыслов у него постоянно перетекают друг в друга, особенно, как это в жизни и происходит.

“Страх усиливает жизнь, а отсутствие страха ускоряет смерть”.

“Обидней не жить в горести, а умирать в радости”.

“От жизни можно сильно устать, но не настолько, чтобы отказываться от неё”.

“Не всегда восставший из смерти способен возвратиться в жизнь”.

“Борьба со смертью отнимает много сил, но память о любви быстро восстанавливает их”.

Эти неустанные раздумья позволяют поэту судить и оценивать своё место в мире, “между миром и Богом” (Ю. Кузнецов), а с ним и своё местонахождение между жизнью и смертью, особенно после того, как побывал – и не раз – в пограничном состоянии...

О жизни и смерти, об их диалектическом единстве поэт не перестаёт вспоминать ещё и потому, что утрат среди родных и близких, друзей и знакомых пережил он слишком уж много. Горечь утрат наложила на него свой неизгладимый отпечаток. И смыслы смерти он как бы примеряет на себя в поисках выходов из них:

“Простившись с жизнью, но не умереть, как будто заново родиться”. И своим спасителям он знает цену: “Врач, вылечивший человека, который должен был умереть, – Бог!”

А если снова он разочаровывается в чём-то: “Как будто жизнь досталась мне на сдачу, я вновь и вновь душою горько плачу”, – он не предаётся унынию, и духоподъёмная сила спасает его: “Восстав из горя, в радости высокой я крылья расправляю, словно сокол”.

Переступив новый юбилейный порог жизни, поэт невольно сравнивает свой возраст с возрастом рано ушедших из жизни классиков – и сетует: “Уход великого поэта, сколько бы он ни свершил, всегда будет преждевременным”. И старается найти для себя спасительный вывод: “Гении живут ровно столько, сколько им надо, чтобы выплеснуть на бумагу заложенную в них небом сущность”. И в рассуждениях о гениальности поэт старается понять, что побуждает его к действию: “Гениальность, как всякая сила, заканчивается, если её не подкреплять волей”.

Всё познаётся в сравнении, и в афоризмах мы стараемся найти такие сравнения, как утешительные призы. Вот и он такие находит: “В молодости чем чаще задумываешься о старости, тем больше от жизни получаешь радости”, “Не так уж и горестна старость, когда душа юной осталась”.

Юность и старость в судьбе – как два крыла, и уравнивает их неизбежная диалектика, жизни: “В юности жизнь наивно кажется бесконечной, а в старости чересчур быстротечной!”

Уникальная и особая значимость афоризмов проявляется в том, что они обычно завершаются неожиданно. Недаром в народе афоризмы чаще всего называют словесными оборотами. Неожиданный оборот или поворот смысла и делают их, что называется, крылатыми выражениями: начало и концовка у них – как два крыла, благодаря которым они могут облететь весь мир.

А ведь далеко не всем прозаикам-романистам, в том числе из когорты классиков, удавалось достичь неожиданного эффекта парадоксально завершаемой “оборотной” мысли.

Но Иван Переверзин хорошо чувствует природу такого рода словесных оборотов, где играет живое слово, смыслы лучатся светом истины и доброй улыбки, радостной или грустной; в них отражаются чаянья народные о справедливости, или о ладе, на которых всё строится и осознаётся.

Одна из важнейших особенностей афористических раздумий Ивана Переверзина – в их приверженности к русским смыслам, их близости к народному духу и народному бытию. Как поэт он чаще всего старается их зарифмовать, чтобы они звучали как присказки, присловья, приговорки и были ещё ближе людям из народа.

Тайны бытия влекут поэта и не дают успокоения, отливаясь во всё новые поэтические и афористичные строки. И он отдаёт себе отчёт в том, что жребий его измерен: “Никто не в силах предсказать, как долго мне дано писать. Об этом правду Бог хранит, но ведь молчит о ней, молчит”. Что бы там ни было, Иван Переверзин никогда не теряет жизнелюбия, всегда лелеет надежду и выражает веру в то, что “слова, пришедшие свыше, не могут уйти в безызвестность”.

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН



АФОРИЗМЫ

* * *

1. Чтобы стать для детей человеком примерным, оставайся в любви постоянным и верным.
2. В неустанной борьбе с громыхающим веком надо быть, говорила мне мать, человеком!
3. Пробежать по местам босоногого детства — всё равно, что принять животворное средство.
4. Каждый день надо жить, веруя в благодать, ибо можешь всегда Богу душу отдать.
5. Жизнь должна проходить в неустанной борьбе, чтобы некогда было жалеть о себе.
6. Моя жизнь потому и сложилась неплохо, что, скорее всего, повезло мне с эпохой.
7. Я жизнь люблю без всяких проволочек, молюсь на верную жену и добрых дочек.
8. Наша земная жизнь настолько сложна и сурова, что сполна её выразить бессильно вечное слово.
9. Когда и раз и другой выживаешь в земной крутоверти — тогда перестанешь бояться даже своей смерти.

10. Никогда ничего не надо загадывать наперёд,
ибо жизнь то нежно ласкает, то насмерть бьёт.
11. Человек обретает своей смерти черты
зáдолго до её прихода из темноты.
12. Рано или поздно я всё равно умру,
потому и горю душою, словно костёр на ветру.
13. Люди чаще всего выходят из горьких мук,
если с душой работают не покладая рук.
14. Я с греком радостно схожусь душой, я немцу знаком близко,
но почему же весь шар земной сплошь в обелисках?
15. Напоминать человеку, что болен он тяжело,
значит, в душе питать к нему потаённое зло!
16. Ежели ты намерен шагать в ногу с прогрессом,
то приготовься переживать стресс за стрессом!
17. Главное — идти своей дорогой, никому не мешая,
тем более, что страна у нас неоглядно большая!
18. Прежде чем слёзно пожалеть самого себя.
вспомни о тех, кто из мук восстаёт скорбя.
19. Боль любую можно перенести в настоящем,
если без колебаний верить, что она преходяща.
20. Ежели жаждешь жить сам — давай жить другим
и никогда не думай, что ты непобедим.
21. В любовь не верить я не мог,
поскольку ею жив сам Бог!
22. Когда любишь так, что готов лететь к облакам,
не задумываешься: а любим ли ты сам?..
23. Неразрывною стала наша семейная связь,
славно мечта всей моей жизни сбылась..
24. Теперь, когда жизнь почти прожита,
мне больше всего нужна твоя доброта.
25. Ждёшь иль не ждёшь, но любовь, говорю между прочим,
к нам приходит сама и тогда лишь, когда захочет.
26. Если на женщину полюбовно не наденешь узду,
то сам будешь ходить у неё в поводу.
27. Любовь к человеку приходит сама,
а уходит по воле души и ума.
28. Неоспоримы опоры жизни —
любовь к женщине и Отчизне.
29. Порой любовь настолько слепой бывает,
что внезапную смерть свою не замечает.

30. Женщина бывает настолько эгоистична,
что не видит, как её ненависть безгранична.
31. Управлять своей страстью надо уметь,
чтобы раньше времени не сгореть.
32. Покамест женщину жаждет жадно мужская плоть,
до той поры жизнь нашу смерти не побороет.
33. Уверовал он, что Господь ему все грехи простит,
но был он Господом просто-напросто позабыт.
34. Время делает нас не столь мудрей, сколь старее,
и сознавать эту истину всё тяжелее.
35. Устроили нам небеса вечную крутоверть —
смерть убивает жизнь, жизнь порождает смерть.
36. Победить судьбу — значит выиграть Суд Божий.
Не удавалось никому — не удастся и тебе тоже.
37. Даже не думай, что судьбу за горло возьмёшь,
а вот она тебя запросто раздавит, как вошь.
38. Как опасна душевная рана, которая навсегда,
и не зашить нам её, не залечить, не позабыть никогда.
39. Чем раньше задумаешься о спасенье души —
тем достойнее жизнь проживёшь в достоинстве и в тиши.
40. Привлекательна женщина та, у которой душа — красота.
41. Знаю по опыту, а не по чьим-то слухам,
что лучше быть слабым телом, нежели слабым духом.
42. Чтобы боль в душе скорее перегорела,
одно за другим вершить доброе дело.
43. Без единящей национальной идеи
при любом режиме процветают одни прохиндеи.
44. Чиновники нагло берут миллионные взятки,
а простонародье живёт кое-как возле речки иль грядки.
45. Руководитель, не слышащий стоны и плач народа,
вырождается или в тирана, или просто в урода.
46. Власть, наплевавшая на судьбы своих писателей,
никогда не добьётся никаких нравственных показателей.
47. Жёстким отказом признать русский язык коренным
Украина сама признала, что ей и не нужен Крым.
48. Ненависть отравляет мозг на такой глубине,
что готовится он к одному — к смертоносной войне.
49. Мировая политика, сделавшись в наши дни вездесущей,
управляет жизнью с жестокостью, ей присущей.
50. Какие бы в спорте ни произошли перемены —
поражения терпят тренеры, а не спортсмены.

51. В хоккей играют мужчины, которых за мужество ценишь,
а в футболе — артисты, готовые плакать, чуть их заденешь.

52. Необходимы вдвойне мастерство и отвага,
чтобы нам побеждать без гимна и без трёхцветного флага.

* * *

53. Ковид мутирует, не успевает за ним фармакология,
а что будет завтра — не знает человеческая логика.

54. Ковид не что иное, как бомба замедленного действия,
значит, надо нам ждать рокового и страшного бедствия.

55. Третий год продолжаем бороться с чертовским ковидом,
и становится — за народом народ — инвалидом.

56. Только память людская поглубже любого колодца!
Столько влаги в ней — пьёт человечество и никак не напьётся.

57. Если горькое прошлое наше забыть невозможно,
то о нём вспоминать будем бережно и осторожно.

* * *

58. Он мог бы стать значительным поэтом,
когда бы зависть не была его секретом.

59. Но принимать за истину его произведенья —
вводить себя в обман и заблужденье.

60. Писатель никому в моей стране
не нужен — вот что приоткрылось мне.

61. А было время — и в стихах, и в прозе
душа жила в Якутске на морозе!

62. Мороз в стихах и прозе обнаружен,
а южный зной моей душе не нужен.

63. Вот истина, которой жив писатель,
и рядом с ним живёт его читатель.

64. И нет на свете благодатней благодати,
чем их союз, живущий правды ради.

65. Бессмертным стать на самом деле просто,
когда в сердцах твои стихи, как звёзды.

66. Но коль не светят животворным светом,
то и не называй себя поэтом.

67. Написанное же по воле Божьей
читателям и автору поможет.

68. Но созданные через силу строки —
увы, неглубоки́ и не глубóки.

69. Трагедия всегда живёт любовью,
которая, рифмуясь, пахнет кровью.
70. Но вслух не говори слова и мысли,
пока их не отмыл от грязи жизни.
71. Есть образный язык, и, без сомненья,
он дан творцу от неба при рожденье.
72. Поэзия, что мир не раз спасала,
нам долго жить недавно приказала...
73. Художник на холсте картину пишет,
поэт в поэмах образами дышит.
74. А вдохновенье — это род работы,
которую ты делаешь с охотой.
75. А вдохновенье к нам с небес стремится,
оно самозабвенно, как лесная птица.
76. Талант от Бога — принадлежность вечности,
у нас его гнобят до бесконечности.
77. Друзья из юности, из далека́-далёка,
беречь их надо, как зеницу ока.
78. Построенный на проходных словах
фундамент дружбы обречён на крах.
79. Да, в мир иной ушли мои друзья,
но вечно помнит их душа моя.
80. Нежданный дождь унёс остатки снега —
жди из земли зелёного набега.
81. Тому, кто дожил до глубокой старости,
нет от неё ни милости, ни жалости.
82. Какой она придёт — короткой? Длинной?
Но на тебя обрушится лавиной...
83. Как часто мы, счастливые вполне,
всё ищем счастье на стороне.
84. А сколько буйных, выпивших не в меру,
за гибелью на выстрел шли к барьеру...
85. Зачем нам пить вино? Есть лучше хмель —
с любимой женщиной делить постель.

ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ 2021 ГОДА

ПРЕМИЯ ИМЕНИ В. В. КОЖИНОВА за многолетнее служение русской культуре присуждена прозаику Александру ПРОХАНОВУ за роман «ЦДЛ» (№ 2–3)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Л. М. ЛЕОНОВА (номинация «Молодые прозаики») за повесть «Инстаграм» (№ 8) присуждена Анастасии БУЛЫГИНОЙ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация «Молодые поэты») за подборку стихотворений «Я просто современный азиат» (№ 8) присуждена Гаврилу АНДРОСОВУ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А. Г. КУЗЬМИНА (номинация «Молодые историки и публицисты») за статью «Есть высшая доля...» (№ 10) присуждена Константину ШАКАРЯНУ

Ежегодные премии за лучшие произведения 2021 года присуждены:

- Владимир КРУПИНУ, прозаику — за повесть «Громкая читка» (№ 4);
- Дмитрию ЛИХАНОВУ, прозаику — за роман «Звезда и крест» (№ 6–7);
- Михаилу ЧВАНОВУ, прозаику — за повесть «Родословная» (№ 10);
- Валерию ИВАНОВУ-ТАГАНСКОМУ, прозаику — за роман «Рокировка» (№ 12);
- Юрию КАБАНКОВУ, поэту — за подборку стихотворений «Потому что грачи прилетели» (№ 10);
- Николаю БРАУНУ, поэту — за подборку стихотворений «Дождь по тюремным стёклам» (№ 1);
- Юрию ВОРОТНИНУ, поэту — за подборку стихотворений «Отчий дом и на двери — подкова» (№ 11);
- Михаилу ГРОЗОВСКОМУ, поэту — за подборку стихотворений «Сплетенье любви и печали» (№ 1);
- Алексею ТАТАРИНОВУ — за статью «Вперёд, к русскому неомодернизму!» (№ 9);
- Александру СМЫШЛЯЕВУ — за статью «Время полярных бродяг» (№ 4);
- Петру ТКАЧЕНКО — за статью «Какую библию читал Михаил Шолохов» (№ 5);
- Александру ВОДОЛАГИНУ — за статью «Русский Христос» (№ 11);
- Юрию АПУХТИНУ — за статью «Русская весна — что это было?» (№ 11);
- Анатолию ГРЕШНЕВИКОВУ — за статью «Тайна летописи разграбленного храма» (№ 8);
- Борису КУРКИНУ — за статьи «Подавляющее меньшинство, или Разгон» (№ 1); «Права человека как «Библия Джефферсона» (№ 8);

В 2021 году престижных литературных премий за публикации в течение года удостоены прозаик Андрей ВОРОНЦОВ и поэт Карина СЕЙДАМЕТОВА.

Поздравляем лауреатов!

Премия им. В. В. Кожина



А. Проханов

Премия им. Л. М. Леонова



А. Булыгина

Премия им. Ю. П. Кузнецова



Г. Андросов

Премия им. А. Г. Кузьмина



К. Шакарян

Ежегодные премии журнала



Ю. Апухтин



Н. Браун



А. Водолагин



Ю. Воротнин



А. Грешневиков



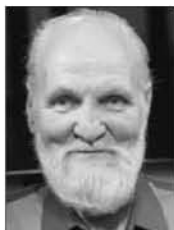
М. Грозовский



**В. Иванов-
Таганский**



Ю. Кабанков



В. Крупин



Б. Куркин



Д. Лиханов



А. Смышляев



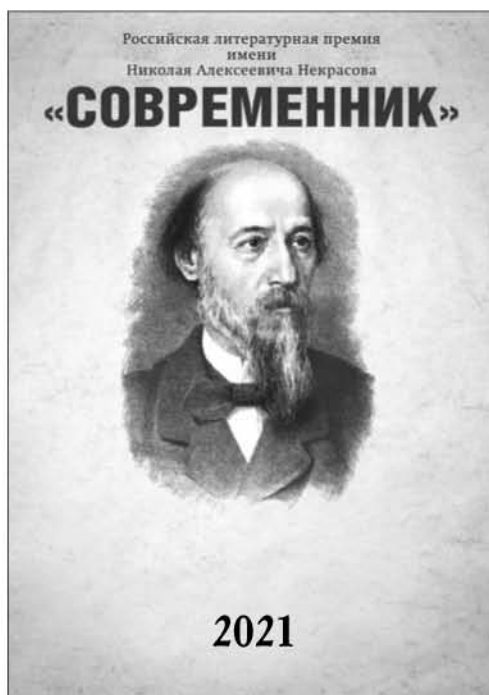
А. Татарин



П. Ткаченко



М. Чванов

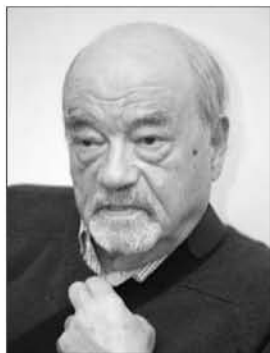


Премия журнала «Наш современник» имени Н. А. Некрасова за 2021 год присуждена:

— критику и литературоведу Игорю Петровичу ЗОЛОТУССКОМУ — за телевизионный фильм о Н. А. Некрасове;

— писателю и общественному деятелю Сергею Александровичу ШАРГУНОВУ — за цикл очерков «Стены страны. Депутатский дневник» (№ 3, 5, 7, 12);

— поэту Дмитрию Александровичу МИЗГУЛИНУ — за цикл стихотворений «Не потакая никому» (№ 9).



И. Золотусский



С. Шаргунов



Д. Мизгулин